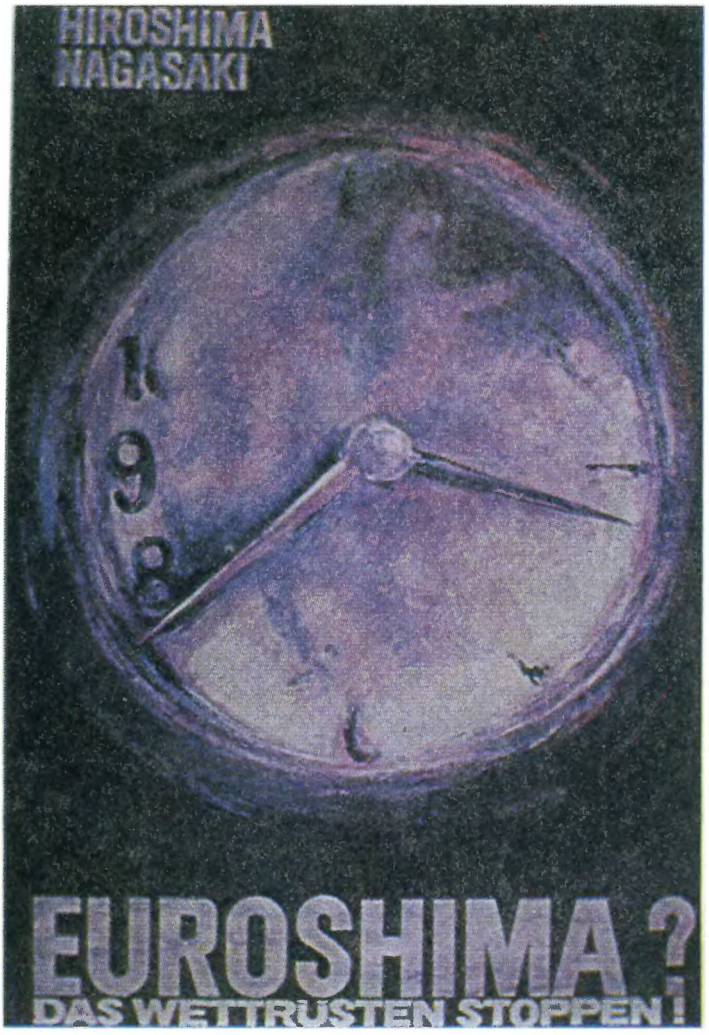
ISSN 0130 – 6545

8. 1986

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ГЕРХАРД КНЕСПЕЛ (ГДР)

Цветные иллюстрации номера — работы, представленные на московской международной выставке «Плакат в борьбе за мир».

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

8 август 1986

Содержание

ФРАНСИСКО СИОНИЛЬ-ХОСЕ — Два рассказа *(Перевод с английского В. Макаренко. Вступление Евг. Долматовского)* 3

Из румынской поэзии

ИОН МИРЧА, АДРИАН ПОПЕСКУ, ТРАЯН Т. КОШОВЕЙ, ИОАНА КРЭЧУНЕСКУ *(Перевод с румынского Льва Беринского. Вступление Кирилла Ковальджи)* 30

ВЕСЛАВ МЫСЛИВСКИЙ — Камень на камень *(Роман. Продолжение. Перевод с польского К. Старосельской)* 38

ДИТЕР ВЕЛЛЕРСХОФ — Победителю достанется все *(Роман. Окончание. Перевод с немецкого М. Рудницкого и Н. Федоровой)* 114

Литературное наследие

РАБИНДРАНАТ ТАГОР — Из книги «Сад песней» *(Перевод с бенгали Н. Горской. Послесловие Субхаша Мукерджи)* 155

Публицистика

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — На самом дне *(Главы из книги. Перевод с немецкого и вступление Э. Венгеровой)* 163

Из публицистического наследия

Америка глазами английских писателей

РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН, РЕДЬЯРД КИПЛИНГ, ГЕРБЕРТ УЭЛЛС, ДЖОН ГОЛСУОРСИ *(Перевод с английского М. Тугушевой и Н. Анастасьева)* 187

Культура и современность

А. Кувшинников — Оружием мысли и слова ✦ Б. Парникель — Для кого она, индонезийская литература? 195

Антирубрика

ВИОРЕЛ КАКОВЯНУ — Рассказы *(Перевод с румынского М. Фридмана)* 204

Критика

Ю. КАГРАМАНОВ — Кто и почему воскрешает де Сада? 211

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА — Критерий — человечность *(О двух способах художественного обобщения)* 220

ДЖОН Г. МУР — Литература коренных американцев. Проблема достоверности *(Перевод с английского, комментарий и послесловие А. Ващенко)* 227

Отклики, встречи, впечатления

Л. ВАСИЛЬЕВА — Болгарский дом Ласло Надя 236

Среди книг

Издано в СССР

Михаил Вольпе — Найдет ли силы? *(Сонала Олуменсе. Две жизни прожить не дано)* ✦ Виктор Топоров — Этапы духовного роста *(Мария Луиза Кашниц. Мартовский ветер)* ✦ В. Рзянин — Пути спасения *(Э. Воиску. Кошмары и мечты)* 240

Издано за рубежом

Ю. Ковалев — Портрет патриарха *(Малькольм Каули. Цветы и листья. Заметки о современной американской литературе после 1941 года)* ✦ О. Лапатухина — Итоги и перспективы *(Советская полонистика. Литературоведение)* ✦ В. Седельник — Игры правосудия *(Фридрих Дюрренматт. Правосудие)* 244

Зарубежная литература в СССР 113

Советская литература за рубежом 219, 239

Из месяца в месяц

249

На 1-й странице обложки — ИРЖИ ПРОХАЗКА (ЧССР).

На 4-й странице обложки — ИОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ (НРБ).

© «Иностранная литература», 1986

ФРАНСИСКО СИОНИЛЬ-ХОСЕ

Два рассказа

■

Перевод с английского В. МАКАРЕНКО
Вступление ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

Советскому читателю уже знакомо имя филиппинского писателя Франсиско Сиониля-Хосе — у нас переведено и издано несколько его книг, романов и сборников рассказов. Но книжный океан необъятен, и, наверное, необходимо представить Сиониля-Хосе как бы впервые.

В 1984 году в Маниле, вручая мне сборник, из которого взяты публикуемые в нынешнем номере рассказы, Франсиско показал на полки, плотно заставленные его книгами, изданными в разных странах.

— Мне особенно дороги те мои книги, которые переведены в Советском Союзе. Ведь я был одним из первых филиппинских писателей, кто побывал в вашей стране и почувствовал вашу дружбу,— сказал он.

Хочется рассказать о первой нашей встрече. Она запомнилась, хотя произошла давно, в 1969 году,— ее обстоятельства не могли не остаться в памяти.

Я был приглашен на Филиппины группой писателей как переводчик стихотворения Хосе Рисаля, борца за независимость, казненного на исходе прошлого века. Я долго не мог получить въездной визы, поскольку наши страны тогда еще не имели дипломатических отношений. Более того, в паспортах филиппинцев значилось: поездки в социалистические страны и общение с коммунистами запрещается. Я полагал, что попасть на Филиппины не удастся, но мои коллеги сумели настоять на своем, и в конце концов я получил известие, что в Таиланде меня ждет виза. В Бангкоке, в филиппинском посольстве, я был предупрежден о строгих правилах пребывания на островах.

Но несмотря ни на что в Маниле меня, советского писателя и коммуниста, принимали очень радушно. В какой-то степени добрая встреча была вызвана и любопытством: печать страны обходила Советский Союз молчанием, корреспондентка центральной газеты, например, была крайне удивлена, услышав, что СССР воевал в минувшую войну не только с Японией, но и с фашистской Германией. Филиппинцы либо ничего не знали о нашей стране, либо имели о ней фантастически искаженное представление.

Можно понять мое удивление, когда на одной из центральных улиц старой Манилы я увидел в зеркальной витрине книжного магазина знаменитые советские плакаты: «Ты записался добровольцем?», «Родина-мать зовет», да еще и «Окно РОСТа» с рисунками и стихами Маяковского.

Я вошел в магазин и был встречен приветливым хозяином. Его звали Франсиско Сиониль-Хосе, он был тогда молод, разговаривал в несколько мечтательной манере, растягивая английские слова. Франсиско пригласил меня в квартиру, располагавшуюся за торговым залом и типографией, познакомил со своими детьми — они смотрели на меня во все глаза и, помнится, даже потрогали. Хозяин рассказал мне, что, возвращаясь из Западной Европы, он взял авиабилет транзитом через Москву. «Международная книга» помогла ему приобрести комплект плакатов — они теперь выставлены в витрине и вызывают большой интерес и удивление у жителей Манилы.

© Francisco Sionil José, 1980.

ФРАНСИСКО СИОНИЛЬ-ХОСЕ — FRANCISCO SIONIL JOSÉ (род. в 1924 г.)

Филиппинский англоязычный писатель — романист и новеллист. Автор сборников рассказов «Похититель богов и другие рассказы» («The God Stealer», 1968), «Две филиппинские женщины» («Two Filipino Women», 1981), «Платина» («Platinum», 1983) и др., романов «Месса» («Mass», 1982, 1984), «Пу-он» («Po-on», 1985). На русский язык переведены романы «Притворщики» (М., «Наука», 1977), «Мой брат, мой палач» (М., «Радуга», 1983), «Дерево» (М., «Радуга», 1983).

Публикуемые рассказы взяты из книги «Вайвайя и другие рассказы о Филиппинах» («Waywaya and Other Short Stories from the Philippines». Hong Kong, Heinemann Educational Books (Asia), Ltd., 1980).

В магазине я увидел на полке несколько произведений советских писателей (правда, стояли там и книги на русском языке, изданные нью-йоркскими и мюнхенскими издательствами, как известно не отличающимися симпатиями к нашей стране).

Следующая наша встреча состоялась в Москве. В первом же телефонном разговоре Франсиско радостно сообщил, что этот его визит свидетельствует о развитии отношений между нашими странами, об укреплении культурных связей, установлении новых контактов. Мой друг был очень рад, что может повезти на острова новые плакаты, книги, репродукции.

И вот в 1984 году меня, приехавшего в Манилу на конференцию «За безъядерный Тихий океан», вновь разыскал старый знакомый. Сионил-Хосе верен себе, он издает прогрессивный журнал, участвует в деятельности Общества дружбы «Филиппины — СССР», много пишет, работает, как бы сказали у нас, с молодыми писателями. Как раз в дни моего пребывания на островах в Багио проходило совещание молодых поэтов тихоокеанского региона, за ходом которого Франсиско следил с огромным вниманием — он был одним из его организаторов. Коллега обратил мое внимание на то, что форма проведения совещания заимствована у нашего Союза писателей. Досадно, что мне не удалось тогда воспользоваться приглашением и выступить в Багио с лекцией перед творческой молодежью Филиппин, Малайзии, Таиланда, Индонезии. Встреча молодых поэтов — совершенно новое явление для этих стран. В нем проявилось стремление преодолеть разобщенность, особенно характерную для многоязычных Филиппин: поэты, пишущие на тагальском, бисайском, пампанганском и других языках Филиппинских островов, почти ничего не знают друг о друге.

Сионил-Хосе пишет на английском, хотя принадлежит к народности илокано. Публикуемые рассказы, как мне кажется, дают очень емкое представление о творчестве этого писателя.

Рассказ «Вайвайя» — произведение романтичное и суровое, сочетающее элементы бытовой прозы и древнего сказания. Второй рассказ, с ироническим названием «Прогресс», горько и правдиво повествует о коррупции и чудовищных нравах филиппинской бюрократии. Но есть в нем и грустная поэтичность, вызывающая в памяти гоголевскую «Шинель». Трогает и вызывает острую жалость образ героини — маленькой чиновницы.

Впрочем, в этом вы убедитесь сами, а мне остается лишь порадоваться прочности нашей дружбы и тому, что советский читатель получает возможность продолжить свое знакомство с творчеством замечательного филиппинского писателя Франсиско Сионила-Хосе.

Вайва́йя

Первое, что ощутил Даяв, перебравшись через реку,— чувство огромного удовлетворения, словно выдержал величайшее из испытаний. Это было совсем не то, что прыгать через разложенный в яме костер, а настоящий боевой подвиг, который убедит его отца, у́ло — главу племени,— в том, что он вовсе не слабак, что, несмотря на кажущуюся склонность к праздности и пристрастие к сочинению стихов и пению, он обладает не меньшей отвагой, чем самые храбрые воины из племени дая[1]. Всю жизнь его держали взаперти, вроде тех поросят, которых мать откармливала в яме к празднику,— ведь земли дая окружены: на востоке морем, огромным и таинственным, а на западе могучей рекой, за которой простирается лес и высится гора,— там обитает племя тага-лауд[2], давний и непримиримый враг его народа.

Даяв взял с собой только смотанную в круг витую веревку и свой длинный нож и пересек реку ночью, предварительно вымазав лицо и тело сажей. А до того прятался в зарослях тростника на этом берегу, потому что *А́по Була́н* — Господин Месяц — не только освещал ему путь, но и мог выдать, если кто-то наблюдал за переправой.

Позднее, много дней спустя, Даяв старался уяснить себе, зачем он все это делал, почему отправился в одиночку и чего хотел добиться. Прежде всего — река, барьер, скрывавший новые предметы, новые места и, может быть, новую жизнь. Его обуревала жажда увидеть и узнать все это. Сколько раз он, неотрывно глядя в небо, задумчиво следил за бегущими наперегонки облаками, наблюдал за

[1] Дая, или тага-дая,— живущие на востоке, восточные. *(Здесь и далее прим. перев.)*.

[2] Лауд, или тага-лауд,— живущие на западе, западные.

изменчивыми волнами, когда они накатываются на песок, оставляя на нем белую пену; сколько раз смотрел, как кружатся птицы, внимательно разглядывал следы муравьев. Все они словно следовали какому-то замыслу, который невозможно разгадать, как никому не дано узнать, что лежит за рекой или за морем, пока не переплывешь их.

Однажды он взобрался на высоченный помост, сооруженный на окраине общинных земель, и с высоты оглядел весь мир вокруг: сияющее море на востоке и западе; у самого горизонта, за неровной кромкой темнеющего леса, горы — багряно-зеленые в последних лучах уходящего дня. И он преисполнился зависти к тем, кто обитал там, потому что им дано было все это видеть. А может быть, не только все видеть, но и все знать?

Перейти реку в сухое время года было не так уж и трудно: здесь и там из воды выглядывали островки камыша, местами громоздились принесенные с гор деревья, облепленные мхом и сухими листьями. Между ними поблескивали прозрачные озерца с ракушками на дне, там наверняка водилась рыба тарпон. Вот он и пересек границу, за которой на каждом шагу подстерегает опасность. С раннего детства ему, да и всем молодым тага-дая, вдалбливали в голову, что пересечь реку означало отправиться на войну.

Первый раз он пришел сюда, когда ему исполнилось тринадцать лет, вместе с двадцатью мальчиками, его одногодками. Они шли целый день и всю ночь, испытывая тревогу и страх, так как с ними не было взрослых воинов, чтобы защитить их,— только старый сморщенный знахарь, который совершал это паломничество каждый год. Их научили быть хитрыми и осторожными, а здесь, в лесу, начинавшемся за полями и зарослями грубой и жесткой травы *когóн*, могли таиться в засаде враги. Мальчики еще не были воинами, их, связанных по рукам и ногам, утащили бы к лаудам в рабство. Они шли всю дорогу без отдыха, и им ни разу не дали поесть, поэтому к утру следующего дня, когда показалась река, подростки уже еле двигались от слабости, голодные и смертельно усталые. Только страх перед рабством держал их на ногах. Там, на песчаном берегу, в высоких зарослях камыша, увенчанных ослепительно белыми султанами, они уселись на корточки в ряд, ожидая, пока старый знахарь наточит свой нож и приготовит странную смесь из табака и разных лесных трав. Потом, сделав каждому обрезание, он прижигал этим снадобьем раны.

Даяв переправлялся сюда третью ночь подряд, и неотступное поначалу чувство опасности уже не было таким острым, как в первый раз, особенно когда залаяла собака и появился человек с зажженной сосновой веткой и копьем, видимо вообразивший, что это ящерица подбирается к цыплятам. Даяву пришлось скатиться в кусты, а потом вернуться обратно. К тому времени он успел хорошо изучить селение, и потому в неверном свете убывающей луны ему удалось незаметно ускользнуть, сделав порядочный крюк по рисовым террасам на горных склонах, а затем еще продираться через непролазные кусты и заросли когона.

Когда он добрался до реки, еще не рассвело. Его любознательность была полностью удовлетворена: он видел, как молодежь играла при свете луны, слышал их песни, разговоры. Даяв нагляделся на ремесленные изделия лаудов, посмотрел рисовые поля и посадки сладкого картофеля. Их искусность его изумила. Он возвратился в свое убежище на берегу — туда, где река делала небольшой изгиб, скрытый стеной низкорослого кустарника. Там был небольшой пруд, питаемый источником, а позади него белела песчаная отмель, обрамленная побегами когона, среди которых он спал прошлой ночью. Даяв следил, чтобы на песке не осталось его следов, и тщательно заметал их, когда ходил к источнику напиться. Теперь нужно было

выспаться и отдохнуть, прежде чем снова перебраться через реку на свою землю, которая укроет и надежно защитит.

Утро уже давно вступило в свои права, когда Даяв наконец пробудился, чутко прислушиваясь к птичьему щебету и обезьяньей трескотне, вдыхая привычные запахи мха и свежей зелени. Не шевелясь, он лежал на спине, уставившись взглядом в синее, с белыми хлопьями облаков небо, как вдруг еле слышный шелест справа вывел юношу из задумчивости. Кто-то шел по траве и сухим листьям. Человек приближался, не пытаясь скрывать свое присутствие.

Она появилась в поле его зрения внезапно — девушка, прекрасная, как раннее утро, и столь же очаровательная, с тяжелым узлом волос над левым ухом. Изящные голубые татуировки в виде цветков тонкими линиями сбегали по ее рукам к запястьям. Она опустилась на колени у самого края заводи, любуясь своим отражением в воде. Затем поднялась, одним движением развязала на плече узел синего сшитого мешком платья, и оно упало к ее ступням. Девушка стояла обнаженная и прекрасная, как сама природа, подставив лицо ласковым лучам солнца. Вверх были устремлены и ее молодые груди с торчащими сосками. Юноша перевел взгляд на гладкий и плоский живот, ложбинку между бедрами, скользнул взглядом по гибким и стройным ногам. А девушка нагнулась, распустила ременные завязки сандалий и легко, проворно вошла в воду, попробовав ее сначала ножкой и слегка поежившись. Окунулась, подняв каскад брызг, нырнула и поплыла по мелководью. В чистой, прозрачной воде ему была видна вся ее гибкая фигура: она плыла на спине, и мокрая грудь блестела на солнце.

Даяв, наблюдая за купальщицей, прислушивался: нужно было знать, нет ли с ней кого-либо еще. Но его острый слух улавливал лишь легкое дуновение ветерка в ветвях деревьев да журчание воды в реке у валунов и на отмелях. Он прихватил с собой в качестве трофеев железный лемех для плуга, кусок только что сотканной ткани и колчан стрел с железными наконечниками. Теперь он еще приведет домой рабыню, здоровую, молодую и такую красивую. Судя по сандалиям и золотым браслетам, она не была простой крестьянкой, а принадлежала к верхушке лаудов. Его мысль работала быстро, он прикидывал, как сподручнее захватить ее так, чтобы она не успела и пикнуть.

Казалось, что девушка собирается плавать без конца, но вот наконец она вышла из воды и направилась к своей одежде. Даяв затаился неподалеку, припав к земле, и как только она наклонилась за платьем, вскочил на ноги, крепко обхватил ее поперек туловища и зажал рот рукой. Тут он просчитался — она здорово укусила его за руку. Острая боль пронзила ладонь, и его реакция была мгновенной: Даяв резко повернул девушку к себе и ударил со всей силой по щеке. Ее лицо исказилось от страха и изумления, она покачнулась и упала навзничь. Даяв связал своей добыче руки и ноги и заткнул кляпом рот. Затем собрал ее одежду и уничтожил следы борьбы на песке. Взвалив пленницу на плечи, он направился к воде.

Даяв теперь не очень беспокоился, что приходится переходить реку при свете дня: если его станут преследовать, он легко уйдет от погони, ведь родной лес вот он, рядом, и только большой храбрец отважился бы войти за ним туда. И все-таки, бредя по колено в воде, он раз или два оглянулся, но никого не увидел.

Выбравшись на берег, Даяв положил обнаженную девушку на траву и возвратился к реке, чтобы смыть с себя золу и трехдневную грязь. Когда он вернулся, девушка уже пришла в себя, при его приближении она съежилась от страха.

— А ты тяжелая,— проговорил Даяв, улыбнувшись.— Вот посмотри, что ты сделала мне с рукой, дикая кошка!

Он помахал у нее перед носом правой ладонью, которая уже начала опухать. Пониже большого пальца глубоко отпечатались следы зубов. Девушка что-то сердито промычала, недовольно завертела головой. Попыталась подняться на ноги, но, поняв, что сопротивляться бесполезно, затихла. При ярком солнечном свете он рассмотрел ее получше, и она показалась ему еще прекрасней и обольстительней, чем в первый раз. Недаром считалось, что женщины лаудов красивее темнокожих дая.

— А на тебя приятно взглянуть,— сказал Даяв, придвигаясь к ней поближе, и ущипнул девушку за сосок. Она кинула на него свирепый взгляд, но не двинулась с места, а ее соски на глазах затвердели. Довольный собой, Даяв проговорил со смешком:

— Если обещаешь вести себя спокойно, я отдам тебе платье.

Девушка тут же согласно закивала головой.

— Нам еще идти и идти — целый день, и я не собираюсь тащить тебя на себе.— Он помог ей подняться на ноги. И когда она встала, отметил, что она совсем маленькая, едва достает ему до плеча. Даяв приблизился к ней и провел рукой по изгибу спины, а потом развязал ее. Освобожденная от пут, девушка распрямила затекшие руки и переступила с ноги на ногу, потом подняла и надела свое платье. Когда она снова взглянула на него, в ее взгляде была мольба.

— Вот так, я тебя еще стукну, если не смиришься.— Даяв показал ей кулак.— А мне совсем не хочется тебя бить.

Незадолго до полудня он отыскал бамбуковые колена с питьевой водой, сушеное мясо и лепешки с коричневым сахаром, которые предусмотрительно спрятал в дупле высохшего дерева. Даяв ел с жадностью, а из того, что осталось, немного дал ей. Девушка, несомненно, тоже была голодна, ее мучила жажда, но она отказалась от всего, что он ей предлагал.

— Не хочешь есть, ходи голодная,— пожал он плечами.— Тогда дальше пойдешь на пустой желудок.

До наступления темноты она так и не сказала ни слова. Челюсть у нее сильно опухла, и Даяв подумал, уж не откусила ли она себе язык. В свете сумерек он взял ее за подбородок, чтобы проверить, так ли это. Девушка в страхе отшатнулась. «А ну, открой рот!» — потребовал он, но она не послушалась. Даяв грозно взглянул на нее и погрозил кулаком. Тогда только она медленно раскрыла рот. Нет, язык оказался на месте, а дыхание было теплым и сладким, как у ребенка. Он оглядел угрюмые глаза, рот, нос, все больше и больше утверждаясь в мысли, что ему досталась очень красивая рабыня, лучше всех молодых женщин, которых он знал, может быть, даже лучше Ливливы, с которой он провел столько ночей.

Они спустились в поросшую молодыми деревцами лощину, сухую в это время года. Даяв велел девушке прислониться спиной к дереву и связал ей руки позади ствола, а потом спутал и ноги. Он боялся совсем не того, что она нападет на него ночью, но вдруг ей вздумалось бы убежать, и тогда ее мог взять в плен кто-нибудь из их же дая и он уже утратил бы все права на нее. Она, казалось, уже смирилась со своей судьбой и не пыталась больше протестовать.

Тьма быстро сгустилась. Светлячки то и дело взлетали из высокой травы и будто подмигивали им. Высыпали звезды. Уже оставалось совсем немного до наступления сезона дождей. Даяв устал, но сон все не шел к нему. Он перевернулся на другой бок. Девушка сидела, опираясь спиной о ствол дерева и притянув к себе колени. Неясно виднелись очертания ее лица. Она дышала ровно и спокойно.

— Как тебя зовут?

Она не ответила.

— Меня зовут Даяв. Я — старший сын нашего уло. У меня есть младший брат, Парбангон. Ему будут делать обрезание еще до наступления дождей. А ты знаешь какие-нибудь песни лаудов, а?

Она опять ничего не ответила.

— А я люблю петь. Я даже сам сочиняю песни. Вот послушай...

И он быстро придумал несколько строк и подобрал к ним мелодию:

Хоть река и глубока,
Но ее мы перейдем.
Кто построит этот мост?
Может быть, любви рука
Иль сердечная тоска...

— Ну как, нравится? — спросил он, выдержав паузу.

Печальное лицо девушки оставалось неподвижным, глаза были закрыты, словно она задумалась о чем-то.

— Так ты не любишь музыку... Вот глупая девка. И как тебя угораздило оказаться одной так далеко от дома? Что ты там все-таки делала в одиночку? — Он помолчал и рассмеялся: — Да, ты можешь тоже меня спросить, что я там делал.

Снова стало тихо. Только слышался легкий шум ветра в траве да жизнерадостный стрекот цикад в кустарнике.

— Это *Апо Лангит* — Господин Небо — привел сюда меня и тебя. Это Апо Лангит сделал тебя моей рабыней...

На миг ему очень захотелось развязать ее и всецело подчинить себе, но Даяв тут же отогнал эту мысль, он не собирался пользоваться своей силой, пусть она сама придет к нему, когда захочет, как захотела прийти Ливлива. Ливлива ждет его, и с мыслью о ней он наконец заснул.

Утром Даяв проснулся от резкого толчка. Открыв глаза, он понял, что это она ткнула его ногой и сделала это не со злости, а от боли. Девушка перебирала ногами, елозила спиной по стволу не в силах подняться. Он встал и, осмотрев ее запястья, заметил, что они здорово распухли. Молодой дая намеревался научить пленницу послушанию, смирить ее, но выражение боли на лице девушки тронуло его, и Даяв развязал веревку. Она тут же отняла руки от ствола. Затем он освободил от пут ее ноги. Почувствовав наконец волю, пленница встала и, слегка прихрамывая, направилась в кусты вниз по склону. Даяв не пошел за ней, решив, что ей надо облегчиться, но она долго не возвращалась, и он отправился на поиски. Девушка лежала на траве лицом вниз и беззвучно рыдала. Она повернулась к нему и спросила:

— Почему ты не убьешь меня? Зачем ты меня мучаешь?

Пленница впервые заговорила, и ему было понятно все сказанное, она говорила на его родном языке, только слова произносила немного иначе.

— Ты теперь на нашей земле,— ответил юноша холодно.— Я взял тебя в плен, ты — рабыня, и если ты попытаешься сбежать, я тут же убью тебя. Так что знай: твоя жизнь в твоих руках.— И немного погодя резко, как воин, закончил: — Пошли!

Она поднялась с земли и поспешила за ним.

Незадолго до полудня показались первые дома дая, поля, подготовленные для сева. Первым побуждением Даява было раздеть ее догола и провести так через все селение, чтобы окончательно унизить,— этого требовал обычай. Опухоль у нее на лице опала, но на ее месте синел кровоподтек. Запястья, пораненные веревкой, кровоточили. Но Даяв не стал раздевать пленницу, а только несильно связал ей руки и так повел ее на привязи. Позже, размышляя, отчего он не стал обнажать девушку, Даяв понял: ему не хотелось, чтоб у кого-то еще она вызвала желание, как это случилось с ним, когда он увидел ее впервые.

Женщины, все как одна, повыскакивали из домов, оставив без присмотра очаги, где готовился обед, высыпала детвора, собрались мужчины, те, кто были не в поле и не на берегу. Дети окружили

рабыню со всех сторон, дергали за платье, трогали браслеты, корчили ей рожи. Девушка ступала, высоко подняв голову и глядя прямо перед собой, но в глазах застыл страх, и раз или два она споткнулась.

— Даяв, вот это добыча!

— Умеет она готовить?

— А ткать?

— Бедрами вертеть может?

— Сочная и плотненькая, правда?

Они еще долго визжали и хохотали, и Даяв смеялся вместе с ними, снисходительно отвечая на приветствия, довольный тем, что им известно, где он был, гордый, что они рассматривают его рабыню, а также новый колчан, кусок ткани, перекинутый через плечо, и лемех, который он держал под мышкой.

День катился к закату, а он еще не был у отца — уло племени, хотя законы приличия требовали этого. Даяв ведь никому не сказал, куда отправился, даже Парбангону, своему брату, который частенько навещал его, приходя послушать, как он поет, подыгрывая себе на кутибенге — местной гитаре.

Ливлива появилась вскоре после полудня и принесла с собой чашу дымящихся баклажанов, горькую дыню, сваренную с луком и помидорами, сушеную рыбу и горшочек риса. Ее волосы лоснились от кокосового масла. Пока он отдыхал после еды, она принялась массировать ему мышцы, умащая их маслом, ласкала и возбуждала его. Отослав рабыню мыть горшки, она затворила бамбуковую дверь и поманила к себе. Все получилось так, как он и ожидал.

Пробудившись, Даяв увидел, что Ливлива уже ушла, а рабыня сидит рядом и обмахивает его небольшим пальмовым листом. Он показал место, где она будет спать,— в углу кухни, среди горшков и сетей, и объяснил, что́ ей предстоит делать каждый день — от восхода и до заката. Девушка внимательно слушала его, а проходящие мимо женщины старались заглянуть в дом. Детишки, еще не успевшие насмотреться на пленницу, выкрикивали по ее адресу непристойности.

— Ну, а как тебя звать? — спросил Даяв, собираясь идти к отцу.

— Вайвайя,— ответила она с поклоном. Он не мог не заметить, что она опять плакала, а Даяв не переносил женских слез.

В это время дня уло обыкновенно бывал в общинном доме, исполняя свои обязанности вождя, состоявшие в том, чтобы вовремя подать совет и помочь тем, кто в этом нуждался, распределить посевной рис на очередной сезон и новые делянки, нарядить людей на общественные работы. Даяв любил своего отца и не желал быть непослушным, но его интересовали совсем иные вещи. В то время, как другие молодые слушали беседы старших, он изнывал от скуки и предпочитал бродить по лесу или по берегу моря. Бог не обидел его силой, но в то время, как остальные юноши упражнялись в стрельбе из лука, усиленно готовясь стать настоящими воинами, он находил больше удовольствия в игре на кутибенге и сочинении песен. Не волновали его и праздники, когда разжигались огромные костры в яме, выложенной поленьями, через которые нужно было прыгать над ревущим пламенем. Его молодые соплеменники, кому ныне предстояло стать полноправными воинами, выстраивались в очередь и один за другим разбегались и прыгали через эту огромную бездну. Предварительно они долго тренировались, а он пренебрегал этим. И когда подошел его черед, ему стало страшновато, Даяв понял, что яма много шире, нежели ему представлялось раньше. Он, конечно, разбежался и прыгнул, как все, но еле дотянул до другого края ямы и прижег себе пятки, чем опозорил своего отца, но Даяву и это было

нипочем. В конце концов, самым последним испытанием для воина было перебраться через реку.

И он сделал это, он пробыл у лаудов три ночи, а что там узнал? Какие у них воины — умелые, свирепые? Собираются ли они напасть на дая и разрушить все, что создавали его отец и народ? Ведь так говорил отец ему, да и всем тага-дая; он слышал об этом, когда был еще совсем маленьким, и когда начинал учиться, и уже теперь, когда стали поговаривать, что ула стареет и в его густой гриве появляются седые пряди. Но он все еще оставался ула, вместилищем мудрости и силы, и останется им до тех пор, пока кто-то более хитрый, сильный и мудрый не поведет воинов в новую битву.

Вот показался общинный дом — внушительное сооружение, не ниже бамбуковых зарослей, с высокой, крутой крышей, настил которой был толщиной с руку, такая крыша может простоять и сотню лет. Пол — из самой прочной древесины, деревья для него притащили волоком на водяных буйволах из лощины. Бамбук, что пошел на стены, был выдержан в морской воде и не боялся никаких насекомых. Столбы из сагата [1], на которых стоял дом, в обхвате были не уже бедра взрослого мужчины. Над стенами, под самым карнизом, на ротанговых шестах красовались черепа врагов.

Даяву пришлось подождать, пока все не разошлись, только тогда ула подозвал его. Красивое смуглое лицо вождя было мрачно.

— Тебе известно, что, если б ты не вернулся сегодня, завтра мы бы отправили людей к лаудам искать тебя?

— Прости меня, отец,— проговорил Даяв с искренним раскаянием.

— Ну, и как далеко ты ходил?

— Я перебрался через реку, отец.— Ему хотелось сказать больше, но он сдержал себя.

— А что ты там делал?

— Мне хотелось узнать получше врагов...

— Это глупо — ходить туда в одиночку, когда некому прикрыть тебя сзади. И потом эта девка...

Даяв улыбнулся:

— Она как дикая кошка, но я смогу усмирить ее. И от нее я больше узнаю о лаудах. Но одно я уже понял: они, тага-лауды, такие же, как мы, и я думаю, они хотят жить в мире.

— Мы тоже хотим,— ответил ула.— Но времена меняются, и мы должны быть готовы к войне. А ты не готовишься к войне. У тебя на уме стихи да приключения...

В голосе отца зазвучал откровенный сарказм, он не скрывал неудовольствия по поводу того, что его старший сын, способный сочинять музыку, знающий толк в словах и по-своему умный, не чувствовал тяги к сражениям, к политике, к искусству правления. Он уже в годах, а кому передавать накопленную мудрость, опыт? Даяв, его сын, его кровь, околдован талисманом моря и леса, а ведь он мог бы править и объединять, завоевывать новые земли, земли не только лаудов, но и абагатанов, амиананов.

Когда Даяв был еще совсем маленьким, он смотрел на ула с благоговейным трепетом; он гордился, что его отец — уважаемый и любимый вождь, что он водит в бой воинов, создает у тага-дая чувство единства — их лучшее оружие в борьбе с врагами, оберегавшее их столько лет. Со временем, однако, Даяв стал замечать, что привилегии, которыми по праву власти пользовался сам ула, несмотря на его хваленую справедливость, распространялись на наиболее льстивых из числа родственников и прочих прихлебателей. Иначе как можно было объяснить то, что даже во время засухи его мать могла позволить себе отправиться в гости к амиананам с целой свитой подруг

[1] Дерево с твердой древесиной.

на двух лодках, груженных медом и рисом. Возвращалась она с пустыми руками, если не считать бус и бесконечных рассказов о щедрых пирах, какие задавали в ее честь богатые и власть имущие. Даяву было непонятно, отчего брат его матери мог пребывать в постоянной праздности, в то время как все другие трудились в поте лица; непонятно, почему отец мог раздавать общинное зерно своим любимчикам из воинов, да еще тем, кто даже не принимал участия в боях с лаудами. И все же после долгих лет смуты и голода ула дал народу мир, возможность спокойно трудиться и жить, не опасаясь, что лауды спустятся со своей горы и всех перебьют.

— Нужно прекратить войну, отец,— тихо сказал Даяв.

— Так ты же взял рабыню,— прошипел отец.— А это значит, что они постараются отомстить.

И снова ула оказывался прав. Даяв был уничтожен — не умственным превосходством отца, а осознанием необдуманности собственного поступка. Если бы он только дал себе труд задуматься о последствиях того, что совершил! Размышляя об этом позже, Даяв вдруг понял, что пал жертвой колдовского очарования Вайвайи, которому не смог противиться. Опять, как бывало уже не раз, в голове юноши вспыхнула молнией — нет, скорее пронзила достоверным знанием мысль, что его проклятие таится в нем самом. Даяв спустился по деревянной лестнице на широкий, поросший травой двор и еще раз ощутил побуждение уйти от дая. Как часто он думал об этом, но всегда ему казалось, что в эту землю он врос корнями. Когда приходили корабли Узкоглазых и приставали к причалу, сооруженному ими же из кораллов, Даяву всегда хотелось знать, удастся ли ему навсегда избавиться от пустых сомнений и чувства неудовлетворенности, если они возьмут его с собой. Но Узкоглазые грузили свои суда табаком и рисом в обмен на ножи, тарелки, бусы и уплывали прочь, а он все не решался спросить, можно ли ему уехать с ними.

Уже спустились сумерки, когда Даяв подошел к своему дому. Еще издалека он увидел, что Парбангон сидит у лестницы, бренча на кутибенге. Его младший брат, наверное, собирается остаться у него на всю ночь, чтобы задать тысячу вопросов и послушать новые песни.

Вайвайя теперь вела хозяйство в доме. Ливлива, ревниво следя за ней, насмешливо улыбалась и люто завидовала: если бы только Даяв попросил ее, она охотно делала бы все это сама. Она говорила, что Вайвайя все равно не выдержит, что она все делает не так — не так ходит, не так стоит, и это потому, что она из лаудов. Пожилые женщины поддерживали Ливливу: рабыня ничего не смыслила в порядках, принятых у дая. Однако все кухонные горшки у нее сияли, дрова под домом лежали аккуратной поленницей, а в ларе всегда было обрушенное зерно. Вайвайя залатала прохудившуюся травяную крышу, а ослабевшие бамбуковые половицы прочно и надежно связала ротанговыми стеблями.

Рабыня попросила разрешения ткать, и Даяв отыскал ей один из ткацких станков, оставшихся еще от его бабки, принес хлопка и растительных красок, которые она смешала каким-то особым способом, неизвестным женщинам дая. Она не стала использовать рисунки родных ей мест, а придумала новые, в которых преобладали красные и черные цвета тага-дая. И через некоторое время сшила штаны Даяву, Парбангону и только потом — платье себе.

Поначалу Даяв часто не ночевал дома. Бóльшую часть времени он проводил в общинном доме для неженатых, а в хорошую погоду отправлялся с Ливливой на побережье или в поля. Когда он поутру возвращался домой, его всегда ожидала тарелка сваренного на пару риса, чаша имбирной настойки и вежливые расспросы о том, как прошла ночь, выспался ли он и — непременно — как себя чувствует Ливлива.

Однажды ночью Даяв проснулся от того, что у него пересохло в горле, и встал напиться. Вайвайя тут же проснулась и села. В темноте он подошел к ней, и им внезапно овладело желание сжать ее в объятиях. Казалось, ничто не в силах остановить его: ведь она принадлежит ему. Но в памяти всплыли прежние безрассудные порывы, его вечное проклятье, и Даяв отшатнулся, шепча: «Молния! Молния!»

Апо Лангит был к ним добр, и год выдался удачным: рис вырос высоким, и урожай обещал быть обильным. К тому времени, когда начали дуть восточные ветры, поля уже были убраны. И корабли Узкоглазых с перепончатыми, как крылья летучей мыши, парусами, груженные кувшинами и тарелками, колокольчиками и гонгами, уже огибали вновь морскую косу. Даже рабы получили новую одежду, а некоторые из них — и свободу, но они предпочли остаться с дая, чтобы делить с ними мир и процветание.

Да, это был добрый год, но только не для Вайвайи. У нее впервые в жизни начался сильный приступ лихорадки — перед самой уборкой урожая. И хотя Парбангон приготовил ей лекарственный отвар, девушке становилось все хуже. Даяв совершил жертвоприношение *Апо Дáга* — Госпоже Земле. Исполненный дурных предчувствий и напуганный, он поставил в угол, где она спала, чашу с клейким рисом и сваренными вкрутую яйцами. Лихорадка не оставляла Вайвайю еще несколько дней, и когда она наконец вновь смогла делать свою работу, ее шатало от слабости.

Вайвайя была приветливой и дружелюбной. Она улыбалась всем, кого встречала на пути, с почтительным уважением относилась к родственникам и друзьям Даява. Он был убежден, что она родом из знатной семьи, хотя девушка никогда и ничем не выдавала этого. Но почему же она отправилась к реке? После Вайвайя сама рассказывала, что виной всему была ее любознательность, ей тоже захотелось перебраться через реку, даже если потом пришлось бы бежать быстро, как олень. Она часто взбиралась на гору и обозревала весь широкий мир: и лес, и равнину, и реку, впадавшую в море.

Однажды Даяв позвал ее ночью к морю, когда прибой был грозен, а звезды так и не появились на небе. Вайвайя сперва боялась, но он крепко взял ее за руку и повел в воду. Они грудью встретили обрушившиеся на них валы и добрались туда, где море было поспокойней, хоть волны и поднимались до самых плеч.

Даяву хотелось как-то скрасить ее одиночество, хотелось объяснить, чем вызвана неприязнь его соплеменников, но у него это не очень получилось.

— Дело не в тебе самой, просто, глядя на тебя, они вспоминают...— начал он.

В полутьме ее глаза сияли, лицо осветилось благодарной улыбкой. Она ответила уклончиво:

— Не беспокойся, я могу жить где угодно, даже за морем, хоть и не знаю, что там за жизнь.

— Труднее всего понять, о чем думают другие люди, чужой народ, мы этого никогда не узнаем,— сказал Даяв.

Ей все тяжелее становилось делать работу по дому, сносить постоянные оскорбления. Она похудела, осунулась, один раз во время месяца дождей он застал ее за ткацким станком с неподвижным челноком в руках. Щеки Вайвайи были мокры от слез. Даява захлестнула волна сострадания — ведь ему с самого начала было ее жалко.

Рано утром он приготовил еды в долгий путь — сушеное мясо, рис, сваренный в кокосовом молоке, соль, сахар, воду в бамбуковых трубках. Сказал Вайвайе, чтобы собрала свои вещи, хотя у нее почти ничего и не было, кроме старого платья, сандалий из буйволиной кожи, которые уже порядком износились, да куска ткани ее собственного изготовления. Они оставили селение дая еще до восхода солнца и к исходу следующего дня были уже у реки.

Всю ночь Даяв был совершенно спокоен, а тут, взглянув, как она послушно шагает рядом, он вдруг почувствовал, что его сердце полно печали. Он сам вел ее назад и намеревался проводить как можно дальше, за реку, поэтому пришлось дожидаться темноты и звезд на небе. В одном месте Вайвайя оступилась на мшистом валуне — он подхватил ее, ощутив тепло и упругость гибкого тела.

Они добрались до поворота реки на другой стороне и, как и намеревался Даяв, отыскали место, откуда он тогда заметил ее. Перекусив холодным рисом и сушеной рыбой и напившись воды, они улеглись на песке, подстелив кусок сотканной ею ткани. Он заснул быстро, а проснувшись с первыми проблесками света, с радостью обнаружил, что она здесь, рядом с ним. Даяв долго любовался ею: ровно дышащей грудью, полураскрытыми губами, закрытыми глазами. Потом она зашевелилась.

— А я думал, ты уйдешь этой ночью,— сказал Даяв.— Ты догадалась, зачем мы с тобой здесь. Я причинил тебе столько зла, принес столько печали. Я все делал не так с самого начала, теперь я понял это.

Он поднялся на ноги, вытащил из притороченных на боку ножен свой нож и протянул ей.

— Теперь ты можешь отомстить мне,— сказал он просто.

Глаза Вайвайи округлились от изумления и неожиданности. Она бросилась на колени, обхватила руками его ноги и стала целовать их.

— Даяв, я — твоя,— только и смогла прошептать она.

Так все и началось. Просыпаясь по утрам, когда в траве еще блестела роса и над домами начинал виться серый дымок растапливаемых очагов, он неизменно находил приготовленный завтрак, а она молча ждала рядом, готовая исполнить любое его желание.

Их первая близость стала для него откровением. Даяв взял ее с собой в общинный лес собирать дрова: надо было сделать запас на сезон дождей. Вайвайя несла свою поклажу на голове, ловко балансируя тяжелым грузом, а он — на плече, на коротком шесте. День был жаркий, и капли пота блестели у нее на затылке, как жемчужины.

Неподалеку от недавно расчищенного участка леса он почувствовал, что устал, и опустил свою ношу на землю, потом помог освободиться от поклажи ей. Она стояла рядом с ним, и он ощущал запах ее разгоряченного тела, волос. Даяв увлек ее в тень огромного дерева. Вайвайя встретила его пристальный взгляд без страха и притворства, как будто тоже только и ждала этого мига. Одним проворным движением она распустила узел на плече, и платье само упало к ее ногам. Вайвайя стояла перед ним совсем как тогда, когда он увидел ее впервые, только теперь в глазах не было смятения и ужаса.

По опытности ей было далеко до Ливливы. Даяв ощутил ее невысказанную просьбу научить ее всему, что он умеет, но в это мгновение он знал только одно — погасить огонь внезапно вспыхнувшей страсти. Потом Даяв откинулся на спину, дыша ровно и спокойно. Солнечные лучи освещали их сквозь зеленую листву. Вайвайя неподвижно лежала рядом с ним, и он нежно гладил ее шелковистый плоский живот.

— Я не сделал тебе больно? — спросил он через некоторое время.

— Я буду лучше в следующий раз,— ответила она.— Мне стыдно, что я не знаю, как сделать, чтобы тебе было приятно. Ты научишь меня...

Она продолжала спать на кухне, кроме тех ночей, когда он звал ее к себе, но месяца через два, когда ее беременность уже не вызывала сомнений, Даяв раз и навсегда запретил ей спать там.

В то утро, еще до того как люди отправились в поля или вышли в море, Даяв натянул широкую рубашку, которую она ему соткала, а она облачилась в старое платье лаудов и возложила на голову сплетен-

ный Парбангоном венок из *калачу́чи*. Они спустились по ступеням, сияя счастьем. Парбангон выступал впереди них, дуя изо всех сил в буйволиный рог, резкие звуки которого гулким эхом разносились в утренней тишине. Они прошли рука об руку сначала в дальний конец селения, что ближе к морю, и люди глазели на них изо всех окон и дворов. Парни улыбались, но девушки не приветствовали молодых. Это было делом рук Ливливы, которая прокляла их.

Обойдя всю деревню, они подошли к отцовскому дому, расположенному подле общинного. Молодые застыли внизу, у первых ступеней лестницы, а Парбангон дул и дул в свой рог.

Уло вышел к ним мрачнее тучи и взмахом руки велел младшему сыну прекратить этот трубный рев. Он обратился к Даяву, медленно покачивая гордой головой.

— Отныне, Даяв,— в голосе его было больше печали, нежели гнева,— тебе никогда не бывать уло.

— Зато я буду счастлив, отец,— ответил юноша, глядя отцу прямо в глаза. А наверху, в доме, в это время причитала мать, разделявшая скорбь отца и пытавшаяся понять, чем она так прогневила Апо Лангит. Вечером, когда, соблюдая обычай, Вайвайя пришла к ней с дарами — рисом и кокосовым молоком, Пинтас приняла и то и другое, но тут же на глазах своей невестки вывалила оба горшка в яму поросятам.

Ненависть — самое сильное и грубое из чувств, которые объединяют людей, и Даяв знал, что именно ненавистью объяснялось отношение тага-дая к Вайвайе и теперь к нему самому, сделавшемуся всеобщим посмешищем. Откуда все это идет? Чем объясняется? Наверное, от страха, от незащищенности его родного народа. И уло, его отец, знал, как управлять ненавистью. Это он, его семья, родичи и друзья его семьи пользовались щедрыми плодами, рождаемыми ею. Конечно, без ненависти и страха уло никогда бы не удалось превратить земли дая в настоящую твердыню. Но какой ценой!

Зная все это, Даяв нередко представлял себе, что бы получилось, если б он вдруг убежал в джунгли. Он не раз мысленно проигрывал в уме этот замысел, воображая, как начнет жизнь заново: голыми руками расчистит участок земли от девственного леса, высадит на этом клочке, отвоеванном у дикой природы, семена. Он будет постоянно трудиться в поте лица, будет все время начеку. Но как защитить посевы от диких свиней, грабителей-оленей и крыс? Никакой изгородью не спасти поле от диких буйволов и не уберечь созревшее зерно от птиц. Насколько проще делать все это по раз и навсегда установленному порядку, следуя указаниям отца. Здесь мы все вместе, и привычные устои оберегают общественное положение и безопасность каждого.

А как с этим в других землях?

Ненависть и несправедливость есть везде, он и сам отдавал им дань. Взять хотя бы то, что он сделал с Вайвайей: ведь он не любит ее, а просто владеет ею. И он так же виновен, как и его отец, как те воины, которые подкарауливали тага-лаудов в засаде, нападали на них, убивали, калечили...

По вечерам, когда Даяв перебирал струны своего кутибенга и тихонько напевал, песни выходили у него одна печальней другой. И Вайвайя понимала его.

— Тебе плохо? Отчего ты несчастлив? — спрашивала она.

— Из-за того, что несчастлива ты.

— С тобой я всегда счастлива.

— А если меня не будет?

— Я выстою,— отвечала она.

Даяв встряхнул головой — он решился. Надо еще раз поговорить с уло, надо сказать ему, что пора наконец развеять этот удушающий туман. Он старался ясно и четко оформить мысли, которые ему предстояло выразить. Наши крыши увешаны черепами врагов, и

они не взывают к духам о мести, не тревожат наш сон, потому что их смерть — радость для нас. Но ведь их дома тоже украшены черепами наших близких, подвергающихся там бесчестью. Что нам принесла война? Женщины причитают, вместо того чтобы петь. Сколько пролито крови? А зачем? Ею не напоить поля, не утолить жажду, не смыть грязь с наших тел. И плотью наших врагов не наполнить желудки, не удобрить земли. И кто знает, что чувствовали те, кого настигли наши копья, что за потомство они могли произвести, сколько еще полей расчистить от леса под посев? Можно думать и гадать об этом сколько угодно, но уже никогда не вернуть тех, кого мы обрекли на смерть.

Они с отцом неторопливо шли по песку, справа колыхались волны, посеребренные лунным светом. Стоял тихий, спокойный вечер, лишь изредка доносились крики играющих ребятишек и вой собак. Скоро начнется сев, воины лаудов пока не явились за местью, слезы еще не омрачили мирной жизни.

— Они боятся,— начал ула,— они не могут проникнуть за установленную нами границу. Ну а если они появятся, им придется как можно скорее уносить отсюда ноги, спасаясь от наших гончих псов. Ты вот спросил бы: почему мы сильнее?

Даяв глядел на волны, с тихим плеском накатывавшиеся на берег.

— На нашей стороне природа, отец,— ответил он.

— Не только природа,— торжественно заговорил ула.— Мы знаем наше прошлое, мы не повторяем ошибок. Это — тоже традиция.

— Прошлое может быть как тюрьма, отец,— возразил Даяв.— Вы все время смотрите назад, а не вперед. А вы знаете, что там, за рекой, они готовят пищу не в глиняных горшках, а в медных? Их печи для обжига и сушки лучше наших; они не только делают горшки, они выплавляют металл. У них есть пчелиный воск, в горах они добывают хорошие краски. У них отличная твердая древесина. Их копья...

— Наши бамбуковые не хуже, их легче метать.

— Но у них лучше наконечники.

— Мы сражаемся группами, мы едим рис, а не сладкий картофель — *камóте*.

— У них тоже в низинах есть рис, они пьют воду из родников...

Ула промолчал. А Даяв продолжал спокойно:

— Нужны перемены, отец. Мы должны изменить свою жизнь, иначе пропадем.

— Это — закон жизни,— прервал его ула.— Ты не открыл ничего нового.

— Надо изменять все, а не воевать.

— Война и есть изменение или часть его. Ты можешь питать к ней отвращение, но именно война приносит нам процветание. И я упорно тружусь...

— Мы все упорно трудимся.

— Теперь наша рисовая рассада — лучшая в этих краях. Наши буйволы — самые сильные и выносливые. Мы знаем, как выращивать растения, как растить животных...

— А людей?

— Не смей так со мной разговаривать.

— Вы хотели, чтобы Ливлива стала моей женой.

— Ее отец влиятельный и...

— Такой же, как отец моей матери?

— Да, и все это мы делаем для славы дая, для их единства, для того, чтобы они лучше жили... Даже наши развлечения, наше ткачество, наше гончарное ремесло...

— У тага-лаудов лучше...

— Это еще надо доказать. А люди живы не одними горшками. Они сильны своей волей...

— А кто им дает волю, отец? Вожди?

— Да!

— Народ, отец. И эта воля появится тогда, когда народу будет чем гордиться. Не просто семенным рисом или буйволами. У тага-лаудов есть железные плуги. Нам нужен их металл, а им нужны наша соль, наша рыба, наше волокно и наше масло...

— Уверенность в своих силах и послушание — вот все, что нам нужно.— отрезал уло.— Прошло двадцать лет, и вот посмотри, какие я прорыл канавы для орошения, какой общинный дом выстроила твоя мать. Какой большой, какой красивый...

— И украшен он черепами наших врагов.

Уло пропустил его замечание мимо ушей.

— Она также помогала ткачам, продавала их изделия, изобретала новые рисунки. А возьми резчиков по дереву. Когда это было, чтобы изделия наших мастеров так ценились? И мы больше не будем зависеть от привоза чаш и тарелок из-за моря. Скоро мы зажжем наши собственные печи для обжига и будем тоже выделывать красивую посуду...

— У нас нет такой глины, отец,— возразил ему Даяв.

— Мы возьмем эту глину там, где она есть. Мы расширим нашу торговлю, наши границы. Ни море, ни горы нас не остановят.

Юноша слышал такие речи уже не раз, и теперь ему предстояло выслушать все это снова.

— Но для того, чтобы достичь этого, нам нужны вожди, умеющие предвидеть.— Голос уло зазвучал торжественно, он говорил о самом себе.— Хитрость, коварство, храбрость — всего этого недостаточно. Мудрость — вот единственное, что накапливается с годами в человеке, что учит людей, что позволяет постигать истину.

Но что такое истина? Даяв спрашивал себя много раз, но никак не мог найти ответа. Он верил только в то, что чувствовал и что видел — восход солнца, которому он всегда радовался, ветер в зарослях бамбука, запах свежесваренного риса, мясо, шипящее на огне. И еще Вайвайя — запах ее волос, ее тепло и нежность. Ему ни к чему становиться вождем, раз у него такая жена.

— Парбангон растет не по дням, а по часам, как побег бамбука, отец,— сказал вдруг Даяв, читая мысли отца.

— Да, и уже кое-чего нахватался у тебя.

— Должен же он уметь сочинять стихи и любить музыку. Будет настоящим мужчиной... Он будет вождем, отец. А я не могу. Но Вайвайя — ты по крайней мере мог бы быть подобрее к ней.

— Она — тага-лауд,— проговорил уло с горечью.

— Она —моя жена. И в ее ребенке,— он немного помедлил,— в нашем ребенке будет течь ваша кровь, отец!

Даяв наблюдал, как развивалась ее беременность. Первые три месяца Вайвайе все время хотелось апельсинов, хотелось цыплят, приготовленных так, как это делают тага-лауды, но когда они были готовы — их кровь спекалась с мясом,— она не притрагивалась к блюду. Она плохо выглядела и стала очень беспокоиться о своем здоровье. Даяв приносил ей буйволиное молоко, разную рыбу и листья лекарственных растений. Он изумлялся чуду рождения жизни в ее чреве, чувствовал первое ее пробуждение. С сияющими глазами она сказала ему, что очень хочет, чтобы ее дитя стало по-настоящему счастливым, чтобы на него не легло пятно из-за матери.

Почему же она должна была умереть? О, Апо Лангит, о, Апо Дага,— все вы, кто направляет бег времени и судьбы людей, что плохого она совершила? Бессильный что-либо сделать, Даяв стоял и смотрел, как она истекает кровью, которую он не знал, как остановить. Ни один знахарь не согласился прийти к ним в дом. «Вайвайя! — крикнул он.— Ты родила сына!» Она взглянула на него, слабо улыбнулась, и глаза ее тихо-тихо закрылись.

Не было плача и причитаний, только Парбангон знал, что Вайвайи больше нет. В доме стало тихо, как прежде. Даяв заботливо обмыл

тело и одел Вайвайю в платье лаудов, в котором она была, когда он увидел ее впервые. Он поцеловал покойную в губы, затем он завернул своего маленького сына и поспешил к отцовскому дому.

— У тебя родился внук, мать,— сообщил он Пинтас, встретившей его на лестнице.— А рабыня, которую вы все так не любили, не будет больше попусту расстраивать вас. Ее нет больше среди нас...

Лицо матери, сохранившее следы былой красоты, дрогнуло.

— В этом нет моей вины, сын мой. Это — судьба,— ответила она.

— Я никого не обвиняю,— сказал он,— даже судьбу. Но обещайте мне воспитать сына в любви к его матери, как я всегда любил вас...

— Почему ты так говоришь?

— Потому что у меня есть долг, который мне предстоит исполнить. И я не увижу, как он станет расти...

Только теперь смысл его намерения дошел до нее, и она покачнулась. Она издала пронзительный, звериный крик горя, услышав который из дома вышел уло. Мать Даява бросилась к нему с перекошенным от ужаса лицом:

— Муж мой, уло, останови его! Он не должен этого делать! Она же не была одной из нас!

— Что еще за глупости? — спросил отец.— Это мне назло? Все что бы я ни делал, я делал для тебя, ты — моя кровь, и я хочу тебе добра, хочу, чтобы тебя почитали...

— Мне не надо почитания, отец.

— Оно и видно. Но теперь мне хочется, только чтобы ты остался в живых, несмотря на все твои проступки и изъяны.

— Традиция, отец. Мы же должны поддерживать ее. Это вы сами говорили.

— Не швыряй мне в лицо мои собственные слова.

— Но я тоже верю в традицию, отец. Вы этого никогда по-настоящему не понимали. Мы должны поддерживать традиции, потому что они не только для нас с вами — они для всех людей...

Уло замолчал.

— Сколько времени она прожила в бесчестье среди моего народа? Теперь я смогу воздать ей должные почести.

— Лучше живи в бесчестье! —крикнул уло.— Ради меня! Прошу тебя!

Даяв подошел и обнял отца, слезы катились у него по щекам. «Сын мой, сын мой»,— шептал уло. И юноша почувствовал, как руки отца обхватили его. Так в последний раз они обняли друг друга.

Парбангон уже прошел обряд обрезания и начал строить свой собственный дом.

— Она легкая,— сказал ему Даяв, вспоминая, как переносил Вайвайю через реку.— Я понесу ее обратно на спине.

— Нет, так не делается, *манóнг* [1],— в голосе Парбангона послышалась настойчивость. Младший брат был, конечно, прав.

— Ты еще недостаточно силен...

Парбангон покачал головой:

— Не в этом дело. Ты боишься за меня.

Даяв ничего не ответил. Он обрекал брата на жизнь, полную страданий, но Парбангон знал это и сам.

— Она была мне как сестра. Она готовила мне, одевала меня. А я ничего не сделал для нее. Позволь мне, брат, тоже оказать ей последние почести.

Даяв завернул Вайвайю в одеяло, которое тоже соткала она ярко-красного цвета с синим узором ее народа, изображавшим луну, гору и дерево сквозь ветви бамбука. Оба конца шеста, на котором закрепили

[1] Почтительное обращение к старшему брату или к старшему по возрасту.

похоронные носилки, украсили гирляндами из цветов калачучи, сплетенными Парбангоном.

Они без особого труда добрались до реки к середине следующего дня. Даяв был восхищен силой и выносливостью мальчика. Немного отдохнув и наскоро перекусив, они развязали ремни своих сандалий и пошли по мелководью, осторожно переступая через обросшие мхом камни, чтобы не уронить в воду свою драгоценную ношу. Было еще совсем светло, когда они перебрались на другую сторону и направились к тому маленькому убежищу, откуда Даяв впервые увидел Вайвайю. Какой мир и покой царили здесь — на мгновение юноша словно наяву увидел перед собой девушку, склоненную над водой, спокойную и безмятежную, и острая, почти физическая боль пронзила его.

В сумерках они подошли к селению лаудов. Уже от самых границ за ними следили, и теперь многочисленные враги — женщины, дети, мужчины были всюду. В их взглядах читалось больше любопытства, чем ненависти.

Даяв отлично знал, куда идти — и потому, что сам наблюдал когда-то за этим селением, и потому, что Вайвайя много рассказывала ему о нем. Толпа местных женщин встретила их, когда они вступили на расчищенную поляну перед общинным домом лаудов, и начала дружно причитать громкими, высокими голосами. Слушая слова их плача: «Сестра, подруга, тебя больше нет с нами», Даяв не смог сдержать слез. Он видел перед собой неясные очертания большого строения с высокими столбами, украшенными замысловатой резьбой, с выступающими толстыми балками и — под самой стрехой травяной крыши — вереницу черепов своих соплеменников.

Огромная дверь отворилась, и по лестнице к ним сошел вождь лаудов. И Даяв, всегда подозревавший истину, хотя Вайвайя никогда не признавалась в этом, понял, что человек в высокой павлиньей шапке, на котором позванивали золотые браслеты,— ее отец. Он подставил плечо, помогая Даяву положить тело Вайвайи на деревянный помост, где обычно делались жертвоприношения. Потом заговорил дрожащим голосом: «Минуло уже два урожая, как мы потеряли ее.— И обернувшись к одной из пожилых женщин в толпе, крикнул: — Взгляни на свое сокровище, жена!»

Быстро спустилась тьма — с пением птиц и легким прохладным ветерком с горы. Даяв сидел со старым вождем на почетном месте, окруженный воинами лаудов с их деревянными щитами и сверкающими боевыми топорами. Воины, подняв вверх руки, застыли в прощальном приветствии. Звучно забили гонги, провожая в последний путь ее — и его.

Смерть теперь казалась ему благом. Раз Вайвайя ушла, ничто больше не удерживало Даява на земле, которую он обрабатывал, плодами которой кормил свою жену. И небо утратило свою власть над ним. Что это значит — умереть? Будет больно, но боль можно вытерпеть. Ведь был же он ранен прежде, и кровь текла из раны, и он чувствовал странную легкость в голове и нахлынувшую слабость. Нет, не этой муки он боялся, как воин он был готов к ней. Но как погасить внутреннюю боль, против которой бессильны и травы и заклинания.

Загорелись огромные смоляные факелы из сосновых веток, осветив толпу ярким пламенем. Наступило время заканчивать траурную церемонию. Даяв и ее семья, образовав небольшую процессию, направились к склону горы, где уже была вырыта небольшая ниша. Даяв задвинул в нее гроб, после чего отверстие закрыли большим камнем и засыпали место погребения землей. Мать Вайвайи посадила перед могилой несколько пучков *рамоса* — вьющегося растения, которое вырастет высоким и расцветет яркими, пурпурными цветами.

Он — тага-дая, он должен показать им, что умеет сдерживать свои чувства, но слезы сами собой стекали по щекам, плечи вздрагивали — Даяв плакал. Вождь положил руку ему на плечо и отвел его назад.

Гонги зазвучали громче, и, перекрывая их звон, послышался визг забиваемых свиней. Они прошли в общинный дом с полами рубленого дерева, ярко освещенный свисавшими сверху железными лампами.

— Я просил моего отца,— обратился Даяв к вождю,— чтобы они не ходили больше за реку. А если бы и ходили, то только с мирными дарами. Я молю, чтобы вы поступили так же. Вайвайя тоже этого хотела...

Старый вождь, сидевший на оленьей шкуре, ничего не ответил. Его взгляд был устремлен куда-то поверх костра, разложенного перед широко раскрытыми дверями, сполохи пламени освещали хмурое небо. В желтых отсветах огня казалось, что глаза вождя сверкают; когда же он заговорил, медленно подбирая слова, в его голосе звучало глубокое чувство:

— О старом дереве говорят, что оно больше не растет. Но его трудно срубить, потому что у него глубокие корни, хотя их больше и не питает земля. Может быть, правильно, чтобы оно давало место новым, молодым деревьям...

Когда подали пищу, Даяв ел мало, а Парбангон и вовсе не стал есть, а тут же уснул. Даяву поднесли вина — сладкого и в то же время горьковатого, и он подумал: вот она, смерть. Но в вине ее не было.

Было уже поздно, когда они покинули Даява, чтобы он отдохнул, хотя снаружи продолжалось пиршество и пляски. Даяв спал беспокойно и пробудился, как только в утренней тишине восток зарделся пурпурным цветом. Звезды еще были рассыпаны жемчугом по небу. Мысли теснились в его голове пчелиным роем. Больше всего Даяв теперь сожалел, что был недостаточно добр к ней. Он явственно видел ее такой, какой она бывала в этот утренний час — черные блестящие волосы, милое лицо, ясные глаза, влажные губы. Даяв ощущал ее дыхание, слышал, как она возится на кухне, готовя ему еду,— она была осязаема. А ребенок, его сын — каким он станет, когда вырастет и сделается мужчиной? Что будет с Парбангоном — превратят ли они его в раба или позволят вернуться обратно, как надеялся Даяв, чтобы он мог все рассказать тага-дая? И какой конец его ждет? Даява с детства приучили не бояться смерти, он не страшился схватки, но теперь в ней не было никакого смысла, как и в том, что он оказался тут; в этом ухо, наверное, прав. Но разве любовь когда-нибудь руководствовалась соображениями здравого смысла?

Настало утро, и пора было отправляться в путь. Старый вождь показался в проеме дверей, и Даяв направился к нему, бросив взгляд на Парбангона, который еще крепко спал.

— Не стоит будить его,— проговорил вождь негромко.— Ему нужно набраться сил. Мы отведем его к реке...

Волна радости охватила Даява. Он сошел по широким ступеням туда, где в ослепительном сиянии утра уже собрались воины. Старый вождь, обняв его за плечи, шепнул на ухо: «Муж моей дочери — мой сын».

— Отец моей жены — мой отец,— ответил ему на прощание Даяв.

В ярком, солнечном свете все селение было как на ладони — бамбуковые хижины с травяными кровлями, загоны для свиней, курятники, огороды, апельсиновые деревья. Почти все здесь он знал по рассказам Вайвайи. Что ж, он был почти что дома!

Они вывели его за деревню. Ему теперь предстояло произнести главное. «Вайвайя,— начал он свою благоговейную молитву.— Я любил тебя. И у нас с тобой родился мальчик. В нем — твоя кровь, он сейчас за рекой. Ты позволишь ему расти в мире и не знать тех испытаний, какие выпали на нашу долю? Хорошо?»

Старый вождь ничего не ответил на это, а может, Даяв просто не услышал. Снова раздались удары гонгов, а с той стороны, где стояли женщины, послышались причитания. По нему? Чувство страха уступи-

ло в сердце место радости. Лес ожидал его, но так же ясно, как то, что наступит закат, Даяв знал, что ему не дойти до реки.

Прогресс

Марина Сальседо, старший письмоводитель второго класса, прижимая к груди конверт с только что полученной зарплатой, заторопилась к своему столу, чтобы разобраться, сколько и за что у нее вычли на этот раз. Было 15 июля, и завтра ей предстояло отправиться в Манилу, чтобы довести до конца оформление свего повышения, которое по всем правилам должно было состояться еще пять лет тому назад. Она прослужила в штате министерства вот уже двадцать лет, а за минувшее пятилетие стоимость жизни настолько возросла, что без этого повышения ее младшему сыну колледжа не видать. И потом еще закладная на дом и землю, к которой пришлось прибегнуть три года назад, когда мужа положили в больницу, а теперь вот банк уведомляет об отказе в праве выкупа закладной до тех пор, пока не будут внесены просроченные платежи. Дом и земля — их единственная собственность, ради которой они с мужем почти двадцать лет работали не покладая рук.

С обычными «удержаниями из жалованья» все было ясно, но не хватало еще тридцати песо. Марина припомнила, что брала в кассе в долг десять песо, а на них падают проценты. И конечно же, те пятнадцать песо, которые собирали на устройство приема министру Аркадио Гусману в прошлом месяце. Прием готовило их региональное отделение, а у нее в тот день, как назло, разыгралась изжога, и она — такая жалость — почти ничего не съела, кроме маленькой тарелочки риса да нескольких кусочков жирной свинины. Министр притащил с собой целую свору «сопровождающих лиц», в основном из службы безопасности, которые жрали, как боровы. Можно подумать, что его жизнь подвергалась какой-то особой угрозе.

Она пересчитала зарплату — двести шестьдесят песо. Это все, что ей оставалось на поездку в Манилу. Марина поспешила в другой конец здания, в единственное кондиционированное помещение отделения. Сидевшие там девицы словно воды в рот набрали — значит, шеф был на месте. Она остановилась, оправила на себе бело-голубую униформу министерства и подошла к двери, стуча деревянными подошвами по бетонному полу. Секретарша сказала ей, что можно войти.

Шеф, лысоватый мужчина лет пятидесяти, увлеченно читал затрепанный номер «Плэйбоя». Он и не подумал отложить журнал в сторону. Марина стояла перед ним, ожидая, когда он соблаговолит обратить на нее внимание.

— Ну-с, стало быть, вы завтра отправляетесь,— проговорил он, обнажая кривые зубы.

— Да, сэр...

— Хорошо, тогда после обеда можете быть свободны — ведь вам надо собраться. Скажите, что я разрешил. Вы будете в Маниле только три рабочих дня. Как думаете, вам этого хватит?

— Хотелось бы иметь в запасе еще немного времени, сэр, если вдруг не управлюсь...

— Ну что ж, ладно — милостиво согласился шеф.— И кстати, когда будете там, если вас не затруднит, купите мне нового габардина на брюки. Деньги я отдам, когда вы вернетесь.

— Конечно, сэр. Спасибо вам...

Габардин, подсчитала в уме Марина, должно быть, обойдется не меньше чем в шестьдесят песо. В прошлый раз шеф просил привезти джинсы «Ливайс» — они стоили сто двадцать песо. У них уже выработался своеобразный ритуал: когда она возвращалась из поездки, он настойчиво предлагал ей деньги за покупки, а она не менее настойчиво отказывалась. А вообще-то он был славный, этот шеф, и

к ней относился неплохо. Вот и теперь например, разрешил уйти в середине дня, предоставил оплаченный отпуск. И никогда не приставал к ней, как к другим сотрудницам.

Первый утренний автобус, отправлявшийся в шесть часов, обычно бывал переполнен, но в это буднее утро собралось всего несколько пассажиров, и Марина удобно устроилась одна на сиденье с правой стороны по ходу машины. В ярком, солнечном свете за окном проплывали желтовато-зеленые поля недавно высаженного риса, наполненные водой канавы, пурпурные водяные лилии, небольшие городки, площади которых украшали рекламы прохладительных напитков, стайки спешащих в школу детей. Вся долина была полна движения — даже окрестные холмы, по которым передвигались пасущиеся стада. Автобус шелестел шинами по асфальтовой ленте дороги, проносился по новым стальным мостам. И это был несомненный прогресс, достигнутый в период чрезвычайного положения[1], Марина отдавала ему должное. Новые дороги, новые мосты позволяли теперь ездить в Манилу с такими удобствами — если прежде на это уходил целый день, то теперь только десять часов.

Марина слышала, конечно, о напряженном положении в деревнях у подножия гор Сьерра-Мадре, знала, что города переполнены беженцами. Но в столице их провинции все, как и прежде, шло своим чередом. Даже в ее однообразной жизни имелись свои радости: они с мужем построили наконец дом. Их старший был уже женат и собирался переселиться в Соединенные Штаты, дочка заканчивала колледж, а младший сын — среднюю школу. Конечно, нелегко было сводить концы с концами, ведь иных доходов, кроме их с мужем зарплаты, у семьи не имелось, а постоянный рост цен съедал все сбережения. Пришлось отказаться от керосина и готовить на дровах, которые часто были сыроваты, и уже давно в их доме перестали пользоваться туалетной бумагой.

Ее представили к повышению пять лет назад, и она уже дважды ездила в Манилу. И вот теперь наконец она получила уведомление, что представлению дан ход.

Незадолго до полудня автобус сделал остановку в Кабанатуане[2]. Марина не стала выходить наружу, решив перекусить на месте. Достала из пластикового пакета то, что наготовила ей в дорогу дочь,— жареную свинину, сваренные вкрутую яйца, поджаренный рис. Все было очень вкусно. А заходить в кафе или ресторан со своей едой и ничего не заказывать Марина стеснялась. Покончив с завтраком, она сходила напиться воды.

Автобус прибыл на автостанцию в Маниле, когда уже начинало смеркаться. Марина попала в час пик, и ей со своими двумя сумками с трудом удалось втиснуться в джипни[3]. Сойдя на улице Испании, она прошла еще три квартала пешком до дома, где жила ее троюродная сестра. Они в свое время вместе учились в колледже. Конечно, ей опять придется спать на жестком ротанговом диванчике в общей комнате, но ничего страшного. Во всяком случае, это лучше, чем платить по тридцать песо за кишащую клопами комнату в доходных домах в районе Кьяпо.

Она застала всю семью за ужином и вынула привезенные гостинцы: большой кусок солонины, пару тихоокеанских угрей, которые еще подавали признаки жизни, килограмма три отличного клейкого риса для пирожков. Племянники и племянницы, все подросткового возраста, на всю катушку крутили свой кассетный магнитофон. Троюродная сестра и ее муж сделали вид, что рады приезду Марины, но

[1] До 1981 года в Республике Филиппины существовало чрезвычайное положение, введенное в сентябре 1972 года.

[2] Центр провинции Нуэва Эсиха в 110 км от Манилы.

[3] Своеобразное маршрутное такси на шасси джипа, типичный для филиппинской столицы вид городского транспорта.

в вопросе сестры: «А когда ты уезжаешь?» — она уловила нотку недовольства.

— Я пробуду здесь с неделю,— ответила Марина.— Но меня целыми днями не будет дома, и обедать я буду в городе, потому что мне придется все время торчать в министерстве, двигать мои бумаги.

На следующее утро, поднявшись в шесть часов вместе с детьми, которые собирались в школу и разбудили ее своим магнитофоном, она позавтракала со всей семьей. Выпила чашечку кофе с куском булочки из темной муки, хотя собиралась поесть поплотнее: ведь ей предстоял трудный день.

Рано утром на улице Испании всегда давка и толкотня, и Марина решила пройти пешком до улицы Морайта, где проще сесть в автобус. Она пришла в министерство в половине девятого и не мешкая отправилась в отдел кадров. Всегда хорошо иметь знакомых в учреждении, и ей хотелось разыскать кого-нибудь из тех, кто работал тут прежде,— например, мистера Тобиаса, заведующего сектором. Но, оглядев обширный зал, уставленный столами, за которыми сидели и болтали между собой служащие, она не увидела никого из знакомых, кто мог бы ей помочь, а мистер Тобиас, как оказалось, уже вышел на пенсию.

Ей подумалось: а что, если пойти прямо к министру, он же говорил ей, когда приезжал к ним в долину, чтобы она непременно увиделась с ним, но ей также было известно, что это всего лишь одна из ничего не значащих фраз. К тому же он тогда порядочно набрался, бормотал нечто бессвязное и теперь уж вряд ли помнит, что обещал. Да и вообще, она была теперь в Маниле, а тут, понятно, не так-то просто попасть к такой шишке, как министр.

Марина разузнала у одного из клерков, сидевших около двери, кто занимается бумагами о повышении, и тот направил ее в другой конец отдела. Марина попала к крупной, тучной женщине лет тридцати, с гнилыми зубами, прямыми, как веревки, волосами и губами, намазанными яркой помадой. Форменная кофточка была у нее, вероятно, на размер меньше, чем нужно, и колыхающиеся груди так и норовили выскочить наружу. Она извлекла из своего ящика список и тщательно его просмотрела, потом долго перебирала бумаги на столе и, наконец, ответила с улыбкой, размазанной по поросячьему лицу:

— Извините, миссис Сальседо, но ваше имя тут не значится. Наверное, анкеты попали в другое место.

— Но этого не может быть! — воскликнула Марина.— В прошлом месяце я получила от вас официальное письмо.— Она торопливо порылась в сумке и вытащила его.— Вот, и номер дела...

Но женщина оставалась непреклонной. Она покачала головой, и резиновая улыбка сбежала с ее лица.

— Миссис Сальседо,— проговорила она с напускной застенчивостью,— мне нужно будет пересмотреть все дела — вот эти груды, штабеля, а я очень занята. Придется просить одного из наших боев...— Она приоткрыла ближний к Марине ящик своего стола.— Я бы советовала вам оставить для него двадцать песо...

Марину как громом ударило, она не в силах была поверить, что это происходит с нею, сотрудником того же министерства. Но ей тут же вспомнилась Анита Ботонг из ее отдела, которая проделывала такие же штучки с посетителями,— обычай слишком укоренившийся, чтобы так просто от него избавиться. Она, ни слова не говоря, раскрыла сумочку, вынула бумажку в двадцать песо и бросила в ящик.

— Могу я прийти после обеда?

— Ой, что вы, миссис Сальседо,— сладко заулыбалась женщина.— Вы же знаете, как это трудно отыскать. Приходите, ну, скажем, завтра утром.

— Но я из провинции...

— Да, знаю, знаю. Я сделаю все, что смогу...

Марине ничего не оставалось, как ждать. Было почти десять часов, когда она на джипни доехала до Кьяпо, чтобы побродить по мануфактурным лавкам, расспрашивая о габардине лучшего сорта. Утро выдалось душное, и от выхлопных газов тысяч джипни и автобусов у Марины начало першить в горле, стало трудно дышать. Тогда она отправилась в один из больших универсальных магазинов, где не нужно торговаться, и купила габардина на тридцать четыре песо. Оттуда она зашла на рынок, чтобы примериться к здешним ценам,— тут все было намного дороже, чем дома.

В полдень Марина решила пообедать в грязной маленькой закусочной на бульваре. На полу валялись обрывки бумаги, к столу присохли остатки пищи. За пять песо ей подали чашу дымящейся лапши с курятиной, от блюда несло мылом, но зато оно было сытным.

Выйдя на заполненную толпой улицу, Марина вспомнила предостережение о том, что в Маниле полно воров, выхватывающих у прохожих сумки, и крепко прижала к себе виниловую сумочку, намотав ремешок на руку. Ей не хотелось возвращаться к родственникам в Сампалок, беспокоить сестру и трепать себе нервы из-за кутерьмы, которую устраивают племянники и племянницы. Вместо этого Марина решила пройтись по магазинам на авеню Рисаля и Эскольте, тем более что она давно уже не была в Маниле. Толкотня, давка, потные лица, зловоние узких и кривых переулков Санта-Круса и муравейник улочек позади авеню — как все это было непохоже на спокойную жизнь в долине. Когда Марина собиралась перейти на Эскольте, рядом остановился новый автобус с кондиционером, следующий в Макати,— о таких ей уже приходилось читать. Она не удержалась и села в него, но внутри все равно было жарко.

Район Макати действительно совершенно изменился: устремленные ввысь стеклянные здания, широкие прямые проспекты. А еще тротуары, водоотводные канавы, в которых не было грязи. Манила вообще стала чище, а Макати просто сиял чистотой. «Прямо как в Америке»,— так сказал о Макати в своей лекции о проблемах урбанизации заместитель секретаря, приезжавший из министерства. Все здесь говорило о богатстве и могуществе; по слухам, один из этих домов принадлежал министру Гусману. На какие же деньги можно возвести такой дом? Лектор объяснял, что министр Гусман очень бережливый человек: он никогда не пользуется такси, а ездит только на джипни. Если это Америка, то старший сын Марины насмотрится на такую жизнь всласть, а когда он сделается гражданином Соединенных Штатов, он пришлет им с мужем вызов, чтобы и они тоже вкусили сладости тамошней райской жизни. Да, будущее здесь, в Макати. Но тогда зачем уезжать в Америку?

На следующее утро эта женщина из министерства ее еще больше огорошила: она нашла бумаги, но в них нет одной новой формы — «1-12», которую следует получить в административном отделе. Форму надо немедленно заполнить и завизировать в отделе кадров, а потом опять возвратить в административный отдел. Нужный сектор находился на пятом этаже, но лифт не работал. Марина поднялась по грязной лестнице, заплеванной и забросанной окурками. На стенах были расклеены плакаты, разъясняющие цели и задачи Нового общества и призывающие к укреплению дисциплины и увеличению производительности труда. Марина сама такие распространяла в своей провинции, и у нее на работе еще оставалась их целая груда.

Чиновник, у которого должны были быть эти формы, оказался очень заботливым и беспокойным.

— О мисс, пожалуйста, зайдите завтра во второй половине дня. Нам придется послать кого-нибудь размножить новую партию.

— Но я из провинции,— начала упрашивать Марина, не собираясь ретироваться. Она сразу догадалась, что это та же старая уловка, в

ней нарастало раздражение — здесь морочат голову, вместо того чтобы сделать что положено. Она заглянула в сумочку и обнаружила там только одну пятипесовую бумажку, но она помнила, что где-то должны быть еще два песо. Найдя деньги, Марина опустила их в предусмотрительно приоткрытый ящик в столе чиновника.

— Пожалуйста, я вас очень прошу,— с нажимом сказала она,— найдите для меня один экземпляр: я очень тороплюсь. Не может быть, чтобы не было...

Человек с улыбкой закрыл стол, подошел к стоявшему за его спиной большому серому шкафу с выдвижными ящичками и вынул нужную форму. Это не заняло у него и минуты.

Марина изучила новую форму. Это была еще одна «личная анкета». Наверное, кому-нибудь из службы безопасности потребовалось лишний раз проверить прошлое государственных служащих. Им уже мало того, что насажали в каждой конторе по своему агенту или информатору, вроде их новой машинистки.

Она заполняла анкету, не особенно ломая голову над ответами. Очень позабавил ее пункт «были ли за границей (когда, где)». Марина едва удержалась от смеха. Будто государственные служащие путешествуют по миру. Она, например, никогда не была даже на Бисаях или на острове Минданао в своей собственной стране. А теперь они там, в Кэмп Агинальдо, запустят эту форму в компьютер, и бог знает что может выдать машина.

Вспоминая даты окончания учебных заведений, поступления на службу и тому подобное, Марина подумала, что никогда не стремилась сделать карьеру. Ныне есть и женщины — директора бюро и даже заместители министров, а у нее как-никак высшее образование, но это была мимолетная мысль, Марина не привыкла себя жалеть. И она, и ее муж знали свои возможности и понимали, как дорого обходятся попытки прыгнуть выше головы. Они сами избрали жизнь в тихой провинции и были довольны тем, что теперь у них есть собственный дом, кусок земли, что по ночам можно спать спокойно; их не беспокоят кошмарные видения расплаты за грехи в час, когда надо будет предстать перед богом.

Марина понесла форму к начальнику административного отдела, не очень уверенная в том, что заполнила все так, как следует, но это мало ее тревожило. Пока они обнаружат ошибки, будет уже поздно, да и всегда можно оправдаться. Уже второй день она моталась по министерству, а еще не получила ни одной визы. На ее счастье, начальник был у себя. Они встречались лет восемь тому назад на каком-то семинаре, и она хорошо помнила его: лысоватый, нос с горбинкой, тонкие губы, но шеф Бермудес не узнал ее.

Он пользовался репутацией честного и компетентного руководителя, и Марине теперь предстояло проверить, так ли это на самом деле. По мере того как подходила ее очередь, она пересаживалась все ближе к двери застекленного кабинета. Позади Бермудеса, на стене, как во всех присутственных местах, висел портрет президента с супругой.

— Слушаю вас. С чем пожаловали?

— Я по поводу повышения, сэр. Решение было уже давно.

Она положила перед ним свои бумаги. Бермудес пробежал их быстрым взглядом.

— Ну что ж, миссис Сальседо, у вас как будто все в порядке. Дальше вот что. После того как я подпишу, вы отправитесь в финансовый отдел: нужно выяснить, имеются ли у них средства. Здесь могут быть затруднения. Потом, если фонды отпущены, подпишет министр. Вот и все. И будете получать свою дополнительную сотню песо в месяц с начала текущего года. Приказ имеет обратную силу. Я укажу здесь.

Он нацарапал что-то на второй странице анкеты. «Я знаю, что вы все служите уже давно, и мне не следовало бы говорить вам этого, но мы должны иметь терпение в борьбе с бюрократизмом. Теснить его дюйм за дюймом,— вспомнила Марина его выступление на том семинаре.— Мы должны жать, жать и жать... но только чтобы нас самих не спихнули».

Бермудес ободряюще улыбнулся ей:

— Желаю удачи в финансовом отделе.

В комнате, кроме них, никого не было.

— И это все, сэр? — недоуменно спросила его Марина.

— А что еще? Разве я что-нибудь упустил?

Она в замешательстве даже забыла поблагодарить своего благодетеля. Выйдя за дверь, Марина окончательно решила, что шеф Бермудес — очень хороший человек. Может быть, ему тоже купить габардина? Ведь это благодаря его резолюции приказ о ее повышении будет иметь обратную силу.

Вместо обеда она съела в министерской столовой палочку жареных бананов, запив их кока-колой. Ровно в час Марина уже была в финансовом отделе. Тамошние девицы весело щебетали, собравшись группками у столов. Другие читали газеты или просто глазели в окно. Эта картина была хорошо знакома Марине, почувствовавшей себя совсем как дома, в родной провинции. В кабинете начальника отдела ей сказали, что он сегодня уже не возвратится в министерство, потому что вместе с министром находится на заседании Законодательного собрания, где обсуждается бюджет.

Оставаться тут больше не имело смысла, и Марина решила в коитo веки сходить в кино — она уже пять лет не была в кондиционированном кинотеатре.

На следующее утро еще не было восьми, когда Марина пришла в финансовый отдел. Ей бросилось в глаза, что здесь крутилось несколько смазливеньких девиц, которые совершенно ничем не занимались. В восемь тридцать появился сам Хулио Лобо, один из наиболее влиятельных людей в министерстве. На нем был коричневый габардиновый костюм — она узнала материал, за которым столько гонялась. Сквозь стеклянную панель Марина увидела, что он расположился за своим столом, и вошла. Начальник отдела сосредоточенно изучал стопку скоросшивателей и что-то считал на маленьком калькуляторе. Он взглянул на нее своими выпученными глазами и, изобразив толстыми губами некое подобие улыбки, спросил:

— Да?

Миссис Сальседо не стала попусту тратить слова, а положила перед ним документы, не забыв, правда, упомянуть, что она из провинции.

— Оставьте свои бумаги здесь,— распорядился он, ухмыляясь.— Я очень тороплюсь на заседание Законодательного собрания и возвращусь к концу дня, не позже пяти часов. Тогда зайдите, и мы все посмотрим...— Он кивнул головой, давая понять, что разговор окончен.

Опять у Марины впереди был свободный день. Вчерашнее кино оказалось не ахти, а надо было как-то развеяться — от тревог и постоянного напряжения ныл желудок и появилась какая-то боль в затылке. И все же она была счастливее некоторых из своих коллег, которые и за неделю не смогли разобраться с административным отделом. В других министерствах бывало и того хуже: одна учительница, ее знакомая, была вынуждена заплатить тысячу песо только за перевод на новое место работы.

Спустившись в вестибюль, Марина увидела, что на улице моросит дождь, и решила не выходить из здания, а навестить своих знакомых в отделе планирования и в отделе подготовки кадров. С трех часов она уже заняла пост у кабинета Лобо. Она обратила внимание, что здесь стояли новые пишущие машинки, не такое старье, как

у них в провинции. Даже в униформе девицы выглядели очень нарядными. Они носили туфли на высоком каблуке и были так накрашены, словно приготовились к званому ужину. Марина достала книжку, которую накануне купила дочке, обожавшей романы, и попыталась прочесть первые страницы. Но ни стремительный стиль Ирвина Шоу, ни громкое обсуждение девицами предстоящего посещения дискоклуба в Макати не смогли отвлечь ее от тревожных мыслей.

Без четверти пять появился Хулио Лобо с роскошным портфелем, раздувшимся от бумаг. Три девицы тут же вошли к нему с какими-то документами, а четвертая понесла бутылочку кока-колы и печенье. Как только они вышли, Марина заглянула в кабинет. Он сразу вспомнил ее:

— А-а, миссис Сальседо. Ваши бумаги еще тут. Но я займусь ими завтра, в субботу. Вам известно, что я работаю даже по субботам?

— Нет, сэр.

— Вот так, приходится.— И он оскалил желтые от никотина зубы.— Так что, может быть, завтра во второй половине дня я все сделаю.— Он взглянул на настольный календарь и снова на нее.— Так, разряд 53-й, сто песо в месяц. Итого тысяча двести песо в год. А вы, наверное, могли бы позволить себе угостить меня ужином песо эдак за сорок, а?

— Да, сэр, конечно.

— Ну, вот и хорошо. У меня есть любимый ресторан — японский — в Эрмите. Знаете, на улице Падре Фаура. Его легко найти. Я там буду в воскресенье вечером, часов в семь. Подходит? И я захвачу ваши бумаги — все будет сделано. Ей-богу, нет ничего проще.

— Благодарю вас, сэр,— поспешила согласиться Марина.

Сорок песо! Если самой ничего не есть, то, пожалуй, она может угостить его ужином. Может быть, он влетит и в 80 песо. Тогда еле-еле останется на автобусный билет. А если этой суммой не обойтись, то придется, наверное, получить свое жалованье здесь, в Маниле, если, конечно, удастся.

В субботу и в воскресенье утром Марина совсем не выходила из квартиры троюродной сестры: боялась, что стоит ей ступить за порог, как она снова на что-нибудь потратится. Она наготовила родственникам рисовых пирожков, вычистила кухню, привела в порядок цветы в горшках. Сделала уборку в общей комнате, натерла воском до блеска деревянные полы. Вымыла с мылом темные от грязи кафельные стены. Когда вся семья собралась под вечер, квартира сияла и благоухала. Сестра была довольна и немного смущена тем, что Марине пришлось столько потрудиться. В воскресенье утром Марина еще помогла ей стирать и гладить, а в два часа отправилась в Эрмиту, чтобы заранее посмотреть, где находится японский ресторан.

Найти его оказалось действительно совсем нетрудно. К половине третьего он уже начал пустеть, но там оставалось еще довольно много иностранцев, в основном японцев и европейцев. Было в нем что-то пугающее. Марина поняла, что это очень дорогой ресторан. И сколько тут надо давать на чай? Нет, ей следует быть откровенной с господином Лобо и прямо сказать ему, что у нее пока нет таких денег и она устроит настоящее угощение, когда получит прибавку.

От ресторана Марина прошла в Люнету, как она по старой памяти называла парк имени Рисаля, а оттуда зашла в гостиницу «Манила». Здесь у них был выпускной бал в 1955 году — она любила вспоминать о нем. Ей вспомнилось, как за ней ухаживал будущий муж и как в тот вечер после танцев они впервые пошли в мотель.

Марина любовалась огромным вестибюлем, напоминавшим пещеру или грот, прекрасными резными панелями красного дерева, матово мерцавшим мраморным полом. Казалось преступлением ходить по толстым коврам или сидеть на этих мягких диванах. Она давно не бывала в таком роскошном месте, особенно ее поразили посыльные в

белой форме. Отель всем своим изысканным видом свидетельствовал о прогрессе, достигнутом Новым обществом. В кофейном баре у стойки стояла хорошенькая девушка в филиппинском национальном платье, но Марина не могла позволить себе даже чашечку кофе. Она возвратилась в вестибюль и посидела там, наслаждаясь кондиционированной прохладой и разглядывая элегантно одетых посетителей.

В пять часов Марина вышла в парк послушать концерт. Ей впервые привелось слышать, как играет настоящий, живой симфонический оркестр,— оказывается, он звучит совсем не так, как по радио. В половине седьмого она вернулась в японский ресторан.

Начальник отдела Лобо уже был там. Он вырядился в голубые джинсы и цветастую майку, отчего стал еще заметнее выпирающий живот. Редкие волосы были напомажены и прилизаны. От него исходил аромат дорогого одеколона, но, когда он поднимал руку, все забивал запах пота и давно не мытого тела. Вдоль зала тянулась длинная стойка с рыбой, баклажанами, креветками, а позади нее наряженные японцами филиппинцы на глазах у посетителей жарили овощи, куски мяса и цыплячьи крылышки. Кругом стоял острый запах соевого соуса и горячего масла. Приглушенный свет красных бумажных фонариков, освещавших полки со снедью, придавал лицу Лобо какое-то зловещее выражение.

Марина, запинаясь, произнесла давно приготовленные слова:

— Сэр, вы знаете, я всего лишь простой письмоводитель из провинции. У меня с собой только сто песо...

Рука Лобо тяжело опустилась на ее колено и сжала его.

— Моя милая, мы не станем тратить все ваши деньги. Я буду пить только чай и закажу себе сасими — это сырая рыба. Мне вредно много есть. Вот что касается любви... После ужина мы с вами поедем в мотель. Это обойдется не дороже сорока песо...

Марина не могла поверить своим ушам. Значит, верно поговаривали, что этот начальник финансового отдела — бабник и что он частенько пристает к женщинам. Не может быть! Не может быть! Я должна отговорить его, решила она. Тревога и беспокойство сдавили грудь. Она заказала себе бобовые ростки — самое дешевое, что было в меню. Здесь не было ни вилок, ни ложек, и Лобо пытался научить ее есть палочками.

— У меня трое детей, сэр,— начала упрашивать Марина.— Мой старший сын женат, и я уже бабушка, у меня есть внук.

— Восхитительно! Никогда не подумаешь, что вы бабушка. Мне никогда еще не приходилось заниматься любовью с бабушками. И руки у вас совсем не дряблые.

Он уставился голодным взором на ее грудь, и Марина почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо.

— И грудь такая полная. Посмотрим, какая грудь у матери троих детей.

— Сэр, у вас такие хорошенькие девушки в отделе...

— Во, уже заметили! — рассмеялся он.— Но они еще зеленые, никакого опыта. Их учить и учить. А мне надоело все время быть учителем. Я всегда говорю, что нет ничего лучше красивой зрелой женщины. Вот как вы...

И он снова сжал ей ногу, на этот раз повыше.

— Мне уже сорок пять.

— А вы не выглядите и на тридцать пять!

Марине ничего не оставалось, как послушно брести за ним к его машине, которую он оставил неподалеку. Когда закрылись дверцы оборудованного кондиционером автомобиля, он сказал:

— Это займет у нас только час. Но если вам очень понравится, можем провести там и часика два.— И он повернул на бульвар.

У Марины пересохло в горле. Но ей надо быть с ним любезной: в его руках ее будущее.

— Сэр, я не могу сегодня. Мне нельзя... — предприняла она еще одну отчаянную попытку.— Даже если б я и хотела...

Он повернул к ней ухмыляющееся лицо, всем своим видом давая понять, что отговаривать его бесполезно.

— Марина, я не привередлив.

Когда он привел ее в номер мотеля, она все же снова принялась упрашивать его:

— Сэр, ну пожалуйста. Я отдам вам половину денег, когда получу. Я обещаю!

— Ну и глупая же ты,— проворчал Лобо, кинув на нее сердитый и удивленный взгляд.— Разве мне деньги нужны? — И он решительно расстегнул ремень на джинсах.

Но она все равно не в силах была заставить себя стронуться с места. Тогда он прикрикнул на нее:

— Давай раздевайся, а то я сам сдеру с тебя одежду...

«Ой, бедный мой муж, бедные дети»,— простонала Марина, чувствуя, как его потные лапы шарят по ее телу.

Домой к сестре она возвратилась около девяти. Лобо высадил ее на углу улицы Испании, дальше она пошла пешком. Марина долго стояла под душем, чувствуя себя грязной и униженной, ее переполняло отвращение, которому не было выхода. Она все еще ощущала на себе его руки, зловонное дыхание, видела это сальное лицо так явственно, что тошнота подступала к горлу. Трудно было представить, что завтра придется увидеть его снова. Он даже не удосужился захватить с собой ее бумаги, как обещал.

Всю ночь Марина почти не сомкнула глаз и поутру чувствовала себя разбитой, как после рвоты. Но дело нужно было довести до конца, после вчерашнего испытания она не остановится уже ни перед чем.

Начальник отдела Лобо как ни в чем не бывало весело подмигнул, когда она вошла. Марина не могла заставить себя взглянуть в это мясистое, похотливо ухмыляющееся лицо.

— Мы сейчас пройдем на второй этаж к министру,— сообщил он, поднимаясь из-за стола с папкой, в которой она узнала свое дело.

В огромном кабинете министра пол устилали ковры, на стенах, обитых голубыми обоями, висели картины, а над столом красовалось полотно, изображающее президента с супругой. В другом конце стояли обшитые красивой тканью диванчики. Повсюду декоративные растения, на журнальном столике — маргаритки в хрустальной вазе. Министр Аркадио Гусман подписывал бумаги, которые раскладывали перед ним два секретаря. На нем тоже был костюм из габардина, но, приглядевшись, Марина поняла, что этот материал подороже.

Лобо подошел к нему с бумагами. Министр поднял голову и мельком взглянул на Марину мутными глазами пьяницы, но тем не менее сразу же узнал ее. Подсмотрев имя в деле, он сказал:

— А-а, миссис Сальседо. Да, помню, вы запевали гимн на концерте. И конечно, я с радостью подпишу ваши бумаги.— И тут же обратился к Лобо: — Как у нас со средствами, есть?

— Да, сэр,— подтвердил Лобо.

Поставив свою подпись, министр снова повернулся к Марине:

— Миссис Сальседо, как у вас там обстоят дела? Какие трудности? Не каждый день, знаете ли, у нас бывают тут люди из вашего региона, а он — один из ключевых в программе строительства Нового общества. Все ли там благополучно?

Марина изобразила на лице задумчивость, пытаясь понять, серьезно ли все это. И еще ее удивляло, как можно быть пьяным так рано утром. На всякий случай она покачала головой:

— В нашем районе все прекрасно, сэр.

— Послушайте,— доверительно сказал министр,— вы можете быть со мной совершенно откровенны. Только правда даст нам воз-

можность добиться хороших результатов. Мы не собираемся строить воздушные замки. Мне нужны факты.

Марина Сальседо снова покачала головой.

— У нас все хорошо, сэр,— повторила она.

— Ну что ж, замечательно,— ласково проговорил он.— Но вы должны упорно и настойчиво работать. Все вы. Вы должны помнить, что мы служим народу, что мы строим Новое общество. И чиновничество имеет редкую возможность доказать свою значимость в создании прогрессивной нации.

Эта речь была произнесена, разумеется, не только для нее, а для всех, кто был в кабинете,— чиновников, любимчиков, всякого рода прихлебателей.

— Конечно, сэр,— поддакнула Марина.

— Мы должны работать все вместе. Это называется «дух сотрудничества». И обновления. Повышения — это замечательно, но они должны быть заслуженными. И мы заслужим их, только если будем верно служить народу...

После того как Марина купила билет на автобус, у нее осталось всего два песо. Она сделала три бутерброда с солониной, чтобы перекусить на обратном пути. Стоял яркий июльский день, сезон дождей миновал, и долина до самого вечера была залита солнцем.

В город она приехала часов в шесть, когда уже начинало темнеть. Чтобы сэкономить на моторикше, решила пойти домой пешком. Ноша у нее была нетяжелая — сумочка да саквояж, где лежали ее вещи, габардин, купленный на распродаже, роман Ирвина Шоу и два яблока.

Автобусная станция осталась позади, дома стали попадаться все реже и реже. Они жили на окраине городка, где можно было выращивать овощи и разводить цыплят. Асфальт сменился немощеной, в рытвинах дорогой. Не было здесь и фонарей. Марина как раз свернула у развилки, когда из темноты выскочил мужчина и дернул у нее из рук сумку. Несмотря на неожиданность и обуявший ее ужас, Марина крепко ухватилась за ручку, готовая стоять насмерть. Но налетчик был силен, он толкнул ее, и она упала, ударившись лицом о землю. Мужчина выхватил сумку и побежал. Вдогонку ему Марина громко закричала: «Там нет денег — только мои бумаги. Мои бумаги!» Но грабитель вряд ли услыхал ее — так быстро он скрылся из виду.

Женщина медленно поднялась с земли, потрясенная и разбитая. До дома было еще довольно далеко, а силы совершенно оставили ее. Она подняла саквояж с подарками для домашних. Начал накрапывать дождь, но ее складной зонтик был в украденной сумке. Однако Марина не боялась, что промокнет,— она думала только о пропавших бумагах. И всего-то оставалось только представить их кассиру — и она бы стала получать прибавку. Из опыта прошедших лет ей было известно, что ни письма, ни телеграммы в Манилу не дадут ей возможности получить дубликаты украденных бумаг. Нужно будет начинать все заново, и перспектива пройти опять через эту голгофу внушала ей ужас.

В тусклом свете вечерней зари показался ее дом с жестяной крышей, над которой виднелись кроны фруктовых деревьев. Войдя в дверь, Марина застала семью за ужином. Все выскочили из-за стола и бросились ее встречать. И тут увидели порванную кофточку, грязь на мертвенно-бледном лице, мокрые растрепанные волосы. Она была не в состоянии отвечать на град их вопросов и не могла больше сдерживаться. Марина Сальседо рухнула на колени, обида и гнев прорвались горькими рыданиями. И никакие слова утешения, никакие ласковые объятия — ничто не в силах было остановить этот поток слез.

■

Из румынской поэзии

■

Перевод с румынского ЛЬВА БЕРИНСКОГО

В Румынии нет такого множества толстых литературных журналов, как у нас, зато обилие еженедельников. В них, естественно, крупная проза не умещается, а поэзия выходит на первый план. В каждом номере — щедрые подборки стихов с портретами авторов, иногда и с цитатами из критических высказываний об их творчестве. За год — целый фейерверк новых поэтических имен, недаром говорят, что каждый румын рождается поэтом. Впрочем, участники данной подборки — имена, уже утвердившиеся.

С семидесятых годов в румынской литературной печати «узаконились» два различных стиля, параллельно сосуществующих на ее страницах: стихи в традиционной напевно-рифмованной манере и метафорические верлибры. Раскрепощение формы (свободный стих) компенсируется у последних новым ограничением: поэт метафорического стиля запрещает себе повествовательность, умозаключения и суждения, он говорит лишь посредством образных сцеплений и комбинаций зрительных картин в их наплывах и пересечениях. То есть слова поэта не сообщают, а показывают, как бы утверждая: требуется четвертое измерение и шестое чувство, чтобы учесть все воздействия, которым подвержен современный человек, оглушенный информационным взрывом, человек, живущий в чрезвычайно усложнившемся и сверхнапряженном мире конца XX столетия.

Участники данной подборки — поэты относительно молодого поколения тридцатилетних [1]. Их внешний и внутренний мир выступает мозаично, многозначно, я бы сказал — полиэкранно.

Вот «Баня» Адриана Попеску — это стихотворение развертывается одновременно в трех временах, трех исторических эпохах, из них вырастает фигура самодовольного современного западного немца или австрийца. Нравится ли он вам? Этот холеный нынешний потребитель, словно усреднившийся из императора и арестанта... Автор не позволяет себе никаких комментариев, для мысли читателя он оставляет путь открытым, как бы подталкивая — пройдите его сами. Подобного же рода «загадку» — впрочем с почти готовой разгадкой — предлагает и Траян Т. Кошовей в стихотворении «1,2,3 или даже больше химер», где в духе тонкой пародии нанизываются стереотипы «ультрасовременного» обывательского мышления. А в «Кофемолке» Иона Мирчи бытовая деталь буквально расцветает ассоциациями, яркими и полными социального смысла. Думаю, что кажущаяся на первый взгляд претенциозность выражения молодой поэтессы Иоаны Крэчунеску при внимательном, более сочувственном проникновении в текст обернется своеобразным проявлением страстной натуры, напоминающей чем-то Габриэлу Мистраль, с ее «знойной» женской откровенностью.

Присущий этим поэтам при всей метафоричности, я бы сказал сугубо предметный, язык, обходящийся без отвлеченных понятий, сопряжен с определенными трудностями для восприятия. Однако следует отметить, что румынские читатели с годами уже свыклись с такой поэтикой. Дело не только в широте ее распространенности, а и в свойствах романоязычных культур, в их более узорчатом характере по сравнению с нашей (Лорка и Неруда, Аполлинер и Квазимодо). Тут перед переводчиками особая проблема: в точности передать еще не значит освоить...

При тех или иных издержках, сопутствующих всякому поиску, творчество тридцатилетних поэтов сегодняшней Румынии развивается плодотворно, вобрав в себя достижения предыдущего поколения — Никиты Стэнеску, Марина Сореску и других, с которыми в свое время «Иностранная литература» знакомила своих читателей. Молодая поэзия пробивается сквозь общие для всех нас тревоги века к активному, выстраданному и умудренному жизнеутверждению.

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

[1] Стихи одного из самых талантливых его представителей, Мирчи Динеску, мы печатали в 1981, № 7 и 1984, № 4.

ИОН МИРЧА

Кофемолка

Как-то утром сидел я один и, забывшись, стал вслушиваться
в смутный говор моей кофемолки. Я так и купался
в живых ароматах (так и видел мулатку,
выходящую из моря на берег)
и, прижимая ладонью крышку
кофемолки, почувствовал вдруг,
как мне передается ее легкая дрожь. Постепенно
рокот ослабевал...
Вдруг как гром среди ясного неба
услышал я голоса, чужеземную речь,
лязг цепей, долгий свист бича,
рассекающего кустарник, и гул, нарастающий,
как пресловутые ливни — с античными монетами
и лягушками, падающими с неба, и красным песком. Потом
— отчетливо — несколько выстрелов и вопль настигнутой дичи,
что была ч е л о в е к о м. Потом долгий лязг
кандалов и цепей, и все та же
череда голосов и окриков,
и куда-то на запад
удалявшийся
лай собак. Господи,
думал я, где-нибудь в Эфиопии
или Колумбии, когда-то давным-давно,
этот мгновенно прокрученный кадр, фрагмент бытия
был, конечно, зарегистрирован в памяти юных
кофейных деревцев, и вот спустя столько лет
кофейные зерна через мою
кофемолку
воспроизводят — как в граммофонной трубе —
смерть человека, за которым охотились где-то
в Колумбии или Эфиопии. Потом, когда пил я свой кофе,
у меня вдруг возникло в сознании: гигантское Дерево,
по которому взбирается золотой питон смерти,
вверх по спирали,
к маленькому существу,
зачарованному страхом и тихо скользящему
ввысь
по самым легчайшим, тонюсеньким веткам — туда,
где плоды и небо.

ИОН МИРЧА — ION MIRCEA (род. в 1947 г.)

Румынский поэт. Автор поэтических книг «Перешеек» («Istm», 1971) и «Хрупкие барабаны» («Tobele fragede», 1978).

Публикуемые стихи взяты из «Антологии молодых поэтов» («Antologia poeţilor tineri», Bucureşti, Cartea Românească, 1982), а также из еженедельника «Ромыния литерарэ» («România literară», 1985, № 23).

Стихи с винтовкой

Вот оно как ведь:
дуло винтовки, если пустит росток в этом иле,
раскроет свои — из лучших патронов! — цветы,
стальные цветы, нескромный букет на могиле.

О моя родина, моя святая, вот оно как ведь:
солдат видел смерть, в нем самом вспыхнул свет,
чистый свет, неподдельный,
чистый свет, неподдельный,
солдат видел смерть, в нем самом вспыхнул свет,
о моя родина, моя святая, вот оно как ведь.

АДРИАН ПОПЕСКУ

Если бы я...

Если бы я проснулся пораньше, я мог бы набрать
росистых груздей в лесопарке нашего микрорайона,
переводчик Тибула меня научил, как их сохранять
свежими и холодными.

Мой дальний, демократичный квартал, мой Авентин [1],
где мужчины в майках курят у окон
маленьких кухонь,
у тебя свои преимущества,
мой Авентин — суетливый, плебейский, всегда хлопотливые матери
в халатах в цветочек, подвязывающие под шейку
еще спящим детишкам ключи от квартиры, посиневшие лица гулёх,
возвращающихся на рассвете в грохоте молоковозов.
Полных разочарованья.

Немного пораньше я мог бы собрать в еще мокрой траве
и листьях белые толстые ножки,
паутинки на них колыхались бы, как вуаль
спящей красавицы. Я бы тихо вытягивал их
из вязкой грязи и сна.

[1] Один из семи холмов Рима. *(Здесь и далее прим. перев.)*

АДРИАН ПОПЕСКУ — ADRIAN POPESCU (род. в 1947 г.)

Румынский поэт. Автор сборников «Умбрия» («Umbria», 1971), «Огонь и праздник» («Focul şi sărbătoarea», 1975), «Магнитные поля» («Cîmpiile magnetice», 1976). Публикуемые стихи взяты из «Антологии молодых поэтов» и еженедельника «Ромыния литерарэ» (1985, № 16).

Несколько саженей

Городской голубок, пытающийся проникнуть в ванную комнату.
Ласточка, бьющаяся о проволочное оконце кладовки
не за пропитанием — за проводком для гнезда.

Вчера поутру я повидал умерших друзей.
Я раздал им всем по охапке засохших ромашек.
В нескольких саженях под земною корой дышали они и грустили.

Тень, оставленная свечою, зажженной
последними спичками из коробка, промокшего под дождем
накануне. Поток, шумящий на склоне. Сверкающий и хрустальный.

От него начинают светиться камни холма. Как посмертные стихи.
Как золотые драгоценности, вырытые ворами. Скажите,
где мне взять жестяной фонарь и пелерину?

Баня

Франц И., Франц К., Франц Х. моются в бане.

Первый Франц, император, в мраморной кадке
в своей резиденции, в Шенбрунне,
водичка нормальная, по лимиту, 18° по Цельсию,
и шесть банщиц с махровыми простынями вокруг него.

Франц второй — в некоем цементированном закутке
с зарешеченным и забеленным окном,
душ — слишком холодный, а потолок — слишком низкий,
и Ф. с беспокойством глядит на чугунную дверь.

Третий Франц, снимающий однокомнатную квартирку,
вполне, впрочем, комфортабельную,
разлегшись в эмалированной ванне, изучает
голубую линию вены у себя на руке.

Император в тепловатой водице обдумывает
последние донесения с государственных границ:
а не прибавить ли в подарок Кларите и тот павильончик
в долине, виднеющийся в окне, между аркад?

Франц К. брезгливо подталкивает босою ногой
черного таракана к сетке над стоком,
стучит кулаками в чугунную дверь — но та
почему-то совсем не спешит отвориться.

Последний Франц вдруг что-то решает и вскакивает, подбросив
свое молодцеватое тело римского кесаря
эпохи упадка, обтирает досуха спину
полотенцем, использует бритву по назначенью.

Застегивает манжету на левой руке с ремешком
электронных часов, приводит в порядок
свою бороду настоящего фавна, выбирается в город, просматривает
корректуры, скандалит, пьет пиво.

А в мыслях — все там еще, дома, над ванной своей,
как над осыпанной базиликом благоуханной постелью,
как над египетской баркой, плывущей по Нилу,
как над женщиной, как над вместительною могилой.

ТРАЯН Т. КОШОВЕЙ

Никель

Николае Манолеску

Час такой поздний, что кажется,
будто весь этот хрупкий мир
держится только на острых мордах борзых.

Все кругом нереально — а все же, что здесь достоверно?
Может быть, этот никель вселенной, которая не про меня?
Может быть, эта тяжесть унынья не про меня?

(Может быть, сам ночной этот час растянувшийся, длинный, как горло птицы
под теплым ножом мясника?)

Что же все-таки здесь достоверно?

Никель, никель, один только никель
вокруг Вас!
Иногда любовь возвращается — как воспоминанье о брате, погибшем на какой-то бессмысленной давней войне.

Все нереально — воздух визжит и проносится мимо меня
Разворачивая свой механизм, кривошип, рукоятку,
какое-то синее солнце устанавливает на траве
абсурдный свой механизм, кривошип, рукоятку.
Все нереально. Даже эти ночные часы,
замороженные, как консервы, для другого какого-то века.

ТРАЯН Т. КОШОВЕЙ — **TRAIAN T. COȘOVEI** (род. в 1954 г.)

Румынский поэт. Автор сборников стихов «Электрический снегопад» («Ninsoarea electrică», 1979) и «1, 2, 3 или...» («1, 2, 3 sau...» 1980).

Публикуемые стихи взяты из «Антологии молодых поэтов» и еженедельника «Лучафэрул» («Luceafărul», 1985, № 23).

Никель, никель, один только никель
вокруг Вас! Остальное вокруг нереально.
Никель,
никель, один только никель!

1, 2, 3 или даже больше химер...

Вечерком мы с ним любим покемарить у телевизора,
перед тем как сходить в кино...
В основном-то мы смотрим объявления
и рекламу:
«По утрам и каждый вечер развивайте грудь и плечи!»,
или
«Сделав томаты едой регулярной, можете за лето стать популярной!»,
или
«Если вы супруг и супруга, познавайте глубже друг друга!»

Мы познавали — болтом, толщеметром.
Не смущайтесь, когда любишь, то можно
не просить извинения. Опять на лестнице поскользнулся этот старик.
Опять на луне они что-то открыли.
На этот раз, кажется,
в самом деле что-то открыли.

И тот, кто вчера торговал швейными машинками, сегодня торгует оружием,
и тот, кто вчера торговал оружием, сегодня тоже торгует оружием.
Им там нравится Моцарт, и Бах, и битлы́
и Джеймс Дин, да они там все просто
с ума посходили от Джеймса Дина
(а вот грусть у них — это будет какой же расцветки,
и что бы такое сказать
при случае про закат прекрасной эпохи?
Или вот еще — про эмигрантов, спящих в кустах,
как угольные мешки...).

Так закончился и вчерашний день,
а сегодня
сам мастер пожал мне руку.
Благодарю. Не стоит. Нет, вот это уж никогда.
А потом, вечерком, опять эта клевая штука
про любовь, тут, в нашей киношке, совсем за углом...

Нам-то что, вот кому нынче плохо, так это концерну Локхид!

Лидо [1]

Среди шелестящих шелков, от которых мутится в мозгу,
и разливов зеркал, где, запотев, блаженствуют чревоугодники,
среди окороков и льдистых, как варежка, рыб,
среди блеска и взоров-петард,
всех собой осчастливив,
снимаешь и ты уголок миража с почасовой оплатой,

[1] Курорт на берегу Адриатического моря в Италии.

ты, мелкий торговец чудесами,
бог весть как, сквозь игольное, что ли, ушко, проскользнувший сюда
и вдыхающий краски размалеванного этого занавеса,
ты, смиренно уже уцененный
и готовый кому угодно наложить стихотворный компресс
на коленку отчаянья: быть.

Под плотным зонтиком реальность — та же зебра, тапир, бабуин,
стеклянная стена, сквозь которую губы твои
всасывают неон теплых стран,
плюшевый санаторий для нервов осенних.

Из середины бассейна, где волны толкают к берегу
отмель мертвых бумаг и электрорекламу,
распаляющую воображение девушек с пыльных окраин,—
лишь время от времени тебе открывается в трещине этой витрины:
пустынная улица, перетянутый кустарник боскетов,
поливалки, спецовки, проходимцы, живодеры и приживалы.

Постаревшие, полуночные золушки.
Жизнь в ее натуральную величину.

ИОАНА КРЭЧУНЕСКУ

Ты похож на мальчишку,
что когда-то похитил меня
и держал взаперти в голубятне

Твоя теплая кожа и руки и пот
как чеснок разъедающий веки привкус соли и жажда
и
как прекрасны о господи были бы мы умерев или даже
не рождаясь совсем а только увидев себя
в неотлитых еще зеркалах
два бесплотных стекольщика мечтающие заполнить
собой
очертанья
устарелой
— средневековой! —
любви так ты говорил

ИОАНА КРЭЧУНЕСКУ — IOANA CRĂCIUNESCU (род. в 1950 г.)

Румынская поэтесса. Актриса театра, кино и телевидения. Автор книг «Письма с поля маков» («Scrisori dintr-un cîmp cu maci», 1977), «Пропущенное воскресенье» («Duminică absentă», 1980), «Паровые машины» («Maşineria cu aburi», 1984).

Публикуемые стихи взяты из книг «Луковый суп» («Supa de ceapă». Dacia, 1981) и «Клиническая зима» («Iarna clinică». Bucureşti, Cartea Românească, 1983).

в то время как мы
между небом вися и землею
цеплялись
за безмолвно встающий рассвет
и жалость друг к другу равной которой нет.

Все одна только ловкость

Посреди буфетов, отелей, автосервисов, баров
и лифтов, на автовокзалах, в метро, аварийных трамваях
и телегах, разваливающихся посреди поля,
на перронах обстреливаемых вокзалов, под часами,
идущими в часовых мастерских, и игрушечных
танках для детей, посреди
любимых, разбросанных по окопам в бинтах,
в изгнании, под глухие рыданья, на диванах
и в гнезде из навоза под крышею дома, построенном птицей слепой,—
веселые игры друзей моих в мяч на пустыре этом, выросшем
посреди моих плеч.

Не это ли самое

Я в себя разучилась заглядывать.
Каждый день я худею
на грамм и не знаю
не это ли самое
происходит с душой.

Я задыхаюсь в своих простынях.

Моя неоткрытая статуя
постепенно обрушивается.

Я столько прекрасного собиралась сказать...

Бабушка тянется вверх
словно с трудом взгромоздясь на ходули
прячет в шкаф свои старые образа
и странно смеется мне на ухо:
«Спрячь-ка и ты свои лавры подальше
а то еще явятся эти жирафы с длинными шеями!»

■

БЕРИНСКИЙ ЛЕВ САМУИЛОВИЧ (род. в 1939 г.)
Советский поэт и переводчик. В его переводе публиковались стихи румынских поэтов: З. Станку, Н. Стэнеску, М. Сореску, В. Теодореску, немецких (ГДР) (Г. Прайслер, Эва Штриттматтер и др.), испаноязычных поэтов (А. Мачадо, П. Неруда, Э. Ромеро и др.)

ВЕСЛАВ МЫСЛИВСКИЙ

Камень на камень

РОМАН

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Мать

Искали у нас кого-нибудь в гминное правление — регистрировать гражданские браки. Вроде секретарь был для этого, но с тех пор, как окончилась война, в гмине расписались всего три-четыре пары, а вообще-то венчались по-старому, в костеле. Хотя брак в гмине был такой же законный, как церковный, и точно так же человек мог быть счастлив или несчастлив — что перед алтарем его окрутили, что в гмине. Правда, кто в гмине расписывался, тому скорей выделяли лошадь из ЮНРРА[1], или стройматериалы для дома, или зерно на посев. Ну и развестись можно было хоть на следующий день, кабы чего не заладилось. Не так, как после венчанья, тут дело сделано — и точка: что господь бог соединил, того человеку не разъединить, и живи потом всю жизнь с какой-нибудь ведьмой. И немало было таких, что жили как кошка с собакой, дрались, пакостили друг дружке, один влево тянул, другой вправо, а все равно жить были обязаны до гробовой доски, пока кто-нибудь первым не помрет. Хотя, по мне, такая жизнь противна богу, и бог должен сам ей положить конец. Может ведь и ошибка выйти, человек наперед не знает, кто кому предназначен, и с предназначениями случаются оплошки, сказано же: утро вечера мудренее. Так что и по этой причине женитьба в гмине была людям на руку.

Первыми в гмине поженились, как только прошел фронт, Флорек Дендерыс с Бронкой Макулянкой, и гмина им такую закатила свадьбу, какая не у всякого богача бывает, хоть бы тот и венчался в костеле. На гминном правлении вывесили флаг, стены украсили еловыми ветками, под ноги молодым расстелили перед входом дорожку метров в десять и над дверью прилепили из бумажных букв: гминное правление желает молодой чете счастья. А еще новобрачные получили сколько-то там тысяч злотых, Флорек отрез на костюм, Бронка на платье, лошадь, корову, приданое для ребенка, потому что Бронка уже была в тягости, будильник, чтоб на работу подымал, если случится проспать. Только молодым пришлось сразу же уехать на запад: не давали им жить в деревне люди, всё шлюха да шлюха на Бронку, а на ребенка — ублюдок, хоть он еще и не родился. Поэтому после них долго не находилось охотников расписываться в гмине.

Наведывались даже то войт, то секретарь ко всякому, кто надумает жениться, и уговаривали, чтобы в гмине: на объявление о по-

---

Продолжение. Начало см. в № 7, 1986 г.

[1] Администрация (Организация) Объединенных Наций по вопросам помощи и послевоенного восстановления.

молвке тратиться не нужно, дружки не нужны, фата, в книгу только запишут — и готово дело. Вдобавок легче лошадь получить, стройматериалы для дома и вообще все легче. А в костеле ксендз уж и не знает, сколько содрать. Хотя венчанье, вроде оно перед богом. Но кто бога видел? На картинке только, да и то разве известно, что это он? Даже до войны было в гмине несколько маловеров. Хотя бы Крук, за всю жизнь ни разу не исповедался, пока наконец жена с дочерьми его не заставили. И в поместьях не тут, так там, всегда где-нибудь забастовка. Особенно во время жатвы. Хотя и когда картошку копали, тоже. А Хшонщ Вицек из Поддембиц даже полгода в тюрьме отсидел как бунтовщик, потому что на дожинках по пьяной лавочке пообещал старосте, что повесит его на сухой ветке, пусть только настанет справедливость. Ну, а когда настала, что? Из повета запрашивают, сколько пар ступило на свадебный ковер в гмине? А тут никто. Как так никто?! Что же это, у вас не женятся?! Почему, женятся, только в костеле. Ой, придется, видать, гмине расплачиваться за то, что люди не хотят признавать новые времена. Возьмут да увеличат налоги или угля не дадут. Всегда найдется чего не дать.

И опять же, с другой стороны, ксендз с амвона каждое воскресенье осуждал эти женитьбы в гмине, мол, они богу противны, адом стращал, вечными муками. И всем, кто хотели бы расписаться в гмине, наказывал, чтоб не смели, не то он их вычеркнет из церковных книг, а господь вычеркнет из рода людского. И, что хуже всего, на разные лады обсмеивал гмину: нашли себе дом божий, гмина есть гмина, туда налоги ходят платить, а венчанье — таинство, не налог, одно из семи священных таинств, и богом установлено, а не земной властью, потому что земная власть от сатаны. И что в хлеву подчас чище, чем в гминном правлении, стены еще с довоенных времен не беленые, пол — ступишь, подошвы прилипают, а служащие только цигарками дымят да тискают баб, которые там с ними работают. А теперь иди, жених, и ты, его невеста, и поклянитесь в верности друг другу в этом Содоме и Гоморре. Чего будет стоить такая верность?

И, возможно наперекор этим грозным ксендзовым речам, выделили в гмине специальную комнату, побелили, понаставили цветочных горшков, пол выскребли, притащили новый письменный стол, стулья, расстелили ковер и стали искать человека, который только бы этой регистрацией и занимался. Хотя кое-кто поговаривал, будто сверху пришло такое распоряжение.

Повстречался мне как-то — я капусту с поля свозил — Рожек, он тогда был войтом, и спрашивает:

— Не хочешь поступить на службу? Браки регистрировать. Работы почти никакой, никто в гмине жениться не хочет. А зарплата бы шла. Ты и в милиции служил, значит свой.

Я подумал: почему нет, чем капусту возить, лучше сидеть за письменным столом. И насчет бога тоже я точно не знал, верю ли в него, что мне ксендз с его угрозами. По крайней мере приоденусь, а то уже поизносился совсем. Случится где-нибудь гулянье, а пойти не в чем. Не говоря уж о том, что выпить было не на что, а то и билет на танцы не на что купить. Сапоги еще с грехом пополам держались, но мало кто теперь ходил в сапогах. Война все больше отдалялась от людей, и кругом уже щеголяли в полуботинках, в костюмах, к тому же в моде были брюки широкие, как юбки, пиджаки, как мешки, словно люди таким манером после войны набрали в себя свободы. А я в своих сапогах и бриджах был вроде как из другого мира. Так что даже задумывался, когда из милиции ушел, чем бы заняться. Отец каждый грош откладывал на хлева и, даже когда мне на сигареты давал, выговаривал: чего дымишь, как печная труба.

Из милиции я ушел, потому что меня хотели комендантом назначить, а в конце концов прислали какого-то сопляка, который даже

в партизанах не был, училище только кончил. Притом ему казалось, что он мир за неделю исправит. А за неделю легче сотворить мир, чем исправить. Вдобавок такой мир, после войны. И вместо того, чтобы продолжать оружие искать, потому что вокруг по-прежнему стреляли, или хотя бы посторожить вагоны с цементом, которые до тех пор стояли неразгруженные на запасном пути, пока половину не разворуют, прицепился к Франеку Гвижджу, что тот сивуху гонит, и приказал обшарить все его подворье. А Гвиждж потом ко мне: ты, сукин сын, приходил, выпивал, я хоть грош когда с тебя взял, еще всегда на дорожку совал в карман бутылку, потому как думал, ты свой. Ну погоди, получишь ты у меня когда-нибудь водку, а гнать я все равно буду, и ни черта вы мне не сделаете. Немец ни с чем уходил, и вы уйдете. К счастью, он все как под землю спрятал, мы нашли только следы очага в бузине за овином. Но он объяснил, что иногда там картошку свиньям варит, если на дворе сильный ветер. И так оказался я ни там, ни тут, а вернее, нигде, только опять поле и поле с рассвета до ночи.

Подумывал я даже, не начать ли мне снова мужиков стричь, брить. В деревне, правда, уже был парикмахер — Яскулы зять. Переехал недавно из города, потому что там у него дела неважно шли, и открыл парикмахерскую у Незгудки в пристройке. Хотя перед войной, когда сватался к Крыське Яскулянке, собирался уланским ротмистром стать. Но никто ему этого не вспоминал. Каких только за те годы с людьми перемен не случалось, подумаешь, еще один из ротмистра стал брадобреем. Жаловались только мужики, что лапа у него как у мясника, на голову словно на колоду кладет, затылок надо изо всех сил напрягать, чтоб не свернул башку. К тому же бирюк бирюком. Иной раз, пока стрижет, словечка не скажет. Что за парикмахер? К парикмахеру не только стричься, бриться ходят, но и посидеть, поговорить, послушать.

А еще в соседние деревни вскоре автобусы должны были пустить, так я думал, не наняться ли в кондукторы. Работа не пыльная, езди себе да продавай билеты, а народ заходит, выходит, знакомые, незнакомые, постоянно ты среди людей. А среди людей всегда веселее, в особенности когда с ярмарки набьется полный автобус, тут и пошутишь и покричишь, да и вообще, среди людей разное может случиться. А что может случиться в поле? Заяц пробежит, жаворонок пропоет, приползет туча и хлынет дождь?

Хотя втайне я больше всего рассчитывал на Михала, думал, может, приедет в конце концов и что-нибудь посоветует или подыщет мне у себя какую-нибудь работу, потому что ни в парикмахеры, ни в кондукторы меня не так-то уж и тянуло. Все равно после работы всякую свободную минуту пришлось бы в земле копаться — выходит, и тут работай, и там. И вместо легкой жизни — каторга. Правда, Сташек тогда еще дома сидел, это его предназначением была земля. Только Михал все не приезжал и весточки о себе не подавал, хотя обещал, когда был в последний раз. Собирался даже на подольше приехать. Отпуск, говорил, возьмет. Потому что тогда словно бы на лету заглянул. И пробыл-то всего ничего. Меньше полудня.

Мы пообедали и сидели с отцом за столом, дымя цигарками, а мать мыла посуду. Дело было в воскресенье. Вдруг под окно подъезжает черный автомобиль. Мать даже испугалась. К кому ж это? А к нам. Иисусе, Мария, Михал! Господь милосердный, Михась! Дитятко мое! Сынок! Мы уж думали, с тобой что стряслось! Не напишешь, знаку, что живой, не подашь. Столько лет. А тут война. Сколько людей погибло. И после войны все гибнут и гибнут. Приехал наконец-то! Шикарный, в пальто, в шляпе, на руках кожаные перчатки, на шее вишневый шарфик, два чемодана за ним шофер вынес из этого автомобиля. У отца даже голос задрожал. Михал? — спросил, будто не веря. У матери слезы ручьем потекли. А шофер даже покачнулся на

пороге под тяжестью чемоданов, потом поставил их посреди горницы. Но Михал велел ему уйти и ждать в машине, потому что скоро им ехать назад.

Налетела орава детворы, облепили автомобиль, как мухи навоз, щупали, гладили, заглядывали через окошки вовнутрь. А шофер ничего, сидел как пришитый. Только отец вышел и ребятишек прогнал:

— А ну, разойдись. Это вам не корова, чтоб оглаживать. Еще покорябаете.

Останавливались и взрослые, поглядеть, кто ж такой к Петрушкам приехал. И ни один не хотел верить, что Михал. Тогда отец послал Сташека, пусть стоит перед хатой и говорит людям, что это Михал. До сих пор в деревне такого автомобиля не видели. Был до войны у помещика, но в половину этого и с открытым верхом, а тут все закрытое и окна как в хате. Епископ раз приезжал на миропомазание в автомобиле, но его автомобиль с этим и в сравнение не шел, хотя весь был украшен зелеными веточками, да и сам епископ в пурпурных одеждах.

Михал первую обнял мать и долго не отпускал: не плачьте, мама, ну, мама, не плачьте. С нами только поцеловался по два раза, в одну щеку и в другую. И сразу стал открывать чемоданы. Матери всяких разностей навез, отцу, но и нам, братьям, немало досталось. Мне привез носки, галстук, шарф, мыло для бритья. Матери — отрез на юбку, платочек на голову, иголки, нитки, корицу, перец, отцу — махорку, папиросную бумагу, рукавицы на зиму, Антеку — перочинный нож с двумя лезвиями и штопором, Сташеку — губную гармошку и обоим по рубашке. А кроме того, еще разные мелочи.

Жалел, что ненадолго только заехал, но обещал в следующий раз приехать на подольше, может даже на жатву, потому что тыщу лет не держал в руках косы, а хотелось бы покосить, интересно, сумеет ли еще. А сейчас просто так заглянул, узнать, здоровы ли мы, как пережили войну. С той поры, что она окончилась, собирался, да все находились поважнее дела. Даже отпуска до сих пор не брал, но приедет, непременно приедет.

От обеда остался бульон с лапшой, хотела мать ему подогреть, но он отказался: мол, не голоден, да и поели они в дороге. И только молока выпил, мать как раз подоила в полдень, оно еще было теплое. В один глоток выхлестал целую кружку, с полкварты, и даже вздохнул, ой, давненько не пил настоящего молока, прямо от коровы. И даже как будто взгрустнулось ему после этого молока, выпил и задумался. Тут мать: может, еще подбавить, а хочет, она ему в бутылку нальет, выпьет в дороге.

Михал засмеялся — вроде бы над этой бутылкой, хотя чего тут было смешного? Когда он учился на портного и приезжал по воскресеньям, мать ему всегда наливала молока в бутылки и давала с собой. Но он тут же обнял мать, поцеловал в лоб, словно бы извиняясь, что так глупо рассмеялся.

Как-то не верилось мне, что это Михал. Может, потому, что нагрянул как снег на голову и вдобавок сразу собрался уезжать обратно. Другое дело, виделись-то мы с ним в последний раз когда — перед самой войной, сколько ж это выходит лет? Тогда он тоже приехал неожиданно, не в воскресенье, как обычно приезжал, а посреди недели, в среду, не то в четверг. И понурый какой-то, насупленный. Отец у него спрашивал, мать спрашивала: что с тобой, Михал? Скажи. Но он точно язык проглотил, все о своем думал и только перед отъездом сказал, что будет война и чтоб мы не тревожились, если он не приедет. И потом, уже во время войны, когда один раз заехал, хотел со мной повидаться, поговорить по какому-то важному делу, но так никогда мне и не сказал, что это было за дело. Я даже собрался у него спросить, чего он тогда, в войну, от меня хотел. Война, конечно, за-

кончилась, и незачем старое ворошить. Но хотя бы поговорили. Да он посмотрел на часы и встал: мол, надо ехать, пора. И я только сказал:

— Я думал, мы поговорим. А ты уже убегаешь.

— Поговорим еще,— сказал он.— Я как-нибудь заскочу на подольше. Может, в отпуск к вам приеду. Посмотрим.

А тогда, в войну, мы с ним разминулись, я был в отряде, в лесу, а он, видать, тоже где-то был, потому что ночью приехал, ночью уехал. Почти целую неделю ждал: может, я появлюсь. В хате спать не захотел, в овине, в снопах вырыл себе нору. Во двор носу не высовывал, есть ему в овин приносили, когда смеркалось. А в случае чего отец, мать или Антек должны были выйти во двор и три раза громко позвать собаку: Бурек, Бурек, Бурек! И с тех пор впервые сейчас объявился. А за столько лет нетрудно друг от друга отвыкнуть, даже братьям.

Хотя, коли ты брат, так уж до смерти брат. И даже если невесть что с обоими случится, ничего тут не изменится. А он из братьев мне был самый близкий, ближе, чем Антек или Сташек. Вместе в детстве проказили, вместе, в одной кровати, спали. И всегда я его защищал, если кто-нибудь хотел его обидеть, даже когда приходилось одному идти против всех. Потому что, хоть он и тремя годами старше, я был похрабрее. Так оно и сравнялось. А иногда можно было подумать, я его старше, потому что я и покрепче был.

С виду-то он мало изменился. Взгляд только сделался какой-то пронзительный, трудно было ему прямо в глаза смотреть, он как будто тебя своими глазами просверливал, а раньше они у него были теплые, голубые. Но в войну у всех переменились глаза, у одних со страху, у других от недосыпу, а больше от слез. И еще они у него бесперечь бегали туда-сюда, как загнанные мыши. Он даже на матери взгляда не задерживал, хотя мать нарадоваться не могла — все Михась да Михась. И только разок вроде бы поласковей взглянул на цыплят, когда они вылезли из лукошка из-под наседки. Одного даже в руки взял, но быстро положил обратно, точно обжегшись. Да раз задумался, засмотревшись на Тайную Вечерю, может, припомнил, что собирался стать ксендзом.

Странным он мне показался, сам в себе зажатым, что ли. Не знай я, что это Михал, брат мой, может, и не чувствовал бы, что брат. Подумал бы: какой-то дальний родственник с отцовской или материнской стороны, которого я никогда в глаза не видал, а только слышал, что есть такой где-то на свете, но даже неизвестно, что делает, есть, и все. И вот нежданно-негаданно является воскресным пополуднем, точно гром с ясного неба, у всех аж языки отнялись, да еще за стол сесть отказывается, а поел бы, возможно, и к нам бы ближе стал. И не успел войти, уже собрался бежать, будто его случайно сюда занесло ветром.

Так что некогда было у него спросить, кто он теперь, что поделывает, как ему там живется. А спрашивать на ходу, когда столько лет о нем ничего не слышали,— уж лучше и дальше ничего не знать. Да и по правде говоря, негоже так, с первых слов, лезть в чужую жизнь, пусть даже брата и сына. Вдруг заденешь больное место? И тот ли это самый брат и сын? Перво-наперво надо бы сесть и посидеть спокойно, хотя бы покуда солнышко за окном не спрячется, чтобы наперекор этой бездне лет друг к другу привыкнуть. Ведь такой разговор заводить все равно что взрезать плугом давно не паханную залежь. А потом можно подумать, с чего начинать, и начать с начала, как бог сотворял мир.

Спросил только у него отец, будут ли колхозы. Но и на это не получил ответа, потому что Михал, едва распаковал свои чемоданы и пораздавал кому чего, сразу принялся расспрашивать, что у нас да как, и все спрашивал, спрашивал, до самого отъезда. И никак уже не

удавалось втиснуться промеж его слов. Будто ему хотелось до малости все узнать. Будто не повидать нас он приехал после стольких-то лет разлуки, а лишь для того, чтоб как можно больше из нас вытянуть и как можно больше забрать с собой. Ни минуты на месте не мог усидеть, вставал, ходил, и не было такой мелочи, которая бы его не интересовала. А еще из памяти, как из мешка, вытаскивал то одно, то другое, о чем только не припоминал, и спрашивал, спрашивал. Иной раз не подождет, пока ему до конца расскажут, и уже дальше вопросы задает.

Здоровы ли все, мать, отец, мы, братья,— так мать только и успела ему ответить, что в груди у ней все сильней колотье. Он покачал головой и тут же: а сколько мы по реформе получили гектаров, в каком месте, и не стращал ли нас кто, чтоб не брали; а потом опять: как здесь войну прожили, и кто из деревенских погиб, и отчего сгорели наши хлева, и собираемся ли новые строить, деревянные или каменные, черепицей крытые или, по-старому, соломой, сколько у нас коров, две или больше, есть ли теленок, думаем ли его оставлять, а лошадь — та же самая или другая, а как насчет электричества, не обещают провести, и почему стекло на лампе такое закопченное, керосин мы жжем или какую-нибудь пакость, и жив ли еще причетник Франтишек, а ксендз по сю пору тот же или другой, и не припутывает ли в своих проповедях к богу политику, и кто из деревенских теперь балдахин над ним носит, и почему носят всё те же богатеи, и суровая ли была в том году зима, много ли нападало снегу, разлилась ли весной река, и у кого мы брали воду, когда затопило родник, колодец не надумали рыть, а как сад, стоит ли еще за овином мирабель, что с нею сталось, может, отец новые черенки привил, а как старый Сподзея, по-прежнему чинит сапоги, кто же теперь, после его смерти, чинит, а собака, неужто все Бурек, и как новую кличут, Струцель, засмеялся, Струцель, Струцель, чего это мы его так чудно назвали, и много ли мать держит кур, гусей, и не таскает ли их хорек или ястреб, а может, соседи, и стоит ли над рекой старая ива, есть ли на ней еще ласточкино гнездо, и где теперь парни, девки купаются, всё возле Блаха, а река не обмелела, а куда девалось оловянное распятие с отломанной поперечиной, всегда ведь на столе стояло, и откуда у нас такой барский стол, и почему на окнах пусто — раньше было полно цветов, и сажали ли мы в этом году чеснок, хорошо ли он уродился, а как лук, капуста, морковь, свекла, и, видно, мать недавно горницу побелила, потому что известкой пахнет, и по-прежнему ли она готовит такие же вкусные вареники с творогом, с пережаренной сметаной, а как мы молотим, конный привод завели или по старинке, цепами, и жива ли еще старая Валишка, а сын ее, Метек, все так же пьет, и прилетают ли еще аисты на наш овин, и почему отец цигарку не выпускает изо рта, разве можно столько курить, а мать, печет еще хлеб или мы покупной едим, и были ли на нашем поле мины, а как хлеба, уродились ли, и про все по отдельности, как рожь, как пшеница, как ячмень, овес, где, сколько, и почему мы проса не сеяли, разве больше пшенную кашу не едим, и куда девались ступеньки, почему только камни лежат, и по-прежнему ли я в пожарниках, и есть ли у нас мотопомпа или все тот же насос, а где теперь устраивают гулянки — до сих пор в пожарном сарае, и дерутся ли так, как дрались, или, может, сейчас поменьше, а в каком классе Сташек, как учится, есть ли у него книжки, тетради, водятся ли куропатки в полях, попадаются ли зайцы, лисы, и почему дверь в сенях так ужасно скрипит, он, когда вошел, подумал, его не хотят впускать, а кто теперь войт, и большие ли нам назначили поставки, не собирается ли отец пасеку завести, хотя бы парочку ульев для себя, может, они бы с женой как-нибудь приехали медку поесть. Так ты женился? Он только головой кивнул и сразу спросил, как там Стефка Магежанка, вышла замуж, за кого, счастлива ли, такая же красивая, а кто из деревенских учиться пошел, кто

уехал, сколько приехало, жива ли еще Касперекова, которая учила польскому, и кто теперь арифметике учит, кто пению, не поубавилось ворон на тополях за мельницей, сбрасывают мальчишки вороньи гнезда, и кто теперь лучше всех по деревьям лазает, когда-то Шимек, и почему у нас изразцы на плите вспучились, и воюем ли мы по-прежнему с Пражухами из-за межи, и как случилось, что перестали, но ответа выслушивать не стал, дальше принялся спрашивать, катаются ли ребятишки зимой на санках с Потеевой горы, не гоняет ли их Потей, ходят ли еще на масленицу колядники, и кто Ирод, кто черт, кто смерть, и водятся ли, как раньше, привидения возле вербы у мостика или, может, черт уже оттуда убрался, и жив ли крестный Скубида, и за что его убили, а крестная Калишина, и есть ли еще у нас ласточки под стрехой, сколько гнезд, сговариваемся мы с кем-нибудь на время жатвы или сами возим, почему не купим себе часов, почему мать такая худая, почему отец так поседел, почему Антек, почему Сташек, почему я, почему то, се, почему, почему?

В конце концов отец не выдержал и оборвал эти его расспросы:

— Мы тебе все сказали, чего ты еще от нас хочешь?

А мать добавила просительно:

— Сел бы наконец и рассказал, что у тебя.

Он точно очнулся, посмотрел на часы и поднялся: ему пора, надо ехать. И сразу протянул руку, сперва мне, потому что я ближе всех сидел, потом отцу, Антеку, Сташеку, и только так, за руку, попрощался, словно бы до завтра, самое большее до послезавтра, или был просто наш знакомый, не сын, не брат. И еще прощался, а сам уже куда-то сквозь нас смотрел, будто думал вовсе не о том, что прощается, а бог весть о чем. И только когда к матери напоследок подошел и мать, бедная, снова расплакалась, обхватил руками ее голову, посмотрел в глаза и сказал:

— Ну, мама, не плачьте. Я приеду, обязательно приеду. Может, даже не один, с женой. Должны же вы с ней познакомиться.

И с тех пор больше не подавал признаков жизни.

Примерно год спустя написала мать ему письмо, но он не ответил. Потом написала другое, не ответил. Погодя хотела снова написать, но отец осерчал: зачем зря писать, пускай сперва на те письма ответит. Может, у него работы невпроворот и она этими письмами только забивает ему голову. А работа, куда от нее денешься? Как оно в деревне — начнется страда, задницу некогда почесать, почем знать, может и у него страда. Закончится, он и без писанья приедет. Вон сколько лет не показывался, а приехал. Рождество не скоро, а на рождество уж он точно приедет, может, даже с женой, он ведь говорил, что не один, пусть мать лучше подумает, какие пироги испечь, а письмами она его не подгонит, письмами и день не заставишь быстрей бежать, не говоря уже о страде.

Но не сбылись отцовы утешительные слова, и не приехал Михал ни на то рождество, ни на следующее. И мать продолжала писать, только теперь уже тайком. Зашел я как-то в овин, надергать лошади сена, а у задних ворот, на другом конце тока, вижу, мать пристроилась на коленях возле табуретки, на носу очки, и пишет. Всполошилась, спрятала ручку под передник и потом только повернула голову в мою сторону.

— А, это ты,— сказала с облегчением.— Я сюда помолиться пришла, в доме трудно мысли собрать, а здесь тихо.

— Что же вы, в сад не могли пойти, там тоже тихо, зато светлей,— сказал я, глядя словно бы ее глазами на чернильницу, которую она не успела спрятать.

— И здесь у щели светло,— ответила мать.

И еще полез я однажды за чем-то на чердак, уже сунул голову в лаз, а там мать возле щелей в глине, которой солому в стрехе скрепляют, сидит с кухонной доской на коленях и пишет. Я дальше поды-

маться не стал, спустился тихонько обратно, стараясь, чтобы не скрипнула лестница. И потом, после того как мать слегла, я не раз ее заставал, когда она писала письма, склонившись над табуреткой с лекарствами, которая стояла рядом с кроватью. Я притворялся, будто ничего не замечаю, или сразу же выходил, вроде о каком-то деле как раз в ту минуту вспомнил. Не знаю только, кто эти письма на почту носил. Антек со Сташеком уже уехали. А из чужих, что к нам приходили, я не видел никого подходящего, кому б она могла доверить письмо. Может, отец? Он ведь раньше был противником этих писем, так что теперь в открытую мог стесняться и тишком относил, когда меня не было дома. Потому что отец, с тех пор как они одни остались, не считая меня, прилепился к матери, словно малое дитя. Так бы все и сидел у ее постели и что-то там из прошлой жизни рассказывал. А иногда ничего не рассказывал, просто так сидел, квелый, то ли не выспавшийся. И как когда-то он всех на работу гнал, так теперь матери приходилось постоянно о том о сем ему напоминать. Даже о самых обычных вещах. Чтоб коров напоил, или сечки нарубил, или в хлеве солому постлал, или хотя бы собаке вынес миску с едой.

— Ну, иди же, иди,— не раз упрашивала его мать.

А он сидел и отмахивался от ее просьб, как от докучливых мух.

— Чего пристала? Напою еще, нарублю, постелю, вынесу. А ты лежи, ты больная.— И ни с места.

Тут жатва на носу, а он сидел, словно дело шло к зиме.

— Рожь, небось, уже поспела,— напоминала ему мать.— Сходил бы ты в поле, поглядел, может косить пора.

— Где там поспела. Прошлый год об эту пору еще зеленая была. Это только когда в кровати лежишь, кажется, время бежит. А в поле у времени иной счет.

Когда же ему в конце концов приходилось вставать и идти, потому что она его не оставляла в покое, бормотал что-то себе под нос, злой-презлой, и иной раз в сердцах хватал с припечка кота и вышвыривал во двор:

— Мышей лови, лоботряс, нечего разлеживаться в хате.

Либо пустыми ведрами зазвенит: мол, опять нет воды, а ему пить охота. А однажды даже дверь ногой пнул, скрипит, окаянная, точно у ней болит что.

Матери все трудней становилось подыматься с постели. Иногда только она вставала, чтоб сготовить чего или курам подсыпать зерна, если отец забывал. А когда затевала стирку, должна была к лохани подставлять табуретку и стирала сидя, а отец воду грел, наливал, выливал, ходил на реку полоскать, развешивал стираное во дворе или выносил на чердак. И только когда Антек со Сташеком приезжали, с их приездом выздоравливала. Зарезала курицу, варила бульон, раскатывала лапшу, стирала грязь, которую они привозили с собой. Но после их отъезда сразу сваливалась и неделю, а то и больше не вставала с постели, и сердце у ней болело и болело.

— Видать, смерть уже за мной идет,— жаловалась она отцу.

А отец ее утешал: шла бы, так сперва за ним, а он еще не чувствует, чтобы шла. И совал матери четки — пусть помолится, враз полегчает. Сам тоже брал молитвенник, присаживался рядышком, но, так как невеликий был грамотей, чуть что обращался к ней за помощью:

— Ну-ка прочитай, чего здесь написано, вон тут. Я что-то не разберу.

И мать читала:

— Незапятнанная первородным грехом...

— Это незапятнанная так пишется? — удивлялся отец.

Но иногда мать, осерчав, что он ее то и дело сбивает, приказывала ему молиться по памяти: что это за молитва, когда не понимаешь, чего написано. Отец оправдывался: ежели по памяти, молитва у него мешается с другими мыслями, и бог в этих мыслях теряется, и он его по-

том никак не отыщет. И не обижался, что она сердится, да и сердилась-то мать не по-настоящему. Может, они просто так препирались, вместо того чтоб вздыхать, жаловаться, что остались одни. Или поиному говорить им уже не хотелось, да и о чем говорить, когда все давным-давно друг другу сказано. И как — теми же самыми словами, которые тысячи тысяч раз в жизни были говорены, а жизнь все равно против слов обернулась?

Иногда мне их становилось жаль. Только я не часто после работы шел прямо домой. Обычно летел куда-нибудь — водку пить или к девушке. Сплошь да рядом за полночь возвращался, когда родители уже спали. А то и под утро, когда они просыпались, ну а я спать заваливался. Когда же выпьешь и домой приходишь пьяный, в дверь и то не сразу попадешь. А пьяный, мало что пьяный, ты своей родне чужой. Что-то отец с матерью говорили, а во мне шумело, урчало, играло, я почти и не слышал, что они говорят. Случалось, с трудом припоминал, что это отец, мать и что надо мной они так жалостно причитают. Еще мать повздыхает, как всякая мать, посетует, но хотя б спокойно:

— Ох, Шимек, Шимек, не пей, одумайся. Одумайся, сынок, не пей.

Но отец, который не мог мне простить, что я взялся за эту регистрацию, только заметит, что я тяжелей обычного переступаю порог, сразу, как на паршивую овцу, набрасывался на меня, что я семью позорю, что в нашем роду испокон веку все с богом рождались, с богом жили, с богом умирали, а кто-то там даже в Святую Землю собирался, кто-то образ купил в костел, кто-то балдахин над епископом нес, когда приезжал епископ, а Михал стал бы ксендзом, кабы было на что, один только я выродок. Без ученья, без рукоположения, без бога грешные заключаю браки.

— И надо же нам было дожить до такой беды. Сатана, видать, тебя, паразит, попутал.

— Что ж, коли с богом дело не пошло, надо хоть с сатаной дружбу водить, с кем-то ведь нужно,— назло отцу отвечал я.— Да и что мы, отец, знаем о сатане? Не больше, чем о боге. А может, богу не управиться было со всем миром и пришлось поделиться с сатаной. Что мы, отец, знаем? Пашем, сеем, косим, и так без продыху, выходит, и бог не близко, и сатана далеко.

— Люди уже над нами смеются, антихрист! Хотели ксендза иметь в роду, говорят, вот и заимели. Только еще сутану ему купите.

— Сутана мне не нужна, а на людей я чихал. Завидуют, что я на государственной службе?

— На службе, бесстыжие твои глаза. Тьфу! Может, еще исповедовать начнешь? Детей крестить? Покойников хоронить? Кропильницу только не забудь завести. Небось, водкой станешь кропить, святая вода тебе руки будет жечь. И за что нас так бог наказал? Ну за что? За что?

— Брось ты это дело, сынок,— вторила отцу мать.— Хочешь нас в могилу вогнать? Нам и так немного осталось. Взялся бы наконец за ум. Опамятовался. Женился.

— Ишь чего захотела — женился!— невесело шутил отец.— Ксендзу жениться нельзя. Он других должен женить. Да и кто за такого ветродуя пойдет? Нашел себе занятье, чтоб подальше от земли. Ты еще вернешься к этой земле, шалопут, вернешься.

Я пропускаю мимо ушей отцовы пророчества: с чего б это мне возвращаться? Обета я земле не давал, стало быть, ничего ей не должен, зато в гминном правлении и четверти того не наработал, чего потребовала бы земля, потому что, как и обещал войт Рожек, почти никакой работы там не было. Расписываться по-прежнему никто не приходил, так что почти все время я сидел за столом и смотрел в потолок. Ну еще в окно выглянешь, поговоришь с кем-нибудь, кто перед гминой чего-то там дожидается, или почитаешь газеты. Но газетами дня не заполнишь, хоть бы и такого, уполовиненного, как в гмине.

Скучновато порой становилось. Кончишь читать и не больно знаешь, чего дальше с собою делать. И так, пока не пробьет четыре часа. Первое время вдобавок из соседних комнат даже никто не заглядывал, боялись, что ли, меня или умышленно сторонились? Изредка только забежит секретарь, постреляет глазами по углам, спросит:

— Ну как, коллега, никто еще желания не изъявил? Старайтесь, старайтесь. — И поминай как звали.

Или войт Рожек зазовет к себе, когда ему понадобится речь сказать на собрании мужикам или перед детьми в школе.

— Нате, почитайте, Петрушка. Если чего умное в голову придет, допишите. Как-никак в милиции служили, разбираетесь, что к чему. Против духовенства только не особо, не то меня потом баба из хаты взашей погонит, коли ей донесут. Да и мужики могут обидеться. Ну и ошибки поправьте.

Еще просил войт, чтоб я ему начисто речь переписал, и поразборчивей. Читать он с грехом пополам читал, но когда до письма доходило, царапал как курица лапой. И даже подпись нормальную поставить не мог. Секретарь ему не раз показывал, как нужно, чтобы слитно и на конце с росчерком, а не так, буковка за буковкой, точно первоклассник, потому что никто к такой подписи уважительно не захочет отнестись. Поэтому, когда к нему ни зайдешь, всегда на письменном столе валялось полно листков с этими росчерками.

— Учусь, как видите. Но похоже, не научусь уже. Надо бы руке отсохнуть да наново вырасти. То ли было у войтов до войны житье. Какой-нибудь там Кужея или Задрусь поставил три крестика — и готова подпись. А теперь не позволят. Народ весь образованный. Да и какие у войта тогда были заботы? Выбоину на дороге засыпать. А нынче тут и политика.

Да и нечего удивляться, он всю жизнь кучером в именье служил и вдруг стал войтом, рука-то у него к кнуту была привычная, не к перу. Но если речь хорошо слушали, непременно приносил мне четвертинку. А если плохо, тоже приносил, в утешенье.

— Не получилось, Петрушка, не получилось. Двое-трое разок хлопнули, а остальные башки свои понурили и волками глядят. Это тебе не кучером быть. Там сиднем сидел, а лошади тянули. К тому же баре имелись, было против кого бунтовать. А против кого теперь? Если б еще повыше залететь — наверху оно всегда полегче. Хуже всего, Петрушка, внизу, а совсем худо при самой земле. Эх, засраная, скажу я вам, у войта жизнь. А казалось, сладкая будет. Как думаете, может, мне на тракторе ездить обучиться? Лошадей скоро не останется. Те, что в деревнях, перемрут, и конец лошадям. А за трактором будущее.

Но так он и не успел обучиться на тракторе. Вскоре его застрелили неизвестно за что. Возвращался под вечер, как обычно, домой на велосипеде, потому что жил в бараке в соседних Бартошицах, и чего-то у него передача забарахлила, он и вел этот велосипед за руль по лесу. А утром люди нашли его на дороге с тремя пулями в груди и запиской, приколотой английской булавкой к куртке: смерть красным холуям. А велосипед на нем лежал.

Первыми я поженил Стаха Магдзяжа из Лисиц с Иркой Беднаркувной с хутора. Ирка была в зеленоватом костюме, Стах — в коричневом в полоску. У Стаха была мать-старушка, а Ирка жила в прислугах на мельнице. Стах с войны не ходил в костел, ему ксендз согрешения не отпустил. А потому не отпустил, что ехал однажды к больному со святыми дарами, а тут у Сапели на хуторе пожар. Все лошади были в поле, насос не на чем везти. Ну и Стах, не долго думая, остановил бричку с ксендзом, перепряг лошадей в телегу с насосом и укатил. Не такой уж страшный грех, ксендзу и было-то идти к больному всего на край деревни, вполне б мог дойти пешком.

Пришел войт, секретарь и еще двое-трое служащих поглядеть,

как я буду в первый раз людей расписывать. Чувствовал я себя неловко, и язык запутывался, но ничего, кое-как справился. Набрались мы потом со Стахом в корчме почти до беспамятства. Ирка одну рюмочку выпила, а от второй отказалась, сколько мы ее ни уговаривали. Сидела пригорюнившись и все только спрашивала, будут ли они после такого венчанья счастливы. Мне раза три пришлось ей поклясться, что будут. И даже одну поллитровку я на свои за это их счастье поставил. Они и жили счастливо, покуда у Стаха не открылись какие-то язвы в желудке, от которых он умер.

Я в два счета обучился этому делу, поженить кого-нибудь для меня было все равно что съесть кусок хлеба. Словно я бог весть с каких пор этим занимался. Да и невелика наука. Сперва скажешь несколько официальных слов. Ты, Петр, Ян, Владислав, Казимеж, берешь в жены Хелену, Ванду, Брониславу или которую-нибудь еще и клянешься ей в любви и верности, а также в том, что не покинешь ее до смерти. Клянусь. И ты, Хелена, Ванда, Бронислава или как там тебя. Клянусь. Потом надеваешь им на пальцы обручальные кольца, если они у них есть. Подтверждаешь, что брак законный. Потом еще что-нибудь от себя добавишь. Пусть ваш жизненный путь будет усыпан розами, и уважайте друг друга, потому что отныне у каждого из вас никого нет на свете ближе.

Говорил я всегда от чистого сердца, и слова прямо сами слетали с языка, так что, когда я кого-нибудь женил, все в гмине бросали работу и сбегались, чтоб хотя бы через приотворенную дверь поглядеть, послушать. А если еще и окно в комнате было открыто, так в окне тесно делалось от голов, точно от цветочных горшков. Потому что и тем, кто приходил в гмину по своим делам, тоже хотелось поглядеть, послушать. В горе ли, в беде, всегда друг дружку поддерживайте. Зла никогда другому не чините, а будьте, как небо и земля, друг к другу добры. Огорчений не доставляйте, жизнь их вам сама доставит. И не ругайтесь, не обзывайтесь, и чтоб один на другого никогда не поднял руки. А если подымет, пусть эта рука отсохнет. И не потому, что так говорится. А потому, что ты, муж, и ты, жена, с этой минуты словно две руки одного тела, она левая, ты правая. А тело ваше едино. Если же кого-нибудь из вас одолеет недуг, или скрутит боль, или у которого-нибудь слезы потекут, знайте: все это ваше общее. Ни ты не сможешь сказать, что не тебе больно. Ни ты, что не ты плачешь. И помните, что вечно молоды вы не будете, да и сколько этой молодости у человека в жизни? Как кот наплакал, меньше, чем весны в году. Она у тебя когда-нибудь изморщится, да и ты моложе не станешь, полысеешь или поседеешь, а тогда особенно трудно быть мужем и женой. Тогда иные кулаки пускают в ход, хотя никакой вины у них друг перед другом нет. В ложке воды бы друг дружку утопили, а раньше души не чаяли. Но помните, от несогласья никому еще легче не становилось, а жить надо, пока все само собой не придет к концу. Так уж лучше жить в согласье. Женитесь вы не только на то короткое время, покуда молодость не пройдет, но и пока старыми не перестанете быть. Вы теперь как это дерево за окном.

Перед гминным правлением рос высоченный клен, помнивший еще времена, когда правления здесь не было, а стояли старые бараки, куда свозили больных холерой. Летом в тени клена прятались от солнца приходившие в гмину по своим делам люди, и порой надо было их унимать, чтоб не галдели, как на ярмарке. Эй, вы, потише! Тут женятся! Так вот, ты, муж, словно бы ствол этого дерева, а она — ветви. Обрубишь ветви, засохнет ствол, покалечишь ствол, засохнут ветки. Желаю вам счастья, здоровья и хороших детей. А теперь поцелуйтесь. Потом я отправлялся с молодоженами пить водку, потому что, хоть в гмине расписывались в основном бедняки, на рюмочку всегда приглашали.

Сколько я ни регистрировал эти браки, один только раз побывал на настоящей свадьбе. Женился Юзек Ковалик на Зоське Секежанке. Старики забили кабанчика, привезли оркестр, пригласили кое-кого из родни, из соседей, ну и меня. Но не ради молодых они старались: у старого Ковалика было по тем временам чересчур много земли, и вечно его попрекали: мол, кулак он и кровопийца, потому как еще и работника держит. Хотя работнику совсем не худо жилось, и даже когда его спрашивали, говорил, что у Ковалика ему лучше, чем если б он сам хозяиновал. Мог бы, конечно, Ковалик на этого кулака и кровопийцу плевать, но когда ему с каждым годом стали повышать плановые поставки, в конце концов не выдержал. Прибежал как-то в гмину, и пусть забирают у него землю, не то он повесится.

— Не хочу земли! — размахивал руками. — Не хочу, чтоб через нее мне житья не давали! Забирайте ее себе! Пашите, сейте, косите и сдавайте сколько хочете! Недаром сказано, что придет пора, мужики сами будут отдавать землю! Видать, пришла!

Ну и тогда войт Рожек дал ему совет: зачем так уж сразу землю отдавать или вешаться. У него сын есть, Юзек, пускай он его женит, да поскорее, потому как время не ждет, и хозяйство распишет на двоих. На ком? На ком попало, какая подвернется. Не сладится у молодых, разведутся. Брак не церковный, гмина не костел, и Шимек Петрушка не ксендз. А в книгах будет черным по белому написано: два середняцких хозяйства, а середняцкие никому не колют глаза. Куда проще хоть три раза жениться и три раза развестись, чем на центнер уменьшить плановые поставки.

И чтобы разделить хозяйство, выбрали Юзеку в жены Зоську Секежанку, потому что она рядом, через забор, жила и бедная была, как церковная мышь. А выйти за такого богача, как Юзек, могла самое большее мечтать. Так что ей все равно было, в костеле или в гмине, на всю жизнь или только для раздела земли, с оглашением о помолвке или без, в фате или в обычном платье, перед ксендзом или передо мной, она б согласилась и перед чертом в пекле, лишь бы за Юзека.

Сунул мне Ковалик пятьсот злотых в карман, чтобы я речей не произносил, только расписал сына с Зоськой — и точка. А не прошло и трех месяцев, насел на молодых: разводитесь — и все. Но тут Юзек заартачился, нет и нет. Не для того женился, чтоб разводиться. Он Зоську в жены взял, не в прислуги, и в обиду ее не даст. А земля разделена, и на отца ему теперь начхать. На худой конец он на свое пойдет, а отец пускай сам на своей половине горбит.

Но пока старик был жив, а жил он долго, Зоське приходилось несладко. Никогда он ее иначе чем голодранка, потаскуха, приблуда не называл. А случалось и из хаты выгонял: мол, не тут ее дом, а там, за забором. Даже когда ребенок родился, не помягчел старик. Нет чтобы хоть изредка приглядеть за маленьким, поиграть с ним, как другие дедушки, что и посмеются, и поболтают с внучонком, и расскажут разные чудеса про белый свет. Еще не пропускал случая уколоть сына:

— Не твой это, видать, Юзек, ни вот столечко на тебя не похож. А смеется так же криво, как Генек Скобель.

А Зоська хоть бы раз сказала старику: совесть-то у вас есть? Самое большее, убежит в чулан или в сад, чтобы там выплакаться, а Юзек за ней, утешать. Что же ему, родителя бить?

Только когда пришла старику пора помирать и Зоська за ним, как за отцом, ходила, взял ее однажды за руку, когда она ему поправляла подушку, и сказал:

— Плохой я был человек, Зося. А ты святая. Да не простит мне этого господь, а ты прости.

И Зоська, как отца родного, когда он помер, его обмыла. И, как отца, оплакивала на похоронах.

Зайдешь, бывало, к ним телевизор посмотреть, так они точно два голубка, хотя уже волос седой. Зосенька, Юзенька. И один за другого в огонь и в воду, а у них уже внуки. Сядь, отдохни, я сам сделаю. Мало ты наломалась? Ничего со мной не станется. Станется не станется. Ты не меньше наработался. На, выпей кислого молока. И даже в страду, когда работа из людей пот выжимает и проклятья, они всё Зосенька, Юзенька. Точно припевка у них такая к жизни была. Недавно даже обвенчались в костеле — ксендз их допек, покоя не давал: что им мешает, чтоб и богу нашлось местечко возле ихнего счастья. Вредить ведь он не станет.

Три года я на регистрации просидел, а потом меня перевели на плановые поставки, где работы было невпроворот, там не только зерно, но и убойный скот, и молоко, а главное, полно писанины, и год от году все больше. А на старом месте в кои-то веки раз кто-нибудь придет расписываться — и все дела. Время от времени, правда, мне подбрасывали какую-нибудь работенку, чтобы я не скучал. Чего-то проверить, переписать, подсчитать. Или прислали как-то в гмину книжки, а библиотекарша в аккурат ушла рожать, так секретарь заставил меня все названия переписать, книжки обернуть, наклеить номера, поставить печати, что они гминные, разложить по полкам. А то некому было присмотреть за ремонтниками, чинившими дорогу на мельницу. Осенью, когда зарядят дожди, или весною, в оттепель, там и двуконной телеге не проехать — грязь выше осей. Кого просить? Известное дело, у всех работы по горло, а ксендз сидит за письменным столом и в потолок смотрит. Ну как, пан Шимек, может, сходите? Все равно сегодня расписываться никто не придет. А хоть надзирать вроде бы не работать и можно было полежать в теньке под кустом, потому как мужики и без надзора свое дело делали, я уже так привык к письменному столу, что только и мог смотреть в потолок, и вовсе мне не казалось, будто я бездельничаю. Иной раз задремлешь, когда солнышко через окно посильней припечет или если накануне выпил. А то кто-нибудь заглянет, поговоришь о том о сем. Либо сам пройдешься по комнатам, поточишь лясы или полюбезничаешь с девушками.

Ой, девушек тогда было в гмине, как пчел в улье. Часто только за тем и приходили работать в правление, чтобы побыстрей подцепить мужа, притом из служащих. Была б охота, можно бы даже жениться, и не один раз. Только зачем, когда и без женитьбы то же самое получаешь. Девушки тогда помирали по нейлоновым чулкам, и за пару таких чулок любая соглашалась. Вытащишь, бывало, покажешь, хочешь, Агнися, Юзя, Рузя, чтобы были твои? Приходи вечером туда-то и туда-то. Было что-то такое в этих нейлоновых чулках, отчего у девушки, едва она их завидит, глаза туманились, голос теплел, вот-вот сама на тебя полезет. Другое дело, если у которой-нибудь ноги были кривые, в таких чулках они словно бы распрямлялись, чересчур толстые опять же становились тоньше, а слишком тонкие делались в самый раз. И даже из-за этих чулок меньше на лицо глядели, красивое, некрасивое — главное, какие ноги. А уж стоило одной-двум в костеле показаться в таких чулках, весь костел, вместо того чтобы вверх смотреть, смотрел вниз, и у всех баб служба была до конца испорчена, и не всякий мужик мыслями оставался с богом.

Я покупал чулки у одной торговки, которая время от времени приезжала в деревню с разным барахлом. Знал ее, еще когда работал в милиции, и однажды задержал на станции по подозрению, что она дрожжи самогонщикам продает. Обыскал узлы и наткнулся на пару таких чулок, она их кому-то везла.

— Привезите и мне, я куплю. Может, даже несколько пар,— сказал я. С тех пор она и привозила.

Раз я купил все чулки, какие у ней были, штук, наверное, двенадцать, и на разный размер, большие, маленькие, средние, и разных цветов, мышиные, рыжие, как горелая солома, как ржаной хлеб, а тонюсенькие, как паутинка.

— Беру все,— сказал я.

— Ой, вот это барыня. Столько пар,— сказала она. — Есть же счастливицы на свете. А какая у ней нога?

— У кого?

— Ну, у той, для которой берете, невеста или жена, не знаю.

— Видно будет.

— Здесь-то разные, могут не подойти. А тонизна какая, зацепишь ногтем, и уже побежала петля. Надо, чтоб руки были ухоженные. Вы бы ей крем купили. У меня и кремы есть. А то потом принесете обратно дырявые. А я не возьму. В такую даль тащиться да еще остаться внакладе.

— Подойдут. Не той, так этой. Чего загодя думать.

— Ну, дело ваше. Привезти еще?

— Привезти, привезти.

Спрятал я эти чулки на чердаке во ржи, в соломенной кади. Засунул как мог глубоко, чтобы отец не нашел ненароком, когда придет смотреть, не отсырела ли рожь. Хотя отсырела не отсырела, в глубину незачем лезть, иной раз достаточно сверху поворошить либо засунуть одну только кисть и подержать немножко, если рожь волглая, руку все равно как над паром держал. У меня и сомнений не было, что лучше спрятать чулки нельзя. В прежние времена люди в зерне в кадях деньги прятали, доллары, рубли, а в войну — оружие. Потому что на зерно в последнюю очередь подозрение упадет. Что может быть невинней зерна? Да и кому захочется до самого дна докапываться, когда в такой кади помещалось с десять корцев.

Но прихожу я как-то с работы домой и вижу — чулки мои разложены на столе, точно выставлены на продажу.

— Откуда эти чулки? — Меня прямо в дрожь бросило.

А отец, сидевший возле матери у кровати, спокойненько, как ни в чем не бывало:

— А выросли у нас во ржи на чердаке. Я зашел поглядеть, не отсырела ли рожь, ну и сорвал, матери показать. А мать не верит. Может, тебе поверит. Скажи-ка ей, что это чулки. Да и чему другому быть? Нейлоновые. Теперь только в таких ходят. Интересно, много ли пара стоит? Небось, с корец ржи. Глянь, сколько их выросло. И не сеянные, не унавоженные. Видать, рожь сеять уже резона нет. Надо нам заместо ржи на чулки перекинуться, раз господь такое счастье послал. Испокон веку изо ржи только рожь вырастала, а у нас этакое чудо.

Я хотел было сгрести со стола эти чулки, хлопнуть дверью и бежать куда глаза глядят. Но посмотрел на мать, она лежала, отвернувшись лицом к стене, словно застыдившись, и жалко мне ее сделалось. Ладно, подумал. Взял тарелку, налил себе из кастрюли картофельной похлебки, сел на табуретку возле плиты, потому что стол был весь чулками завален, и стал есть. Отец все талдычил свое, что из чего выросло да какое нам господь счастье послал, пока в конце концов у него все не перепуталось и он уже сам забыл, то ли чулки изо ржи, то ли рожь из чулок. Но я ни словечком не отозвался. Да и что можно было сказать? У него свои заботы, у меня свои.

Немолод я уже тогда был, не соглашались девушки просто так, ради прекрасных глаз. Да и не такие были глупые, как до войны. Редко которая бы на морги польстилась. Да и в моргах ли счастье?

Работаешь как вол с утра допоздна, и так день за днем, а счастья на том свете жди. И то еще бабушка надвое сказала. А здесь как-никак по одежке встречают. Вот девки и предпочитали одеться, чем свою невинность хранить. Да еще постоянно слухи ходили, будто позабирают у людей эти морги, так при обобществленных-то моргах кому невинность нужна?

Чулок я этих пораздавал — достанься все одной, до конца жизни было бы в чем ходить, и не только по праздникам. Еще б что ни день в новых ее видели. Иногда я всю свою зарплату ухлопывал на чулки, когда приезжала торговка, разве что на сигареты оставалось. Другое дело, что платили мало, и если б дома не кормиться, на зарплату бы не прожить. И сколько я чулок ни раздавал, только от одной получил отказ.

Когда я еще на записи браков сидел, взяли в правление на работу новенькую, из Ланова. Ланов — деревня километрах в четырех от нашей, за лесом, но в гмине Жабчицы. Она в налоговом работала, звали ее Малгожата. Поначалу я на нее и внимания особо не обращал. Виделись мы, ясное дело, почти каждый день, как же в гмине не видеться: входная дверь одна, коридор тоже один, и все в одно время приходят, в одно уходят. Но я мимо нее проходил спокойно: сослуживица и сослуживица. Здрасьте. Здрасьте. Больше ничего. Какой-то неприступной она мне казалась. Любую другую можно было шлепнуть, ущипнуть или где-нибудь в узком проходе прижать, и известно было, что она не обидится. А эту я побаивался, такая могла и оплеуху влепить. Может, потому, что среднюю школу кончила. А тогда школьный аттестат значил больше, чем теперь диплом. Ну, учится кое-кто из нашей деревни в институте, и что? Ведь даже шапки не снимет, поганец, ждет, пока ему первому поклонятся, потому как он ученый. Один только Ясь, Кулагин сын, приветливый, вежливый, всегда остановится, руку подаст, спросит, как дела. Человеком будет.

Нравилась она мне, не стану врать, притом всегда одета красиво, всегда новая кофточка, платьице, жакетик. И вдобавок в ненастные дни приходила с зонтиком, изо всех девушек в гмине у нее одной был зонт. И наверное, поэтому пополз слух, будто она с председателем живет, иначе откуда бы ей на все это взять. А тогда только-только войтов заменили председателями, и после войта Рожека недолгое время войтом был Гуз, а после него, уже председателем, один такой, Леон Маслянка. Не из нашей деревни, жена, та была местная, Юзька Стаюдзянка, а сам невесть откуда. Стоило у него спросить, что он во время войны делал, сразу начинал темнить. Из повета его прислали, чтобы выбрать председателем.

Не хотелось мне верить, что она с Маслянкой. Не похожа была на такую. А я могу о себе сказать, что разбираюсь в людях, жизнь меня научила, кому верить, кому нет. В партизанах я никому не верил, и это было важнее, чем меткий глаз, каменное сердце или холодная кровь. И может, только благодаря этому я не погиб. Потому что до конца верить можно только покойникам. И то не всем, попадаются такие, в чьей смерти тоже есть какой-то обман.

Хотя, с другой стороны, почему это я должен был ей верить? Я ведь ее не знал, а в сплетнях всегда доля правды есть. Может, она только так ловко прикидывается. А за председателем у нас в гмине не одна бегала, в конце концов он председатель и всегда может подложить свинью. Да и что другое они в нем видели? Ростом не вышел, с брюшком, к тому же вечно потел. Но в обращении с женским полом был мастак. По утрам, когда обходил комнаты, всякой говорил что-нибудь приятное, одной улыбнется, другой ручку поцелует, эту по-отечески погладит по голове. Еще носил он на пальце большой перстень с красным камнем, вроде бы память об отце, и перстнем этим каждой перед глазами норовил сверкнуть. Только

когда приезжал кто-нибудь из повета, снимал перстень с пальца и прятал в стол. Поговаривали, что вовсе это не память об отце, а он в войну свиньями торговал и здорово нажился. Не важно, как оно было, но после Рожека, у которого через слово выскакивало ругательство, потому как у него что на уме было, то и на языке, Маслянка мог чуть ли не за помещика сойти. Так что и она могла на него клюнуть.

Я подумал: надо попробовать, что мне мешает? Если она такая, дело сладится. Вышло у него, выйдет и у меня. Поглядим, кто лучше, несмотря, что ты председатель. Надену воскресный костюм, а на тебя хоть два нацепи, не будешь, как я, глядеться. А еще надо было видеть меня в офицерских сапогах. Ты когда-нибудь офицерские сапоги носил? Ушат на табуретке, вот бы ты на что был в них похож. А про меня говорили — я б мог в уланах служить. И может, служил бы, кабы жизнь по-другому пошла. Тоже мне шишка, председатель. Если б мужики могли выбирать войтов, как когда-то выбирали, ты бы в лучшем случае рассыльным стал. А перстень, не думай, я тоже когда-то носил, и побольше твоего, камень в нем был как у десятикилограммового карпа глаз. И не на свиньях нажитый, а исконный, родовой, так и знай, козел.

Меня ранили в бедро при налете на почтовый вагон в Липенниках. Отвезли на бричке в усадьбу, там, решили, безопасней всего. Положили под самой крышей в мансарде, чтобы, если что, не так легко было меня найти. Но дай бог всю жизнь в такой прожить. Мансарда, а куда просторней нашей горницы. И во весь пол ковер, под потолком светильник, на стенах лосиные и оленьи рога. А на диване, где я лежал, целой семье бы впору спать. В придачу у самого изголовья окно в парк выходило, вот пташки мне и чирикали с утра допоздна. И вообще будто не было никакой войны.

На случай чего уговорились, что я помещиков кузен и болею чахоткой. Почему нет, я и кузеном мог быть. Был ведь трубочистом, когда понадобилось бургомистра в Неголеве по приговору шлепнуть. И монахом, когда пришлось выбираться из города, а все дороги перекрытые. И даже в гробу меня однажды перевозили, будто бы покойника в родной приход на кладбище, где вся семья лежит, везли хоронить. А уж за помещикова кузена сойти — чего проще. Особенно когда лежишь и наружу только лицо и руки. Лицо у меня было вроде ничего, притом осунувшееся, очень даже подходило для чахоточного. Вдобавок еще дали мне очки, чтобы в случае чего их нацепить и книжку читать. Но я сквозь них только туман видел, зрение у меня по нынешний день как у ястреба. А книжки я ни разу не открыл, хоть она и лежала рядом на тумбочке. Сразу же явилась горничная с водой, мылом и полотенцем и первым делом хорошенько отмочила мне пальцы на руках, потом обрезала живую кожу по краям ногтей, аж до крови. Я у ней спросил: это зачем? Барыня велела. А ногти мне обстригла почти что вровень с пальцами, я потом почесаться не мог, так только, сам себя щекотал. И вот на этот, на средний, палец надели мне перстень, большой, золотой, камень, как я говорил, с глаз десятикилограммового карпа. Рука у меня от этого перстня сделалась будто не своя, я ею шевельнуть боялся и все время держал неподвижно на одеяле. А еще надели на меня помещикову рубаху, так я в первую ночь глаз не сомкнул. Как спать в такой, когда она больше на стихарь похожа, чем на рубаху? Кружева, оборки, а материи — хватило бы на двоих. И на тумбочке возле постели положили помещика золотые часы. Любимому Маурицию от любящей Юлии — было вырезано на крышке.

Поначалу мне казалось, я все это вижу во сне. Но в два счета привык, и жалко стало думать, что придется снова возвращаться в лес. Легко ли, когда полежишь с недельку как помещиков кузен, которому еду подают в постель. Если б еще из-за пули лежал, а мне велено

было из-за чахотки. А что это за болезнь — чахотка? Франек Мартиняк перед войной болел чахоткой, так он масло на кусок хлеба намазывал с этот кусок толщиной, а сколько собачьего сала выпил, сколько яиц, сливок, Мартиняки у себя ото рта отрывали, все только б ему, младшие стали к родителям приставать, что тоже хотят чахоткой болеть. Потому что выглядел он как пончик.

Иногда даже мелькала у меня мысль, что я и на самом деле мог быть помещиков кузен, отчего нет. Хотя бы тот же Маурициий, который на крышке часов. Только что это была за Юлия? Ни помещик Маурицием, ни помещица Юлией не звались. И то для меня ихняя жизнь по-одному складывалась, то по-другому, но всегда счастливо. Не могли же они золотые часы на память дарить, если были несчастливы. И хотя, наверное, сами давно уже обратились в прах, счастье их по-прежнему тикало в этих часах. А если хорошенько прислушаться, чистенько тикало, словно где-то поодаль по утренней росе звонили над ними колокола. Я уж стал подумывать: может, время вовсе не бежит вперед, а ходит, как часовая стрелка, по кругу и все возвращается на свои места.

От этого лежанья меня разнесло, и в усадьбе начали побаиваться, что не очень-то я на чахоточного похож. Может, лучше бы мне было какой другой болезнью заболеть? Только ничего так не отпугивало людей, как чахотка, разве что тиф. Но кабы тиф, мог бы слух разнестись, приехали бы и всех забрали в больницу, а усадьбу наглухо заколотили. Зато я все больше становился похож на кузена. Горничная, которая вначале относилась ко мне так, точно ей из-за меня только прибавилось хлопот, теперь, принося еду, уже не ворчала:

— Обед. Обед принесла ясновельможному пану. Завтрак принесла. Полдник принесла, ой, вкусный. Вы уже получше выглядите, ясновельможный пан. На ужин будут рогалики с маслом, чай, ветчина, творожок, пирог со сливами.

И вроде с интересом стала на меня поглядывать. Пока я не подумал: может, я и вправду ясновельможный пан, надо бы проверить. И однажды, когда она ставила поднос с едой на тумбочку у дивана, сунул руку ей под юбку и по бедру вверх, до упора, а на подносе только посуда зазвенела.

— Ох,— пискнула она, вздохнув,— что ж это вы, ясновельможный пан, скорый такой? Дайте хоть поднос поставлю. — И словно птенец, который впервые выпорхнул из гнезда на ветку и дрожит, как бы не свалиться, потому что не умеет летать, прилепилась к моей руке.

Когда я потом вернулся в отряд, мне и воевать-то не хотелось, все старался понять: зачем это люди воюют? Не лучше ли в такой мансарде лежать? Но когда оголодал, отощал, снова пришла охота драться.

Для начала я однажды смелее ей поклонился и вместо обычного «здрасьте», сказал еще «панна Малгожата». Здравствуйте, панна Малгожата. А через несколько дней добавил:

— Вы сегодня хорошо выглядите.

— О, спасибо,— сказала она. — Какой вы любезный, пан Шимон. — И хоть всегда была серьезная и как бы свысока на всех глядела, явно засмущалась.

А через некоторое время, в тот день аккурат дождь шел, мы с ней задержались на веранде, чтоб хотя бы самый ливень переждать, потому что хлынуло как из ведра, и стали словами перебрасываться, как оно в дождь, что льет уже целую неделю, что, если и дальше так будет, все сгниет. А поскольку дождь не переставал, я ее пригласил, чтобы она как-нибудь зашла посмотреть, когда я буду регистрировать брак.

Ну и вскоре женились Лис Войтек с Крыськой Собешчанкой. Сбежались, как всегда, почти все женщины, которые служили в гми-

не, и несколько мужчин пришло. Заглянул и секретарь. А в открытом окне со стороны двора тесно сделалось от голов, будто они все на одном туловище повырастали. Я не рассчитывал, что она придет. И вдруг увидел — стоит позади других в полуоткрытых дверях, и сердце у меня забилось сильней. Я пригласил всех в комнату, пусть у Войтека с Крысей на свадьбе хоть чужих людей будет толпа, раз ни родители, ни родственники не пришли. Да и любил я Войтека, хотя он был намного старше меня, а Крыська была уже, наверно, на шестом месяце, потому что живот у ней торчал, как барабан, и немножко она этого живота стеснялась. Но я ей сказал:

— Не стесняйся, Крыся, человека в себе носишь, не тварь ползучую.

И такую им закатил речь, что почти все плакали. О девках уже не говорю, но и кое у кого из мужиков глаза покраснели, точно они чересчур долго глядели на солнце. Поплакала Крыся, поплакал Войтек. И за окном всплакнули. Хотя ни об чем печальном я не говорил. Говорил о счастье. Что счастье надо в себе искать, а не вокруг. Что никто его человеку не даст, если он сам стараний не приложит. Что счастье иногда близехонько, может, в той убогой халупе, где всю жизнь живешь, а люди его ищут бог весть где. Что некоторые его в славе и богатстве ищут, но славы и богатства не каждый добьется, а счастье, оно как вода, и каждому хочется пить. Что иногда его в одном добром слове больше, чем во всей долгой жизни. От Крыськи-то родители отреклись и выгнали ее из дому, а Войтек своего отца не знал, и мать уже с год как померла. И еще я добавил, что можно быть прославленным и богатым, но не быть счастливым.

И рассказал я им про одного царя, у которого всего было вдоволь, но никогда ему не снились сны. Оттого и спать укладывался со страхом, точно не в кровать ложился, а в гроб. Хотя кровать у царя была из чистого золота, а укрывался он пуховой периной, и подушки под головой тоже были пуховые. Привозили к нему самых лучших лекарей, какие только были на свете, творили над ним самые разные чары, разные травы давали пить, цветами обкладывали, благовониями, музыка для него без умолку играла, и шесть голых девушек танцевали вокруг, а ему хоть бы ромашка на лугу приснилась. Ничего. Каждая царская ночь — дыра. Он и крестом лежал, и в рубище ходил, и даже снял с головы золотую корону, усыпанную алмазами, и надел терновый венец. И беспрерывно молился, притом разным богам. Потому что одни ему советовали: молись этому, этот милосердней других и тоже царского рода, а иные: тому, его вера — великий сон, может, он тебе какую малость уступит, хотя бы на одну ночь. Строил царь храмы, приюты, мыл ноги беднякам, и любой мог войти в его дворец, как к себе домой, и никто никогда с пустыми руками не уходил. В конце концов совсем царь с тела спал, и уже его брат втайне готовился сесть на престол, так как царство за это время стало с пятачок и продолжало усыхать. Потому что, как мужик у мужика от поля, так у него соседи от царства со всех сторон отхватывали по куску, и не только весной или осенью, а круглый год. И все хуже ему становилось, а челядь даже подглядела, как он сам с собой разговаривал, смеялся, кричал, грозил себе кулаком, топал ногой. И уже подумывал царь, не броситься ли ему в пропасть, что это за жизнь, хоть и царская, когда не видишь снов. Он словно бы наполовину только жил, днем, а на ночь умирал. Каково так, целыми годами, умирать, когда и один-то раз помереть тяжело.

Узнал однажды про цареву беду простой мужик. Не колдун, не знахарь, козу в город на ярмарку пригнал. Предстал он перед царским ликом и молвил:

— Ваше величество, есть от твоего недуга лекарство. Перебирайся в мою халупу, будут тебе мои сны сниться, а я поживу в твоем дворце без снов.

Под конец я сказал молодоженам, что вдвоем, с мужем или с женой, легче найти счастье, чем одному, и пожелал Крыське сына.

Откуда мне все это на ум пришло, сам не понимаю,— что я, правду сказать, тогда знал о счастье, а сейчас еще меньше знаю. Но может, счастье — это что-то такое, о чем только говорить можно, а знать никогда не узнаешь. Так или иначе, видать, неплохо у меня получилось, потому что все в правлении меня поздравляли. А какой-то мужик, который через окно со двора слушал, а пришел в гмину за пособием, спросил у меня, знал ли я того царя, и никак надивиться не мог:

— Ой, умеешь ты, сынок, говорить, умеешь. Кабы еще поверить во все, что ты нарассказал. Но и послушать приятно.

Ну, тут уж я мог не сомневаться, что и ей понравилось. Но она куда-то пропала, едва все закончилось. Встретил я ее только на другой день, в коридоре.

— Бедный царь,— сказала она, увидев меня.— Ему и вправду так-таки ничего не снилось?

Я не понял, в насмешку это она или просто так, потому что больше нечего было сказать. Немножко все же меня кольнуло, но я пропустил ее слова мимо ушей.

— У меня для вас кое-что есть, панна Малгожата,— сказал я, так как решил воспользоваться случаем и дать ей чулки.

— Что? — заинтересовалась она.

— А зайдите ко мне в комнату.

Она зашла, будто немного разволновавшись от любопытства. Я вытащил чулки из письменного стола, они у меня еще в цветную бумагу были завернуты.

— Это что же такое?

— Чулки. Нейлоновые.

Она развернула бумагу:

— О, какие красивые. Спасибо. Сколько я вам должна?

— Нисколько. Это вам в подарок.

Она смутилась:

— Ну что вы, пан Шимек. Я так не могу. Скажите сколько. Я серьезно. Нет-нет. В таком случае я не возьму.

И не взяла.

Так меня это разозлило, что после работы я пошел к Каське-продавщице и ей дал эти чулки. Хотя именно ей одной и не нужно было ничего давать. Достаточно было прийти, и она уже знала зачем. Потому что, бывало, когда некуда пойти, идешь к ней. Иной раз неведомо куда бы пошел, лишь бы ото всего этого подальше, вот и шел к ней. Или если тебя так допекут, что никуда идти неохота, а к ней еще хочется. Или если нету ни сил, ни желанья идти к другой, идешь к ней и получаешь то же самое. Потому что с другими невесть сколько настоишься, налюбезничаешься, напровожаешься, наобещаешь с три короба, а то и уйдешь ни с чем. А к ней забежишь за пачкой сигарет или за спичками, наклонишься над прилавком и шепнешь:

— Задержись сегодня в магазине, Кася.

У ней сердце сразу и подскочит от радости.

— Забирай свои сигареты или спички. И не плати. Небось, опять тебя какая-нибудь из твоих потаскух бросила. Тоже мне принцессы — в конторе служат. Будто не знают, для чего у них. А для того же, для чего у других. Все одно когда-нибудь черви сожрут. И не мыло, не измылится. Чего они, стервы, боятся? Что им ксендз грех не отпустит? А зачем все рассказывать? Об чем не сказано, того вроде и не было. Я б на твоем месте, Шимусь, какую попроще нашла. Не обязательно, чтобы больно умная, главное, чтоб за тебя в огонь и в воду. Ты сам умный, при тебе всякая будет дурочкой. Какая польза от образованной? Ей даже по роже не съездишь, сейчас подымет визг. Такие визжат как резаные. Я раз в кино видела. Даже

и не очень сильно он ей приложил. А визжала — я уши заткнула. И чего ты, как нанятая, визжишь? Ложись, раз мужик хочет, и не прикидывайся, что тебе не хочется. Или начнет тебе изменять — что ты тогда сделаешь, привяжешь? Восемь часов, не отрывая задницы, просидеть — конечно, засвербит кое-где. А это похуже, чем если в голову ударит. Когда в голову, самое большее — глупостей наговоришь. А плоть взбунтуется, не остановишь. Ой, стареешь ты, Шимусь. Господи боже мой. Хотя для меня ты всегда самым лучшим кавалером останешься, не чета другим. Скажи мне, которая это, пусть только придет в магазин, я ей, заразе, ничего не продам. Катись отсюда, шлюха! В город за покупками езжай! Экая важность — при бумажках она. Пряничков ей захотелось купить. Хрена ты у меня купишь!

На Каську, хоть вроде и простая продавщица, можно было положиться как на каменную гору. И пускай она иногда казалась глупой как валенок, ума у ней было побольше, чем у сотни умных. Ну и ляжки, задница — на двоих можно бы разделить и ни одной не обидеть. Разденется, так не скажешь, что продавщица.

— У меня кое-что для тебя есть, Кася,— сказал я. — Закрой магазин.

— Сдурел?! — взвилась она как ужаленная. — Сейчас самое время! Гляди, сколько мне еще хлеба нужно продать. Почти две полки. Зачерствеет до завтра, что тогда?

— Не будет другого, и черствый купят. Закрывай.

— Чего это тебе так приспичило? Не можешь до вечера подождать? Долго? Хочешь, чтоб завтра опять меня обзывали как последнюю? Еще посмеют сказать: в продавщицы я не гожусь. А нет чего в магазине, опять же я виноватая, потому как в газетах написано, что все есть. Мол, черт-те чем занимаюсь, нет — съездить, привезти товар. Уксусу чтобы не было? Этого чтобы не было? Того, сего? Иногда так и подмывает схватить метлу — и по башке, по башке. А тут каждому подай, насыпь, заверни. Или будут три часа выбирать, а ты стой и гляди. То не по ним, это не по ним, а тебя так и корежит внутри. Был бы мой магазин, я б их взашей вытолкала, привередничайте у себя в хате. А тут еще: посоветуй, Каська. Что бы ты посоветовала? А мне за эти советы платят? Да и из чего тут выбирать? Бери что есть, а то и того не будет. Хлеб, так этому хочется с румяной корочкой, а тому ищи без корочки. И переворачивай иной раз все буханки, потому как привезли или весь поджаристый, или весь непропеченный. А не найдется у тебя хотя бы пяти грошей сдачи, встанет парочка таких ведьм над душой и заведут: ищи сдачу, ну как, нашла сдачу-то? Давай скорей, сколько можно ждать. Да что я, прикарманить ваши деньги хочу? Тоже мне, богатство, пять грошей. Из своих, что ли, отдавать? Каждому из своих, это я б давно по миру пошла. А думаешь, не болтают, что я и с тобой сплю? Да ты б женился давно, кабы так просто у меня не получал. А то придешь, сделаешь свое дело — какого шута тебе жениться? Поди выпей рюмочку в шинке, авось охота пройдет. А я продам хлеб и закрою. Выпивши ты даже лучше. Хе-хе-хе! Не так торопишься.

— Не злись,— сказал я. — Я тебе кое-что принес.

— Мне? Ну да? Ой, видать, здорово тебя допекло. Или только так прельщаешь.

— И не думаю. Держи. Нейлоновые чулки.

— Ты что? — не могла поверить Каська.— Господи Иисусе! Что за чудеса!

— Приезжала торговка, я и купил тебе. Будет в чем пойти в костел.

Она развернула чулки и, точно ленты, начала прикладывать к волосам, к плечам, гладить, прижимать.

— В костел уже ходит кое-кто в таких,— сказала. — И в костеле тесно, где там на ноги смотреть. Я здесь буду в них ходить, в мага-

зине. Пусть у этих чертовых баб зенки повылазят. Начнут допытываться: откуда у тебя, Каська, такие чулки? Жених подарил. Так у тебя жених есть? Есть. И не жаль тебе их в магазин? Чего жалеть. Порвутся, он мне новые купит. Должно, он у тебя богатый? Богатый. Поженимся, дня больше за прилавком не простою. Самые богатые таких каждый день не носят, а я буду. И пусть они лопнут от зависти.

— Да кто же позади прилавка заметит, что у тебя на ногах?

— Не заметят? Ох, дуреха, а мне и в голову не пришло. Ну, буду выходить за всяким дверь закрывать, они ж, дьяволы, редко кто за собой закроет. День-деньской разоряешься — закрывайте да закрывайте. В глотке уже саднит. А не то мух возьмусь гонять. Хотя вроде бы липучки висят, но они, видно, дерьмом намазанные. Одна муха приклеится — фру-у-у, и уже отклеилась. Ладно, твоя взяла, запру магазин. Тебе причитается. Эх, ты, ты, что б я для тебя не сделала! Только чего бы вывесить? Прием товара — нет, а то завтра с утра слетятся: что привезли? Эх, была не была, напишу: пошла в контору.

А мимо той я снова проходил как сослуживец мимо сослуживицы. Здрасьте. Здрасьте. И не больше. Но как-то выхожу после работы из гмины и вижу — она идет впереди, но тихонечко, не торопясь, точно кого-то ждет. Я уже было ее обогнал, когда она вдруг остановилась и заговорила со мной:

— Вы что, на меня обиделись, пан Шимек? — спросила, а голос мягонький, как шелк.

— Обиделся? Что вы! На вас? — возразил я горячей, чем бы хотел.

— Вы меня как будто избегаете. Извините, может быть, я тогда вас задела. Но меня, правда, царь этот почему-то насмешил.

— Не о чем говорить. Я уже и забыл. — И проводил ее до конца деревни, за мостик. А поскольку в ближайшее воскресенье пожарники устраивали на поляне в лесу гулянье, спросил, не пойдет ли она со мной. В лесу, значит, недалеко от Ланова. Я бы за ней зашел и после гулянки, ясное дело, проводил. Она охотно согласилась. Только заходить не нужно, она сама придет, а на гулянке встретимся.

Снова во мне ожила надежда. Танцор я был хоть куда, не одной девушке танцами голову вскружил. А уж польку, оберек никто в округе так не отплясывал. Хотя после войны появилось на гулянках немало танцоров помоложе, которые умели и фокстроты разные, и прочие выкрутасы, но польку или оберек никто, как я. Танго, вальс у меня тоже неплохо получались. А больше всего я любил «Дунайские волны». Только если хочешь побыстрей договориться с девушкой, ничего нет лучше польки либо оберека. Во время танго или вальса слишком много говорить приходится. И выдумывай всякие небылицы, когда известно, чего тебе хочется. А будешь помалкивать, девушка подумает: у тебя лишь одно на уме.

Оказалось, что она ни польки, ни оберека не любит. И танцевали мы одни медленные. Зато она вроде бы легонько ко мне прижималась. Только что проку, когда какая-то неведомая сила не давала мне рукой пошевелить у нее на спине. Там у ней пониже затылка даже вырез на платье был, и я мог как бы невзначай попробовать ее погладить по этому островку голой кожи, может, она бы тогда крепче прижалась, по коже совсем не то, что через платье. Но моя рука словно приклеенная лежала на ее спине, все время на одном месте. А в той руке, в которой я ее пальцы держал, казалось мне, я держу птенца, и боязно было, как бы его не придушить.

Надо выпить, подумал я, иначе не будет толку. Из-за всего этого я несколько раз сбивался с ноги, а такого со мной никогда не случалось. Правда, она мне сказала, будто не думала, что я так хорошо танцую. Сама тоже танцевала неплохо. Но мне-то что, мне совсем

другое было нужно. Принес я из буфета пол-литра и тарелку бутербродов. Думал, с полчетвертинки и она выпьет. Не слишком много, но и не слишком мало, в самый раз, насколько я знаю ихнюю сестру. А я четвертинку с половинкой, вот мы и будем на равных. Но оказалось, она и водки не пьет.

— Хоть полрюмочки, панна Малгожата,— пытался я ее уговорить. — Сразу хорошо станет. Какое гулянье без выпивки? Это что на гулянку идти, что к вечерне — один черт. Вы только поглядите, панна Малгося, все пьют. И девушки тоже. Одни пьют с тоски, другие во здравие, а кроме того, каждый еще по своей причине пьет. Водка людей поддерживает. И веселишься в охотку, а умереть понадобится, с большой охотой умрешь. После рюмочки смерть с весельем как бы сходятся. Если б я в партизанах не пил, уж не знаю, танцевал ли бы здесь сейчас с вами. А выпивши, среди пуль, как среди ракитовых кустов, ходил. На трезвую голову иной бы раз совесть заставила руку дрогнуть. А выпил — совесть сама по себе, рука сама по себе. Вон вы, панна Малгося, кофточку не взяли, а вечера уже холодные. Согрелись бы. И в голове если чуток зашумит — не вредно. Так что никакого стыда нет выпить рюмочку. Стыдней не выпить. Ну, Малгося?

Но она уперлась и ни в какую. И сразу, что ей пора возвращаться домой, поздно уже, и если я не хочу, то могу ее не провожать, она сама дойдет. Нет так нет, думаешь, я тебя упрашивать буду? Интересно, Маслянке тоже приходится просить? Но проводить провожу, свои обязанности я знаю. Я схватил бутылку и выпил сам все пол-литра. А потом и бутылку, и рюмки, и остатки бутербродов выбросил в кусты. Вроде бы что для меня пол-литра? Обычно по литру на нос выпивалось, и лишь тогда душа делалась как распахнутый настежь овин, как ключевая вода, и ты мог всю свою жизнь зажать в кулаке.

А тогда от дурацкой поллитровки меня так развезло, что я словно по ухабам шел, и еще кто-то подо мной нарочно раскачивал землю. А один раз, видать, крепко тряхнул, потому что я пошатнулся и, не поддержи Малгожата меня, наверняка бы упал.

— Упились вы,— сказала она. — Не провожайте меня дальше.

— Это только ноги, панна Малгося,— сказал я. — А голова ясная, как вон эта луна над нами.

А луна была как коровье вымя, казалось, потяни ее за соски, хлынет на нас ручьями лунный свет.

— С вами, панна Малгося, я б мог на край света пойти, и не заблудились бы. Куда б вы только ни пожелали, близко, далеко, мне все равно, мне хоть в лес, хоть в пекло.

Потом я понес что-то про партизанское житье, мол, во мне семь ран. Давно зажившие, конечно. Но иногда, как вот сегодня, чудится мне, будто из них сочится кровь. Если б она захотела, я бы мог ей их показать и про каждую рассказать. Потом я стал припоминать, сколько немцев убил. Но что-то больше пяти не мог насчитать. Загибал пальцы на левой руке, но едва доходил до пятого, конец, как в колодец ухали эти немцы. Что за чудеса! Стрелял, стрелял — и всего пятерых? Или остальные воскресли?

К тому же я чувствовал, как во мне закипает злость, что я иду, иду, и все зря. А она словечка даже не скажет. И верно, со злости вырвалось у меня, почему с Маслянкой она может, а со мной нет. Чем он лучше меня? Даже в партизанах, сучий потрох, не был, свиньями торговал, а другие за него проливали кровь. Откуда я знаю? В гмине говорят, в гмине ничего не скроешь. Но и те, что говорят, тем же самым занимаются, и нечего обращать вниманья. Святой она, надо думать, не мечтает стать? Да и зачем? Состарится и будет жалеть. И что за удовольствие быть святым? Разве что потом повесят на картине в костеле или в облатках раздадут после колядованья,

на ярмарках станут продавать, а то и в календарь впишут. Но это ж каким святым надо быть! И другого святого пришлось бы выпихнуть, потому что их и без того по четверо, по пятеро приходится на один день. Скоро уже для самых наисвятейших святых не хватит места. Никакого резона нет. Еще неизвестно, может, это только здесь человек считается святым, а там будет поджариваться в аду. Откуда нам знать, как там? Ну что, панна Малгося, долго мы так будем идти? Скоро лес кончится. Но если она хочет дальше, я могу и дальше. А хочет, могу на ней жениться. Мне давно пора. Люди уже говорят: женись, чего не женишься. Пусть скажет, согласна ли она стать моей женой. Счастья я ей не обещаю, потому как во мне его нет. Но как-нибудь проживем. Я хоть завтра могу на ней жениться. Распишу нас сам. И такую речь закачу — помрем, а всё будут нас вспоминать. На похоронах войта Рожека, того, которого застрелили, я такую сказанул речь, все плакали. А приехал один из повета, так заикался, мямлил и о Рожеке ни слова, только без конца о врагах. Пока не встал Рожек из гроба и не сказал ему: проваливай. Вы говорите, Петрушка. И не плакать мне тут, я послушать хочу. Такой уж он был, лицом не вышел, но душа-человек. А пожелает панна Малгося, мы даже в костеле обвенчаться можем. Я не знаю, есть ли бог. Но если для нее есть, будет и для меня. Сшил бы мне портной костюм, ей портниха платье. Ну что, панна Малгося?

Она шла как тень и все время молчала. Даже, казалось мне, это не она идет, а деревья рядом шагают и я им байки рассказываю. И может, из-за этой неуверенности, она это или не она, я вдруг обнял ее и шепнул:

— Малгося.

Она влепила мне пощечину, вырвалась из пьяных объятий и пустилась бежать.

— Малгоська, не убегай! Я тебе ничего худого не сделаю! Не убегай! — закричал я. И бросился за ней. Но она мчалась, как косуля, а подо мной земля раскачивалась и вдобавок кружиться начала. Ноги запутались. Вроде я за ней бежал, а меня то туда, то сюда швыряло. Зацепился за что-то раз, другой, а потом меня дорога и вовсе спихнула на обочину. Чтоб ее черт подрал!

— Малгоська! Стой! Остановись! Пальцем до тебя не дотронусь! Я думал, и тебе хочется! Стой! — казалось мне, не только я, весь лес ее зовет, и луна над лесом, и ночь. — Малгоська!

Тень ее все больше отдалялась, размазывалась, пока совсем не исчезла. Я приостановился на минутку, думал: может, угомонится, в глазах дорога, и я ее где-нибудь увижу, окликну, и тогда она обязательно остановится. А может, устанет бежать или страх на нее нападет. Дорога от луны стала светлая, прямая, но казалась еще пустыннее. Я не знал, идти дальше за Малгожатой, не идти. Пошел все-таки. Ты, осел, вообразил, будто это Каська-продавщица. Той плети, что в башку взбредет, еще она тебе скажет, какой ты умный. Ох, и умный же ты, Шимусь. Будь я хоть на четверть такая умная, давно бы уже имела собственный магазин. И продавала б, что мне захочется. Ни хлебом, ни солью не торговала бы. Хлеб пускай бабы себе сами пекут. А за солью — в город.

— Малгоська!— снова начал я орать на весь лес.— Не бойся! Я протрезвел!

И вдруг в двух шагах от себя, с правой стороны, услышал, вроде какое-то дерево плачет. Не знаю, дуб это был или бук. Я даже протянул руку и тут увидел ее, прижавшуюся к стволу.

— А, это ты,— сказал я. — Не плачь, ну. Не из-за чего. Не подошли мы друг дружке, вот и все. Идем, провожу тебя до дому и пойду.

— Не хочу, чтоб ты меня провожал! Не хочу! — выдавила она сквозь слезы. — Я думала, хоть ты другой. Думала, только с виду та-

кой, как все. Уже почти тебе поверила. — И вдруг оторвалась от дерева и снова кинулась бежать.

Я не стал ее догонять. Беги, сука, я и не подумаю за тобой гнаться. Всем вам, бабам, хочется, чтобы человек другой был. А какой он должен быть другой? Можно разве через себя перескочить? Какой есть, такой есть и таким останется. И я вернулся на гулянку.

Вот когда я разошелся вовсю. Кто только ни подворачивался, всем ставил: своим, чужим, врагам, знакомым. Хочешь не хочешь, а выпить изволь. С Шимеком не выпьешь? Даже музыкантам пойти поужинать не дал, принес им водки, бутербродов — играйте. И они играли, сплошь польки да обереки, потому что я так пожелал. Шумели некоторые, что хотят танго, вальс, а то сил уже больше нет. А я ни в какую, полька и оберек, оберек и полька. Меня слушать, оркестр, получайте еще пять сотенных! Прискакал затейник, чего это я тут командую, моя, что ли, гулянка? А я сорвал у него с руки повязку и себе повязал. Я теперь затейник, а ты катись! Не то я такое устрою, все сокрушу в дым. Радуйся, что мне весело, не дай бог, станет грустно. Разгоню тогда всех к чертовой матери!

Досталось мне потом за мои подвиги от Маслянки в правлении, вроде бы я опозорил гмину. И, верно из-за этого же, он меня вскоре перевел с регистрации браков на плановые поставки. Но больше всего кляли меня пожарники — они собирали деньги на мотопомпу и надеялись на гулянке заработать, сколько им не хватало. А по моей милости только потеряли, потому что я людей распугал, и у них больше половины водки осталось и с полтелеги бутербродов. Хотя как они могли потерять, когда я всю получку истратил? Вдобавок разнесся слух, будто я женюсь. Одна гулянка — и уже женюсь. Эх, люди, люди. Так я б до сих пор раз сто должен был жениться. А тут даже не началось ничего и уже кончилось. Ладно, женюсь так женюсь, болтайте на здоровье. Стал бы отпираться, еще бы больше разговоров пошло.

Другое дело, что я вроде бы после этой истории присмирел. Подшучивали надо мной, а я ничего. И редко когда в другие комнаты заходил, целыми днями сидел у себя. Да и не хотелось мне с ней встречаться, потому что ей наверняка доложили, что я вытворял на гулянке. А все заново начинать я не собирался. Что поделаешь, не получилось, разойдемся каждый в свою сторону. Здрасьте. Здрасьте. И больше ничего. Но вокруг все упорней стали поговаривать, будто я женюсь. То один, то другой, кто только меня ни встретит. И что изменился я, людей сторонюсь, не зайду, не навещу приятелей. А хуже всего девки, эти уж совсем как змеи.

Ну как, лучше такая, ученая, той, что семь классов окончила? Тебе же всегда пофигуристей нравились. Видать, разонравились. Что у ней за груди, фу. Словно детишки высосали. Ты, часом, не влюбился? Ты — влюбился! Разве что как кобель в суку. Да и кто тебе поверит. Тебе даже, когда ты «добрый день» говоришь, нельзя верить, потому что день может бедой закончиться. Обманщик. А девчонка дура дурою. Еще от тебя поплачет. Казалось бы, образованная, а попалась на крючок, как всякая другая. Охмуряешь ее, небось, красивыми словами, а она думает, что ты на ней женишься. Женишься на одну ночку, пока за другой юбкой не полетишь. А если б и женился, что за жизнь у нее бы с тобою была? Ни крестьянин ты, ни служащий. В одном только деле мастак. Опутаешь девку, она и не заметит, как в самой середке окажешься. Аж там, где ни горько, ни сладко. И ни выпихнуть тебя оттуда, ни вытолкать, ты, как корни, расползаешься по всему телу. А потом дрожи, девка, не оставил ли он тебя с дитем в брюхе. Жди, покуда не начнет тошнить. Пока на квашеную капусту, на кислые яблоки не потянет. Бегай в костел, чтобы тебя бог простил. И вымаливай у него месячные, как если бы о счастье просила. Дай, господи, хоть капельку несчастной моей кро-

ви. Я больше никогда-преникогда. Но едва у ней обойдется, снова паскудника этого готова принять. Потому что страх легко забывается, а бог еще легче. Небось, семью своими ранами ее привораживаешь, подлец? А кончится так и так в постели или где-нибудь под кустом. Я бы должна тебе глаза выцарапать. Но пусть уж она выцарапывает. С меня довольно, наплакалась. Ой, дура я, дура.

Плач

Уже люди у меня все время спрашивают, когда ты наконец закончишь этот склеп? Хоть бы толем покрыл, чтоб вода не лилась. Я б закончил, давно бы закончил, если б только других не было забот.

В печенках этот склеп у меня уже сидел. Иногда думаешь: послать бы все к черту, за какие грехи я должен так надрываться, пусть мне наконец кто-нибудь скажет. Отец с матерью давно погребены, а братья пускай сами себе ищут место. Михала я похороню в обыкновенной могиле, в земле, а меня, когда помру, на худой конец похоронит гмина. Хотя б в награду за мою работу.

Иногда я жалел, что давным-давно не лежу в земле, потому как однажды уже рыл для себя могилу, когда немцы нас повезли в лес на расстрел и приказали рыть. И был бы вечный покой, вместо человека прах, и во второй бы раз о могиле заботиться не пришлось. Лежал бы себе и ведать ни о чем не ведал, ничего не чувствовал, не думал, не суетился. И еще было бы на памятнике написано: Петрушка Шимон, 23 года, потому что мне тогда столько было лет. Войну уже мало кто помнит, а там, когда ни придешь, и памятник, и вокруг памятника прибрано, и свежие цветы в банке, неизвестно даже, кто их приносит, но все равно, жатва не жатва, сенокос, выкопки, весна, лето, осень, смотря что в эту пору цветет. А в день поминовения и венок с лентами, и свечи горят, и всегда возле памятника хоть несколько человек стоят и плачут. А по мне кто заплачет?

Когда ставили этот памятник, ко мне даже из гмины Боровицы приезжали, потому что нас тогда палачи в боровицкий лес завезли. Трое приехало: начальник, по-тогдашнему председатель, секретарь и какой-то третий. Принаряженные, в костюмах, при галстуках, с портфелями, хоть день был будничный, вторник. А я только с поля вернулся, луг косил, намордовался, как нелюдь, потный, грязный, и сидел на лавке в одной фуфайке и старых Антековых портках, коротких, выше лодыжки, и продравшихся на коленях. Еще сапоги снял и босые ноги сверху поставил. Но они спросили: ты Петрушка Шимон, не стану ж я от себя отказываться. Петрушка Шимон. Удивился немного, что им, боровицким, от меня понадобилось? До нас не ближний путь. У меня там и девушек знакомых не было. А они вначале сказали только, что из гмины Боровицы, мол, и как-то глупо усмехаются. Садитесь, говорю.

— А стаканы найдутся? — на это кто-то из них.

— Стаканы? На что вам стаканы?

Тогда тот, что спросил про стаканы, говорит другому:

— Давай, Зенек. — И тот, кого назвали Зенеком, стал открывать портфели и из одного вытащил бутылку и круг колбасы, из другого — бутылку и, наверное, штук шестьдесят крутых яиц, из третьего — бутылку и полкаравая домашнего хлеба.

И потом только сказали, зачем приехали: в лесу нам ставят памятник, там, где нас расстреляли, и они узнали, что один я убежал, а им бы хотелось, чтоб никто не убежал, а все погибли. Потому что, если один убежал, про него надо бы больше написать, чем про тех, что лежат в земле. А так никто не убегал, сколько привезли, столько расстреляли. И все будет на памятнике. От сих до сих, ровненько, аккуратно. И если все на месте, словно бы колокол чисто звонил, а

если один убежал, то будто он отколол кусочек креста. Во всяком случае что-то испортил.

— Да ведь я живой, как же так?

Но могилу я рыл? Рыл. Для себя? Для себя. Стреляли даже мне вслед, ранили, что ни говори. Вот и получается — наполовину меня вроде бы нет. А летела бы пуля чуть поточней, то и совсем бы не было. Да и кто спустя столько лет будет помнить, что я убежал. Помнить будут только тех, что там лежат, потому как каждый по имени и фамилии написан ясней ясного. И я был бы написан. Что мне мешает согласиться?

— Ну выпьем. Ваше здоровье!

Так ведь люди меня видят, знают, что ж получится, здесь я живой хожу, а там лежу убитый. Может, оно бы и к лучшему было, если б меня тогда расстреляли вместе со всеми. Но я убежал и теперь не стану к их смерти пристраиваться.

Да что мне стоит? Жить вечно я не буду, каждому рано или поздно суждено помереть, так и так отправлюсь за ними следом. Памятники не на один год ставят. Пока еще живы те, что помнят. Но и они когда-нибудь помрут, тогда уж только памятникам останется помнить. А памятники не любят, чтоб кого-нибудь недоставало. Что мне мешает? И тем, убитым, было бы легче, если б еще один к ихней смерти прибавился. А получилось бы, будто все на месте. Никто не убежал. Ваше здоровье!

— Берите колбасу. Не покупная. Своя. И хлеб свой. Подумаешь, один убежал. Видел это кто-нибудь? Никто не видел. Те, что видели, звон, лежат и землю грызут. Мог убежать, а мог и не убежать. Может, люди так просто болтают. Чего только люди не наболтают. Разве кто когда из такого ада убегал? Но людям хочется, чтоб хоть один обязательно убежал, и даже если не убежал, то по-ихнему — что убежал. А как можно было убежать? Привезли, окружили, у каждого автомат, вдобавок еще собаки.

— Собак не было,— сказал я.

Ну и что из того, что не было? Могли же быть. Да и когда человек смотрит смерти в глаза, он видит смерть, видит страх, а собак, даже если они и есть, не замечает. Приехали раз в Болехов за одним с собаками, псы обученные, сущие черти, даже шевельнуться бедолаге не позволили. Хоть и побеги он, все равно б далеко убежать не дали. Это тебе не деревенские шавки. А в придачу еще и раненый? Две-три сосны самое большее бы пробежал. А эти дьяволы, как почуют человечью кровь, загрызут насмерть. Уж лучше от пуль умереть, чем от собак. Ну как, согласен?

Так мне задурили голову, что я уж и сам не знал, погиб я или нет. Еще от водки меня здорово развезло, хоть бы и погиб, не почувствовал. Да и неловко как-то, выпил, поел и говорить «нет». Но вдруг мать отозвалась от плиты:

— Шли б вы отсюда и не вводили его в соблазн. Незачем ему на памятнике быть, вернулся домой и пусть благодарит бога. Мало я тогда по нем слез пролила, еще и теперь плакать? — И обратилась к отцу за поддержкой: — Скажи и ты что-нибудь, отец!

Но отец все время с нами пил, ел колбасу, яйца, неудобно вроде возражать, да и в голове у него, видно, тоже сильно шумело, поэтому он только у них спросил:

— А какая там у вас, в боровицкой гмине, погода?

— Ты что, отец?! — Мать аж грохнула веселкой по кастрюле.— Тут сына уговаривают, что он убитый, а ты про погоду?!

Тогда отец уже со страху перед матерью пробормотал, правда нехотя:

— Он будет думать, что убитый, так и делать ничего не захочет. А работы хватает, ой, хватает. Жатва скоро. Мы одной ржи два морга засеяли. Потом выкопки. Тоже о-го-го сколько будет дел. Не в пору вы

пришли. После жатвы надо бы прийти, после выкопок. Зимой, может, скорей бы...

Расстреляли нас тогда двадцать пять человек. Устроили собрание на площади перед гминой. А поскольку немцев никто еще хорошо не знал, они первый год у нас были, мужиков набежало, как на ярмарку, из нашей деревни и из других. Да и чего было бояться. ходил, как обычно, посыльный с барабаном и объявлял, что собрание, думали, на худой конец они мяса, молока, зерна затребуют, чего еще можно взять с крестьян. Отец даже собрался идти, но в последнюю минуту передумал и — сходи ты, а он лучше поедет клевер косить. Или полежит маленько, а то у него целую ночь живот болел, верно от вчерашней колбасы.

Площадь перед гминой была уже полна людей. На вынесенном из правления столе стоял офицер и говорил речь. А вернее, орал, подскакивая на этом столе, и размахивал правой рукой, точно угрожал, а левая у него была засунута за пояс, неподвижная словно бы той, правой, не пара. Рядом с ним, тоже на столе, стоял какой-то в штатском и вроде бы переводил. Хотя офицер не очень-то давал ему говорить. Так, на слух, он и половины не успевал перевести из того, что выкрикивал офицер, а тот уже дальше начинал кричать. И как-то нескладно у этого штатского получалось, заикался, запинался, и голос тихий, точно из комнаты в комнату. Может, боялся или нельзя ему было такой же громкий, как у офицера, иметь. Так что я даже мало чего разобрал. Еще мужики рядом все время гундосили:

— Ишь как надрывается, мать его.

— Да не ори ты так, лопнешь!

— Пес сколько ни лай, человечьим языком не заговорит.

— Да-а, с человечьей речью надо родиться, ей не научишься, Винцентий.

Я во всяком случае одно понял: надо отдавать и отдавать, потому как немецкий солдат и за нас воюет. Под конец офицер так завопил, что чуть не взлетел со стола и не упорхнул в небо. И в ту же минуту из-за гминного правления высыпали солдаты. Откуда их вдруг столько взялось? Но Соха из Малентиц показал мне: вон, две машины стоят за гминой. И начали они нас прикладами сгонять к ограде. А переводчик сказал, чтобы мы построились рядами, потому что господин офицер еще всех обойдет и с некоторыми будет разговаривать один на один.

Ну, построились мы в ряды, а он принялся ходить. Но видно, не об чем ему уже было с нами разговаривать, потому что он только тыкал пальцем то в одного, то в другого мужика, а солдаты вытаскивали того из рядов — и на середину площади. Дошел до меня и, может, не обратил бы внимания, но вдруг глянул на мою конфедератку и даже перекосился весь. Потому что я ходил в конфедератке, принес с войны, она без орла была, а без орла выглядела как обыкновенная кепка, чего тут было бояться. Офицер спросил у меня через переводчика, был ли я на войне. Был. Значит, против него воевал? Воевал. Тогда он меня р-раз в морду. А здоровый был как бык, шея короткая, сам приземистый, рожа как блин. У меня кровь потекла из носа. А он мне с другой стороны. И добавил под дых.

Хотя сколько я там воевал, неполных три недели, и в основном мы маршировали, то вперед, то назад, то еще куда-нибудь, без продыху, пока у нас стороны света не начали путаться. А когда наконец однажды вступили в бой, сразу пришел приказ, чтоб не драться, а наоборот, отступать. Я выстрелил всего раз пять, убить тоже, наверное, никого не убил, разве что господь бог кого-нибудь моей пулей поразил. Но мне об этом неизвестно. К тому же я подцепил дизентерию и на каждом привале первым делом бежал в кусты. Похудел, оброс, завшивел, вот и вся моя война. Но не стану же я говорить правду этому бандиту, когда он спрашивает, воевал ли я. Воевал.

И мало того, что он меня измордасил, еще сорвал с головы эту конфедератку и давай ее топтать как бешеный. И уже не пальцем, а всей лапой в меня ткнул. Солдаты схватили меня под руки и поволокли на середину площади, где уже стояли те, которых отобрали раньше. Потом подъехала машина, и нам велели залезать.

Вначале никому в голову не пришло, что нас везут на смерть. Как же так — с собрания прямо на смерть? И не воры мы, не разбойники, за что ж на смерть? Вдобавок нас сбили с толку лопаты. Раз и лопаты тут видать везут куда-то на работу. Может, прикажут что-нибудь рыть или засыпать. В войну всегда найдется, что рыть или засыпать. Если б хоть понять, в какую сторону везут, но понять ничего было нельзя, мало что машина покрыта брезентом, еще и небо в тот день было все затянуто тучами и солнышко казалось то с одной стороны, то с другой, то спереди, то сзади, а иногда его вроде и вовсе не было. Из-за этого солнышка даже повздорили Стельмащик из Обрембова с Вроной из Лисиц: один, что знает солнышко, как в собственной хате потолок, и другой, что знает. Один, что с солнышком каждый день встает, и другой, что встает. Этот, что солнышко у него в крови, не надо даже голову к небу задирать, и тот, что не надо и у него оно в крови, он бы и слепой узнал, где солнышко. Оттого и теперь знает где. Вон там. Пока кто-то не сказал, что, может, оно не одно и то же в Лисицах и в Обрембове, может, над каждой деревней другое солнышко, потому и над машиной другое — тем только их и помирил.

Пошли повороты, выбоины. Но по выбоинам да поворотам тоже не поймешь, что на смерть. Вроде бы сидели у заднего борта четверо в касках и с автоматами, направленными в глубь кузова, но никто не удивлялся, раз везут, так и караулить должны. Да хоть бы и спросить, у них, куда везут,— наверное, тоже не знают, может, это зависит от ихних офицеров. И по-какому спрашивать-то, когда сами они ничего не говорят. Но Смола в конце концов не выдержал и спросил:

— Куда же вы нас, господа солдаты, везете? На работу, что ль? Верно я говорю? Мы поработаем, отчего б не поработать? Тут у нас тоже солдаты есть, только с прежних войн, мы и окопы выроем, ежели потребуется. Жаль только, дома не сказали, что припозднимся. Вроде мы не провинились ни в чем?

Но те ни гугу. Точно каменные сидели, и только глазищи из-под касок сверкали, как у котов.

— В чем это мы могли провиниться? Нечего у них спрашивать, сами знаем,— возмутился Антос из Гурок, который тем был известен, что будь то помещик, будь то ксендз, всякому резал правду-матку в глаза. И до войны вечно разъезжал по собраниям.

— Может, вовсе не у господ солдат надо спрашивать.— Ситек как будто захотел охранников выгородить, а то вдруг им неловко, что они не знают.— Господа солдаты, небось, такие же мужики, как мы, и знают не больше нашего. Но худого нам не сделают, нет.

— Увидите, к вечеру воротимся,— ухватился за эту Ситекову надежду Ягла.— Двадцать пять нас, в одночасье сделаем, что прикажут. В случае чего они б сказали.

— Это в каком таком случае? — вдруг встревожился кто-то и даже потянулся со своего места к Ягле.

— То ли сказали бы, то ли б не сказали.

— А что они должны были сказать? Что?

— Погоди полошиться раньше времени, приедем — скажут.

— Чего-то мне это не по нутру. Ой, не по нутру. Едем и не знаем куда. Как же так?

— Может, на смерть? — вырвалось вдруг у Стронка, и всем стало страшно.

Стронк в машине был самый старый, куда старше Антоса или Вроны, едва уже ноги по белу свету таскал, и на машину его пришлось подсаживать, сам бы он не влез. Его зять послал на собрание,

как меня отец, только зачем же в аккурат Стронка понадобилось на работу гнать, когда столько помоложе да посильней осталось на площади. Почему-то никто из нас до сих пор о Стронке не подумал, а то б мы, наверное, сразу поняли, куда едем.

— Типун вам на язык! — разозлился Куйда, как будто Стронк был виноват, что, может, и на смерть.— Сидели бы на печи, нет, на собрание потащились.

— А знал кто, зачем зовут? — пытался оправдываться Стронк.— Посыльный объявил — на собрание.

Но тут же и тот, и этот, и все на Стронка, как на покляпое дерево:

— Пускай бы зять пошел. Зять хозяин, не вы. Переписали на него землю, вот бы и молились богу, а не шастали по собраниям.

— Ну как прикажут копать, а прикажут, иначе зачем лопаты, так нам и за вас придется. А тут ни у кого лишней пары рук нету.

— Им до смерти один шаг, черт, вот везде смерть и чуют.

— На смерть, говорите? А за что на смерть? За что?

— На смерть, тогда вас бы не брали. Начхать им на вашу смерть. Пули жалко. Сама вас приберет.

Стронк съежился, точно хотел провалиться под землю. Может, даже пожалел, что вылез с этой смертью,— получилось, смерть всем предназначена, а она, верно, только его была.

— А если на смерть, мужики? Если на смерть? Может, прикажут могилу рыть, для того и лопаты? Господь милосердный!

— Тогда и засыпать кого-нибудь взяли б. Сами-то мы себя не засыпем. А не взяли.

— Так уж прям на смерть. Дамбу, небось, где-нибудь прорвало, дожди шли, могло прорвать.

— О, слышите? Тихо, вы. Вроде еще машина за нами едет. Не показалось мне, не показалось. Слух у меня хороший, хоть года немалые.

— Ну и пусть едет, что ж ее, возле гмины было оставлять?

— Должно, ветер по брезенту слыхать или мельница неподалеку.

— Сделай что-нибудь, господи. Ось бы, что ли, лопнула.

— Что вам ось даст? У меня вон летось лопнула, я рожь на мельницу вез, так вместо мельницы пришлось к кузнецу. Лучше бы какое чудо.

— Уж сразу и чудо, потому что вам того захотелось.

— Было чудо в Леонтине в ту войну, только нас тогда никуда не везли.

— Я завтра пахать собирался, мы со Станухом сговорились. Там, под горкой, знаете.

— А мне цыганка наворожила, будешь долго жить. Вот бы сейчас эту суку встретить.

— Не ругайся, не ругайся, еще накличешь смерть.

— А что прикажешь делать? Бежать? Не убежишь. Все равно когда-то помереть надо.

— Господи Иисусе, баба одна с четырьмя ребятишками! Но богу-то что до этого?!

— Я даже дома не сказал, чтоб скотину обрядили, если не вернусь.

— Вернетесь, вернетесь, отчего б не вернуться? Блажек Око через двадцать лет с войны вернулся, хотя все уже думали — не воротится. Лысый, старый, баба в могиле, но вернулся. А из-за моря, что ли, не возвращались?

— И аисты в этом году вернулись, а я уже гнездо хотел скинуть — на что пустое гнездо?

— Дай только вернемся, ох, я и напьюсь, честное слово. Три дня буду пить. Наплюю на лошадь, на коров, на свиней, на поле. Три дня не будет в доме хозяина. И три дня с бабы не слезу, была не была. Есть шестеро ребят, станет семеро, один черт.

— Пресвятая дева, матерь божья...

— Кончайте, смотрят на нас. Пусть не думают, что нам смерть страшна.

— А страшна, Болеслав, страшна. Но коли так суждено, никуда не денешься.

— А по мне, мы лес едем сажать. Лесничий Олесь до войны по грошу за сосенку платил. Интересно, сколько они.

— Дай-то бог, чтобы лес.

— Говорю — лес, мужики, лес, что я, лес не узнаю? Вон как ветки по брезенту шуршат.

— Не знаете, люпин лучше запахивать, когда цветет или когда отцветает уже?

— Лучше уж исповедоваться.

— А как без ксендза?

— Каждый сам себе.

— Да как же во всем себе признаться? Так, без исповедальни, без ничего? Греху в грехе, что ли, каяться? И как узнать, что тебе грехи отпущены?

Вдруг нас повалило, как пшеницу в поле, к кабине, и машина остановилась. Те четверо, что нас караулили, вскочили, откинули брезент, потом попрыгали на землю, опустили борт и как начали орать: вылезать! вылезать! быстро! быстро! шнель! шнель!

В первую минуту ничего не было видно, солнце нас ослепило, как все равно из норы выглянули на свет. Я подумал: может, вечное сияние так слепит глаза, но ведь это последнее, что видишь. А тут из этого сияния прорисовался лес, и Гарус из Боженчина узнал, что это боровицкий лес, потому что ходил сюда по грибы.

Все повскакали, в машине стало тесно, точно нас вдвое больше было, но слезать никто не спешил, вроде бы из-за этих лопат, не знали люди, брать их, не брать. Хотя чего тут было не знать? Можно было не знать, покуда ехали. Я схватил первую попавшуюся, спрыгнул на землю. Замешкаюсь, еще заподозрят, будто я что-то задумал. А я и вправду всю дорогу думал, как бы убежать, только не было такой возможности. Но здесь, решил я, непременно надо попробовать. Пусть даже не получится, все равно и так и так конец, а пулю я, может, хоть в себе не почувствую, сразу смерть настигнет, когда буду убегать.

Полянка была небольшая. Вокруг сплошь деревья. Дубы, буки, елки. Еще можжевельник, лещина. А трава как ковер и полно вереска. Эх, поваляться бы на такой полянке, подышать воздухом, послушать птиц или хотя бы поглядеть, как деревья стелются по небу. А если б еще с девушкой, так не лесная полянка, а уголок в раю. Можно даже за прародителей сойти. А тут, видать, умереть придется.

— А какие здесь были рыжики, господи, какие рыжики,— это Гарус, который следом за мной вылез, так сокрушался об жизни.— А там, промеж дубов, и подберезовики и белые. Хоть косой их коси — мало кто знал, что тут такое место.— И даже начал было эти грибы высматривать, но один его сразу прикладом в спину и загнал на середину поляны.

Обступили нас стеной, и тот же офицер, который драл глотку на столе перед гминой, и здесь начал орать и руками махать на тех, что еще слезали с машины. Шнель! шнель! Кто помоложе, соскочил и без понуканий, остались одни старики. Для них с машины на землю спрыгнуть все равно как со снопов в сусеке на ток. Вдобавок ни ухватиться не за что, ни опереться, вот и слезали, понятное дело, неуклюже, с опаской. Да и опять же: куда было спешить? Смерти навстречу? Когда навстречу смерти, вроде и не пристало второпях.

Наконец кое-как послезали, остался один только Стронк. Стоял, опершись на палку, на краю машины и поглядывал беспомощно то на нас, то вниз, точно под ним была пропасть. А видя, что никто не рвется ему помочь, закричал:

— Помогите!

Гуз кинулся было, но ему сразу же какой-то приставил дуло к животу и осадил на месте. И тут офицер крикнул: schiessen! [1] И солдат, который ближе всех был к машине, так и прошил Стронка очередью. А Стронк выпустил из рук палку и стоит. Только минуту погодя свалился, аж земля застонала.

И сразу стали нас подталкивать дулами на середину поляны. Обозначили яму метров в десять длиной, два шириной и велели копать. Одним с одной стороны, другим с другой — выходило, что падать мы будем друг к другу головами.

Я больше делал вид, что копаю, а сам все время думал, как убежать, как убежать, ведь с каждой минутой смерть опрометью к нам приближалась. Напротив меня копал Зело из Бартошиц, у него уже и слезы по лицу текли, и всхлипывал, как ребенок. Но если просто сорваться и в лес, я и до деревьев не успею добежать, первая же очередь меня достанет. Хотя до деревьев было шагов пятнадцать, не больше. Только позади нас эти гады стояли, один возле другого, уткнувши дула нам в спины. Я даже услышал, как кто-то из них вони напустил. Подумал сперва, это который-нибудь из мужиков со страху. Но завоняло явно сзади, будто прокисшей репой.

Я уже начал терять надежду, потому что яма становилась все глубже. И все уже читали «Отче наш», это видно было по шевелящимся губам, а порой и какое-нибудь слово долетало сквозь скрежет лопат.

— Ты как копаешь? Копай по-настоящему,— услышал я вдруг сбоку укоряющий шепот Антоса, который стоял от меня слева. Глянул: этому чего надо? Я его умным считал, а тут, видать, и он со страху сдурел. И невольно посмотрел на Курася, который копал от меня по правую руку. Посмотрел и даже удивился, словно впервые увидел, какой он маленький. А ведь знал мужика тыщу лет и помнил, что маленький. Ну маленький, так маленький. Один длинный вырастает, другой коротышка, в деревне никто и внимания не обращает, раз уж господь бог столько отмерил. Правда, случается, в таком недомерке побольше силы, чем в ином долговязом, и ума больше. Я подумал: наверное, господь мне его послал, и аккурат по правую руку. Был бы верзила, как Антос, даже и пытаться бы не стоило. Жаль мне его немного сделалось, но ведь все равно ему не жить, зла он мне не попомнит, а я, может быть, спасусь.

Надо только помолиться за его душу. Ну и я стал молиться, но так, чтобы он не заметил, больше в мыслях, чем губами. Простите, Антоний, да будет вам земля пухом. Отправляйтесь из этой ямы прямиком в рай. И не поминайте лихом за то, что я вашей смертью воспользовался, чтобы убежать. Поглядите, сколько мужиков вскоре в землю лягут, а проку ни от одной смерти не будет. Только ваша, Антоний, принесет пользу. А я, если, даст бог, убегу, за вас отомщу, обещаю. Посматривайте с небес и считайте всех сволочей, которых я на тот свет отправлю. Потому что всех их как бы немного и за вас. Обещаю, Антоний. Господи Иисусе, иже еси на небесех, прими к себе Антония Курася, и не одну только душу, но, если возможно, и тело. Он хоть и не на кресте умер, а в лесу, такую же, как ты, крестную смерть принял. И отпусти ему все грехи или на меня переложи, и пусть они будут моими до конца дней моих и до скончанья века. И меня за них покарай, а его спаси и помилуй. Антонием Курасем его звать. Не забудь, господи. И не спутай с другими. И чтоб потом, убитому, ему не пришлось долго по лесу блуждать. Прощайте, Антоний.

И я схватил Курася под бока, а легкий он был, как перышко, и бросил на того, что стоял за моей спиной. Тот успел выплюнуть короткую очередь, и оба упали на землю. Немец под низ, а убитый уже Курась на него. В первую минуту те подумали: Курась убегает, и пока сообразили, что я, а не он, я уже добежал до ближайшего дуба и за

[1] Стрелять! *(нем.)*

дуб, тогда только полетели за мной вдогонку пули. Но за дубом сразу же другие дубы, буки, ели, целый лес. Вдобавок еще смерть меня подгоняла, и мчался я, как олень, петляя между стволов, пока меня деревья совсем не скрыли. Хотя мне еще долго казалось, будто за мной по пятам несутся, я слышал топот бегущих по лесу ног, крики, и пули беспрерывно жужжали над головой.

Я, наверное, страшно долго бежал, потому что и воздух уже ко мне в рот не попадал, и в груди кололо, и деревья я огибал все с большим трудом. Раз-другой зацепился за что-то, упал, встал, но чувствовал, что надолго меня не хватит. И тут снова зацепился за корень, снова упал и не нашел в себе силы встать. К счастью, не слыхать было, чтобы кто-нибудь за мной гнался или где-нибудь стреляли, было слышно, как разливается в лесу тишина. Но мне уже не столько даже жить хотелось, сколько спать, спать.

И в эту минуту у меня кольнуло в левом боку, я потрогал рукой, а рука вся в крови. Спать сразу расхотелось. Я подвернул куртку — ого, из бока прямо вырван клок, в разодранной рубахе кровяные сгустки, вокруг пояса кровь и штанина до щиколотки мокрая от крови. Хотя я даже не почувствовал, что в меня попала пуля. Пробовал зажать рану рукой, но кровь текла сквозь пальцы. Я с трудом поднялся и снова пошел. Только куда идти, чтоб добраться до людей? Вдруг лес вокруг меня закружился, как карусель, и в глазах потемнело, пришлось прислониться к дереву. Послышалось, вроде петух поет. Я подумал: это мне перед смертью мерещится. Но нет, снова послышалось. И близехонько, словно бы прямо за деревьями. Я потащился в ту сторону, то держась за стволы, то на карачках. И скоро в просвете между деревьями увидел хату, крытую золотым гонтом, из трубы шел дым. Дальше ничего не помню.

Когда я очнулся, надо мной стояла дворняга и жалобно скулила, как над покойником. А из-за деревьев приближался мужик, держа наизготовку вилы, словно собирался их в меня воткнуть, и на каждом шагу спрашивал у пса:

— Ну чего там, Микусь? Что ты нашел?

Хотел он сразу запрячь лошадь и ехать в город за фельдшером, потому что ни сам, ни баба его не верили, что я выживу, столько из меня ушло крови. Но я не согласился, чему быть, того не миновать, а фельдшер мог оказаться доносчиком, и напрасно б я тогда убегал. К счастью, пуля не застряла в теле. Промыли мне рану самогоном, потом прикладывали то хвощ, то мать-и-мачеху, и через несколько дней кровь перестала сочиться. А потом уже только барсучьим салом лечили. И потихоньку-помаленьку стало заживать. Но больше всего мне помогло, что я морковь, как кролик, грыз, чтобы прибыло крови. Иной раз за день съедал полкузовка. А кроме того, хозяйка мне сок выжимала и к обеду каждый день варила морковь. Я весь желтый сделался от этой моркови. Не только лицо, но и руки, и ноги, и даже ногти у меня пожелтели, точно я весь был покрыт воском. А зубы золой отчищать пришлось. Оттого, когда я наконец отправился ночью показаться отцу с матерью, а прошло к тому времени уже месяца два или три, первые отцовы слова были:

— Чего это ты желтый такой? Неужто живой? Ты это иль твой дух? Не, а мы тебя уже оплакали. Поседели из-за тебя. Не. Только почему ж такой желтый?

Мать приподнялась с подушек и в плач. Слова не могла выговорить, только когда плач этот в ней поутих, взяла меня под защиту:

— Какой он тебе желтый? Исхудалый, бледный. Господь милосердный. Точно с креста снятый он, а не желтый. Ты, небось, голодный, сынок? Сейчас встану, подогрею тебе. Осталась с обеда лапша. А я уж столько намолилась за тебя, убитого.— И снова расплакалась.

Но отец стоял на своем:

— Как не желтый? Что я, не вижу? Эвон, желтый какой.

— Это от моркови,— сказал я.

Тогда он посмотрел на меня, точно я над ним поиздеваться вздумал, и сник. Сел на лавку, понурил голову и, покачиваясь, стал смотреть куда-то вниз на свои босые ноги. Удивило меня немного, откуда он мог догадаться, что я желтый, темно было в горнице, свету от подвернутого фитиля в лампе сочилось не больше, чем днем из щели, да и вовсе не такой уж и желтый я был. Может, отец не верил, что это я, а неловко было спрашивать: ты ли это, мой сын, Шимек, которого убили; и только спросил: чего это ты такой желтый?

А матери ничего не понадобилось спрашивать, она заплакала и уже все знала. Так заведено на свете, что женщине плач приходит на выручку, когда отказывает разум. А плач все знает: слова не знают, мысли не знают, не знают сны, и бог иной раз не знает, а людской плач знает. Потому что плач — он и плач, и то, над чем плачут.

Когда же этот плач оборвался, мать все равно меня спрашивать ни о чем не стала, а начала рассказывать о себе. Что куры у ней отчего-то не несутся. Вчера подобрала только три яйца. Хотя с чего им нестись? Дали бы пшеницы, тогда бы неслись. А тут только картошка с мякиной, да что сами выроют из земли. К тому же хорек одну прошлый месяц загрыз. Притом самую лучшую. На яйца б ее посадили. Рябая, помнишь? И хоть не одна она была рябая, я помнил. Ох и умная была курица. Едва завидит меня на пороге, с другого конца двора бежит: может, я ей зерна или крошек кину. И надо же, чтобы аккурат ее хорек загрыз. Она, если выковыряет чего-нибудь из земли, скорей другим курам уступит, чем с ними драться. И через дыры в плетне никогда ни к соседям, ни на дорогу не вылазила. И спать, когда смеркалось, сама шла, а других вечно загонять нужно. Была бы цыплятам хорошая мать. Как я радовалась, господи Иисусе, как радовалась. А тут утром захожу в курятник — кругом перья и кровь. И все текла из нее эта кровь, текла. Никогда я не видела, чтоб из одной курицы столько крови. Другую опять же пришлось зарезать, хвороба какая-то к ней пристала. Сперва начала она от других кур отставать. А потом только бы и стояла у хлева, да на одной ноге. Гроза, видать, будет, думаю, господи Иисусе, хоть бы без молний. Или, не дай бог, град. Сколько всего попортит. А она иногда только к миске с водой подходила, попьет, попьет, и снова возвращается к хлеву, и стоит на одной ноге. День прошел, два. Я ей пшеничку в горсти под клюв подставила, а она хоть бы голову высунула из перьев. А вечером бери ее на руки и неси в курятник, не то б она, верно, и не знала, что ночь. Но раз взялась я за ее голову и вижу, глаза у ней начинают пленками зарастать и махонькие такие, с просяное зернышко. Видать, толку от тебя, горемыка, не будет. Ох, господи Иисусе!

— Да отцепись ты от него со своими курами! — не выдержал отец.— Куры, куры! Точно на свете одни куры живут. Взял бы когда-нибудь хорек, черт, да всех сожрал. Или и на других напал мор.

И тут мать снова расплакалась. Но видно, своим плачем отцу помогла. Потому что он тотчас на нее накинулся: ну чего, глупая, плачешь, чего плачешь?

— Было б хоть об чем. А так что? Обидел тебя кто? Не обидел, так чего ж? А то научилась плакать, надо не надо, слезы сами бегут. Ну и что? Выплачешься подчистую, а тут вдруг прихватит тебя, а заплакать нечем. Сухими глазами станешь плакать? Сухими глазами и смеяться не посмеешься, не то что плакать. С плачем как с деньгами — хоть пару грошей надо приберечь на черный день. Не больно много в человеке этого плача, ой, нет, не много. Столько, сколько есть, и все. А плакать, как ты, по делу, без дела, так и на четверть жизни не хватит. А нужно, чтоб на целую. Приходил вон судебный пристав, ты тоже слезу пустила, разжалобишь, думала. А ему, окаянному, швейная машинка была нужна, он на твои слезы плевал. Ну и что? Убили Шимека, ты плакала, теперь он живой — плачешь. Э, чего такой плач

стоит. Для того нам и веки даны — сожмуришь, слезы обратно и уйдут. А не то б посмотрел человек на солнце и готово — заплакал. Ветер в глаза подует — плачь. Или кто шилом в зад кольнет — тоже плакать? А ну кончай! Выплакала уже глаза, эко, щелочки только остались. Будешь потом: вдень мне нитку в иголку, а то я не вижу куда. А как тебе увидеть, когда игольное ушко меньше слезы. Я вдевать не буду, так и знай, вдевай сама, слепуха.

Разозлился, подошел к кровати и стал теребить на матери перину.

— Ладно, хватит. Еще не одну курицу у тебя хорек сожрет. Для того и хорьки. А пеструшка не хуже будет наседка, чем твоя рябая. Ты думаешь, они больно умные, куры. Много ль надо ума — яйца нести. Воробьи несутся, вороны несутся, каждая птаха. Господь повелел, вот и несутся. Пусть бы попробовали без божьей помощи. Они только пшеницу клевать умные. Возьми сыпани им своих слез, посмотришь, прибегут к тебе или нет. На пшеницу бы прибежали. Хотя вроде и то зерно, и это зерно. Прикручу-ка я лампу, может уймешься. Слезы любят, чтобы светло было. Они тогда сверкают, переливаются. Хочешь плакать, плачь в потемках. Начнет корова телиться, понадобится посветить, а нечем будет, ты на слезы весь керосин извела. Или с дороги кто увидит свет и прискачет: что у вас случилось? А что должно было случиться? Ничего не случилось. Шимек только вернулся. Впервой, что ли? Сколько раз со свиданок возвращался. И с гулянья. И под утро. И пьяный. И часом порезанный. А мать ему лапшу с обеда разогревает. И плачет: ей, вишь, приснилось, что он уже никогда не вернется. Да кто в войну верит в сны — один на тыщу исполнится, и аккурат тот, что не снился. Надо было во сне и выплакаться, коли приспичило. А не теперь, проснуться и плакать. Ну чего ты, чего?

Озяб, видно, отец, в одних подштанниках и в рубахе, босиком, как встал с кровати, чтобы мне открыть, а ночь была холодная и от глинобитного пола тянуло, вот и начал опять стягивать с матери перину.

— Вставай и подогрей ему, раз собралась подогревать.

А едва мать встала, сразу юркнул в кровать на согретое ею место. И спросил:

— Не помнишь, я «Отче наш» вечером прочитал?

— Прочитаешь ты, если я не заставлю.

— Это я вроде вчера не читал.— И с головой зарылся в перину. Не выносил он, когда мать плакала. И если никакие уговоры, чтоб прекратила — плакать-то не об чем,— не помогали, начинал чудить. Колотил пестиком по ведерку, дверь открывал-закрывал, гремел кастрюлями на плите, топал ногами об пол. Или брал метлу, вроде бы это у него винтовка, и давай ею махать, как на ученьях, во всю глотку сам себе выкрикивая команды, будто полковник полку, аж стекла звенели в окнах. А то маршировал взад-вперед по горнице с этой винтовкой-метлой на плече и распевал солдатские песни, запомнившиеся с прежних времен, но помнил-то он лишь обрывки и оттого мяукал, гудел, посвистывал, да и голоса у него никакого не было. А если и это не помогало, принимался вроде бы вместе с матерью плакать, но куда громче, жалостней, чем она. Бывало, скрючивался, и лицо закрывал руками, и головой тряс, и господи Иисусе кричал, а случалось, и настоящие слезы текли у него из глаз.

Ох, и смеялись мы иной раз над отцом, животики надрывали. Мне, правда, много и не нужно было, покажи палец — я засмеюсь. Точно меня чьи-то невидимые руки щекотали под мышками, и даже если другим было не до смеха, вдруг заливался ни с того ни с сего, безо всякой причины. Могло случиться, мы за столом сидим и едим, только стук ложек да чавканье слыхать, а я в смех. Или же вечером, когда мы, стоя у кровати на коленях, вслух повторяли за матерью «Отче наш». И даже когда отец бритву правил и меня заставлял держать другой конец ремня.

Смех этот сперва меня булавками покалывал, то тут, то там, а потом вдруг разносился, как огонь по стогу, и я уже никак не мог его сдержать, хоть бы зажмуривал глаза, сжимал челюсти и всей силой воли его в себе душил, и ладонями щеки тер, и за волосы себя дергал, и голову прижимал к коленям, а он бурлил, полыхал, и я смеялся до колик. Если же отец на меня напускался: чего, дурачок, смеешься, я еще пуще закатывался. А даст иной раз подзатыльник — тут уж во мне все начинало смеяться: голова, живот, ноги, руки. А хуже всего за едой, потому что отец переставал есть и ждал, кипя от ярости, покуда я высмеюсь, а меня этот смех прямо раздирал на куски.

— Ешь, ешь, пока не остыло,— отвлекала отца мать.— Высмеется и перестанет. Всякому надо через свою глупость пройти. Ты, что ли, не смеялся, когда в его годах был? Дитя ведь еще.

Но не всегда ей удавалось его отвлечь — если ярость переходила в нем последнюю меру, он вскакивал, хватал меня за шиворот и выбрасывал во двор — там высмеешься, зараза!

Но когда отец передразнивал материн плач, тут уже я хохотал вволю — тогда он и нам позволял смеяться и даже подзуживал: смейтесь, смейтесь, авось уймется скорей. И мы все смеялись. Даже Михал, хотя с малолетства хмурый был и смеялся редко. Оттого даже я не любил с ним спать, никогда не побалуешься перед сном. Вечно если не голова у него болела, так пузо, или: перину порвем, или: «Отче наш» уже прочитали и бог может на нас разгневаться. А стоило его пощекотать, возьмет и расплачется. Иногда мать сама его уговаривала:

— Посмейся, Михась, чего ты смурый такой, сынок. Глянь, все смеются.

Да и как было не смеяться, когда на масленицу пришли колядники, а Стах Щипа, дегтем перемазанный в черта, в полушубке на голом теле, с хвостом на заду, с рогами на башке, носился как полоумный по горнице и каждого норовил поддеть вилами, сейчас, мол, я его в ад. Тут уж все смеялись. Только Михал пугался, бледнел, жался к матери и ни в какую не давал себя уговорить, что это Стах Щипа.

— Стах Щипа, Стах Щипа, не бойся, сынок. Скажи ему, черт, что ты Стах Щипа.

То же самое Антек, хотя еще только на четвереньках ползал по горнице, аж попискивал от радости и, случалось, лужу напускал, когда отец передразнивал материн плач. И Сташек в люльке, хоть смеяться еще не умел, как-то по-своему пытался чирикать. И даже мать, казалось, только прикидывается, что плачет, а в глубине души вместе с нами смеется, глядя на отца.

Только много-много спустя, когда этот смех давно уже перестал меня одолевать, я понял, почему отец передразнивал плачущую мать, почему сам себя муштровал, пел солдатские песни, гремел кастрюлями, хлопал дверью, колотил пестиком по ведру и еще по-всякому чудил. Я так же, как он, не мог выносить, когда мать плакала. По мне, лучше было навоз с рассвета до ночи выгребать, косить с рассвета до ночи или даже за всех перебирать четки, как мать за нас перебирала, чем смотреть, как она плачет. Вроде бы я мог себе сказать: пускай плачет, такая уж материнская доля — лить слезы. А не мог. Иногда разозлюсь на себя оттого, что я не в поле, не в шинке, не у девушки или с мужиками где-нибудь в деревне, мало ли мест, где никто не плачет, а я сижу в хате, позволяя матери себя оплакивать, как малого ребенка. И еще каждая ее слеза по отдельности меня терзала. Я бы лошадь поднял, телегу бы поднял, столько во мне было сил, а вот голову поднять, чтоб взглянуть на ее заплаканное лицо, хоть убей, не мог и сидел, уставясь на землю у себя под ногами. И не отваживался даже сказать: не плачьте, мама. Чуть ли не виноватым в этом ее плаче себя чувствовал, раненным этим плачем, а ведь меня ранить не так-то было легко. Плач ее, как дождь с хмурого неба, на меня сеялся, а я

покорно мокнул, будто нарочно сунулся под этот дождь-плач, чтобы он меня оплакал.

А иногда из этого плача что-то на меня накатывало, и тогда казалось: мать и теперь еще носит меня в животе, и я в этом животе вместе с ней таскаю мешки с сеном, в страду подхватываю жито из-под косы, и солнышко будто пригревает нам одну спину. И так же, как она, согнувшись, стою с ней по колено в реке, и мы стираем белье, колотим вальком, аж эхо разносится по воде до родника с одной стороны и до устья реки с другой. А когда придем в магазин за солью, керосином, спичками, я даже слышу, как кумушки у ней спрашивают: видать, скоро уже, Магдзя? Ой, скоро, скоро. А она им отвечает, что не скоро, не скоро, может и никогда. Или мы с ней собираем моими руками в ее руках чебрец, хвощ, ромашку и какие только ни есть на свете травы с межей. А когда она месит в квашне тесто на хлеб, я в ней становлюсь этим хлебом. И, проживши день, оба усталые, мы молимся, преклонив колени, и получается крест, я над ее коленями.

И даже в такую минуту, как та, когда она плакала от счастья, что я живой, возле этого ее плача я чувствовал себя виноватым, хотя и не знал в чем. Но может, вины наши только матерям известны, хотя считается, будто одному лишь богу. Верно, она и за меня знала то, чего я сам не знал.

Из нас, четверых братьев, обо мне, наверное, мать больше всего пролила слез. Потом об Михале. Но что Михал, он все равно ничего не поймет, известно. А может, и не надо ему понимать. Хотя и плакать мало толку. Даже если плакать дни напролет. Ни разуму это ничего не даст, ни плачу. Хотя иной раз поплачешь и больше поймешь, чем разумом. И уж во всяком случае куда легче становится, когда заплачешь, чем когда поймешь. Потому что только плач соединяет с тем, с кем навечно разделен.

О Сташеке, об Антеке мать тоже, конечно, плакала, так уж водится: плачут о тех, кого нет дома. Но я-то, не считая войны, все время был тут, сызмалу и по сю пору, о чем же было плакать? Разве что она надо мной плакала за них за всех. А что жил я как жилось или как приходилось жить,— видно, не получалось иначе, никто ведь не живет так, как хочется. А даже если б вышло как хотелось, стало ли бы от этого лучше? Неизвестно, не было ли бы, наоборот, хуже, если б человек жил как хотел. Может быть, у каждого не просто такая жизнь, какая есть, а самая наилучшая, какую бы он мог иметь. Маленький я был, мать надо мною плакала — так ведь все матери над своими детьми плачут. Не только у людей. Корова плачет, кобыла, сука, кошка.

Была у нас когда-то кошка, я утопил ее котят. Пятеро их у ней родилось. Она как раз куда-то залезла, на чердак, не то в овин. Да и не была она хорошей матерью. Могла на целый день бросить котят, а те мяукали, звали ее, не помогало, даже если им на блюдечке молока дашь. А к тому же, казалось, столько у кошки этих котят, она и не упомнит, сейчас они у нее есть или раньше были. Под вечер прибежала, увидела, что в решете, где котятки сидели, пусто, и как бесноватая начала носиться по горнице, туда, сюда. И под кровать залезла, и на плиту вспрыгнула, и даже к Сташеку в люльку. Сташек в рев. Отец схватил ее за шкирку и вышвырнул во двор. Так она начала в дверь скрестись и так жалобно мяукать, что пришлось ему обратно ее впустить. Мать давай ругать отца, меня, что мы бессердечные, и даже посадила кошку к себе на колени и стала гладить, и говорить с ней как мать с матерью. Но та поскорей от нее вырвалась и пошла на оставшееся от котят пустое место. Там свернулась клубочком, мы думали, отпустило ее. Отец даже сказал, что у кошек боль коротка, а плач еще короче, а она к утру издохла. Правда, кошачье племя, оно такое — подросши, друг дружку не узнают, даже мать детей, словно чужие кошки, и каждая сама по себе. Я уже с девушками гулял, а

мать все любила надо мной всплакнуть. Будто плач этот навсегда в ней остался с той поры, когда я был маленький. И даже когда умирала, нет чтобы хоть на этот раз о себе подумать, обхватила мою голову своими худенькими руками и расплакалась надо мной. И скончалась.

А у меня перехватило горло, и я не мог заплакать. Уговаривали меня бабы, которые пришли попрощаться с матерью:

— Заплачь, Шимек, заплачь. По матери надо поплакать. Хоть и нету мочи. Еще по такой матери, как ваша.

А я не мог. Плакал отец, и кто только ни приходил, плакал, и даже Михал так как-то смотрел на мать, словно не знал, то ли заплакать, то ли не поверить, что она померла. А меня как заколодило, и я не мог.

Да и когда я в последний раз плакал? Наверное, когда корова Кубиков на пастбище телилась, а все разбежались, и остался я с ней один. Ну и было мне от силы лет десять. А потом больше никогда. Я бы мог о себе сказать, что прожил жизнь не плача.

Аллилуйя

Не знаю, умер ли бог, воскрес ли, правда ли все это, но свяченые яйца по вкусу не сравнишь с несвяченными. И никто меня не уговорит, что мне только так кажется. В обычные дни я могу вовсе не есть яиц, а свяченых съем десяток враз и хоть бы что. Ни хлеба мне не надо, была бы соль, тоже, ясное дело, свяченая. А вкусней всего с хреном, и хрен не только свяченый должен быть, но и крепкий, чтоб шибало в нос.

Пекла мать на пасху куличи, славились ее куличи в деревне. Все предновье могло ни на что не быть муки, даже на закваску для жура, но на куличи мать сразу после жатвы, как просеют свежую муку, откладывала: это на куличи, а на остальное, покуда хватит. А когда приносила с чердака один из этих куличей, потому что испеченные сразу же упрятывались на чердак, отец, Михал, Антек, Сташек облепляли стол, как куницы прорубь, и аж слюнки у них текли, пока мать резала кулич. А мне свяченые яйца все равно больше нравились, И мы почти всегда менялись, я которому-нибудь отдавал свой кусок кулича, а он мне свое яичко.

Если бы не свяченые яйца, по мне, пасхи могло б и не быть. Да и что это, правду сказать, за праздник? Ни зима, ни весна. Вдобавок никогда не известно, на какие числа придется. Всякий раз надо в календарь заглядывать, чего в нем написано. Хочешь знать — покупай что ни год новый календарь, будто так уж трудно раз и навсегда запомнить. Я вот родился в великую пятницу, а сказать, что в великую пятницу, не могу, потому как каждый год великая пятница в другое время. Так, может, и Иисус Христос не умер и не воскрес, коли всякий год иначе?

Я больше рождество люблю. Всегда в один день. Ни в какие календари не надо смотреть. И вдобавок год кончается, а ни разу еще не выпадал такой год, чтоб хотелось его задержать. Ну и колядки мне нравится петь. Раньше, бывало, запоем в хате все вместе, стены дрожат. А выйдешь на деревню послушать, как в других домах поют, покажется, будто Вифлеемская звезда, что над хлевом взошла, вот-вот слетит с небес. Тут поют, там поют, у всех соседей поют, и на краю деревни, и даже где-то за околицей, далеко-далеко.

И теперь еще, когда приходит сочельник, я люблю попеть. Колядки и одному петь можно, а иногда даже кажется, будто мы, как раньше, все вместе поем. А больше всего я люблю «Бог родится». Остался у меня кой-какой голос с прежних времен, затяну — точно так же стены дрожат. У соседей даже перестают петь, чтобы меня послушать. Эй, Шимек поет, потише там. А в мороз меня в дальнем конце дерев-

ни слыхать. И даже Михал всматривается в это мое пенье, точно хочет, чтобы я никогда не умолкал.

Иногда я и его уговариваю: хочешь, научу, будем петь вдвоем. Повторяй за мной: бог родится. Сперва слова, а мелодию потом. Слова нетрудные. Бог — это бог, понятно. А родится — тоже ясно. Я родился, ты родился. Собака родится, кошка, жеребенок, теленок. Все, что хочет жить, должно родиться. Помнишь, у нас весной цыплята были, так они тоже родились, только из яиц. Раньше мы на каждое рождество это пели. Садились за стол, только стол был другой, я, ты, отец, мать, Антек, а Сташек у матери на руках. Мать, пока накладывала на тарелки кутью, всегда тебе давала его подержать, потому что у тебя он не плакал. Как-то раз даже на колени тебе напрудил. Бог родится, это только поется так, не бойся.

Хотя в молодости я и пасху любил. В пожарниках служил, так всегда в великую пятницу мы стояли в карауле у гроба Христа. В мундирах, перепоясанные ремнями, с топориками на боку, и еще старались друг дружку перещеголять, на ком больше блеска. За неделю начинали драить каску и сапоги. Каску сперва хорошенько начищали золой, потом слюною, потом суконкой, так она сверкала не хуже дароносицы, а человек в ней смахивал на святого Георгия, а может, на какого другого святого, я уже не помню, который из них каску носил. А сапоги лучше всего было чистить сажей со сметаной, а блеск наводить заячьей шкуркой. Но сперва набегаешься, покуда раздобудешь где-нибудь эти сапоги. Ни у кого из ребят не было офицерских сапог, были кое в каких домах, но только у зажиточных хозяев. В карауле мы стояли по четверо, так что требовалось целых восемь пар, чтобы мы могли сменяться, к тому же ноги у всех разные, случалось, в другие деревни отправлялись за этими сапогами, и все равно редко когда они всем были впору. Не раз приходилось в тесноватых стоять. Они жгли, давили, ноги до колен застывали, а тут еще люди придут на гроб посмотреть, так и на нас смотрят, а потом в деревне только и разговоров: этот криво стоял, тот покачивался, тот моргал как нанятый. Но про меня всегда, что прямо, как струна.

А на второй день пасхи[1] с самого утра ходили по домам, где только была пригожая девка. Сперва родителей слегка обрызгаешь, так уж полагалось, потом, посильнее, дочку, но опять же в меру, чтобы не заляпать свежепобеленных стен. Не то еще хозяева осерчают и не поднесут угощенья. Это попозже, обойдя с дюжину хат, мы здорово хмелели, и тогда уже вода ручьями лилась. Из кувшинов, из ведер. Пойдет которая-нибудь в костел или из костела, девица или замужняя, ни одной не пропускали. А иную и к колодцу затаскивали. Один держал, другие ведра вытягивали, девка визжала, а мы смеялись.

Раз Зоська Незгудкувна сумела от нас вырваться и пустилась наутек к речке. Мы за ней и догнали, на ее беду, уже возле самого берега. Она молила, плакала, что у нее платье новое, и туфли новые, и новая рубашка, и все-все новое, ей тетка из Америки прислала — в мокром хоть не возвращайся домой. Так мы ее догола раздели. Но она еще пуще стала молить и пуще плакать, и вырывалась от нас, аж титьки тряслись, а волос у ней был рыжий. Потише тормошись, Зося, а то потеряешь невинность, и ни один из нас тебя в жены не возьмет. Подхватили за руки, за ноги и плюх Зоську в реку.

А яиц у нас всегда святили шестьдесят штук. Красили в два цвета — половину луковой шелухой в красный, половину молодой рожью в зеленый. И всегда я сам ходил святить, потому что мне казалось, никто другой так не освятит. Я протискивался к тому месту, откуда ксендз начинал, чтоб как можно больше капель попало в мою корзинку, потому что дальше ксендз уже только махал кропилом, а капало мало. Я уже кавалер был, а все ходил. И только в войну, когда я ушел

[1] По католическому обычаю, на второй день пасхи, в понедельник, парни и девушки обливают друг друга водой.

ь партизаны, начал ходить Антек, а после Антека Сташек. Но не долго они проходили. Сперва один, потом другой уехали из дому, и снова настал мой черед святить, а то что за пасха без свяченых яиц. Можно обойтись без пирога, без колбасы, но яйца должны быть. Съешь свяченое яичко, так даже если радоваться не с чего, все равно аллилуйя.

Но покуда я два года в больнице лежал, понятное дело, не святил. А когда вернулся, на первую же пасху наварил, как всегда, шестьдесят штук. Хотя своих яиц у меня не было и пришлось в магазине купить, с печатями, потому что мои куры еще не неслись, да и сколько их там у меня осталось — две всего и петух. Я только-только посадил наседку, но цыплята еще не вылупились. Все шестьдесят покрасил луковой шелухой в красный цвет, потому что не хотелось тащиться на покалеченных ногах за молодой рожью в поле. Едва до костела доковылял. А вышел из дома намного раньше времени, на здоровых бы ногах пять раз обернулся туда-сюда. Думал, присяду на скамью и отдохну, прежде чем ксендз начнет святить, а сам чуть не опоздал, ксендз уже ходил и святил. Хорошо еще он начал от малого алтаря, и людей было порядком, в несколько рядов стояли, у нас в приходе пять деревень, так что, пока он до нашего ряда дошел, я успел пристроиться между Секулиной и какой-то незнакомой бабой.

Но когда я нагнулся, чтобы развязать платок, потому что корзинка моя была в материнский платок завязана, палка выпала у меня из руки и такого наделала шуму, словно гром прокатился по костелу. Даже под самым сводом грохотнуло. И орган на хорах застонал. И сразу все головы угрожающе повернулись в мою сторону. Ксендз даже остановил кропило, уже поднятое вверх, и поглядел туда же, куда и все. Мне сделалось стыдно, я даже пожалел, что затеял всю эту историю, подумаешь, свяченых яиц захотел, не мог, что ли, до следующей пасхи подождать, вдруг бы стал лучше ходить.

А еще, словно этого позора было мало, я никак не мог платок развязать, потому что крепко затянул узлы, чтоб они в дороге не развязались, а ксендз уже был в двух шагах. И уже надо было становиться на колени. А как тут станешь, когда одна нога совсем не гнется, а вторая еле-еле. Да только напрасно я старался, потому что ксендз мимо как ветер пролетел. И хоть помогали мне и Секулина, и та незнакомая баба, мы не успели вовремя развязать узлы, и лишь несколько капелек свяченой воды капнуло мне на руки, а на яйца ничего не попало, и остались они неосвященными. И сразу вкус другой. Точно вытащил из-под курицы, сварил и съел. Только и проку, что не нужно было себя корить, будто я поленился идти в костел. Хуже иногда бывало, а все равно ходил, не такая уж это важная причина — ноги.

Когда я работал в гмине, как-никак на государственной службе, да и времена были не лучшие для таких дел, то в великую субботу посреди рабочего дня уходил из правления — вы как хотите, а я должен идти яйца святить. Таиться я и не думал. И даже когда меня перевели на плановые поставки, все равно: я пошел святить яйца. Хотя на плановые поставки кого попало не назначали, вечно нам долбили на совещаниях, чтобы спуску не давать. Иной раз камнем на шее становились для людей. С полей еще хлеб не свезен, кое у кого еще на корню стоит, а тут уже шлют сроки, сдавайте, кто не сдаст, тому несдобровать. Но сроки-то приходили сверху. Кто-то их там придумывал. Верно такой, которому казалось, что он важней земли. А земли только бог важнее, если кто в него верит. А кто не верит, так земля самая наиважнейшая. И ни сроками, ни кнутом ее не подгонишь. На худой конец можешь послать ее куда подальше, раз она тебя слушаться не желает. Но что было делать?

У меня от писанины, случалось, рука немела, потому что постоянно пиши и пиши — приказы, уведомления, напоминания, штрафы. И глаза стали красные, как у кролика. Встанешь утром и почти ничего

не видишь. Мать спрашивает: отчего это они у тебя такие красные? Как отчего? От писанины. А отец: верь ему больше, от писанины. Этак бы никто в школу не ходил, там ведь только и делают, что пишут. И не было бы ни ксендзов, ни ученых. От пьянства это. Вчера едва через порог перевалился и сразу, как кабан, бух в кровать. Ты спала, вот и не видела. Пей, пей. А в гмине мне даже советовали сходить к врачу: может, пропишет очки. Носил кое-кто в гмине очки. Сонсядек носил, еще один из страхового отдела, в дорожном тоже был один, иногда, кажется, и рассыльный надевал, когда его куда-нибудь посылали с письмом, а он не мог прочитать куда. И еще три женщины ходили в очках, но ни одна из них мне не нравилась. Я раз примерил Сонсядековы, и ничего, неплохо гляделся, но видел все как сквозь туман.

А некоторым казалось, я на легкий хлеб польстился, только что это был за хлеб? Еще люди потом приходили и кляли на чем свет стоит и тебя и начальников. Полна комната народу иногда набивалась, и все с бумажками, которые от нас получили. И еще столько же стояло в коридоре, а то и во дворе. И кидали мне на стол эти бумажки, поди накоси, собери, обмолоти и забирай. А иная баба и задницу не стеснялась показать: мол, вот у нее все это где. А ты только руками разводишь: нет, не я это. А кто? Все вы, окаянные, одного поля ягода!

Иногда, ясное дело, кому-нибудь поможешь. Этому немного срок отодвинешь, тому центнер срежешь, а кое-кому хотя б посоветуешь, как написать заявление и куда. Ну и потом каждый старается тебя отблагодарить. А как мужик мужика может отблагодарить? Приглашает выпить. Водка не взятка. Не то что один дает, другой берет, просто оба вместе пьют. Вот я и приохотился. Да и при такой работе нельзя не пить. Люди верят, что водка все может устроить, и получше, чем господь бог. А оно по-разному бывает. Иногда выпьешь — поможет, а случается, даже от молитвы проку нет. Но если хочешь с людьми в мире жить, надо пить. Потому как тогда и тебя человеком считают. А это кое-что значит.

Вдобавок шинок был почти что напротив гмины, по другую сторону, только дорогу перейти. А благодарность, известное дело, не считает: ты мне столько, и я тебе столько, так что редко когда кончалось пол-литром. Благодарность, она не карман, а душа. И даже если человек незнамо как хитер, после пол-литра душа непременно распахнется. А тогда уже душа ставит, душа платит и от души до души, как говорится, рукой подать.

К тому же всегда кто-нибудь подсядет, и даже если не за что ему благодарить, захочет отблагодарить впрок. Потом еще который-нибудь и еще, а случалось, и все, кто сидели в шинке. Кому ж не хочется не только телом быть, но и душой? Настанет время закрывать шинок, так заведующий Ясинский снаружи дверь запирал, а внутри мы продолжали пить. На худой конец накинет пару злотых, ему тоже заработать хочется, не на одной же зарплате сидеть. И укладывался на стульях за буфетом, а мы пили. Ох и пили, точно наши души на радостях, что это они в раю, а не мы в шинке. Будете уходить, разбудите. Ой, Ясинский, Ясинский, кто ж отсюда уйдет и куда? С таких вышин обратно на землю? Эх, тут мы им дали жару, там дали жару, просыпайся, Ясинский, тащи пол-литра. Потому что я снова Орел. Гей! Ты нас покинул, господи, но, по счастью, Орел остался! Гей! Пусть только Орел появится, за каждую нашу слезинку один ваш труп! Гей! Орел со своими ребятами в деревне, у Марыськи Крулювны пьют, маршем пройдут по деревне, готовьте сало, муку! Хотя иногда печально кончалось: тот убитый, этот убитый, а человека сколько раз ни убивай, все равно он должен дальше жить. Был ты Орел, а теперь дерьмо, бумажная душонка. Проснись, Ясинский, еще пол-литра!

А на следующий день садишься едва живой за письменный стол,

башка трещит, в желудке сосет, а еще выслушивай, как плохо живется людям на свете. И всем плевать, что тебе, может быть, еще хуже, только ты не возьмешь бумагу и не пойдешь с нею, да и куда идти, к господу богу? За что ты меня так, господи?

Иной раз не успеешь вернуться домой, а уже пора в гмину идти, только и выпьешь кислого молока или капустного рассола. И хоть до дому не больно далекий был путь, но как начнет тебя, бывало, черт мотать, ты и туда ткнешься, и сюда, и даже обратно. До того тебе все в голове перепутает, что в собственной деревне заплутаешь, того и гляди. Одно спасенье — держаться хат. Хорошо, хаты тогда еще близко одна к другой стояли, как бусинки в четках, только загатьями разделенные, вот и можно было их руками перебирать и идти, богородица, дева, радуйся, отче наш. Это сейчас почти все хаты новые и четки точно кто-то разорвал и раскидал куда ни попадя, больше уже не помолишься.

А когда наконец доберешься до дома, надо еще и дверь отыскать, и нашарить дверную скобу. А она иной раз как иголка в стогу. Шаришь, шаришь, а отец по другую сторону стоит и не открывает.

— Откройте, отец, это я, Шимек.

— Сам открывай, пьянь.

— Да я скобу не могу найти.

— Слышь, мать, он скобу найти не может.

— Открой ему, Юзусь, открой, это сын твой.

— Черт, а не сын. Не слышишь, как когтями по двери скребет? Я черта не пущу в хату, покуда она моя. Скребись, скребись, анчихрист, чтоб тебе лапы вконец изодрать.

— Открой, Юзусь,— упрашивала отца мать.

— Встань и сама открой.

— Я б открыла, да не могу встать. Открой, Юзусь. Сын, хоть бы и блудный, всегда сын.

— Были у меня сыновья, да в мир ушли. Все, что хорошее, либо помрет, либо мир отнимет, а плохое остается.

Один раз так и не открыл, а когда я кое-как отыскал эту скобу, оказалось, что он с той стороны запер дверь на крюк. Я давай барабанить кулаками, зная, что он там стоит, наконец в сердцах пнул дверь ногой и крикнул:

— Пусть только мать помрет, я здесь не останусь! И ничем вы меня не удержите! — И пошел, сел на камень перед хатой, а была еще только середина ночи. Едва сел, кто-то ко мне подсаживается:

— Подвинься.

Глянул я: дед Лукаш, тот, что еще перед первой войной удрал в Америку. Луна светила как талер, звезд точно зерен на току, нельзя было его не узнать. Я даже немного протрезвел. Говорят, в таких случаях надо спрашивать: что ты, душа, желаешь? Но что может желать душа из Америки? Это только деревенской душе вечно чего-то нужно. Ты, что ль, дед? — спрашиваю я его. Ну коли так, слава Иисусу Христу. Как тебе там, в этой Америке? Говорили, богатство нажил, а ты, вижу, вернулся. Может, оно и правда, что, когда человек умирает, душа его возвращается туда, где он родился. Только зачем ты ее аж в Америку потащил? Билет на пароход оплатил, а она обратно. Надо было ее в деревне оставить, когда тебя казаки искали, ничего б они ей не сделали, а люди бы как-нибудь утешили. И тебя бы после смерти не тянуло обратно в наши края. Неужто так худо было в этой Америке? Не горюй, здесь было б не лучше. Здесь такая же Америка, только по другую сторону света. Везде, где нас нет, Америка, дедушка. Ну, ладно, расскажи хоть, как оно на том свете? Ты управляющего убил, верно, знаешь лучше других. Сукин сын был, но хоть бы и не был, ты правильно поступил. Иной раз тоже кого-нибудь убить хочется, только управляющих больше нет. Другой нынче строй. Ты, небось, не знаешь, что такое строй? Ну, власть такая. Ты убил управля-

ющего и должен был бежать, а твой внук на государственной службе. Мечтал, наверное, чтоб у тебя в роду завелся такой? Вот он, на одном камне с тобою сидит. Под хмельком малость, но это ты виноват, дедушка. Вам, дедам, какие только глупости не взбредали в голову, а внуки теперь из-за вас горькую пьют. Вы — на том свете, внуки — на этом, а все — один круг. А круга не распрямишь. Так что лучше уж в шинок, чем за тридевять земель. То же самое, а ближе. Иногда только, когда в небе такая, как нынче луна, я бы сел на цепь и на эту луну повыл. Ой, я б получше был пес, чем наш Струцель. И вора бы учуял, и твою душу, дед. Не пришлось бы тебе горевать, что никто тебя не узнает. Видал ты когда-нибудь в Америке такую луну? Только тут, над деревней, и увидишь. Словно кто прорубь в небе прорубил топором. Хоть закидывай сеть и лови рыбу. Не знаешь, дедушка, рыбы с неба такие же, как из реки?

И так, слово за слово, проговорили мы с ним почти до белой зорьки, он помалкивал, а я ему о том о сем. А утром вышел из хаты отец и стал небо оглядывать.

— Погожий будет денек, погожий. Небо-то — не поймешь, то ли высокое такое, то ли глубокое. Вот бы полюшко заиметь как небо. Да на равнине. Знай молись, а у тебя там все всходит, растет, цветет. Ни тучки, ни облачка, ни травинки сорной. А солнышко как зеница господа нашего Иисуса Христа. Ну что, может, поедешь в поле?

— Куда ж ехать не выспавшись. Завтра поеду.

— Завтра, завтра. С каких уже пор завтра. У всех вспахано, заборонено, иные свое поле засеяли, а у нас как стояло после жатвы, так и стоит. Люди уже спрашивают: продавать, что ль, надумали, отчего такое заброшенное, а он все — завтра. Завтра на том свете будет, а на этом надо пахать, сеять, пока земля согласна родить. А не захочет, ты ее не упросишь. Земля добра, покуда добра, а заупрямится, пиши пропало.

— Дед тут со мной целую ночь просидел,— сказал я, чтобы отвлечь отца от этой земли.— Только-только сгинул.

— И что, сказал, где бумаги зарыл? — оживился отец.

— Не тот дед. Лукаш из Америки.

Отец махнул рукой:

— Пустозвон. Чего хотел?

— Да ничего, просто так, поговорить пришел.

— Видать, в покаяние. Босой был?

— Я ему на ноги не смотрел.

— Верно, босой. За грехи всегда босиком.

Как-то я вернулся домой пьяный, почти уже ночью. Что-то меня толкнуло сунуть в карман пол-литра, когда мы выходили из шинка. Можно бы, конечно, сказать: у меня было предчувствие. Но никакого предчувствия не было. Просто нам в тот день дали зарплату, а я с получки иногда прихватывал с собой пол-литра. Пригодится утром, когда с похмелья с души воротит. Сперва я удивился, почему у нас в окне еще свет горит. Но потом подумал: верно, отец ноги парит. Были они у него все в желваках, и когда болячки очень уж докучали, он заваривал какие-то травы и в этом настое парил ноги. Сядет на скамеечку, ноги в ушат, то помолится, то с матерью поговорит. Но когда мать засыпала и сам задремывал, иногда так и спал, с ногами в ушате, покуда от холода не проснется или я не вернусь.

Захожу я в дом, что такое? То ли мне чудится, то ли Михал у окна на лавке сидит. Квелый какой-то, даже головы не повернул, когда я вошел. Но вижу — Михал. Может, ехал долго, с дороги устал? Он всегда был хлипкий. Однажды на ярмарку ездил с отцом, такой же точно вернулся, растрясло его на телеге и вырвало, едва он переступил порог. Или ночь прогуляет, а наутро бледнехонький, под глазами круги.

— Ой, Михал приехал,— сказал я. И хотя в голове у меня изряд-

но шумело, обрадовался: — Сколько лет мы все ждем и ждем. Выпьем, брат. У меня как раз пол-литра при себе есть. Прихватил, будто меня толкнуло что. Ну и видишь.— Вытащил бутылку из кармана, поставил на стол.— Где хоть стаканы-то?— спрашиваю. А отец сидел на скамеечке, опустив голову, словно дремал. И вдруг поднял голову и на меня:

— Ты что, паразит, водкой его хочешь поить? Погляди на него.

— Чего глядеть? Я же вижу — Михал. Неужели б Михала не признал? Родного брата? Постарел малость, но не так уж и сильно, если посчитать, сколько лет прошло. Скажи, Михал, братья мы или нет? Хоть ты в городе, я здесь, и ничего мы друг про дружку не знаем, но чтобы братьями быть, и не обязательно знать. Ты Франека Мазеюка помнишь? Учился с тобой в одном классе. Повесился он, брат. Была у него на складе недостача в десять центнеров сахара. И охота человеку такой сладкий чай пить! Вроде бы ксендз с амвона говорит: не грешить. Но попробуй не греши, это говорить легко. А я, брат, и живу и не живу. Да чего там, ты здесь, приехал — это самое главное. Ну где же стаканы, мать?

Мать ничего не ответила, лежала с закрытыми глазами, будто спала, но я знал, что она не спит. Сердится, подумал, наверное, что Михал приехал, а я заявился пьяный. Ну да ладно.

— Отец, может, вы знаете где?

Но отец тоже — ни слова. Может быть, он и правда не знал, есть ли в доме стаканы. Да и для чего они нужны? У нас только молоко пили, воду, иногда травы, так для этого лучше кружки. Толще, больше, есть за что ухватиться, и век ихний длиннее, чем стаканов. У меня до сих пор сохранилась одна жестяная, я больше всего из нее люблю пить. Еще дед из этой кружки пил и говорил, что и его дед пил,— пусть который-нибудь стакан столько проживет. Ни из какой другой посуды вода не кажется такой вкусной. Иной раз и не хочется пить, а напьешься, все равно как прямо из родника. А стакан возьмешь натруженной рукой, будто яйцо клещами берешь. Вернешься с поля после косьбы, так за что ни возьмись, все тебе кажется — в руке коса.

— Что ж, поищем,— сказал я и взял со стола лампу, чтоб себе посветить.— Не из бутылки же пить, когда брат приехал. Ой, до чего ж я рад, что ты приехал, братец. Наконец-то наговоримся за все эти годы. И ты мне скажешь, чего тогда, в войну, от меня хотел.

Я открыл буфет. Тарелки, бутылки, пузырьки, кулечки — все так и замелькало перед глазами, но стаканов среди этого добра не было. Я тоже не очень-то помнил, есть ли они в доме, но мне, как никогда, хотелось выпить из стакана.

— Как корова языком слизнула. Завтра пойду куплю целую дюжину, и пусть стоят на виду.— Я вернулся к кровати, к матери.— Где стаканы? — стал дергать на ней перину.— Мы с Михалом выпить хотим.— И тут при свете лампы я увидел, что из-под ее опущенных век текут слезы.— Что это вы, мама, плачете? Не из-за чего. Я, случалось, и не такой пьяный приходил. Сегодня и выпил-то всего ничего. У Вицека Фуляры сын родился. Я их с Бронкой когда-то женил. Завтра попрошу у Махалы взаймы косилку и за один день все скошу. Я за него заявление написал, он мне даст, непременно даст. Пусть попробует не дать, сукин сын.— Я все стоял над матерью с покачивающейся лампой в руке, а у нее из глаз все сильней текли слезы.— Не плачьте, мама,— сказал я.— Что с матерью, отец?! — Я повернулся к отцу, лампа колыхнулась, и из нее в горницу словно вырвалось пламя. На минуту стало темно, и снова посветлело.

— Поставь, дьявол, лампу, еще спалишь дом.— Отец поднял голову, и в его глазах тоже блеснули слезы. Он утер их ладонью.

— Плачете, что Михал приехал?

— Михал он, а может, и не Михал,— сказал отец.— Один только бог знает.

— А зачем богу знать, кто Михал, кто не Михал? Я знаю, что я Шимек, вы знаете, что вы отец, а Михал, что он Михал. Каждый сам лучше бога знает. Что он, вчера родился, чтобы одному богу за него знать, кто он? Хоть бы я и не хотел Шимеком быть, ничего б не вышло. Пьяный напьюсь, а все равно знаю, кто я такой, потому как никто другой мною быть не захочет. Надо было б только тебе, Михал, написать, что приедешь. Видишь, теперь они плачут.

— Не приехал он, она его привезла.

— Кто?

— Жена его, что ль.

— Так у тебя жена есть? Почему молчал? Мы бы хоть поздравленье послали. Желаем молодоженам всего того, что зовется счастьем. Или: пусть солнце освещает ваш совместный жизненный путь. Или: счастья вам, здоровья, благополучия и первенца сына. Даже придумывать не надо, можно на почте выбрать. Яська-начальница только спросит: какую тебе, пятый номер, второй? А которая подешевле? Но тебе бы я самую дорогую послал. А может, ты писал? За столько лет и забыть нетрудно. Эх непременно надо выпить. Отец с матерью пускай плачут, такая у них обязанность. А наша обязанность — выпить. И не обращай внимания. Я с ними живу, они меня каждый день видят, а тоже, бывает, плачут. Отец-то нет, мать. А тебя вон сколько не было.

На столе как раз стояла та самая жестяная кружка, я ее ополоснул.

— Ты из кружки пей. Я могу и из бутылки. А завтра выпьем из стаканов.— Я налил ему побольше, себе оставил поменьше.— Ну, твое здоровье, за то, что приехал и нас не забыл.

Я уже поднес бутылку к губам, но тут вдруг отец вскочил и накрыл кружку рукой.

— Ты что, еще напоить его хочешь, анчихрист, совести у тебя, проклятого, нет! Не видишь, пьянь, какой он?

— А какой? Он мой брат! — Я стукнул бутылкой об стол, аж водка выплеснулась из горлышка.— Скажи, Михал, что ты мой брат.— Я обхватил обеими руками его голову и, запрокинув, притянул к себе. На меня смотрели почти невидящие, остывшие глаза.— Ты мой брат. Был и всегда будешь.

Тут и мать приподнялась на постели и стала его просить:

— Скажи что-нибудь, Михась. Скажи, сынок, что у тебя болит?

— Что у него болит, его дело! — набросился я на ни в чем не повинную мать.— Здесь он, приехал, и радуйтесь.

— Да он как приехал, так и сидит, и ни слова.— Отец встал со скамеечки и пошел было к ведрам с водой, но с полдороги повернул обратно к матери, потом снова повернул и пошел, словно с косой по полю, сам не зная куда.— Чего-то она там... Да что она. Вроде здесь ему будет лучше. Михал, Михась, мы его спрашиваем, а он как язык проглотил. Матери, отцу не скажешь? Даже дерево дереву скажет, тварь твари. А человек хоть с землей у себя под ногами поговорит, когда больше не с кем. Как жить молчком?

— Выпейте, отец.— Я сунул ему кружку прямо в руки, которые он как-то беспомощно держал перед собой, словно не знал, куда их девать — авось, подумал я, от водки полегчает.— И пускай не говорит, не надо. Мы с ним говорить будем.

Вскоре после этого мать умерла. И не столько от болезни, сколько с горя, извела себя, плакала и плакала, и все: Михась, сыночек, Михась, что тебе? А после ее смерти и отец сдал. Бывало, не слышал, что ему говорят, словно всем своим нутром прислушивался к тому миру, куда отошла мать. Так что все свалилось на меня. Хоть бы собаку он или Михал покормили. Нет, сидели себе — один на скамеечке где-нибудь возле плиты, другой на лавке — и ждали, когда я вернусь из гмины.

Я даже подумывал: не уволиться ли, потому что уже рук не хватало на все. Еще сразу после смерти матери соседки немножко помогали. Одна иногда сготовит, другая горницу подметет, та постирает, а эта хоть придет и нас пожалеет. Но когда материна смерть отдалилась, то и они перестали заглядывать. А с другой стороны, мне было немного жаль уходить из гмины, худо-бедно, а пару злотых первого числа принесешь, хотя бы на соль, сахар или кусок колбасы.

Но как-то, сразу после пасхи, приехал ревизор из повета, и председатель Маслянка водил его по комнатам. Тут дорожный отдел, здесь налоговый, здесь страховой, плановые поставки, Межва, Антос, Винярский, панна Крыся, панна Ядзя. А я в аккурат ел свяченые яйца. Так уж повелось у нас в гмине, что служащие приносили с собой второй завтрак, а Коптёва, уборщица, даже чай заваривала, злотый за стакан. Ну и я тоже, когда было чего из дому взять, чтоб не отставать от других. Не с голоду, конечно, к голодухе я был привычный, мог три дня не есть. Разложил я эти свяченые яйца на газетке на письменном столе, сижу и луплю, одно было в красный цвет покрашено, другое — в зеленый, и тут они вошли.

— Что, Петрушка, свяченые яйца едите? — не то спросил, не то поддел меня Маслянка, а тот, из повета, рожу скривил.

— Свяченые.— И продолжаю лупить.

— Ну и как, лучше свяченые, чем прямо из-под курицы? — опять Маслянка.

— На мой вкус лучше, а для кого не лучше, тот пускай не ест.

— Хо-хо! Сколько ж вы этих яиц освятили, что дома не можете съесть, а приносите в гмину?

— Шестьдесят штук.

— Гмина не костел, Петрушка! — рявкнул Маслянка, злой как пес.

— Так я ж не свячу, а ем.

Он ничего больше не сказал, но я чувствовал, что он мне этих свяченых яиц не простит, вдобавок разговор был при ревизоре из повета. Видно, я его здорово разозлил, потому что он и другим стал заглядывать в рот. Антос ел хлеб с сыром, а ведь ни хлеб, ни сыр к богу отношения не имеют, разве что говорится: хлеб наш насущный, но и верующие и неверующие — одинаково едят. А он прицепился к Антосу: эвон сколько кусков, небось, целый час будете есть, а положено пятнадцать минут.

А через несколько дней вызвал меня к себе и, хоть мы давно были на «ты», говорит:

— Чересчур много пьете, Петрушка. Пора кончать.

Меня так и затрясло — было бы что-нибудь под рукой, я бы ему башку проломил. Но на столе только чернильница стояла и деревянная промокательница, что этим сделаешь?

— Ты мне не выкай, мать твою так. Шимеком меня звать, коли забыл. А пью я на свои. Думаешь, мне невдомек, что тебя зацепило? Пьянство тут ни при чем. Ты, что ль, не пьешь? Мало тебя видели пьяного, как свинья? Тоже мне шишка, председатель. А в оккупацию ты что делал? В портки клал.

И через неделю меня уволили. Вовсе не из-за пьянства, как Маслянка мне пытался внушить, я тогда уже меньше пил,— свяченые яйца его напугали. Хотя, может быть, он, как и я, больше всего такие любил, только чистил их под периной, да еще мальца выставлял караулить перед хатой, вроде бы тот играет, а сам глядит, не идет ли кто. И вдруг увидел, что за казенным столом государственный служащий как ни в чем не бывало свяченые яйца ест, так ему почудилось: не яйца это, а гранаты. Да он боялся не только свяченых яиц. Всего боялся. И уж не приведи господь при нем вздохнуть: боже мой. Сразу делался красный, как упырь, и, кабы мог, запихал бы человеку вздох этот обратно в рот.

— После работы у себя в хате вздыхайте! А здесь гмина, вы мне тут суеверий не разводите! — А ведь иные часом, забывшись, вздыхают. Легче от слов отвыкнуть, от мыслей, чем от вздохов. Но такой уж этот Маслянка был человек.

Вон уже сколько лет прошло, как я начал строить склеп, но он все еще ходил в председателях. А тут понадобилось мне восемь центнеров цемента, так Хмель подсчитал. С запасом, один лишний всегда пригодится, хотя бы пару ступенек сделать, чтоб не спрыгивать с гробом вниз. Я бы мог краденый цемент купить, и на что другое, возможно бы, купил, только не на склеп. Первым делом я пошел в кооператив. Цемент там был, но требовался наряд из гмины. Пошел в гмину. Они наряды дают, но надо заявление написать. Я пишу.

— А на что пойдет этот цемент? — спрашивает девушка, которой я заявление отдал. С виду ей лет двадцать, глаза большие, голубые, мне показалось, симпатичная, носик только чересчур вздернутый. Но в такие годы и со вздернутым хорошо.

— Склеп надумал строить,— говорю.

— Склеп? — Она чуть не прыснула, даже голову отвернула, вроде бы просто так, куда-то посмотрела. Потом вытащила из стола какую-то бумагу и начала водить пальцем: на что я имею право получить. На дом, свинарник, коровник, конюшню, овин, под силос, под навоз, на разведение кроликов, птицы, лисиц, нутрий, на теплицу под овощи, под цветы, в горшках, срезанные. Вон про хризантемы даже написано, обрадовалась. Но склепа там не было. Тогда она спросила у сотрудника, который сидел в углу у окна:

— Пан Владек, есть какое-нибудь распоряжение насчет выдачи цемента на склеп?

— А кто собрался помирать?

— Гражданин.

Тот тупо посмотрел на меня, пожал плечами.

— Что же мне делать? — спросил я.

Девушка даже улыбнулась, но развела руками:

— Надо бы к председателю сходить.

— А он здесь?

— Здесь, но занят.

— Я подожду.

На это отозвался пан Владек:

— Если занят, будет занят уже до конца.

— Да я здесь когда-то работал, давно,— сказал я.— Тут, в этой комнате, был налоговый. Вас еще тогда не было и столов не было таких.

Пану Владеку, похоже, стало неловко. Девушка опустила голову.

— Попробую спрошу.— Посмотрела на меня уже не казенным взглядом, поднялась и вышла.

Долго ждать не пришлось, Маслянка меня сразу принял, хотя как будто был занят.

— Садись,— сказал. Меня удивило, почему не на «вы». Видать, вспомнил тот случай, хотя столько лет прошло. Он здорово постарел и еще больше растолстел, едва умещался в кресле. И нос стал как картошка, и взгляд словно бы тяжелей, чем раньше, а может, он о чем-то думал перед тем, как я вошел. Не то засмеялся, не то скривился: — Что, на тот свет собрался?

Я сел, пристроил свои палки. Но он будто и не заметил, что я с палками.

— И куда торопишься?

— Я не тороплюсь,— сказал я.— А даже если б и торопился, у меня перед государством долгов нет. Разве что вы мне налог разрешили в рассрочку выплачивать. Но я, прежде чем помереть, заплачу, не беспокойся.

— А я и не беспокоюсь. Помирай, коли охота. Помереть каждому

дозволено. Гмине до этого дела нет. Но ты цемент просишь, да? А это уже дело гмины.

— Восемь центнеров.

— Восемь центнеров, восемь центнеров. Не важно сколько, важно на что. Ты думаешь, я на все могу, какая кому блажь ни втемяшится? В инструкции черным по белому написано, на что можно. На повышение урожайности — пожалуйста, это экономическое развитие, имею право. Но чего нет, того нет — и точка. И что тебе вдруг приспичило с этим склепом. Успеешь еще. А пока не мешало бы о жизни подумать. Я тебя не уговариваю коров заводить или свиней, с ними набегаешься, а ноги у тебя, я вижу, никуда. Ну, а если куриную или утиную ферму? Фермы мы поддерживаем. И тебе бы перепало пару грошей, и государству польза. Мы б тебе могли ссуду дать. Пожалуйста. Составь заявление, я подпишу. Процент небольшой, рассрочка надолго, потом часть с тебя спишут. И вместо покойника сделаешься важной персоной. Куры у тебя кудахчут, утки крякают. Только подбрасывай корм, а тысчонки растут. А нападет мор, они у тебя застрахованные, государство все возвратит и на новых получишь ссуду. Это не то что раньше, когда об каждой наседке слезы лили. Эта рябая, та пеструшка, эта зеленоножка. Сдохнет, так все равно как если бы Валек богу душу отдал, Франек, Бартек. И даже яйцо узнавали, какое от которой. Теперь все белые так белые, желтые так желтые, нет уже наседок, есть продукция, брат. Либо теплицу. Поддерживаем. Пожалуйста. Огурцы, помидоры, лучок, салат, редиска, спрос большой. И о доставке не надо заботиться. Приедут, заберут — в любом количестве. Тара у них своя. А склеп не хозяйственная постройка, от него у меня продукция не возрастет. Сколько-то там цемента в землю ухнет.

— Восемь центнеров, я тебе уже сказал.

— А хоть и восемь. Оправдывайся потом, отчего не под силос раздаешь, а на склепы. Сразу: плохое хозяйствование, неправильный подход. А то скажут: староват Маслянка стал. Мало, думаешь, таких, что рады бы от меня избавиться? Уже разговоры пошли — на пенсию мне пора. А у меня еще четыре года в запасе, немалый срок. Или опять же, что училищ я не кончал, курсы только. Теперь, знаешь ведь, все молодые с дипломами, а носы задирают, черти, о-го-го! Ни на что не глядят, лишь бы все по науке. У коровы чтоб шесть сосков, у пшеницы по два колоса, у свиней по четыре окорока. А скоро вздумают тот свет вспахать, засеять. И даже не желают верить, что когда-то была война. А какое в войну было ученье? Одна школа — лес. Кому, как не тебе, знать. Хорошо, башка у меня варит, выкручиваюсь с грехом пополам. Но времена уже не те, ой, не те, что были, когда ты у нас служил. Нынче так не поработаешь. Нынче каждый центнер цемента обязан дать прирост урожайности, мяса, молока, яиц, овощей. Все тебе рассчитают. И с каждым днем все больше требуют. А тут мужики: хошь продукцию, председатель, гони цемент. Я тебе и сотню голов могу завести, но прежде свинарник надо перестроить. Я то могу, се могу, давай только цемент. А цементу придет вагон, от силы два, и неизвестно, когда снова вагон пришлют. Иной раз голова кругом идет — кому давать, кому не давать. Пойду в день поминовения к тестю на могилу, так нет чтоб о покойнике подумать, прикидываю, сколько бы вышло коровников, свинарников, силосных башен из того цемента, что здесь в землю ушел. Сердце на куски разрывается. А есть тут у нас в гмине один, только и ждет, чтоб меня кондрашка хватил. Так и норовит подковырнуть. Старого закала наш председатель, глуповат наш председатель и партийный из него никакой. А гмина этого умника учиться посылала. Магистр, туда его. Попробуй прикажи ему что-нибудь сделать. Или распоряжение придет — дурацкое, мол, распоряжение. Для них все дурацкое. А распоряжение — это распоряжение. Не важно, умное, глупое — надо вы-

полнять. Думаешь, отчего я седой? От старости? Нет. Я в себе крепость чувствую как в прежние времена, Иной раз схватил бы какое-нибудь дерево и выворотил с корнями. А Юзьку свою могу по пять раз за ночь. Только ей и раз в неделю много. Стара я, Леось, для тебя, говорит. Взял бы себе жену помоложе и сам бы подмолодился. Да мы ж когда женились, ты молодая была, говорю я ей, куда уж теперь денешься? Но про себя, случается, думаю: а может, и вправду жениться? Почему нет? Гмина все молодеет. Куда ни глянешь, везде хихикают, краснеют, а в тебе точно что-то обрывается. Но попробуй женись. Сейчас тебе скажут: ты что, того? На моем месте надо быть как слеза. Придется с Юзькой век коротать. Хотя жаль, брат. Ты, извини, на тот свет собираешься, а седых волос у тебя раз, два и обчелся. А я седой как лунь. Отчего? Оттого, что все думаю и думаю. А тут еще надо правильно думать, как положено, согласно инструкциям, а не как тебе взбрендится. И по-хозяйски. Справедливо. Прогрессивно. Попробуй сочти, сколько выходит этого думанья. Служебного времени уже не хватает, брат. И дома нужно думать. При тебе другая жизнь была. Ты во время работы даже в шинок мог пойти. Или три дня вовсе не являться. А попробуй теперь. Пусть только заметят, что председатель пьет. Хотя, скажу тебе, я б иной раз с удовольствием напился до чертиков. Чтоб хоть ненадолго обо всем этом забыть. На дворе ночь, люди спят, а я ворочаюсь с боку на бок и думаю, к примеру, кому дать цемент, кому не давать. И все больше — кому не давать. Дать-то можно бы всем. Только откуда взять? Люди с этим строительством свихнулись прямо. Юзька моя и то просыпается: хватит тебе ворочаться. Все думает, думает. Так и так ничего не придумаешь. Лучше помолись. А что, я б когда и помолиться не прочь. Но как при такой-то должности? Помолись-ка ты за меня, Юзя, авось и с моей души тяжесть спадет. Видишь, старая жена тоже может пригодиться в трудные времена. А у молодой бы одно только было на уме. Ты не думай, что я тебе подписать боюсь. Столько лет подписываю — и сходит. Пожелал бы ты, скажем, двор зацементировать. Я подписываю — и точка. Или сделать ступеньки к крыльцу. Подписываю, беру на себя. Ноги у тебя ни к черту, а инвалидам мы идем навстречу, вот и объяснение есть. Или хотя бы нужник. Подписываю, на то воля божья. Хозяйственная постройка или не хозяйственная, можно еще поспорить. Но склеп — это склеп. Смерть, загробная жизнь — вроде к богу имеют отношение. Ну не для всех, конечно. Для некоторых был ты и нет тебя. Хотя бы я тут никому верить не стал. Человек, худого не говоря, штука сложная, хитрая. Никогда не знаешь, куда повернет. А тут все на жизнь нацелено. Только и слышишь: по радио говорят, по телевизору показывают, в газетах пишут, на собраниях обсуждают. Неподходящее время ты выбрал, брат. Нам положено жизнь улучшать. И правильно. Люди заслужили лучшую жизнь. Чересчур долго мы на тот свет уповали, там, думали, будет лучше. Там справедливей. Там ангельские хоры. Здесь должно лучше быть. И будет! Вон на последнем собрании мы постановили дорогу до Зажечья построить, автобусы будут ходить. А раз дорогу, значит, и мост. Не станут больше телеги тонуть. Молодежь о стадионе мечтает, построим стадион, уж лучше пусть мяч гоняют, чем пьют. Дом культуры тоже б не помешал. Будет и Дом культуры, не сразу, но будет. А если хочешь знать, мы и о водопроводе подумываем. Хватит, находились с коромыслами к роднику. Открутишь кран, вода бежит. А хорошо пойдут дела, и речку нашу когда-нибудь запрудим, будет озеро. Домиков понастроим, приедут дачники. Жизнь настанет, эх! Может, и рыбка будет. Еще мы с тобой как-нибудь выберемся на рыбалку. И фазанов в полях завести мы планируем. Привезем и выпустим. Ты себе косишь, а на твоем поле фазан. Сразу работа веселей пойдет. К тому же они колорадского жука истребляют. А шинок отдадим под книжный магазин и

взамен построим предприятие общественного питания. Пока была старая дорога, и шинка хватало. А теперь приезжих больше, чем местных, надо и о них подумать. Мажец пообещал деревянную соху. Повесили б ее над дверью и название дали «Под сохой». А еще думаем хор организовать. Сколько можно каждому у себя в халупе петь! Да и старики умирают, а с ними песни. А как-нибудь весной посадим вдоль новой дороги деревья. У нас даже лозунг есть: посадишь дерево — получишь тень. Назначим по два дерева с гектара. Вязы, липы, акации. Увидишь, как станет зелено. А ты ко мне со своим склепом. Я тебе уже сказал: склеп — это загробная жизнь. Кого туда тянет, тот, получается, здесь не желает жить. Да это еще хуже, чем не платить налогов. Налог в крайнем случае можно списать или в рассрочку взимать. А кому жить не хочется, тот, значит, назад глядит, сознательность у него, значит, не на высоте. Ой, Шимек, Шимек, и когда ты, брат, наконец холопскую душу в себе изживешь? Барщина сто лет как отменена. Санацию [1] уже мало кто помнит. Да и оккупацию позабудут вот-вот. И самое время. Сколько можно старое ворошить. Запутаешься, где право, где лево. О будущем помыслить пора. А ты склепом от будущего отгородиться хочешь, да? Тебе на все плевать, потому что сам помрешь? А как мне, в случае чего, объяснять, зачем на тот свет раздаю цемент? Выходит, я верю, что есть загробная жизнь, раз поощряю строительство склепов. А ты лучше других знаешь, что я всегда неверующий был. Ни елки, ни вертепа никогда б у меня не увидал. И колядников я гнал, как собак. И всегда верил только в лучшую жизнь. Лучшая жизнь была моей Вифлеемской звездой.

Он вспотел, запыхался, в уголках рта комочками засохла слюна. Но видно было, собой доволен. И словно не знал, рассмеяться ему или развести руками: мол, разговор окончен. А может быть, он ждал, чтобы теперь я что-нибудь сказал. Ой, Леон, Леон, не голова у тебя, а ума палата. Недаром столько лет в председателях. Времена меняются, люди умирают, а ты как дуб. И еще восемь центнеров цемента спас, не то б в землю ушли.

Но я ничего не сказал. Только взялся за палки, собираясь встать. Тогда он вскочил, толкнул дверь в канцелярию и закричал:

— Панна Ганя! Две рюмки и две чашки кофе! И я сегодня больше не принимаю! — А мне: — Погоди, куда заторопился? Выпьем. Сто лет не виделись.— Точно жаль ему вдруг стало расставаться не столько со мной, сколько с удовольствием от самого себя. Даже руки потер, и на столе чего-то переставил, и меня хлопнул по спине.— Хорошо, что ты пришел. Ага.— Затрусил к шкафу и вытащил какую-то пузатую бутылку.— Я не пью. Редко когда, если подвернется случай. И не какой-нибудь там.— Сунул мне под нос бутылку, покрутил в руках.

— Что ж это за водка? — спросил я.

— Это не водка. Коньяк. Пил когда-нибудь?

— Не помню. Разное доводилось пить, может и пил.

— Его понемножечку пьют. Не так, как сивуху.

— Значит, не пил.

Панна Ганя принесла на подносе рюмки и кофе. Пропорхнула близехонько, окатив меня теплой волной. Запахло духами, молодостью. Да, подумал я, это тебе не та гмина, в которой ты служил. Мы с газетки ели, а тут на подносах подают. Руки у панны Гани были длинные, кожа прямо просвечивала, и ногти накрашены красным. Словно никогда в земле не копалась, а с малых лет в гмине.

— Вам немножко послабее, пан председатель,— сказала умильно, кладя махонькие ложечки на блюдца рядом с чашками.

— Послабее, послабее.— И хлопнул ее по заду, точно свою Юзь-

[1] Обиходное название реакционного режима, установленного Ю. Пилсудским в 1926 году под лозунгом «моральной санации».

ку. Она вроде бы засмущалась, но, верно, лишь потому, что при мне, и, как косуля, выскочила из комнаты.— Хе-хе-хе! — засмеялся Маслянка.— Ничего девка, а?

— Ты каждую так?

— Ты бы на моем месте то же самое делал. На то она и власть. Одну хлопнешь, другую нет, и знаешь все, что в гмине. Да им это нравится. Обойдешь которую-нибудь, она потом ходит надутая. А видел бы ты эту нагишом. Эх, хоть сызнова начинай жить. В меру раскормлена, и все на месте. Не то что в наши молодые годы. Помнишь, сколько было девок с кривыми ногами? С лица матерь божья, а ноги колесом. Теперь витамины. Ну и хлеб, хлеб, брат, у всех его вдоволь, вот и цветут девки, только пользуйся. Да что проку, когда ты на Юзьку обречен? И все из-за санации, можно сказать. Иногда, конечно, кой-чего себе позволишь, только с оглядкой. Кто другой сделает ей ребеночка, а скажет, председатель. И пусть неправда будет, а выгонят взашей. Ну, выпьем.

Он стукнул своей рюмкой об мою. Отпил немножко, и я столько же, потому что следил, сколько он отопьет, чтоб не попасть впросак, раз уж это такая чудная водка, что ее помалу надо пить. Мерзость оказалась — то ли разбавленная чаем сивуха, то ли мыльная вода. Еще прихлебывай ее, как птичка. Не сравнить с чистой, та бежит по горлу, как бурный ручей. И встряхнет тебя, и лицо тебе искривит, и аж боднет куда-то, от макушки до пят почувствуешь, что ты это ты. И никто другой тобою не имеет права быть. Не то что эта моча.

— Ну как? — Посмотрел на меня свысока.

— Ничего,— сказал я.

— Видишь. Надо разбираться, что хорошо. И для сердца полезно. Ты с сахаром? Я нет. Научился несладкий пить.— Он пододвинул мне сахарницу.

— У вас теперь и сахарница есть,— сказал я.

— А как же. Если подумать, не такая она и плохая, жизнь. А будет еще лучше. И цементу будет больше, и вообще всего. И никакие наряды не понадобятся, сопроводиловки, подписи. Помнишь, с ведрами когда-то было худо. Захочешь купить ведро — покупай в придачу книжку. А сегодня ведер завались. Цинковые, обливные, пластмассовые, желтые, красные, голубые. И гмине будет все равно, кто для чего стройматериал покупает, на силосную башню или на склеп. Только нужно, так сказать, стоять на правильной позиции. Лишнего не требовать. Посетовать, конечно, можно, но чтоб никому не во вред. А главное, смело глядеть в будущее. Не вспять. Производительность, планы, разведение скота, капиталовложения, показатели, вот какие нынче мерки. А не кровь и раны. На будущем еще никто ничего не потерял, а прошлое не одного на бобах оставило. Заруби это у себя на носу, не прогадаешь. Не подумай только, что я тебя в сельхозартель заманиваю. Даже если б хотел, не тот нынче этап. Сейчас все добровольно. Ясное дело, надо помочь, когда люди хотят сообща хозяйство вести,— от того освободить, это в первую очередь выделить. Но единоличника у нас тоже уважают. Пусть богатеет. Мы не запрещаем. Возьми Сеняка: каменный дом, машина, у бабы шуба, у самого шуба, у дочки шуба, и на книжке два миллиона. А с чего? Со льна. И мы не против. Государству выгодно, пусть и он свою выгоду имеет. Кулак, середняк, бедняк — это дело прошлое. Тогда, брат, диалектика так наказывала. Надо было тряхнуть мужика, чтобы революции не проспал. Ну и чтоб меньше господу богу верил, а больше нам. К тому же требовалось показать, кто теперь власть. Но что было, то быльем поросло. Теперь рассчитывать не на что. Душу, брат, надо сменить, душу. Сегодня с холопской душой не проживешь. А дальше будет еще труднее. С классовыми разногласиями давно покончено. Снова мы все от одной матери. Нет сирот, и пасынков нет, и ни про кого не скажешь, что он ничей. Враг, понятное дело,

есть. И всегда врагом будет. Такая уж его, вражья, натура. Но не тот теперь враг, что стога поджигал или Рожека убил. С тем врагом можно было худо-бедно жить. Сейчас человек сам себе враг. А это враг наизлейший, потому как в твоих мыслях скрыт, в том, что ты чувствуешь, к чему привязан, как цепной пес. Раньше легко было узнать, в ком черт сидит. А нынче как узнаешь, когда нету чертей? Да кабы я хотел со своей прежней душою жить, меня б давным-давно здесь не было. Не такие вылетали. А я, брат, издалека все чую, когда еще и не пахнет ничем. Мне не нужны жаворонки, чтоб распознать весну. Верить только надо, и не по большим праздникам, а каждый день, каждый час. А уж в служебное время вдвойне верить изволь. Пусть даже веры меняются, а ты верь. Потому как хуже всего, если в тебе что-то надломится, тогда каюк. Раз, два — и нету тебя. Вроде бы ты есть, а нету. Юзька моя мне говорит: ты, Леось, словно вдругорядь на свет родился. Все знаешь наперед, обо всем имеешь понятье. А я молюсь-молюсь и ничего не пойму, только вечно мне чего-то жаль. Видал? А казалось бы, глупая баба. Ну что, еще по одной? Хорошо, что ты пришел. С самого утра тянуло с кем-нибудь выпить. Хоть и нельзя мне. Сердце. Оглянуться не успеешь, как отстанешь. И потом уже не догонишь, не догонишь, брат. Холопья душа, она, как встарь, пешочком плетется или на лошаденке, не спеша, чтобы, упаси бог, ненароком не перегнать дня. Для нее всякая дорога к смерти ведет, всякая жизнь — крест. А тут тебе на реактивных самолетах летают, и века проходят, не то что дни. Ты летал хоть раз? Я летал, во Францию. Юзьке сумочку привез, себе трубку. Может, начну курить. Трубки теперь в моде. Деревья, поля, реки, дома — все под тобой. Махонькие, так и хочется зажать целую деревню в кулаке да поглядеть у себя на ладони, как людишки живут. И кажется, ты ангел или даже сам господь бог. Еще тебе есть-пить подают. Эх, с такой бы высоты управлять. Только указывай пальцем. Ты то сделай, ты это. А щелкнул бы кого-нибудь по башке — тот бы подумал: гром грянул с ясного неба. Или посмей кто тявкнуть, я б храбреца этого к ногтю, чтоб знал. Или, скажем, субботник, побарабанил по деревне пальцами — земля трясется, все как один бегут. Не надо уговаривать, убеждать, просить. Хвать за космы: бери лопату, бери заступ, ну. Ведь сколько со всякой такой ерундой намытаришься. Говорю тебе: придешь в хату, так сразу бы завалился спать. Хорошо, телевизор есть, поговорит вместо тебя с бабой, с детьми, за тебя их повеселит, за тебя взгрустнет. Лучше, чем ты сам. Нажми только кнопку — и можешь ложиться спать. Верил кто когда в такие чудеса? В радио не верили, в телефон не верили. А тут тебе картинки по хате летают, ровно сны. Твои, чужие. А ты знай смотришь. Может, скоро людям совсем перестанут сниться сны? Да и зачем они, честно говоря, нужны? Мучиться, потеть, рваться куда-то, убегать, от страха дрожать, и еще неизвестно, чего этот сон сулит. В твое время на чем в гмине считали? На счетах. Одни счеты на всю гмину и были. У Рожека на столе лежали, чтобы всякий знал, что войт. А нынче, видал, на каждом столе машинка. И сама считает. Сотни, тысячи, миллионы в один миг, только стрекочет. А холопья твоя душа — байка это, турусы на колесах, можно сказать. Придумали ее паны супротив мужиков, чтобы не бунтовались. Но панов давно уже нет. Усадеб нет. Реформа была? Была. Два гектара получил? Получил. Значит, голод свой утолил. А не утолил, мы тебе еще прирежем. Вон, Валихов залежь стоит, они ее государству за пенсию отдали. Хочешь, бери, пожалуйста. Только знай, с холопскою-то душой, пусть у тебя хоть сотня гектаров, все равно жур с картошкою будешь есть и на рядне спать. Потому как всего тебе будет жаль. Всего, кроме самого себя. Земля тебе уродит, соберешь урожай. Не уродит, не соберешь. И слова худого ей не скажешь, чтоб она тебя на следующий год хуже не наказала. Самое большее — обедню за

нее закажешь или распятие ей поставишь: святой этой земле, чтоб не оставила меня своею милостью, Петрушка Шимон. Только земля нынче тоже неверующая. Ей суперфосфат, цианамид, селитра, известь нужны, а не суеверья. Правду сказать, она и к людям меньше привязана, чем в былые времена. Плохой хозяин, так она его бросит и к другому, к третьему пойдет, кто лучше умеет считать. А холопья душа считать не любит, ей только бы пострадать. А зачем страдать, когда со счетом лучше выходит. Но холопья душа привыкла, что ей страдать предназначено. И земля для нее тоже только страданье. А землю-то жаль. Земля должна родить, брат. Мир все больше жратвы требует. Целые горы жратвы. Высоченные. Одна выше другой. И земля должна это все давать. Должна! Хоть выпусти из нее кишки. Обязана. А крестьянская душа пускай отдохнет в музее за все прежние времена. Ей причитается. Пусть подтверждает людям, что были когда-то крестьяне. Молодежь придет посмотреть, или туристы приедут. Туризм, брат, мировая проблема. Все больше людей ездит туда-сюда. А вскоре, может, все до единого ездить начнут. Даже старые старики не захотят оставаться дома. Постучишься в одну хату, в другую, а нигде никого. Будто люди открыли, что земля вертится, и сами пошли вертеться волчком. Мало кто усидит на месте. Раньше, брат, если кто отправлялся в мир, то либо его нужда гнала, либо в армию шел служить. А нынче всякий туристом норовит заделаться, будто никем другим уже быть не может. Это ж сколько на всех надобно поездов, кораблей, самолетов, дорог, ночлегов, постоев, ну и, ясное дело, памятников старины. Есть памятники, нету — должны быть. Мы уж подумываем, не приспособить ли нам Бонкову хату под курную избу. Без подвалин, под соломенной стрехой, оконца как дупла, подойдет. Бонкова могла бы курной хозяйкой быть, Бонк — курным хозяином. Сшили бы им сермяги, насобирали ложек, квашней, пенсию положили. Понавешали б на столбы таблички: курная изба, пятьсот метров. Но Бонки не соглашаются, требуют, чтобы им за это поставили каменный дом. А туда б они ходили как на работу. Чего еще в деревне покажешь туристам? Рожь, пшеницу не покажешь, что, мол, растет. Растет, ну и пускай растет. Или коров, что молоко дают. Или что телята каждый день прибавляют от восьмисот до тысячи граммов. Ведь они тебе на это скажут: а почему у телят такие грустные глаза? А какие ж еще должны быть?! Жрут сколько влезет, вот им и плевать на все, ничего вокруг себя не видят. И человек, как нажрется, тоже мало чего замечает, даже может с виду показаться несчастным. А загляни к нему в желудок: счастье-то его, вон оно где. Так и у телят, не в глазах счастье. Может, они увидели тех, кто их сожрать должен, потому и опечалились. Но туристам разве такое в голову придет — глаза, говорят, грустные, черт их дери. Философы. А попробуй не дай такому мяса, посмотрим, спросит ли он тогда про глаза. Вот крестьянская душа, это бы им подошло, печалься над нею вволю. И памятник как-никак классовый. Безвредный, можно сказать. Самобытный. Бремя столетий. Эх, брат, брат, ведь ты милиционером был, а несознательный. И не такой уж и старый. Старше тебя сызнова начинают. Боленя взять, семьдесят лет, а строит ферму, Мартыка лен сеет, Янишевский на цветную капусту перешел. Успеешь ты со своим склепом! Не убежит. Да и, может, недолго еще будут хоронить в могилах. Сжигать станут. Всех. Вот и не израсходуешься. Земли-то не больше становится, а меньше. Еще когда она под заводы идет, не так жаль. Но под кладбища? А людей прибывает и прибывает. И все должны когда-нибудь помереть. Посчитай, сколько понадобится земли, чтобы всех в могилах похоронить. Да еще в каменных. Эдак вскоре покойники всю землю займут. А нам куда, на луну? Да и смерть, скажу я тебе, уже не та, что была. Теперь как: был человек и нету. А на его место уже сотня других прет. Даже память по нему затопчут. А раньше,

брат, помрешь, в деревне брешь остается, точно выбоина на дороге. Раньше смерть, можно сказать, при людях состояла. Все в одном месте жили целую жизнь, вот смерть одного и была вроде бы общей смертью. А сейчас все бегом, и смерть бегом. Точно на фронте. Слева, справа падают, а ты вперед и вперед. Люди помирают невесть от чего, невесть когда, не знаешь, можно ли еще это смертью назвать. Даже хворать не обязательно, без причины мрут. Эвон, притомился человек — и конец. А в былые-то времена притомится, сядет на межу, отдохнет и дальше живет. Мы, брат, так умираем, что на нас смерть знака не оставляет. Иной раз не отличишь, помер кто или еще живой. И ничегошеньки тебе не прибудет, коли помрешь. Только от жизни еще перепадет кой-чего. Вот и живи, пока живется. Долго? Годков пять, не больше, а там, глядишь, и могила не потребуется. Р-раз в печь — и горстка пепла. Ни гроша тебе не будет стоить. Все за счет гмины сделаем. Ты тут несколько лет проработал, тебе положено. И в глиняной урне поместишься целиком. Неужто лучше, чтоб тебя черви сожрали? Это же мерзость, брат. Муха на руку сядет, и то ее сгонишь. А там целые полчища. Ты пашешь, тебе лучше знать, сколько всякой пакости в земле. Будут в тебе копошиться, как, с позволенья сказать, в говне, а ты даже не почешешься. Откуда ты знаешь, что ничего не будешь чувствовать? Может, смерть, она долгая, а не одна минута? Может, нет ей конца? А после огня что останется? Огонь вдобавок чистехонький. Чище воздуха, чище воды. И даже совести чище. А был бы ты первый в деревне. Первый в гмине. Хотя зачем я тебе это говорю? Не согласишься, знаю, холопья твоя душа, что в тебе скулит, не позволит. Ладно, пока спешить некуда. Хотя в будущее уже сейчас заглядывать надо. Не то заплутаешь. Либо откатишься назад. И что тогда? Снова в путь? Ну нет, брат. Я жизнь знаю. В конце концов, столько лет при одном деле. И на разных участках. Здесь, там. И, можно сказать, всегда, как солдат, на передовой. А насчет жизни прямо тебе скажу: тут я спец. Не одного повыше себя скручу в бараний рог. Отчего в гмине сижу? А чем мне здесь плохо? Слечу, так по крайней мере падать невысоко. Ну и мои три гектара при мне. Картошка своя, помидоры, огурцы, лук, морковь. Я, брат, жизнь знаю, как мало кто. И не потому, что ученый. Такая жизнь, про которую в школах учат, не одному уже шиш показала. Перемолола, как мясорубка. Даже позабыла о нем. А я, видишь, вот он. В школах, конечно, таблицу умножения можно выучить, тоже, говорят, полезно, но жизни там не научишься. Можно много чего вколотить в башку и почти все уметь, а жить не уметь. Потому как жизнь, скажу я тебе,— это не только жизнь. Вроде бы ты есть, а она сама собою бежит. Хуже, лучше, под горку, в горку, а бежит. Ты родился, помрешь, и вроде это и есть жизнь. Захочет — повалит нас, захочет — поднимет, возвысит, в яму спихнет. А нам все равно, пусть по ее будет, живем, и слава богу. Куда ветер подует, туда и летим. Ну нет, брат. Ни хрена не смыслит тот, кто так думает. Жизнь — такое же ремесло, как любое другое. И может, изо всех самое трудное. Сколько, например, должен учиться врач или инженер? Или даже профессор? Пять, десять, да хоть бы и двадцать лет. Получит диплом, значит, выучился. А жизни сколько годков нужно учиться? Не сочтешь. И диплома не жди. Да будь ты хоть семи пядей во лбу, а можешь ничего не уметь. Все от человека зависит, есть у него дар или нету. Иные, пусть бы и две жизни прожили, ничему не научатся. А некоторым и вечности б не хватило. Уж кто олух, тот олух. Хотя я, понятное дело, ни в какую вечность не верю. Говорится так только, вроде это мера такая. Но и солнце всходит, говорится, а дитя малое знает — не всходит оно, земля вертится. Это все по привычке. Кабы не привычки, шаг наш длиннее был бы, поверь. И не пришлось бы на ощупь брести. Не слепые мы ведь, а иногда как слепцы. Точно по Млечному Пути идем, а идти-то, брат,

надобно по земле. И притом знать как. Ну и, ясное дело, что-то должно светить. Потому как ни в ком свечки нет. А у жизни свои извилины, колдобины, овраги, пропасти, омуты, ненастья, черт-те чего. Еще говорится, жизнь течет. Только некоторые думают, она от начала в одном направленье течет. Вроде бы реки так текут. Время так течет. И вообще все, что течет, только так. Ерунда это на постном масле, брат. Жизнь сегодня в одну сторону повернет, завтра в другую или еще куда, и даже себе навстречу течет, и поперек, и как хочет. Не то омут, не то туман, не то небесный простор. Нет своего пути. Не умеешь жить, шагнешь — и утоп. А я могу хоть с закрытыми глазами шагать. Грамотей я небольшой, есть и ученей меня, да мне это особо и ни к чему. Зато в жизни такие не смыслят ни хрена. С жизнью, когда осторожно нужно, тогда осторожно, а если дорога свободна, вали вперед. И прежде чем услышать, хорошенько прислушайся. Увидел — не спеши, погоди, пока увидишь ясней. Но не думай, что так всегда. Это тебе не покер и не очко, когда известно, с чего ходить. Иной раз еще никто ничего не сказал, а ты уже должен услышать. Ничего не видно, а ты увидь. Замешкаешься — другие опередят. И еще надо знать, что у тебя может заболеть и когда. А когда ты должен быть здоров как бык, пусть бы и болело. Хотя крепкому здоровью радоваться не след. Известно, кто вечно на ходу, тот не может быть совсем уж здоров. У меня вот сердце. Не знаю, здоровое, больное. Но мне служит. Нужно, болит, не нужно, не болит. Сто докторов будут его слушать, и каждый другое скажет. Понятное дело, сердце. Да еще у председателя? Гмина вроде большая. А сердце, можно сказать, ноготок жизни при этаком гминном теле. И уж одно я тебе точно скажу: помирать тоже надо с умом. Нехорошее ты для себя выбрал время, брат. В оккупацию, к примеру, время было подходящее. Историческое, можно сказать. Умирали за что-то, даже если тебя просто-напросто придавило бревном. Или сразу после войны — тоже неплохо было помереть. На той стороне, на какой надо, конечно. Но сейчас — ты хорошенько подумал, брат? Сиди себе на печи и не торопись. Тебе ж даже хозяйство оставить некому. Государству придется забирать, а это значит — гмине. А я с теми, кто землю за пенсию отдает, уже не знаю, что делать. И похороны тоже бы за счет гмины устраивать пришлось. Вроде у тебя братья есть, но братья в городе, то ли приедут, то ли не приедут. Ну и ты в гмине работал, заслужил. Хотя бы венок. А откуда на все это средства взять? Вон библиотекарша тут мне: люди меньше стали читать, книжки только старые, а у нас молодежь растет. А у меня и на книжки-то денег нет. На бензин приходится из культуры брать. Думаешь, у меня, часом, кошки на душе не скребут? Еще как скребут. Выйдешь иной раз в поле, поглядишь на хлеба, в груди делается тепло. Присесть бы где-нибудь на меже, послушать, как жаворонки поют. Но я себе говорю: эх ты, председатель, а где же твоя сознательность? Ты должен новую жизнь строить, а сам старую в себе не истребил. Присядь, присядь, незачем уже будет вставать. Помнишь, при Рожеке висела в гмине картина? Мужик на волах пахал. Пришлось заменить — кто только ни приезжал, на нее глаза пялил. Ну и намалевал мне тут один, десять тысяч содрал. Гляди, теперь трактор пашет. Только между нами, брат, я до сих пор не могу привыкнуть. Все хвалят, а я как ни посмотрю, сердце болит за землю. Словно кто-то над ней насильничает. Иногда даже слышу, как она стонет, кряхтит, спасибо, трактор громче ревет, прибавит газу и заглушит. Но посиди столько лет под такой картиной.— Он вдруг схватил бутылку, налил себе, мне, стукнул об мою рюмкой своей и выпил до дна, словно забыл, что пить надо помалу.— Ну, поговорили.— Посмотрел на часы: — Хорошо иногда так поговорить.— Вытащил листок из кучки и начал что-то писать.— Хватит тебе восемь центнеров? Выпишу на всякий случай девять. Держи.— Протянул мне листок: — Только

скажи Бореку, чтобы выдал из того, который на молочную ферму. Мол, председатель велел. И не помирай пока. Хе-хе-хе! — засмеялся, встал. Я тоже поднялся. Хотя со стула не так-то легко перекинуть кости на палки. Но он не выходил из-за стола, пока я не встал. Потом проводил меня до дверей, хлопнул по плечу.— Ага,— словно только что припомнил.— Жаль, я тогда тебя выгнал. Может, поменьше бы пил.

Я ничего не сказал — какой толк говорить спустя столько лет. Я-то знал, за что он меня выгнал. Да оно и кстати получилось, все равно надо было уходить, до каких пор это могло тянуться? И опять же, ничего такого меня с гминой не связывало. Малгожата давно уехала в город, работала в повете. Говорили, вышла замуж, но, может, так, болтали? Примерно за год до смерти матери она нас навестила.

Вошла в горницу шикарная дама, в костюме, в шляпе, с сумочкой, красивая, невеселая только. И это была она. А я в другой комнате пьяный лежал. Мать велела ей сесть, когда услышала, что она про меня спрашивает. Ну и как всякая мать:

— Ох, и есть он, и нету его. Лежит за стенкою пьяный. Разбудить бы, да все одно не поговорите вы с ним. Только-только приволокся. Дня без этого не обходится. Я уж и бога прошу.— Матушка залилась слезами.— А вы кто будете?

— Знакомая. В гмине когда-то вместе работали.— И тоже на глаза у ней навернулись слезы. Вынула из сумки платочек и вроде бы нос начала вытирать.— Теперь работаю в городе.

— Что-то он нам никогда про вас ничего не говорил. Но я ему скажу, как проспится, что вы заходили. А как вас звать?

— Малгожата. Он поймет.

— Красивая вы и, видать, человек хороший. Приезжайте еще, может не будет пьяный. Не всегда он так пьет.

Я как будто даже слышал за дверью ее голос и голос матери, когда они разговаривали. Но был уверен, что это сон. Не вставать же к сонным морокам. А больше она не приехала. И может, только это и был настоящий конец.

Хотя тогда уже, после гулянки, когда я ее провожал и хотел поцеловать, а она от меня вырвалась, я думал, это конец. На что мне такая, которая на гулянку пошла, но даже поцеловать себя не позволила. И на следующую гулянку я пригласил Ирку Зенткувну из канцелярии. Эта не убегала. И выпить выпила. И бутербродов съела целую тарелку. И без конца вздыхала, до чего ж ей от этой водочки хорошо, до чего хорошо. И когда танцевали, липла как репей. А едва начало смеркаться, пошли мы пройтись. Она сама меня потащила, идем, прогуляемся, неохота больше плясать. Меня на другое тянет. Хи-хи-хи!

А потом была гулянка в Бартошицах, так я сразу с двумя пошел, обе были из дорожного. А о ней и думать забыл. Проходили друг мимо дружки, точно едва знакомые. Здрасьте. Здрасьте. Как раньше. И, честно говоря, жаль, что так не осталось.

Но однажды, перед концом работы, за стеной уже слышалось до свидания, до свидания, вдруг кто-то постучался ко мне в комнату, я: войдите, а это она. Вошла, вроде бы робея. Не помешала? Да что вы! И просит меня, не могу ли я немножко задержаться и ей помочь: у нее срочная работа, завтра сдавать, а самой не управиться. Просила сотрудниц, но ни одна не может. Я сразу смекнул, что не помощь ей нужна, а ту историю хочет загладить. И зачем, глупая, ерепенилась тогда на гулянке? Конечно, задержусь. Почему б не задержаться? Не раз задерживался, когда надо было кому-нибудь помочь.

Мы разбирали квитанции об уплате налогов, я — по одну сторону письменного стола, она — по другую. Я эти квитанции складывал по алфавиту, каждую букву в отдельную кучку. Она каждую кви-

танцию сверяла со списком, так ли там, как положено. Из гмины все уже ушли. Стало смеркаться. Дело было в конце сентября. Она зажгла лампу. Потом надо было цифры с этих квитанций перенести в ведомость, в специальные графы. Порядковый номер, фамилия, имя, деревня, количество гектаров, класс почвы, сколько надо уплатить, сколько уплачено, срок уплаты, остаток. Коптёва, уборщица, наскоро смахнула пыль, выбросила окурки из пепельниц, подмела, попрощалась и тоже ушла. Нам еще оставалось подсчитать суммы в ведомостях, проверить, сходится ли с квитанциями. И так наступил вечер. Темно вокруг нас сделалось. Посмотришь в глубь комнаты — все как подменили. Письменные столы, которые днем чуть не налезали друг на дружку, едва между ними можно было протиснуться, теперь стояли тихонечко, точно гробы покойных служащих. Шкафы, недавно еще, под конец дня, просто шкафы, выглядели как старые ивы, у которых кто-то посрубал верхушки. Только мы в свете стоящей на столе лампы были будто внутри светящегося шара. Хотя как обыкновенные сослуживцы, занятые этими квитанциями. Не больше. Но если б кто-нибудь увидел нас через окно, мог бы раззвонить, что мы обнимались — очень уж близко сидели и одни во всей гмине. Иногда, конечно, или я, или она чего-нибудь скажем, но только если квитанции этого требовали.

— Подколите ту квитанцию или эту.

— Войцех Ягла или Ягло?

— Пять гектаров, второй класс, так?

— Сколько у вас вышло? У меня столько.

— Что-то здесь не сходится. Проверим еще раз.

Иногда на ее лицо набегала грусть, но это была грусть от квитанций. А от такой грусти нет ничего лучше, чем счеты. И она сразу начинала трещать как пулемет.

Было восемь часов, может даже побольше. А мы все с этими квитанциями. Ну что б она хоть разок на меня теплей посмотрела или глаза у ней всполошились, когда я на нее поглядывал. Ничего. И даже будто наказывала меня за эти взгляды, заставляя то одно, то другое проверить, что-то вписать, пересчитать заново. В конце концов я подумал: а не вытащить ли часы, посмотреть и сказать, ого, уже восемь, девятый, чтоб она наконец оторвала глаза от квитанций. Я бы тогда сказал: передохнем немножко.

А она бы могла сказать: давайте я чай заварю. Выпьете чая?

Я бы с удовольствием выпил. Стал украдкой нашаривать маленький кармашек в брюках, где у меня были часы. Те самые, которые я потом продал на склеп. Серебряные, на цепочке. В бою с немцами добыл. Хотя, по правде сказать, ребята нашли их у убитого офицера. Они высунулись из кармашка, словно хотели удрать от покойника, да удержала цепочка. Бой был короткий. С полчаса продолжался, будто только ради этих часов. Из наших ранило Гураля, а немцев мы всех положили. В общем-то особо не из-за чего было схватываться. Нам сообщили, что по дороге едет мотоцикл и машины с немцами. Мы даже не знали, куда они едут и зачем. Хотя уж, наверное, не просто так ехали. Мы устроили засаду в овраге, поросшем по обоим склонам лещиной, боярышником, можжевельником. Заперли их сзади, заперли спереди, подождали, пока подъедут, и ну поливать со всех сторон. Несколько трупов, несколько автоматов, часы эти, и кончен бой. Сейчас часы не диковина, каждый второй на руке носит, но тогда редко у кого были, к тому же серебряные. И ходить ходили точно до последнего дня. Я их ни разу в починку не отдавал. И даже когда проверял по солнышку, всегда они правильное время показывали. Солнце у нас ровно в двенадцать вылазило из-за Мартыкиной трубы, ну и на часах в это время было двенадцать. А больше всего они мне пригодились в гмине. Будто тот офицер, который тогда попался в ловушку, знал, что мне доведется в конторе служить.

Только как-то глупо было ни с того ни с сего вытащить часы и сказать: ого, восемь, девятый. Может, она бы засмущалась и начала передо мной извиняться: ой, простите, что я вас так задержала. Но вы мне очень помогли. Спасибо. Идите, если торопитесь, а я еще посижу. Обязательно сегодня надо закончить.

Между нами еще лежала куча неразобранных квитанций. Изредка только, когда она пониже наклоняла голову, я, делая вид, будто над чем-то раздумываю, исподтишка поглядывал на светлую копну ее волос, при лампе казавшуюся намного светлее, чем днем, словно это была пшеничная нива, на краю которой я стоял. Она, видно, уже устала. Несколько раз спрашивала, сколько будет столько-то по стольку-то. Или вдруг начинала злиться на эти квитанции, что так неразборчиво написаны. А то лампу передвинет — вроде света ей мало.

Я списывал с квитанции на фамилию Беляк Ян, деревня Зажечье, три тысячи пятьсот восемьдесят два злотых. Вторая выплата. Она сказала тихо, опустив над столом голову:

— Поцелуйте меня.

Я отложил ручку. Подумал, она надо мной смеется. И на всякий случай тоже как бы в шутку сказал:

— Может, я недостоин вас поцеловать, панна Малгося?

— Пожалуйста,— сказала она еще тише.

Ну, я встал, приподнял ее голову над столом и поцеловал, но как сестру. Потому что эта просьба смутила меня куда больше, чем если б я по своей воле или даже насильно Малгожату поцеловал. И никакого удовольствия не почувствовал.

Она, правда, тут же вскочила.

— Поздно уже,— сказала немного деланным голосом, будто хотела показать, что ничего не произошло.— Страшно мы засиделись с этими квитанциями. Я думала, быстрей управимся.

— Я тебя провожу,— сказал я.

— Нет, спасибо, я сама дойду. Ничего со мной не случится. Не раз уже возвращалась в такое время одна. Чего бояться? Возле леса противно, да как-нибудь проскочу. Луна светит. А там сразу и деревня, собаки лают. Нет-нет. В другой раз, если захочешь. А сегодня, прошу тебя, не надо.

Чудачка, подумал я. Велит себя поцеловать, а проводить не позволяет. Попробуй тут чего пойми. Ну и иди! Только какой же кавалер отпускает барышню ночью одну домой? Но ты иди, иди! Напугает что-нибудь в лесу, еще пожалеешь. В лесу могилы с первой войны. Рассказывал же старый Потей, как однажды ночью возвращался этим путем от девушки, глядь, а посреди дороги стоит какой-то солдат с дыркой в голове и говорит:

— Заткни мне эту дыру, вон уже сколько лет, а из нее все кровь хлещет.

И больше Потей к той девушке не ходил. Женился на другой, из нашей же деревни, напротив жила, через дорогу.

Встретил я Малгожату на следующий день в коридоре, она мне навстречу шла. Я улыбнулся, сказал: здравствуй. Она кивнула мне головой и тоже улыбнулась. Но сразу же вошла в ближайшую дверь, а меня точно по роже съездили. Может, ей вчера только из-за этих квитанций такая блажь в голову пришла, подумал я, фамилии, деревни, гектары, сроки выплаты, потому и велела себя поцеловать. А сегодня выспалась и обо всем забыла. Выкинула из головы — и конец.

Прошло несколько дней, вторник, помнится, был, собирался дождь. Выхожу я из гмины, а она перед гминой стоит и вроде на небо смотрит — пойдет дождь или не пойдет. А тучи темные, одна на другую громоздятся, известное дело, осень. Я подошел к ней и тоже стал эти тучи разглядывать. Вдруг где-то там, наверху, поднялся ветер и давай их тормошить, разгонять, целыми кусищами срывать с неба.

— Э, похоже, не будет,— сказал я.

Она на меня посмотрела, сперва словно бы удивившись, что я рядом стою. А потом как-то ласково так улыбнулась.

— Может быть, сегодня меня проводишь? Если охота есть.— И раскрыла зонтик, подняла над нами.— В случае чего нам дождь не страшен.

— Закрой,— сказал я.— Вон уже ветер разогнал тучи.

И хорошо, что не было дождя, где там под таким зонтом двоим укрыться, даже если б прижались друг к дружке, спина все равно бы осталась под дождем. Да и кто бы первый к кому прижался? У меня даже под руку ее взять смелости не хватало, и она, то же самое, желания не выказывала. Вот бы и мокли под дождем, а зонтик между нами шагал.

Всю дорогу мы шли как знакомые, которые случайно повстречались, потому что им оказалось по пути. И говорили все равно что ни о чем, про гмину, про осень, она мне кое-что рассказала про своих школьных подруг, про учителей, а я ей истории из партизанской жизни, конечно те, что повеселей. И так незаметно подошли к ее дому. Мать как раз зажигала лампу, по окошку словно бы болотный огонек запрыгал, а через минуту осветилось и все окно.

Я сказал, что красивый у них дом. На фундаменте, крытый этернитом, с широкими окнами, с крылечком и, верно, недавно построенный. И что я тоже собираюсь строиться, только еще не знаю когда. Сперва надо материал собрать, ну и план кто-то должен начертить, с каменщиками нужно уговориться, а хороших каменщиков теперь нет, разве что где-нибудь в деревнях. А потом вроде разговаривать стало не о чем, и я протянул ей руку:

— Ну, спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— сказала она, но голос у нее слегка задрожал.

Я отошел, может шагов на десять, во всяком случае изгородь кончилась и началось поле, как вдруг услышал у себя за спиной:

— Погоди.— Подбежала ко мне мелкими шажками.— Не хочешь на прощанье меня поцеловать?

Мне захотелось схватить ее и прижать к себе, и к ней крепко прижаться, и, может, чего побольше, и ни на что не глядеть, хотя бы в это поле, рядом, ее затащить, чтоб не на самой дороге, чем она лучше других, такая же, баба как баба, это я дурак. Но будто что-то меня остановило: нет. Нет, Шимек,— вроде бы ее, но не ее, а мой голос. Если б я еще выпивши был, а то нет, трезвехонький. Пожалел даже, что, когда меня Винярский днем звал выпить рюмочку, я не поддался искушению. И поцеловал ее просто так, на прощанье, и сказал еще раз:

— Ну, спокойной ночи.

А через два дня снова ее проводил и потом еще, а там уже каждый день, и так, наверное, недели три. И всякий раз одно и то же:

— Ну, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Иногда она просила ее поцеловать, иногда нет. Словно непролазный лес между нами рос и не позволял друг к другу продраться. Хотя, честно говоря, это у меня одно было на уме. А о чем она думала, только богу известно. Может, о том же, хотя иногда девки сами себя не умеют понять. Эта хорохорится незнамо как, а внутри точно дрожащая крольчиха. Та словно вечно собирается жить, а внутри считает минутки. Тут капля, там море. Тут роза, там кувшин. Так или иначе, другая после стольких-то провожаний давно бы уже была моя. И не один раз. Вдобавок дорога через лес вела, очень даже подходяще, и осень за середину перевалила, с каждым днем все раньше темнело, когда мы из гмины выходили, смеркалось уже. А подходили к ее дому совсем в потемках. Во всех хатах светились окна. И редко где слышался человеческий голос. Иногда только кто-нибудь проедет на за-

поздалой подводе. И собаки по-ночному начинали лаять, протяжно, с подвыванием.

Я сам себе удивлялся, что у меня еще не пропала охота ее провожать. Как-никак четыре километра. Это четыре в одну сторону, а еще четыре в другую, всего восемь. И хоть бы было ради чего. Нет, только чтобы сказать друг дружке «спокойной ночи». «Спокойной ночи». И поцеловаться иногда на прощанье. Целоваться — это для начала хорошо. Или жениху с невестой, когда известно, что все равно дальше по одной, общей, дороге идти. А у нас общая дорога только и была от гмины до ее дома, да от гмины до ее дома, могла и наскучить. Я даже под руку ее ни разу не взял: мне казалось, что она отведет мою руку и скажет: нет, Шимек, нет. Но однажды она сама сказала:

— Может, возьмешь меня под руку? — Но сразу же добавила: — У меня туфли новые, не очень удобно идти.

Вот и думай, как тут быть. Я решил: провожу еще пару раз — и хватит. Одна она, что ли, на свете? Только в гмине полно таких, что достаточно разок, самое большее два, проводить, а сколько в деревне, в других деревнях, а без провожанья?

Но почему-то не было этим провожаньям конца, и никак я не мог себе назначить, когда же будет самый последний раз. И даже если мы заранее не уговаривались, я без пяти четыре выглядывал в окно, чтоб ее не пропустить, или выходил раньше и ждал на дороге, возле мостика перед костелом. И снова отшагивали мы с ней, не спеша, эти четыре километра от гмины до ее дома.

Я рассчитывал: может, весной будет легче положить этому конец. Весной надо пахать, сеять, не останется времени для провожаний. Раз-другой не провожу,— мол, в поле ехать нужно,— авось, само собой и окончится. Отец уже поговаривал, что жаворонки прилетели, ласточки прилетели, еще кто-то там прилетел. Начал лемех осматривать — не надо ли его подклепать. А то принес как-то зерно в решете и стал ворошить под лампой, угадывая, которые зернышки живые, которые мертвые, которые взойдут, а которые не взойдут.

— Может, зайдешь к нам? — пригласила она меня однажды, когда мы остановились перед ее домом. Удивился я, конечно, но согласился. Отчего б не зайти?

Отец с матерью были дома. Встретили меня приветливо, как старого знакомого. Отец даже напустился на Малгоську, что не гостеприимная она, словно б и не ихняя дочь, давно должна была меня пригласить, ходим и ходим, они же видят в окно. Вдобавок он знал, что это я — Орел. Вытащил пол-литра, велел матери нарезать хлеба, колбасы. А когда мы уже сидели за бутылкой, закусывая хлебом и колбасой, сказал Малгоське:

— Ты знаешь, дочка, кто такой был Орел? Ни один при немцах так не гремел. Хотя были и Татарин, и Колесник. Тоже партизаны. Но Орлу в подметки не годились. Обокрал кто-то ночью Соколовского, мельника, так потом в костеле узнали его дочки шубу на жене Гайовчика с хутора. А Гайовчик из отряда Колесника. И кто? Соседи А Орел был бич божий. Правду я говорю, скажите?

— Вроде правду.

— Ну, за здоровье героя. И что еще мне в вас нравится — вы носа не задираете, а то иной, может, выстрелил раз за всю войну, а то и не выстрелил, но теперь мнит, будто всех немцев перестрелял. Значит, вы теперь в гмине работаете?

— В гмине.

— Вместе с нашей Малгоськой?

— Вместе, только в другом отделе.

— Ну хоть так вас отечество отблагодарило, что на чистой работе.

Целый вечер проговорили, за полночь уже перевалило. Но только я поднимусь, чтоб уйти,— сидите, не поздно еще. Грешно повстре-

чать такого человека и не выслушать. Хотя в основном я слушал, а он обо мне рассказывал. Тех Орел разоружил, на этих напал, тут засаду устроил, там его окружили, но он у них из-под носа ушел. И лишь время от времени справлялся, так ли оно было. Было так, верно я говорю? И хоть сплошь да рядом было совсем по-другому, я не спорил, потому что он рассказывал правдивей, чем было.

— Ну, ваше здоровье.

Мать с Малгожатой больше хлопотали по хозяйству, чем слушали. Иногда только мать вздохнет:

— Господи, сколько же вы напереживались.

А Малгожата ни слова, вроде даже злилась на отца, что тот разговорился,— не на меня, надо думать.

Сидели, сидели, потом отец встал, полез в буфет и достал вторую поллитровку, на этот раз своей водки, на меду, у них была пасека. А когда мы и ее выпили, уперся, что должен меня отвезти, как же можно, чтоб такой человек из его дома возвращался пешком. Нахлобучил шапку на голову и уже пошел запрягать лошадь, но покачнулся на пороге, и мать с Малгожатой еле-еле его упросили не ехать. Меня-то он и слушать не хотел. Даже кулаком по столу ударил: помалкивай. Его лошадь, его телега и его воля. А я его гость. И не какой-нибудь. Кого попало он бы не повез.

Малгожате стыдно было, что отец так напился. Но мне он понравился. Открытый мужик, что на уме, то и на языке, и видно — душа-человек. Мать тоже, показалось мне, женщина приятная. И через несколько дней я снова к ним зашел. Потому что после того раза Малгожата уже каждый день меня приглашала. Хотя мне сдавалось, ей не всегда хочется, чтобы я заходил, только вроде бы полагается спросить: может, зайдешь? Ну и я, чтобы по ее вышло, говорил: да нет, сегодня не стоит, а в душе ждал, чтоб она еще раз сказала: зайди, прошу. А она: как хочешь. Или самое большее: отец бы обрадовался.

Но один раз я купил пол-литра и сказал: время у меня есть, зайду. Ничего особенного это не должно было означать, просто я не хотел оставаться в долгу. А то, когда ни зайдешь, мать всегда: может, я чего-нибудь поем? И резала хлеб, грудинку, жарила яичницу. Отец приносил из чулана горшок меду, то липового, а то верескового, акациевого, падевого, ну и наешься сладкого, про пчел наслушаешься, какие это умные твари, куда умнее людей, а людям кажется, будто они самые умные. Я даже разохотился, тоже решил пасеку завести. Улья два для начала.

Но больше всего я любил смотреть, как Малгожата хлопочет в горнице, и все вокруг нее оживает: стулья, стол, горшки, тарелки, ушат с помоями, огонь в плите, занавески на окнах, образа на стенах. И даже странно казалось, что это моя сослуживица из налогового отдела. Куда-то девалась ее неприступность, которая там, в гмине, словно заставляла ее высоко носить голову и на всякого глядеть сверху вниз, улыбнуться лишний раз не позволяла, заговорить без нужды. А если уж она открывала рот, слова выбирала подумавши, точно это не слова были, а тайные знаки. И даже ходить ходила будто на стреноженных ногах, а может, заранее такую походку обдумывала, когда собиралась пройти по коридору из одной комнаты в другую или уходила после работы домой.

А здесь, едва переступив порог, снимала туфли и надевала шлепанцы. Мать, бывало, ее корила: как же так, гость в доме, а она в шлепанцах. Или подвязывала передник, когда надо было помыть посуду, убраться, то-се почистить, порезать или еще в чем-нибудь подсобить матери, хотя мать ее гнала: мол, сама управится, пусть она занимается гостем. И хоть была не такая шикарная, как в гмине, мне дома в сто раз больше нравилась. Я и не думал обижаться, что она мною не занимается, предоставив меня отцу или, когда отца не было, самому себе, потому что мне и одному было хорошо. Она хлопочет,

а я на нее смотрю, чего еще нужно? И не скучно совсем. Я бы мог целый день на нее смотреть и тоже бы не соскучился. А то и целую жизнь. И забывал, что собирался всего несколько раз еще ее проводить. Пришла весна, близилось лето, а я так у них освоился, что редкий день не заходил.

Иногда, правда, мне казалось, что она этой своей суетой как будто от меня отгораживается. Только мы зайдем в дом — и она с порога поздоровается с отцом, с матерью, и те скажут: о, пришла, почему так поздно? И пан Шимек с тобой, здравствуйте, здравствуйте. И сразу же бросалась к окну и отдергивала занавески: чего это у вас так темно? Или заглядывала в кастрюли, небось, у матери пригорело что-то, горелым пахнет. Открывала дверь, проветривала. Или кошка где-нибудь замяукает — нагибалась под стол, под кровать: кис, кис. И вытаскивала ее, сажала на колени, прижимала, гладила, ах ты киска, такая-сякая, какие только ни находила ласковые слова, и как ребенка спрашивала, ловила ли кисонька мышей, пила ли молочко, а мне, словно чтоб отделаться, среди этих нежностей:

— Садись, Шимек.

Отец иной раз ворчал на нее сердито:

— Оставь ее, ты, кошатница. Еще покорябает. Всю сметану у матери вылакала, захочется ей мышей ловить, жди. Скажи лучше, что там у вас в гмине.

— Да ничего. Шимек вам расскажет. Я приберусь немножко. Господи, сколько ж здесь мух!

А иногда уже на пороге первые ее слова были:

— Господи, сколько ж здесь мух!

И сразу начинался танец с мухами. Малгожата открывала окна, двери. Совала каждому в руку тряпку. И мы под ее указку пускались по горнице в пляс. Отец с матерью у окон и дверей, чтобы мухи не летели обратно. А мы с нею посередке, она со стен сгоняет, я с потолка и отовсюду, откуда велит.

— Там, Шимек! Там! В углу! Над образом! Над плитой! Над распятием! Возле лампы! Только не разбей! Осторожно! Вот там, там!

Потом я уже сам брал тряпку с гвоздя у плиты, как только она вскрикивала: господи, сколько ж здесь мух! У меня даже своя тряпка была, в красно-синюю клеточку, с ней получалось лучше всего. Но в первый раз я не знал, куда себя девать, и прижался к стене, чтобы не мешаться. А она махнула пару раз — кыш, кыш! — и мне с укором:

— Ну-ка, Шимек, бери тряпку! Чего стоишь? Помогай!

Матери даже неловко стало, и она за меня вступилась:

— Ты что, дочка? Пан Шимек гость. Кто ж гостей заставляет мух бить?

— Какой он гость?! — крикнула Малгожата, неистово размахивая тряпкой, но, верно, сгоряча так крикнула, потому что была вся раскрасневшаяся.

— Ну уж этого я не знаю. Вам лучше знать.— Мать вроде бы растерялась.— Может, хоть этим полотенцем тогда, оно почище.— И сняла для меня полотенце, которое висело над тазом, где умывались.

Любил я гонять с нею мух. Разгоряченная, взбудораженная, подол подоткнут, волосы рассыпались, а казалась мне ближе, чем когда мы шли под ручку из гмины домой, и ни отца, ни матери рядом не было, только мы вдвоем. И еще мне нравилось, что не успевали мы войти, работа словно сама подворачивалась ей под руки. Можно было подумать, весь дом на ней одной держится и все там ждет, покуда она вернется из гмины и накормит, напоит, перемоет, приберет — иной раз некогда было присесть. А если и садилась, то на минутку, и тут же вскакивала и бралась за дела.

Смотрел я на нее и с трудом сам себя узнавал. Когда она мешала в ведерках корм для свиней своими белыми руками, облепленными по локти картофельной мезгой, похожими на толкушки, подпоясан-

ная передником, в старых шлепанцах, у меня даже в груди теплело, что я ее такой вижу, будто она меня допускала в самые тайные свои тайники. Я мог смотреть на нее и смотреть, и это мне заменяло и мысли, и слова, и то, что мне ее отец говорил или я отцу, ничуть не мешало.

Иногда мне казалось, что работа сама к ней липнет, что вещи сами гоняют ее по горнице. Ушат с помоями, например, он и для мужика тяжел, а не успеешь оглянуться, не то что помочь, она уже схватила его за уши и выволокла в сени. Или когда растапливала плиту, щепки, лучины будто сами летели из ее рук в огонь. Или когда тесто на лапшу раскатывала — едва просеет на доску муку, а уже из муки вышел ком, а из кома лепешка, а из лепешки паутинка. А резала эту лепешку, лапшинки так и выпархивали у нее из-под пальцев, а груди под блузкой точно пара свадебных коней галопом неслись, вот-вот, чудилось, голехонькие выскочат на доску. Или чистила морковь для супа. Ну что такое морковь, кажется? А от этой моркови красно становилось в горнице, как от предзакатного солнца, обещающего ветреный день. Да и хоть бы всего-навсего стояла у плиты и ложкой помешивала в кастрюле, а вся горница была ею полна и каждый закуток, а мы, отец, мать, я, словно запрятаны куда-то в дальние углы. Или когда во двор выходила — куры к ней, верно, и без зерна сбегались. И пес радостно тявкал, хотя она ему ничего не несла. И коровы в хлеву мычали. Свиньи хрюкали. И даже деревья зацветали в садах. И все такое прочее, как в таких случаях говорят.

Казалось бы, чепуха, всего-то и пришивает к наволочке пуговицу. И не в том даже дело, что пуговица чуть ли не сама надевалась на иголку с ниткой. Просто иной раз так и хотелось подсунуть под эту иголку руку и сказать:

— Уколи, пускай потечет кровь. Может, чего-нибудь нам наворожит.— И кровь кап, кап, капельками, ручейком, быстриной, рекой, до самой смерти.

Или когда она принималась пол подметать, всегда нас с отцом выгоняла из кухни. И хотя на короткое время, страх брал, что навечно. И я говорил:

— Мы здесь посидим. Не выметешь же ты нас. А в кухне всего лучше сидеть.

На что мать, которая постоянно держала ухо востро:

— Пан Шимек все равно как наш Франек. Запретили ему доктора на солнышко выходить, только чтоб в тени, так он все бы на кухне сидел, мол, лучше всего на кухне. Франеку бы, наверное, столько же, сколько пану Шимеку сейчас, было. Ну да, Малгося только еще родилась, а он уже в школу ходил.

Но Малгожата не любила, когда мать заводила разговор о Франеке, и тут же ее перебивала:

— Может, испечем яблоки в тесте, а, мам? Шимек, ты яблоки в тесте любишь? С сахаром, со сметаной, вкусно.

На что отец, который яблок в тесте не любил:

— Тоже, придумали, яблоки в тесте. Мужик, если не поест грудинки или колбасы, будто ничего и не ел. А Франека и, верно, жаль. Сын как-никак. Хотя столько уже лет, поневоле забывать начнешь. Оставалась вроде в чулане грудинка. Принеси-ка, мать. А я погляжу, может, и в бутылке чего найдется. Мы бы с паном Шимеком выпили по одной. А ты, Малгося, хлеба порежь.

Они свой хлеб пекли. Ковриги как от телеги колеса. Каждая кило на семь, на восемь. Только кто бы стал взвешивать, да и зачем? Взаймы брали — и не взвешивали, отдавали — и не взвешивали. Хлеб свой, люди свои, и незачем было знать, сколько какой каравай весит. Коврига так коврига, или полковриги, или четверть, полчетверти, краюшка, вот тебе и мерка. Когда же Малгожата прижимала эту ковригу к животу, обнимая ее, словно дитя во чреве, левой рукой, а сама отки-

дывалась назад и правой тянула нож, точно со взгорка, все ближе и ближе к себе, казалось, хлеб сам к ней откуда-то катится, прямо в руки, дородный и счастливый. Хотя у меня не раз мурашки бегали по коже: вдруг не почувствует, где кончается хлеб и начинается ее тело, ведь она с хлебом как бы единым телом была. И даже отец на самом интересном месте обрывал разговор о пчелах или о войне и смотрел, как она режет.

— Больно тонко режешь, режь потолще. Хлеб надо во рту чувствовать.

А я о другом совсем думал, хотя тоже про хлеб.

— Не режь так, Малгося,— говорил.— Положи на стол. Нож острый, еще не отличит, где тело, где хлеб.

— А ей что говори, что не говори,— снова на это отец.— Дети-то нынче неслухи. Мне, будь то мой отец или мать, хватило бы раз сказать.

— Дай.— Не мог больше я смотреть.

— Ничего мне не сделается.— И, как бы испугавшись, съеживалась, будто защищая этот хлеб и нож.

— Дай, нельзя наперед знать.

— Дай, раз пан Шимек просит,— вмешивалась мать.— Мужчина — это мужчина.

И я брал хлеб с ее живота, нож из пальцев и резал в воздухе, над столом, держа ковригу в одной руке, нож — в другой.

— А ты отымай куски.

— Ого, сколько в вас силы,— удивлялся отец.— Я еще не видел, чтоб так резали хлеб. Разве что покупной. Но не свой.

Суббота была. Отец с матерью поехали на свадьбу крестника в Зажечаны и собирались вернуться только на следующий день к вечеру. Я проводил Малгожату до дому, а там встали и стоим, словно не зная, как нам без отца, без матери быть. Ни она меня не приглашала зайти, ни я не протягивал на прощанье руки. Бубнили чего-то, глядя в сторону, лишь бы друг на друга не смотреть, и каждая минута для нас становилась все тягостней. Солнце уже клонилось к закату, а мы в его лучах как перед открытым устьем печи, оттого еще и жарко было. Наконец я собрался ей руку протянуть, но она, видать, это почувствовала, потому что посмотрела на солнце, точно хотела, чтобы оно ее ослепило, и сказала:

— Не зайдешь?

— Может, в другой раз,— сказал я.— А то я отцу обещал, что поеду картошку окучивать.

— Как хочешь. Но пока ты вернешься, уже смеркаться начнет. И суббота сегодня.— А через минуту, пряча глаза: — Побыли бы одни.

— Ну, разве что ненадолго,— вроде бы позволил я себя уговорить. Хотя это неправда была, что я обещал отцу окучивать картошку.— Поеду в понедельник. Может, даже в гмину не пойду, съезжу с самого утра.

Но едва мы переступили порог, она вскрикнула:

— Господи, как тут грязно!

Я б не сказал, что грязно. Обыкновенно было. На плите сохли кастрюли, тарелки. Хлеб на столе белой тряпицей накрыт. Ушат с помоями вынесен в сени. Пол подметен.

— Где грязно? — сказал я.

Но она уперлась, что грязно.

— Надо хоть чуть-чуть прибраться. Приятней будет сидеть.

И тут же подвязала передник, скинула туфли, надела шлепанцы. Точно ей вдруг страшно сделалось, что мы одни. Обычно-то, когда мы приходили, отец с матерью или, по крайней мере, один из них, были дома, словно поджидали нас, высматривали, из-за нас бросали свои дела. И по-настоящему мы бывали с ней вдвоем только в дороге. Но дорога не дом. Деревья, небо и всегда может кто-нибудь мимо прой-

ти. А тут вдруг одни во всем доме. И дом будто дремлет, даже кошка не замяукает, должно быть, родители, когда уезжали, выкинули ее во двор.

— Что-то кошки не видно,— сказал я. И нагнулся под кровать: кис, кис — мне тоже не по себе сделалось, что ни отца, ни матери нет, только мы вдвоем.

— Ну, если грязно, так приберись,— не стал я спорить.— Мать, верно, спешила, не успела. Когда на свадьбу едешь, всегда оно так. Хочется все в порядке оставить, а тут не знаешь, за что хвататься. Мало того, что самим приодеться нужно, скотину ведь тоже голодной не оставишь. И кур, гусей надо в курятник загнать. И в каждый уголок заглянуть. Запереть все. Потому как никогда не известно, к чему вернешься. Кукалы из нашей деревни поехали раз на свадьбу, возвращаются на другой день, а на месте дома — одни головешки. Хата, хлев, овин — все сгорело. Хорошо, они пьяные были, не убивались так, как бы убивались на трезвую голову.

— Шимек, ты что? — Она посмотрела на меня со страхом.

— Ничего. Только говорю — и такое может случиться.

— Сердишься, что я убираюсь?

— Еще чего! Убирайся. Я посижу.

Она повыносила кастрюли в сени. Хлеб взяла со стола и сунула в буфет, смахнула крошки, бросила под плиту. Хотя я никаких крошек на столе не заметил. Стол стоял у окна, а в окне солнце, а на солнце каждую крошку видать. Подмела пол. Потом открыла окна, двери. Сейчас будем мух гонять, подумал я, но она на этот раз оставила мух в покое, только проветрила. А потом принялась перетирать стоявшие на плите тарелки и ставить в буфет.

Я сидел и поглядывал то на нее, то в окно, но ни словечком ее не попрекнул, что она занялась уборкой, и не поторопил. Она велела мне расставить по местам стулья, я встал и расставил. Иисус Христос в Гефсиманском саду, показалось ей, криво висит, так я его передвинул немного влево, как она сказала. Хотя, по-моему, он прямо висел. Потом велела мне посмотреть, не надо ли подлить в лампу керосину. Я посмотрел, не надо было. А поскольку больше она от меня ничего не хотела, закурил сигарету и стал пускать в горницу колечки дыма, глядя, как они уплывают, рассеиваются, тают. И может, я вовсе не ждал, когда закончится эта уборка. Как будто уже навечно так должно было остаться. Я за столом пускаю дым колечками, а она у плиты перетирает тарелки. Чего-то время от времени скажет, о чем-то спросит, ничего особенного, но для нее и это было много. Может, она разговорилась со злости, что я так легко согласился на эту уборку и даже не спрошу: долго еще? Неколько раз рассмеялась, до того весело, что я удивился, никогда она так не смеялась. Может быть, ей хотелось, чтоб и я засмеялся вместе с ней. Только мне было не до смеху, да и в этот ее смех я, по правде сказать, не очень верил.

На стене против окна еще желтели солнечные лучи, но над полом в горнице уже начинало сереть. А в углу, где стояли ведра с водой, словно бы совсем поздний вечер настал. Вдруг трах, тарелка вылетела у нее из рук и осколки разлетелись по всему полу.

— Ох, нескладеха,— сказал я, но без попрека.— Что мне, тарелки жаль?

Она посмотрела на меня с какой-то горькой укоризной, и, спрятав лицо в ладонях, расплакалась, и убежала в комнату.

— Малгоська, ты что?! — закричал я ей вдогонку.— Из-за тарелки плакать? Подберем, и следа не останется! — И нагнулся, чтоб собрать осколки. Подобрал все до малейшего, сложил в самый большой черепок, поставил на плиту и пошел у нее спросить, куда выбросить.

— Вот и все собрано.

Она лежала на кровати лицом в подушку и плакала, как обиженное дитя.

— Не об чем плакать,— сказал я.— Всего только тарелка разбилась. Подумаешь. С каждым может случиться. Я вон однажды картофельную похлебку себе наливал, задел за чугунок и тоже тарелка вдребезги. А в другой раз хотел капусту прикрыть, положил тарелку кверху дном, а она возьми да слети. Если так об тарелках плакать, не хватит слез на людей.— Я присел на край кровати в изголовье и стал гладить ее по волосам.— Ну не плачь. Раньше, когда были жестяные тарелки, одной хватало на целую жизнь. Получит невеста в приданое полдюжины, так еще на одре дочке своей отпишет. Были в цветочки, были и без цветочков. Упадет такая на землю, на худой конец облупится. И ели из них, и ели. И на горячую плиту можно было поставить. А сделается дырка, заклепку пришлепнешь или заткнешь тряпочкой. И дальше ешь. А под старость еще кошка с нее ела, куры клевали, собаке выносили поесть. И даже если ребенку такой тарелкой дашь поиграть, он ничего худого себе не сделает. Ну не плачь.

Она долго не могла успокоиться, но мало-помалу плач этот стал в ней утихать. Хотя она продолжала лежать, уткнувшись головой в подушку. Я подумал: верно, стесняется своего заплаканного лица, боится, как бы мне не показалось, будто она подурнела из-за этих слез. И встал, чтоб пойти осколки выбросить.

— Так куда ж у вас черепки выбрасывают?

Она не сразу ответила. Через минуту только и голосом, еще не просохшим от слез:

— Пускай стоят.

— Долго ли,— сказал я,— выброшу, и все дела.

Я стоял над ней и ждал, может, она скажет:

— Ну сходи, выброси. Возле хлева стоит ведро для такого мусора. Или у крыльца. Или у забора. Или на краю сада, под яблоней.— По-разному у людей бывает. А то еще закапывают или кидают в реку. Я бы и на реку пошел, хотя не было в их деревне реки. Потому что иначе, казалось мне, никогда не кончится этот ее плач, затаится, но не кончится.

Она вроде уже не плакала, только лежала носом в подушку. Но нутро ее еще полно было этим плачем. И в воздухе плач чувствовался, точно чад от каленой соли.

— Не ходи,— сказала она.— Не хочу оставаться одна.

— Нет так нет,— сказал я.— Я только подумал: ты так хорошо прибралась, а тут осколки.

— Сядь возле меня. Там, где раньше.

Я сел. Сумерки заволакивали комнату, как дым от костра.

На пол посмотреть, уже и не разобрать было, пол это или земля. А вскоре и потолок, хоть белый и высоко, точно покрылся плесенью. У них на стене был ястреб на ветке, днем казалось, он нацелился на курицу во дворе, вот-вот схватит когтями, отец, мать бегут, кричат: отпусти, разбойник! А сейчас точно кто-то падаль выставил других ястребов пугать. То же самое апостолы на Тайной вечере, хоть и были старые, еще больше состарились в этих сумерках, словно от усталости,— две тысячи лет сидят и сидят за столом, когда же наконец встанут? И опять же мать с отцом на свадебном портрете над кроватью почернели, как если б не сразу после венчания были, а после смерти, хотя мать, как пристало невесте, в белой фате.

— Хочу сегодня быть твоей,— сказала Малгожата, вдруг оторвав голову от подушки. Обыкновенно так, будто сказала: «Солнце всходит. Лес шумит. Река течет».— А ты хочешь?

Я наклонился и поцеловал ее в волосы — что тут можно было сказать? Это все равно как если б тебя спросили: — Хочешь жить? — А ты бы сказал: — Хочу.— Уж скорей бы надо было ответить: — Нет, хочу умереть.— Чтобы почувствовать, как до боли хочется жить.

— Я постелю нам постель.

Встала, стянула покрывало, сложила вчетверо, повесила на спин-

ку стула. Положила в головах подушки, взбила перину. Прямо верить не хотелось, что она минуту назад плакала. Будто много лет стелила нам постель перед каждой близящейся ночью, а теперь снова приближалась одна из таких ночей. И даже не воскресная, обычная, точно со вторника на среду, со среды на четверг, и пришло время ложиться спать после целого дня жизни. Казалось, вот сейчас она, усталая, опустится на колени возле этой разобранной постели и начнет читать «Отче наш», понукая меня, чтоб хотя бы перекрестился, потому что во мне, как и в ней, будто не осталось ничего, кроме усталости после прожитого дня. Пускай день был как день, ни тяжелей других, ни легче. Может, я косил, она подхватывала. Может быть, я пахал, она стирала белье.

Она сняла кофточку, юбку. Не сказала — отвернись или не смотри, нисколько не застыдилась. Да и не диво, когда целый день проживешь, не остается ни сил, ни охоты, чтобы еще стыдиться. Тело уже только докучливый груз, оттого и глаза, которые на него глядят, незрячие. Ей бы, верно, и в голову не пришло, что после стольких лет я могу на нее смотреть иначе, чем на землю, чем в поднебесье. Потому что, когда столько лет пройдет, знаешь ее тело, как землю, как поднебесье, а земля, поднебесье не ведают стыда. Ты это тело знаешь во здравии и в болести, в радости и в печали, в смехе и в слезах и во всякую пору дня и ночи. Так чего же стыдиться? Сколько раз поливал ее, сидящую на корточках в лохани, водой из ковшика, смывая мыльную пену, и смотрел на голое тело, точно с небес господь бог, который ее сотворил. Сколько раз с нее, в лихорадке, в поту, стаскивал мокрую рубашку, а у ней не то что стыдиться, не было сил рукой шевельнуть. А сколько по ночам прислушивался к её дыханию, даже во сне иногда видел то же самое, что она, ведь когда так, тело к телу, столько-то лет, и сон уже один снится, зачем нужны два разных сна? Знаешь ее всю в целости и по крошечкам. Знаешь ее живот, бедра, колени, локти. Знаешь по отдельности руки, по отдельности ноги, и все пальцы на руках и ногах порознь и вместе. Знаешь каждую жилку на ее коже, каждую царапину и прыщик. Знаешь, что ей, когда она родилась, плохо завязали пупок и что вздыхает она, будто всхлипывает. Иногда думаешь, она для тебя вся жизнь, а иногда — соринка в глазу. Иной раз даже смерть в ней видишь, а иногда как на пустое место глядишь. Вот и не удивительно, что, когда ты еще ее хочешь, она не может понять почему. Смотрит прямо со страхом в глазах. Как же так, молодость ее прошла, она и забыла, что такое стыд, почему, почему? Это только в молодости тело к телу тянется просто так. А тут после целого прожитого дня ты ее хочешь, а такой день все равно что целая жизнь. У ней глаза слипаются, руки, ноги гудят, тело будто снято с креста, а ты ее хочешь. Обыкновенно, как если б воды напиться, вернувшись с поля, хотел.

— Расстегни мне сзади лифчик,— сказала она.

Наклонила голову и, словно бы переполнившись страхом, ждала, когда до нее дотронутся мои руки. Одна пуговичка у ней всего и была, кажется, что́ стоит расстегнуть, всю жизнь человек только расстегивается да застегивается, а пуговичка эта как пескарь выскальзывала у меня из рук. Но она стояла с опущенной головой и ни одним вздохом не укорила неловкие мои пальцы, только вся покрылась гусиной кожей. Сбросила этот лифчик с плеч, кинула на стул и, повернувшись ко мне, сказала:

— Видишь, я тебя не стесняюсь. Ни капельки.— И вдруг прижалась ко мне.— Ох, Шимек.

Я обнял ее, но она тут же от меня вырвалась и как дикая козочка вскочила в постель, забравшись под пухлую перину почти с головой.

— А ты? — донесся до меня ее встревоженный шепот.

В комнате было уже темно, только еще в окнах, как в лужах, купались догорающие остатки дня, а мы лежали, замерши, рядом, при-

давленные этой пухлой периной, потому что она захотела, чтобы мы немного полежали так. Я обнял ее за шею, ее голова уткнулась в мое плечо, как только что в подушку. Мне было жарко, я чувствовал, как кожа моя наливается потом, но не отваживался ни пошевельнуться, ни что-нибудь сказать. И она лежала как крольчиха, тоже не смея ни пошевельнуться, ни хоть что-нибудь сказать. Словно мы были обожжены своей наготой либо в наготе вместо желания почувствовали только боль наших тел.

Малгожата еще пахла недавним плачем, и я даже хотел ей сказать, что она пахнет плачем. Но она, видно, почувствовала, что я хочу что-то сказать, так как приложила к моим губам палец, чтобы я ничего не говорил. И еще велела мне закрыть глаза, и сама закрыла. А когда они у меня невольно открылись, на секунду только, я даже не успел ничего разглядеть, кроме темноты, до меня сразу же донесся ее обиженный шепот:

— Открыл?

— Нечаянно. Но уже закрыл. А ты?

— У меня все время закрыты.

Может быть, из-за того, что она так доверчиво, прижавшись всею собою, лежала, она показалась мне беззащитной, как придорожная былинка, которую только нагнуться, сорвать и бросить. Сердце ее стучало возле самого моего бока и под рукой, которой я ее обнимал, и в подушке, и так дробненько, что и не похоже на сердце. В такой близи сердца бьют как молот, а ее словно сеяло зерно. Наверное, никак не могло успокоиться с перепугу. Я даже покрепче прижал ее к себе. Она, должно быть, подумала, что мне не хочется больше так лежать, потому что до меня снова донесся ее шепот:

— Полежим еще немножечко. Тебе хорошо?

— Хорошо,— сказал я.

Наверное, уже взошла луна, потому что собаки начали лаять, сперва по одной, потом все гуще, протяжно, жалостно, как только они на луну лают или на чью-нибудь смерть. Кто-то вдалеке играл на гармони, иногда долетало несколько басовых нот, иногда обрывок мелодии. Где-то ехала телега, потому что повизгивали оси. А мы лежали, как будто ждали, покуда нас отпустит боль от целого дня жизни или даже ото всей жизни, которую мы прожили вместе и из которой нам осталось еще только умереть. Но мы не знали как. Я даже попробовал себе представить, что мы уже после смерти лежим придавленные этой пухлой периной, которая окаменела от долгой неподвижности. Хотя когда-то была настоящая перина. Настоящие гуси для нее жили, ели, росли, ходили на реку, клювы у них были красные, и гоготали они, как все гуси. Потом женщины этих гусей ощипывали. И женщины тоже, как гуси, когда-то жили. Может быть, даже это были самые счастливые их минуты, когда они собирались зимними вечерами и щипали перо,— для чего еще им было жить? Если б хорошенько прислушаться, я бы мог услышать шелест их пальцев в перине и песни, которые они пели. Хотя могло и так случиться, что одна из них как раз была несчастливая и прокляла перину. И через это проклятье пришла к нам смерть, внезапная нежданная, мы едва успели прижаться друг к дружке, словно в последней надежде спастись.

— Это больно? — опять донесся до меня ее шепот.

— Что?

— Когда в первый раз.

— В первый раз все больно.— У меня по-прежнему была в глазах эта наша смерть.

Жатва в тот год выпала раньше обычного. Другое дело, что давно было сухо, капли дождя не пролилось. Мать с отцом меня прямо не узнавали. Мать думала, бог услышал ее молитвы, а отец, что я наконец взялся за ум, потому что каждый должен рано ли, поздно ли поумнеть. Я отбил косу, вычистил сусеки, приладил к телеге боковины.

Сходил в поле и принес горсть колосьев, отец раскрошил колосок на ладони, подул, поглядел, сунул одно зернышко в рот, разгрыз, сунул другое, разгрыз, посоветовал дня три-четыре еще обождать, но я: нет, пора начинать.

Рожь мы скосили одними из первых в деревне, люди вокруг дивились: что случилось, может, братья приехали подсобить? Малгожату родители тоже запрягли — жатва никому не дает спуску, от нее не уйти, как и от кары за смертные грехи. Так что мы редко виделись. Только когда я свез рожь в овин, разок ее проводил, но в дом заходить не стал. Какая-то она мне показалась чудная, говорила мало и словно избегала моего взгляда. Я думал: может, устала, а может быть, еще стесняется, потому что и мне как-то неловко было смотреть ей в глаза, и я больше на небо глядел или по сторонам, а на нее лишь украдкой, когда она не видела. Иногда так бывает: легче горькое слово сказать, чем посмотреть прямо в глаза.

Она жаловалась, что все руки у ней исколоты, блузки с короткими рукавами не наденешь, даже поясница болит. Но когда мы уже прощались перед ее домом, вдруг прижалась ко мне, не обращая внимания, что на улице еще светло, что мать может стоять у окна.

— Ох, Шимек,— вздохнула. Но она часто так вздыхала. Я сказал:

— Пусть только жатва окончится, Малгося.

Потом я скосил ячмень, свез, после ячменя пшеницу, хотя пшеницы и было-то у нас всего, может, с морг. Потом сразу взялся пахать. Аисты на лугах готовились к отлету, когда я пахал последнюю полосу, за Пшикопой. Странные птицы, курлыкали, курлыкали, потом разделились и начали друг дружку клевать, а под конец выбрали одного и давай его бить. Я бросился на них с кнутом, как же так, ведь насмерть забьют. Но пока добежал, они сорвались и отлетели подальше в луга, а с ними и тот, которого били. И забили насмерть. Его потом Бида, когда корову пас, мертвым нашел.

Мне осталось еще только забороновать и уже можно бы сеять. Но сухо было, земля слежалась, я подумал: подожду пару дней, вдруг пойдет дождь. И условился в гмине с Малгожатой, что ее провожу. Шли мы медленно, нога за ногу, за руки даже взялись и уже смотрели друг другу прямо в глаза, и она разговорилась, и смеялась, и опять была такая же, как всегда. Но когда прощались перед ее домом, вдруг, будто только сейчас припомнив, что хотела мне о чем-то сказать, выпалила, что ее не будет недели две-три, потому что она с завтрашнего дня взяла отпуск, поедет к родной сестре, та прислала письмо, умоляет приехать. А раньше она не могла мне сказать, потому что мы не виделись, да и письмо пришло только позавчера. Хоть и не близкая родня, отцова двоюродного брата дочь и крестница матери, но они уже три года не виделись, а очень друг друга любят, прямо как родные сестры. Та еще в девушках каждые каникулы гостила у них в деревне. А теперь от нее муж ушел, другую завел, а ее с двумя маленькими детьми бросил, вдобавок младший, Янушек, родился с искривленной шейкой, и ему будут делать операцию, так что обязательно надо ехать.

Меня зло взяло: ну что бы ей по дороге сказать, а не возле самого дома. Присели бы где-нибудь, попрощались, а не так, на ходу. Хотя у меня и в мыслях не было, что не все тут правда. В конце концов, у каждого есть родственники, которых не знаешь, не помнишь, слыхом не слыхал, что они существуют, а тут вдруг объявляются, как духи из загробного мира. Она, видно, догадалась, что я обозлился, потому что прижалась ко мне и стала просить на нее не обижаться. Нельзя не поехать. У нее даже слезы сверкнули в глазах.

— Я буду по тебе скучать,— сказала.— Честное слово.

Злость у меня прошла, но сделалось немного грустно, точно я ее не к сестре на полмесяца провожал, а на тот свет.

— Езжай,— сказал я.— Только поскорей возвращайся.

— И не заметишь, как время пролетит,— сказала она.

— Угу, пролетит,— сказал я.— Может, я тоже отпуск возьму. Крышу починю на овине. А то все недосуг.

— А будешь обо мне думать? Думай обо мне. Пожалуйста. Мне будет легче.

Прошел дождь, я забороновал, засеял поле, починил на овине крышу, недели пробежали, как одна минутка. Хотел ее в первый же день после возвращения проводить, но она сказала, что торопится, потому что мать печет хлеб и ей надо поскорее домой, помогать. А на второй день раньше ушла из гмины, и я ее упустил. И еще несколько дней, не одно, так другое: ох, извини, прости, я спешу домой, обещала пораньше прийти, дела. Пока я ей однажды не сказал мимоходом в коридоре:

— Что-то ты после этого отпуска изменилась, Малгося.

— С чего бы мне измениться? Тебе кажется.— И шмыг в свою комнату.

Нет так нет, не буду навязываться. Хотя разные мысли стали вертеться у меня в голове. Но выхожу я как-то из гмины и вижу — идет передо мной медленным шагом, потом останавливается и, улыбаясь грустноватой своей улыбкой, спрашивает, сержусь ли я на нее. На тебя, ты что? Так, может, я ее провожу? И как ни в чем не бывало начинает рассказывать, что они с сестрой наговориться не могли, что почти каждый день ходили в кино, к сестриным знакомым, на прогулки, иногда в кафе, но кофе ей не нравится, чай вкуснее, а вот пирожные какие-то ужасно понравились, она даже сказала, как они называются, диковинное такое название. Она могла за раз четыре штуки съесть, только от них, говорят, толстеют. Но я не потолстела, правда? И кокетливо посмотрела мне в глаза.

— А что с Янушеком?

— С Янушеком? — Она как будто растерялась.— Ах, понимаешь, оказалось, он еще слишком маленький и операцию пока отложили.

Ну я опять поверил. Так она говорит, значит, так оно и есть.

Время шло, я почти забыл про ее отпуск и даже подумывал: не пора ли всерьез у нее спросить, хочет ли она стать моей женой. Сколько можно так ходить от гмины до дома и от гмины до дома? Она-то еще молодая, но я уже в годах. И назначил себе, что на рождество с ней поговорю, а до того времени все еще хорошенько обдумаю. Потому что, хоть это и может показаться странным, мы до сих пор ни разу не заговорили о том, что с нами будет дальше, словно еще были в себе не уверены или что-то сами от себя скрывали.

Ноябрь был, сыро, холодно, ветер; обними меня, попросила она. Мы как раз к лесу подошли, и вдруг она, высвободившись, приостановилась и говорит:

— Шимек, я все же должна тебе это сказать.

— Ну скажи.— Я был уверен, что о пустяке речь пойдет, и по ее голосу ничего не почувствовал.

— Я была беременна,— говорит.

А у меня сердце бух, бух, бух, чуть не разорвало грудь. Но пока еще спокойно, будто только удивившись, я спросил:

— Как это — была?

— Потому что теперь уже не беременна. Тогда, в отпуске, я была у врача. Для того и отпуск брала.

— Почему ж ты мне не сказала?

— Не хотела тебя огорчать.

Вдруг лес, что шумел вокруг нас, стал прямо на меня валиться. И ярость захлестнула всего. Я сам не понимал, что со мной. Может, так умирают от внезапной и нежданной смерти.

— Ты, сука! — завыл я, а где-то глубоко в груди меня начал душить плач. Наверное, потому мне и нужно было так страшно взъяриться, чтоб не заплакать.

— Шимек, прости меня! — Она съежилась, сложила руки, точно молитву собралась читать.— Я была уверена, что ты не захочешь!

— Ты такая же шлюха, как все! А шлюх я могу иметь, сколько деревьев в лесу! И имел! А ты, я хотел, чтоб матерью моих детей была.— И схватил ее за волосы, намотал на руку, она упала на колени.

— Прости! — зарыдала.

Я стал бить ее куда попало — по лицу, по голове. И уже не ярость в себе чувствовал, а только разлившийся рекою плач, и он, этот плач, ее ненавидел, как никого на свете. Я куда-то потащил ее за волосы по траве, тряся, как ветку.

— Прости меня,— умоляла она.— Прости или убей.

Я оставил ее, плачущую, униженную, на земле и быстро зашагал вперед, почти побежал, все быстрей и быстрей.

— Шимек!! — донесся до меня ее отчаянный зов.— Вернись!! У нас еще будут дети! Сколько захочешь! Я не знала! Я боялась! Вернись! Шиме-е-е-к!!

Совсем уже было темно, начал накрапывать дождь, когда я дошел до деревни. На самом краю стояла хата Сковрона, покосившаяся от старости, без подкладин, крытая соломой. Я плюхнулся на камень у стены, чтобы хоть немного прийти в себя. Вышел Сковрон, даже не удивился, что я сижу, поглядел на небо:

— Ох и затянуло. Похоже, на неделю зарядит. Заходи в дом, измокнешь.

— Нет, я сейчас пойду, так только, на минутку, присел. Не найдется у вас рюмочки чего-нибудь, Сковрон?

— Оставалось немножко с пасхи, да моя мне спину как-то натерла. Уж так драло, так драло, однако ж, видать, не напрасно.

В пустых гнездах под стрехой вроде ласточки щебетали, хотя откуда в такую пору ласточкам быть? Наверное, мне померещилось. Потому что вообще все вокруг, казалось мне, и было и не было. И дождь этот, и деревня, и даже Сковрон на пороге хаты. Дождь разошелся вовсю, а я и не чувствовал, что мокну, так как уже ничего не чувствовал. Только хотелось напиться до беспамятства. Но для этого надо было встать с камня у Сковроновой хаты и куда-то пойти. А не так-то просто встать, когда не знаешь, куда идти. В шинок не хотелось. В шинке обычные горести хорошо заливать, когда свинья околеет, град побьет хлеба или дело в суде проиграешь, и нужно кому-нибудь об этом рассказать. А тут хоть бы и сам бог рядом присел, я б ему ничего не сказал. Самое большее — дождь идет, господи. Так он и без меня знает, что дождь.

Припомнилось мне, что Мартинек одно время водкой торговал. Я, когда еще в милиции служил, даже приходил к нему с обыском. Найти ничего не нашел, но в чулане стоял бидон, я спрашиваю: а это что? Керосин, говорит. Я понюхал — чистая сивуха. Ну да ладно, пусть будет керосин. С людьми надо по-людски.

Мартинек сидел у плиты, в рубахе и подштанниках, и подкидывал щепки в огонь. Мартинекова кормила ребенка, но тот, должно быть, больной был, потому что орал благим матом, и матери приходилось насильно пихать сосок ему в рот. А трое остальных ребятишек сидели в кровати под периной, рядком, спинами прислонившись к стене, осовелые какие-то, хотя еще не спали, потому что, когда я вошел, посмотрели на меня, как голубым огнем обожгли. Это было еще не все Мартинеково потомство. Старший, Вальдек, в Лясове у Ярочинского пас коров, а младшего, Губерта, взяла к себе бабка. И у всех были такие чудные имена: Рафал, Ольгерд, Конрад, Гражина.

— Дай мне литр,— сказал я.

Мартинек сперва ничего не ответил, продолжал кидать щепки в огонь и только погодя спросил:

— Откуда я тебе возьму?

— Дай, мне для себя надо.

— В шинок иди. Он еще открытый. Я больше водки не держу. На железной дороге теперь работаю.

— Дай ему, Ендрусь,— отозвалась Мартинекова.— Не видишь, на нем сухой нитки нет? Куда его в шинок посылать. Забыл про тот бидон? Добро надо помнить.

Мартинек со злостью посмотрел на жену.

— Ты как его, зараза, кормишь?! Орет и орет, ушам больно! — И дальше кидает щепки в огонь.— Бутылка есть? — рявкнул.

— Нету.

— Ну так как же? В картуз наливать? Да у тебя и картуза нет.

Но встал, вышел. У Мартинековой ребенок опять разорался.

— Тихо, тихо, сейчас дам укропчику, пососи только чуть-чуть.— Вытащила из-под кофты другую грудь.— Может, в этой побольше.— Но ребенок попробовал — и снова в рев.— Еще не понимает, что живет, а сколько уже наплакался. Ты жениться не собираешься, Шимусь? Пора бы, что за житье одному?

Вернулся Мартинек, неся под рубахой литровую бутылку. Налил по самое горлышко.

— Заткнуть только нечем,— сказал.— Разве что из бумаги пробку скатать.

— Не надо,— сказал я.

— Может, подождешь? — сказала Мартинекова.— Похлебка картофельная сейчас поспеет. Поел бы.

— Нужна ему твоя похлебка,— оборвал ее Мартинек.— Его там, небось, с колбасою ждут.

Прямо за дверью я отхлебнул глоток. Потом в калитке второй. На другой стороне дороги, невдалеке, на перекрестке, стояла часовенка, я пошел туда и уселся на ступеньку под Иисусом Христом. Дождь не только не перестал, еще сильнее припустил, а может, мне в темноте так показалось, в темноте разное мерещится, чего днем ни за что не увидать. Но я как сел на ступеньку, так и сидел под дождем, потягивая из горлышка, и даже на душе у меня полегчало. Что-то я говорил Иисусу Христу, который сидел надо мной под навесцем, подперев руками голову, и о чем-то думал. И он мне что-то говорил. И так мы беседовали, покуда я не выпил все до дна и говорить больше стало не о чем. Я сказал:

— Ну я пойду, Иисусе, еще тоже начну думать, а мы ведь с тобой не ровня. А бутылку пустую оставлю, может, кто цветочков тебе принесет, нальет воды.

И пошел вперед, сам не очень-то зная куда. И вдруг меня осенило: может быть, Каська еще в магазине. Давно я у нее не был. Разве что за сигаретами иногда забегал, хотя предпочитал покупать в шинке. А когда за чем-нибудь другим заходил — так ведь в магазин, не к ней. Раз она меня даже спросила: ты что, никогда больше не придешь? Зайди как-нибудь. Зайди, не пожалеешь. Может, сегодня, я б задержалась.

Я подошел к двери, она уже была заперта. Я крикнул: Каська, открой! Открой, слышишь?! Нету заразы, туды ее растуды. А в другие дни сидит допоздна. И такое меня зло взяло, что я начал дубасить в эту дверь кулаками, бить ногами. Открывай! Но с той стороны — могила. Я уже хотел было сесть и ждать перед магазином под дождем до утра, как вдруг из-за двери донесся сердитый голос:

— Кто там?

— Я, Шимек! Открой!

Она открыла, злая:

— Нашел когда притащиться. Мне завтра учет устраивают, чтоб их нелегкая. А тут полмешка сахару лишних, откуда — ума не приложу. Не до тебя мне сегодня.

— Хочешь, чтоб я ушел?

— Хочу, не хочу! Заходи, раз уж здесь.— Она повернула за мной

ключ в замке, задвинула засов.— Целый год его высматриваешь, а он и носу не кажет. И где ты так назюзюкался?

Крепко подхватила меня под руки и отвела в подсобку. Там горел свет. Усадила на какой-то мешок, не то с сахаром, не то с солью. И вскрикнула:

— Пресвятая богородица, на кого ты похож! Топился, что ль?! С тебя ж как с собаки течет! А может, у бабы был? Так и оставался б у ней. Нет, мне пришел голову дурить. И без тебя мозги сохнут — как закрыла магазин, считаю-считаю, все полмешка лишних. А жаба эта, бухгалтерша, спит и видит, как бы меня вытурить да свою плюгавку на мое место впихнуть. Когда ни придет в магазин, все что-нибудь не по ней. То мух много. Висят вон липучки. Такие уж они есть. Дерьмом намазанные. Небось, магазин в деревне, не в городе, как без мух. То — почему не подметено? Сама подметай, стерва! В договоре не написано, что я должна подметать. Или прикажите людям перед магазином обувку скидать, тогда и подметать не понадобится. Чем я виновата, что ее мужик мне проходу не дает? Держи его при себе, ради бога! Только на такую лупоглазую и черт не позарится. А он все панна Касенька да панна Касенька. А смеется, старый хрен, точно крыса под сапогом визжит. Катись ты куда подальше, пан Мажец, здесь торговая точка, а не то, что вы думаете! И не посмотрит, что люди кругом. А эта змея Скрокова: да побойся ты, Каська, бога, в ад через этих мужиков пойдешь. Ну значит, нам по пути будет. И плевала я на ваш ад!— Она вдруг схватила меня под руки, дернула, я чуть на нее не упал.— Пересядь туда, здесь сахар, намокнет и собьется в комки. Не будь ты такой потаскун, я б тебе зонт купила. Под зонтом бы ходил. Видал, какой у ксендза зонт? За гробом идет, так хоть дождь в три ручья, людей всех разгонит, а он сухой. Еще причетник зонт этот над ним несет. А ты тоже не кто-нибудь, в гмине служишь. У Смотека и то есть зонт. Зять ему привез. Ввалился тут раз ко мне в магазин с раскрытым зонтом. Я ему говорю: здесь дождя нет. Мне только горчицу, Касенька, горчицу, чего я буду закрывать, открывать. Может, поспишь?

— Я не спать пришел.

— Ты ж еле на ногах стоишь, пьяный такой. И вдобавок мокрый.

— А спать не хочу.

— Дай хоть голову тебе вытру, прямо в глаза течет.

Сдернула со стены полотенце и как начала тереть — будто по булыжной мостовой покатилась моя голова. Ну и хорошо, пусть катится, попадет в рытвину, сама остановится.

— Эх, волосы у тебя как у коня грива,— сказала Каська уже без злости, поласковей.— Не знаю, любила ль бы я тебя так без этих волос. Терпеть не могу лысых. Близко бы к себе лысого не подпустила. Будь он хоть незнамо кто. Кусьмидер, к примеру, житья не давал, все: я приду, Кася, приду, Кася. Куда?! А к тебе, в магазин. Нет уж, сперва парик себе заведите. Как хорошо зимой вместо шапки носить. И перед распятием не нужно снимать. Эвон, у тебя, мокрые, а какие густые. Будешь за другими бегать, а меня обходить, я тебе когда-нибудь все повыдираю. Хотя бегай, мне-то что. Мужик как кот, при одной бабе зачах бы, вот и бегает за каждой юбкой. Но если бы тебя которая-нибудь навсегда охомутала, я б ее, наверное, убила. А потом тебя, себя. Вот этим свинячьим ножом, видал? Ох и было бы разговору в деревне. Слыхали, люди? Каська чего отколола! Кто б мог подумать! Торговала сахаром, мылом, солью, леденцами, а сумела человека убить! Пусть тогда эта жаба, бухгалтерша, на мое место свою плюгавку сажает. И пусть она им продает. Да чего тут продавать? Сахар, соль, мыло, леденцы, спички. И так по кругу. Иной раз хоть на стенку лезь. Давеча привезли бочку сельдей. Руки, халат, рожа, волосы — все в селедке. Еще чуть дверь не высадили. И каждому три кило, пять кило. Люди, вы что, спятили?! Из-за селедок убиваться так?!

Ох, думаю, сейчас возьму селедку и по мордам, по мордам. Нет чтоб когда шоколад привезли, изюм, миндаль. В городах люди кофе пьют, может, и здесь бы начали. А то все водку да водку. Зато учет, паразиты, это они хошь каждый день. Не мог, что ли, с утра забежать, сказать, что придешь? Я бы поскорей управилась. А так, что теперь будет?

— Что должно быть? Раздевайся.

— Эх ты.— Она даже прижала мою голову к своему животу.— Сукин ты сын, а как без тебя было б, не знаю. Лучше, хуже, но не так. Магазин я б, наверное, бросила. Может, в монастырь бы ушла. А что ты думаешь, в монастыре неплохо. Кормят тебя, а ты знай молись. Под старость ничего нет лучше. Хотел Дуда, чтобы я за него пошла. Ну пошла бы, и что? Горшки да ребятишки. Пусть себе прислугу наймет.

Она скинула халат. Под ним было зеленое платье в белый горошек, очень ей шло. Мне показалось — передо мной зеленое дерево, на которое откуда-то с неба падают хлопья снега. Но опять на нее накатила злость, и она начала в сердцах эти снежные хлопья с себя стряхивать.

— Плевала я на них на всех!— закричала.— Повешу записку, что заболела. А с учетом пускай на той неделе приходят.

И закинула руки на спину, стала расстегивать пуговицы на платье. Но вдруг ее точно кольнуло что-то, посмурнела, и руки у ней опустились.

— Глаза у меня, Шимусь, слипаются,— сказала.— Что ж это будет за любовь?

Постояла с минутку, растерянная, глядя на меня как будто с жалостью, и наконец неуверенным голосом спросила:

— Догола, что ли, раздеваться?— Но, верно, не рассчитывала получить ответ, потому что присела на мешок, вздыхая: — Эх, ты, ты...

Сбросила с ног туфли.

— Надо бы к сапожнику снести, пусть бы набил набойки, а то стоптались совсем,— сказала и подтолкнула одну туфлю ногой в мою сторону, словно хотела, чтоб и я тоже посмотрел.

Отстегнула чулки. Стянула сперва левый, но встала, пододвинула стул и повесила чулок на спинку, после повесила правый. А с платьем замешкалась, расстегнула пуговицы на спине и стоит, точно не зная, снимать, не снимать. Сняла все же, потом комбинацию. И опять ее как прорвало:

— Паскуды! Давно ли последний учет был? Месяца не прошло. И хоть бы я у них на один злотый чего своровала. А плитку, сколько ни прошу, все некому починить. Включила б, ты бы обсох, как же такому мокрому? — Сняла лифчик, и груди ее будто метнулись в мою сторону. И так, стоя с этим лифчиком в руке, посмотрела на меня ласково и сказала:— Очень уж ты пьяный, Шимусь, у тебя и не получится, небось.

— Получится, Кася, получится. Приласкаешь, и получится. Хуже, что мне жить не хочется.

— Ты что, Шимусь?! — Она вскочила как ужаленная, даже лифчик кинула куда-то на мешки.— Видали такого?! Жить ему не хочется! Сплюнь и перекрестись! — Подбежала ко мне, опустилась на колени и прижала мою голову к своим огромным грудям.— А может, ты убил кого-нибудь, Шимусь? Скажи, Шимусь. Мне можешь сказать. Я как могила. Мой ты, мой. Даже если убил.— И расплакалась.

— Чего ревешь, дурочка? Никого я не убивал.

— Ой, значит, здорово налакался.— Она отпихнула мою голову от груди и тут же перестала плакать.— Может, тебе кто какой отравы подсыпал? Пепла от цигарки или чего похуже. Закусывать надо было. Хоть бы и не хотелось, через силу. А в другой раз с кем попало не пей. Ты начальник, уважай себя. Ироды эти, они ж какие: при-

кинется архангелом Гавриилом, а сам в ад тебя готов затащить и еще уговорит, что ты у себя в хате. Господи, надо же так набраться. Я сразу смекнула, что тебя водка ко мне пригнала. Жить ему не хочется. А кому хочется? Пройдись по деревне, поспрашивай, никому неохота, а все живут и жрут почем зря. И покупают, что в глаза ни бросится. Нужно, не нужно. А мне, думаешь, хочется жить? Много у меня от этой жизни радости? Хорошо еще, ты иногда вспомнишь и зайдешь. Или которая-нибудь из твоих девок тебе отставку даст. А так только магазин да магазин. И еще с утра до ночи думай: придет — не придет. Я уж загадываю: войдет баба в магазин — значит, придет. А тут входит пацаненок или мужик. Иной раз даже на дорогу выскочу: не надо вам чего, Орышка, а вам, пани Стефанская? Лишь бы баба. Чего это ты, Каська, сегодня как не в себе? На исповеди была? Заходите, заходите, мне соду питьевую привезли. То привезли, се привезли. И только открою магазин, нет чтоб подмести хотя б, все молюсь: приди, Шимусь, приди, радость моя. За сигаретами мог бы прийти. Но видать, ему в шинок ближе. Там, верно, купил. Сбегаю-ка, думаю, в шинок, к Ирке, чтоб не продавала ему, пусть скажет, только у меня «Спорт». Ой, ты дура, дура, так он другие купит. «Курортные» не хуже. Им без разницы, лишь бы смолить. Ну и что теперь, проклясть его? Заказать обедню? Или чтоб мне ребеночка сделал? А если скажет, что не его? Еще и ребенка возненавижу. А как возненавидеть такую крушиночку? Может, и полюбил бы сыночек когда-нибудь мать. А ты сама виноватая. Путалась с кем ни попади, от каждого могла понести. Ну, путалась, но уж я-то знаю, чей ребеночек. Неужто было сидеть и ждать, покуда ты невесть когда заявишься, а то и совсем не придешь?! Кровь не водица. Пошто я девка? Самой, что ль, себя ублажать? Все равно ты на мне не женишься, я знаю. А пока молодая еще, охота берет, против себя не попрешь. Ночью иной раз просыпаюсь — лежит, кажется, кто-то на мне. Но кто бы ни был, ты это, Шимусь, ты. Закрываю глаза и тебя вижу, тебя чувствую. Гриву твою треплю. И говорю себе в душе: ох, Шимусь, хорошо-то как. Спасибо господу, что ты на свете живешь. А это вовсе Франк Козея или Незгудка Стах. Сделал свое дело, застегнул портки и пошел. Хорошо с тобой, Каська, самое большее скажет. Может, нужно было у него спросить: а Шимек где? Ведь тут Шимек был. Я думала, ты Шимек. Обманул меня, сукин сын! Зенки выцарапаю! А ну катись! Не то подыму крик, что ты магазин обокрал! Думаешь, ты меня поимел?! Ни хрена! Просто баба под тобой была, едрена вошь! Каська — шлюха, но не для всех! Хочет, шлюха, а хочет, девица. А захотела б, и графиней могла бы стать. Панна Кася, вы точно графиня, говорил мне тут как-то один. Они пути ремонтировали. Эх, был бы я граф! Нарядил бы панну Касю в шляпу, в меха, в туфли вот на такущих каблуках. И в открытой коляске повез в костел. А вы думаете, я продавщица, значит, каждому должна давать? Потому как вы землей богатые. А хрена вам! Я только Шимекова была. Хоть бы вы все рассказывали незнамо что. Где какая у меня родинка. И которому было лучше. Его я шлюха. Его единственного. А это почти как жена. Господу и так все известно. Незачем мне ему клятву давать. И без того он нас соединит, когда мы уже помрем, вот и выйдет то на то, все равно что здесь, на земле. Спросит: Шимон, хочешь Катажину эту себе в жены взять? Продавщицей она была в твоей деревне. Сигареты ты у ней покупал. Разное про нее болтали, и кой-какая в этом правда есть, но душа ее была тебе верна как пес, а тело сгнило уже. А ты, Катажина? Хочу, господи. Для того и померла. Я бы еще долго в магазине могла торговать. И неплохо б жила. Иногда какого-нибудь дефицита подкинут. Раз, господи боже, лимоны привезли. Люди набросились, чуть не поубивали друг дружку. Из-за лимонов. Ну не дураки? Хоть бы еще лимоны эти сладкие были, а то кислые-прекислые. Или возьму корочку хлеба, погрызу-погрызу, и расхочется слезы лить. Или в магазине накричусь,

и плакать не останется сил. Не то подумаю: вдруг завтра придет. Снился мне, может придет. Шел куда-то во сне, может ко мне? Я в окошко выглянула. Шимек! Шимек! Приснился ты мне! Но ты хоть бы рукой помахал, нет, дальше пошел. Верно, опять к какой-нибудь из своих девок. Чтоб ты ноги переломал и не дошел, а у ней пусть волосья повылезут! Думаешь, я ничего не знаю? Мне люди обо всем докладывают. Магазин как костел. Одному батон оставлю, другому еще чего-нибудь и знаю все, что ты делал, где был. В шинке пьешь, так мне сейчас донесут, что ты пьешь в шинке. А с той рыжей гулял, еще и донести не успели, сама, паразитка, тут как-то похвасталась. Я ей, гадине, ничего не продала. Я буду жаловаться. Жалуйся, хоть к старосте беги! Поглядим, чью сторону он возьмет. А уж потом только люди. он с той рыжей, Каська. С рыжей той. На мосту с ней стоял, а смеялись — вода кипела в реке. Беги, спихни эту рыжую образину с моста. Там омут глубокий, вмиг затянет. Ой, дура ты, Каська, дура. Глупая, как печка. Может, даже глупей во всей деревне нет, на всем свете. Но хочется ли мне жить, Шимусь, я себя никогда не спрошу. Зачем спрашивать? На глупый вопрос ответа не жди. Да и сколько ее, жизни, всего? Меньше наперсточка. А наперсток сам меньше малого. Я тебе сколько говорила: брось ты эту гмину ко всем чертям. Умней не станешь. А от писанины самый умный сдуреет. Много тебе проку, что ты начальничек? Придумали когда начальники хоть одну умную вещь? Вон у меня магазин — до шести был открыт, а теперь придумали, чтоб до семи. А чем до семи торговать? Может, это которая-нибудь из твоих девок. Пошли ее ко всем чертям. Ей бы, суке, не тебя бросить, а на коленях молить, чтоб не уходил. Я б ей патлы повыдирала, кабы знала которая. Говорили, какая-то из Ланова. Что на ней, свет клином сошелся? Да их как мух, крутят задницами, зубы щерят, титьки уже почти поверх платья взяли моду носить, смотреть стыдно. Тьфу! И всякая мужика норовит подцепить. Не Яся, так Стася. Еще думает, счастье свое словила. А этому счастью грош цена. Мужик пьет, дерется и только б детей мастерил. Очень надо за таким счастьем гоняться. А даже если изловит — как узнать, что это оно и есть? Не один уже таким счастьем сыт по горло, а все про счастье, про счастье. А на самом-то деле кто счастливый? Тот, у кого ума нет. Но может, ты один, Шимусь, для счастья сотворен? Тогда найдешь такую, с какой будешь счастлив. Я тебе не стану мешать. В случае чего скажешь: ох, дура эта Каська, ох и дура. И чего только продавщице в башку может взбрести? Видали такую? Нет хуже, когда шлюха мечтать вздумает. А как хороша в постели была. Не должен господь бог всем разрешать мечтать. Кому в магазине назначено торговать, тот пускай и торгует. А ты пойдешь как-нибудь на гулянку и найдешь которую искал. Сама к тебе припорхнет. Мало ли нынче гулянок, у всех только забавы на уме, а платья короче да короче. Скоро мужику не понадобится бабе под юбку лезть, потому что не станет юбок. И как тогда ходить, скажи, Шимусь? Так-таки и не стыдиться ничуть? Со стыдом-то оно полегче. А иной раз сколько стыда, столько и удовольствия. Хоть по лапе стукнешь. А ну, вали отсюда, срамник! Ишь распустил руки! Приспичило — в ширинку руку сувай. Сбегаю-ка я завтра с утречка к Зоське Мальцовой, может, ей какой товар привезли. Я б себе тоже справила такое платье. Чем я хуже? Коленки только у меня толстые. Правда толстые, погляди? За прилавком еще куда ни шло. Но на гулянку ты б со мной не захотел пойти. Тебе надо, чтоб коленки были как яблочки. И чтобы на ходу не видать, как сгибаются Может, найдешь себе такую. Пойдете польку плясать, ты притопнешь что есть мочи, у ней платье взметнется, ты и увидишь, она ли тебе суждена. Только не попади впросак. Она-то, может быть, тебе суждена, да ты ей нет. Покажется ангелочком, а такие всего хуже. Станет потом у тебя хворать, а то и не подпустит к себе. И что делать? Хоть беги в нужник. Вот тебе и райская жизнь. Плюнь ты

тогда, Шимусь, на это свое счастье. Скажи: не счастье ты, а дерьмо. И приходи к Каське. Хоть бы такой же пьяный, как сейчас. Все равно приходи. И даже в такой дождь, как сейчас. И в грозу. И с утра. И в обед. И в любой час. Скажешь: закрой, Кася, магазин. Я и закрою. Отчего б не закрыть? Не аптека, чтоб кому-нибудь лекарство понадобилось, не то помрет. А соль завтра купите. Разок и непосоленное можно съесть. Вон читайте, лешие: учет. Черным по белому: прием товара. Что привезли? А ничего, это я с Шимеком тут. Помиловаться охота взяла. Что ж ты, зараза, среди бела дня, не могла, покуда мы купим все, подождать? Ну, могла, да он пришел и сказал. закрой, Кася, магазин. Аккурат ты ему понадобилась? Нету, что ль, у него других, и побогаче тебя? Да с какой бы он мог свои номера выкидывать? Вот так, припереться мокрому, пьяному и сказать, что не хочет жить. А Каська, точно та дыра в плетне, его утешай, кто ж утешит, как не она? Когда он ни пожелает, хоть утром, хоть в полдень, хоть вечером, хоть посреди ночи. А захочет, то и всю жизнь. Я б могла и по росе, и в чертополохе, на току, на стерне. А захоти он, и на сковородке в аду, и было б не хуже, чем в райских кущах, лишь бы с тобой, Шимусь. Мне себя не жаль. Да и чего жалеть? Иногда только подумаю: как же это я буду помирать? Хорошо бы вместе с тобой, Шимусь. Пусть уж она будет, загробная жизнь. Может, ты и там придешь когда-нибудь и скажешь: закрой, Кася, магазин. Но пока надо жить, Шимусь, надо жить. Что может быть лучше?

(Окончание следует)

Зарубежная литература в СССР

Новые книги

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Грейфф Л. **Под знаком Льва.** Перевод с испанского С. Гончаренко. 302 с.

Корбьер Т. **Стихи.** Перевод с французского М. Кудинова. 138 с.

Костолани Д. **Избранное.** Перевод с венгерского. Составитель Е. Малыхина. 543 с.

Пиранделло Л. **Новеллы.** Перевод с итальянского. Составитель Н. Томашевский. 381 с.

«РАДУГА»

Адам Шафи Адам. **Кули. Усадьба господина Фуада.** Перевод с суахили. 262 с. (Современная зарубежная повесть).

Аяла Ф. **Избранное.** Перевод с испанского. Составитель И. Тертерян. 352 с. (Мастера современной прозы).

Вальтер О. Ф. **Удивление лунатиков на исходе ночи.** Роман. Перевод с немецкого. 242 с.

Вежинов П. **Измерения.** Повести. Перевод с болгарского. 320 с.

Вернисаж. Стихи итальянских поэтов. Перевод, составление, вступительная статья Е. Солоновича. 324 с.

Копривица-Ковалевич С. **Поймать лисицу.** Перевод с сербскохорватского. 144 с. (Современная зарубежная повесть).

Пру С. **Воскресные визиты.** Романы, повесть. Перевод с французского. Составитель Ю. Уваров. 334 с.

Райнов Б. **Волшебный фонарь.** Перевод с болгарского. 512 с.

Фрост Р. **Стихи.** Составитель Ю. Здоровов. 431 с. На английском и русском языке.

Шоу И. **Богач, бедняк. Нищий, вор.** Романы. Перевод с английского. 783 с.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Лампа, зажженная в полдень. Рассказы канадских писателей о молодежи. Перевод с английского, французского. Составление, предисловие Н. Пальцева. 271 с.

«НАУКА»

Китс Д. **Стихотворения. «Ламия», «Изабелла», «Канун св. Агнессы» и другие стихи.** Издание подготовили Н. Я. Дьяконова, Э. Л. Линецкая, С. Л. Сухарев. Л. 391 с. (Литературные памятники).

ДИТЕР ВЕЛЛЕРСХОФ

Победителю достанется все

РОМАН

Перевод с немецкого М. РУДНИЦКОГО и Н. ФЕДОРОВОЙ

Глубокой ночью, как по команде, завыли собаки. Сперва громко, испуганно, то сбиваясь на скулеж, то разражаясь возбужденным хриплым тявканьем, в котором словно бы звучало: мы знаем, случилось неотвратимое. Потом их вой стал протяжным, жалобно-тоскливым, и в домах-новостройках по ту сторону парковой ограды все больше народу просыпалось от чуткого сна, люди закрывали окна спален, затыкали уши, а некоторые, пожалуй не отдавая себе отчета, откуда берутся волнение и жадное любопытство, с замиранием сердца прислушивались, ждали, возобновится ли вой, когда псы на миг умолкали, вернее скулили чуть слышно, и, скорей всего, сновали по темной вилле, обнюхивая углы либо ища выход из заточения, затем один из них опять начинал выть, и второй тотчас же подхватывал протяжную жалобу — рыдающие, стонущие звуки, стремящиеся высвободиться из тисков неведомого страха, нарастающие волной и снова бессильно опадающие. Наступило утро, а вой не утихал, и когда Элизабет, которую ни свет ни заря подняли с постели возмущенные телефонные звонки, подъехала к вилле и вышла из машины, она сразу услыхала вопли собак — отчаянные, призрачные голоса-узники, поминутно срывающиеся на измученный плач.

Она поспешила одеться и выехала на виллу не от дурных предчувствий, просто хотела навести порядок и уже к завтраку вернуться домой. Но с того мига, как она отперла дверь и собаки, чуть не сбив ее с ног, выскочили с визгом на улицу, однако буквально через минуту возвратились и побежали по лестнице наверх, сердце у нее глухо забилось, переполненное страхом. Она еще не догадывалась, что ее ждет. Ведь пока она торопливо поднималась по ступенькам и шла за скулящими псами по длинному коридору второго этажа в комнату Рудольфа, в душе у нее свершалось обратное движение — она отступала назад, убегала все дальше прочь и на пороге комнаты пришла к состоянию какой-то нечеловеческой беспристрастности и пустоты.

Рудольф застрелился. Выстрел отшвырнул его головой в угол кровати, к стене, рядом валялось ружье, глаза самоубийцы были широко раскрыты, пуля начисто снесла ему затылок, и на обоях, как нимб мученика, расползлось багровое пятно. Поглядев на босые ноги брата, она поняла, что он запихнул дуло в рот, а курок спустил пальцем ноги.

За этим пониманием, наверное, и прячется кошмар. Или это и есть кошмар — смотреть в полной бесчувственности и лишь твердить себе, что теперь уже поздно, поздно? Быть вот так отрезанной от всякого прощения? Вот так стоять под взглядом этих неподвижных глаз, которые ждали ее, а теперь навек угасли, остекленели, лишь безмолвно вопиет кровавый провал рта.

Она не смела ни повернуться спиной, ни подойти ближе к распростертому телу и изуродованному черепу. Рудольф, звенело в мозгу. Но мертвый будто и не принимал этого имени. Он был никто. Неприметно, ни на миг не прекращаясь, свершалось в нем преображение. Смерть, запечатав изнутри его глаза, теперь овладевала им все больше. Элизабет вынесла себе приговор — посмотреть на него. Он лежал, неумолимо, отрешенно, в холодной каменной отчужденности, которая еще яснее, чем леденящий ужас, говорила: возврата нет. Его время, так и прошедшее мимо нее, истекло.

Окончание. Начало см. № 7 и 8, 1986 г.

10. Год на исходе

Словно бы после чудовищного громового раската как-то вдруг наступила тишина. Рудольфа похоронили рядом со старым Патбергом, на фамильном участке.

На похороны никого не приглашали, а в объявлении, напечатанном в местной газете, просили не слать ни букетов, ни венков и воздержаться от визитов соболезнования. Пастор — он с тактичностью сообщника принял крупное пожертвование на ремонт своей церкви — был тот же, что хоронил Патберга-отца. Только на сей раз он, учитывая пожелания семьи, ограничился литургическими формулами и обрядами и словом не обмолвился о личности покойного, что, без сомнения, было намного лучше и достойнее. Они пришли вшестером — жиденькая группка людей за спиной у пастора, который молился, устремив взгляд в отверстую могилу.

Ютта с Андреасом оставили своих девочек дома, Кристоф свалился в жестоком гриппе. Лотар примкнул к провожающим на правах старого друга семьи, но прямо с кладбища уехал к себе в контору. По настоянию Элизабет на траурной церемонии присутствовала и Альмут Вагнер. Вернувшись с кладбища, она поддалась на уговоры и зашла выпить чашку бульона, но уже полчаса спустя, когда в мучительно-тягучей беседе повисла пауза, под каким-то предлогом поспешила распрощаться.

Они остались вчетвером и тотчас же завели разговор о вилле. Все прочие темы для них, казалось, иссякли, и от этого они впали в холодную рассудочность и как будто бы могли теперь помыслить и сказать буквально все. Виллу можно выставить на продажу, можно отремонтировать и попытаться сдать в аренду, можно снести и выстроить на ее месте большое конторское здание. Одного нельзя — отбросить все эти варианты и ничего не делать.

Фогтман в эти дни наблюдал за женой с затаенным беспокойством и постепенно проникся восхищением перед той спокойной, сдержанной сосредоточенностью, с какой она делала и говорила все что нужно. Это она решила, что обезумевших собак необходимо усыпить. Она же набросала короткие, скупые строки извещения о смерти и по телефону передала его в газету, произнося слова бесстрастно и отчетливо. Но после похорон, когда они обсуждали с Юттой и Андреасом дальнейшую судьбу виллы, он начал догадываться, что поразительное спокойствие Элизабет идет не от твердости характера, не от душевной стойкости, а от внутренней пустоты. Ему бросился в глаза рассеянный, суетливый жест, который она повторяла вновь и вновь: проводила кончиками пальцев по лбу и виску, будто смахивая что-то. Вернее, даже не смахивая, а безотчетно выискивая, нащупывая. Она не ощущала самой себя, не могла себя найти. Собственное тело, собственный облик казались ей чужими.

Фогтман подпер голову руками и спрятал лицо в ладонях. Что с ним происходит? Нервы, что ли, расходились? — подумал он.

Да-да, нервы, но это же не объяснение. Это следствие, и только... выражение чего-то иного, в чем он себе не признавался. Такое безразличие одолевало его, такая подавленность. Он был точно парализованный. Впереди никакого просвета — сплошь нерешенные проблемы, горы проблем. С каждым днем он все больше запутывался в мелочах, откладывая важные вопросы на потом. Скоро надо будет повидать кредиторов, выговорить у них кое-какие уступки, но ему никак не удавалось выйти из апатии.

Он прошелся по комнате, затем стал у окна и посмотрел на фабричный двор, где возле склада загружали рефрижератор. До чего же он все это ненавидит! И на кой черт оно ему? Жизнь, в которую он угодил, тяготила все больше и больше. Долгие годы он расточал силы на то, чтобы не дать ей остановиться, но так толком и не понял, не разгадал секрета легкости, с какой иные люди делали деньги.

Фабрики в Хённингене и Борнхайме (одна выпускает фруктовые соки, вторая — овощные консервы) придется продать, хотя задача эта наверняка непростая, потому что прибыли они уже не дают. Сегодня утром он позвонил во франкфуртскую контору Оттера, и ему сообщили, что Оттер разъезжает сейчас по США и Канаде и вернется дней через десять. Значит, заирская сделка уже на мази? Он наивно полагал, что инсектициды для Оттера — самое главное и что компаньон вновь напомнит о себе, а тот, оказывается, покуда ворочает другими, быть может куда более крупными делами, меж тем как сам он торчит тут словно парализованный — провинциальный горе-бизнесмен, попавшийся на удочку мошенника. Позорная история.

Он опять прошелся по комнате.

В последнее время консультанты по вопросам инвестиций буквально завалили его предложениями насчет паевого участия и недвижимого имущества. Фогтман невольно спрашивал себя: не разумнее ли все распродать и выгодно поместить вырученные деньги, а не тянуть дальше лямку середнячка-предпринимателя, которому все труднее конкурировать с крупными фирмами. Ведь, по сути, никакой он не предприниматель, он отнюдь не чувствует тяги к управлению многолюдным производством. Он обманывал себя. И давно уже понял, что подвернись ему что-нибудь — и он безболезненно со всем этим распрощается. Но что — другое? Он наверняка сумеет жить иначе, только не в силах вообразить себе это. Вероятно, потому, что нет ни малейшей возможности вот так запросто распрощаться с той жизнью, в какую он ввязался.

Он огляделся вокруг. За окном, на фабричном дворе, уже горели фонари. Он включил настольную лампу. Синяя папка — что в ней? Расчет рентабельности. Рентабельности чего? Кого? И при чем тут я?

С недоумением смотрел он на папку, не в силах превозмочь себя и взять ее в руки. Надо выйти на улицу, прогуляться, самочувствие все равно не из лучших.

Но он по-прежнему не двигался с места. Как бы там ни было, завтра он поедет в Мюнхен и зайдет в оба агентства. Как бы там ни было. Он нажал клавишу селектора и вызвал фрау Крюгер, чтобы отдать ей кое-какие распоряжения и тем самым окончательно определиться. Завтра утром он вновь сядет за руль, и здешние события останутся позади. А впереди будет другое. К примеру, Катрин — но лишь как награда, сперва нужно решить главное. Делу время — потехе час. Кстати, кто это сказал, что на войне лучше принять ошибочное решение, чем вовсе никакого? Неплохой жизненный девиз, ведь жизнь — та же война. Ладно, он принял ошибочное решение, а все-таки оказался прав. Или окажется прав — вступит в битву и одержит победу. Победитель — вот кто устанавливает, что должно войти в анналы истории, и проигравший ничего не может возразить. Проигравшему затыкают рот. Он ложится костьми, хочешь не хочешь гложет землю. Кровью давится! Черт побери, ну с какой стати это лезет ему в голову? Не хотел ведь больше об этом думать.

Вечером, когда он пришел домой, в большой комнате сидел Лотар. Читал газету, в полном одиночестве, — такое впечатление, будто он здесь живет. По его словам, он зашел проведать Элизабет, но сейчас она с доктором у Кристофа. Фогтман увидел на столе две чайные чашки и отвел взгляд, словно не желая замечать то, что его не касается. Он чужой в этом доме. Хотя порою забывает об этом. А после, вот как сейчас, это ощущение вновь пронзает его нежданным холодом. Все здесь как неродное. Кожа кресла и та отталкивает его руку.

— Есть новости из Мюнхена? — спросил Лотар.

— К несчастью, все подтвердилось.

— В таком случае пора предъявить иск по обвинению в мошенничестве.

Фогтман кивнул — говорить с Лотаром на эту тему ему не хотелось. Старая дружба дала трещину. Бесполезные советы только действуют теперь на нервы. Если Лотар страдает от этого — ничего не попишешь. В конце-то концов поделом.

— Поужинаешь с нами?

— Благодарю. Времени нет, извини. — Лотар погрузился в гнетущее молчание. Потом, не поднимая головы, произнес: — Я должен сказать тебе кое-что еще, Ульрих. Собственно, ради этого я и пришел.

— Выкладывай.

— Речь идет о Кристофе. Элизабет просила меня обо всем тебе рассказать. Парень получил повестку в суд. Его поймали в магазине на воровстве.

Ни испуга, ни удивления — он лишь с какой-то сверхъестественной отчетливостью прочитал на красном лице Лотара озабоченность, почти мольбу и услышал, как Элизабет в передней беседует с доктором, который, похоже, собрался уходить.

— Магазинная кража... Н-да, приятная новость.

— Ты только не волнуйся, — сказал Лотар и добавил, точно в утешение: — Я тоже узнал об этом только что.

Фогтман ни секунды не сомневался, что это вранье. Лотар узнал обо всем гораздо раньше. Они секретничали у него за спиной. И наверное, правильно делали, потому что ничегошеньки в нем не шелохнулось, только волной поднялись отчуждение и холод.

Ладно, раз им хочется, пусть секретничают, он не против. Одно плохо: на лицо так и просится ледяная улыбка, а голос звучит фальшиво, с издевкой:

— Как мило с твоей стороны снять с моих плеч хоть некоторые заботы.

В эту минуту вошла Элизабет и остановилась возле двери — то ли собралась сразу опять уйти, то ли искала у стены опору.

— Лотар только что сообщил мне, — сказал он. — Я, видимо, должен подписать какую-то бумажку?

Она стояла выпрямившись. Бог весть каким усилием.

— Давайте без долгих разговоров, а?

— Я все время хотела тебе сказать, — отозвалась она, — но ты же и сам теперь понимаешь, что не могла.

Она повернулась и вышла из комнаты. Мелькнула мысль: не пойти ли за нею? — но из-за Лотара он постеснялся.

— Она должна была сразу мне сообщить, — буркнул он.

— Конечно,— ответил Лотар,— но у нее не хватило сил. Ты же видишь.

Он кивнул, глядя на пустую коньячную рюмку, которую все еще держал в руке. Поставил рюмку на стол.

— Схожу к Кристофу.

— Ульрих, — просительным голосом сказал Лотар, — мальчик болен, и даже очень.

— Знаю, — коротко бросил он. И уже в дверях оглянулся: — Сделайте милость, не считайте меня идиотом.

Когда он вошел, Кристоф лежал на боку, но, едва увидев его, устало повернулся на спину. Он дышал ртом, из ноздрей торчали толстые ватные тампоны. Лицо бледное, потное, в глазах лихорадочный блеск.

— Ну как ты? — спросил Фогтман. — Получше сегодня?

Кристоф сглотнул, будто хотел что-то сказать, но только медленно покачал головой. На миг он обессиленно закрыл глаза, словно его клонило в сон.

Фогтман придвинул стул и уселся.

— Да уж, вижу. Здорово тебя скрутило.

Кристоф и виду не подал, что услыхал отца и ждет от него продолжения.

— Тебе ничего не нужно? Может, принести что? — Ответом опять было молчание, и Фогтман добавил: — Ты только скажи.

Осунувшееся, измученное, погасшее лицо — лишь иногда встрепенутся веки, поднимутся на миг и снова упадут, да рвется с губ хриплое, тяжелое дыхание. Но чем дальше Фогтман всматривался, тем ярче проступало в этом лице неуловимое сходство с Элизабет, хотя ее он ни разу такой не видел, и ему вдруг почудилось, что в этом-то сходстве и кроется подспудная причина болезни. Слишком уж они замкнулись друг на друге, подумалось ему Это нехорошо. Надо поломать. Он давно знал, что так случится. До сих пор Элизабет отказывалась послать Кристофа в закрытую школу. Но теперь он обязательно настоит на своем.

— Послушай, чтобы выздороветь, надо бороться. Так уж в жизни устроено, надо напрячь силы. Ну а пока отдыхай.

Вставая, Фогтман хотел было ободряюще кивнуть сыну, но Кристоф снова закрыл глаза, словно желал остаться в одиночестве.

Незадолго до рождества в мюнхенскую контору позвонил Оттер. Есть, мол, праздничный сюрприз, и он с удовольствием заедет в Мюнхен, тем более что все равно собирается в Аугсбург. Голос Оттера, приветливый, звучный, самоуверенный, словно поток, мягко подхватил Фогтмана и понес его прочь от досадных мелочей на письменном столе, но напоследок он инстинктивно сделал протестующее движение, словно желая вырваться на свободу:

— Для меня это не вполне удобно. А в чем собственно, дело?

— Киншаса, — сказал Оттер. — Сделка на мази.

— Вот как. Сожалею, но мне надо непременно съездить в Пфальц, повидать поставщика Впрочем, если нельзя отложить на январь, я, так уж и быть, наведаюсь во Франкфурт.

Он и сам толком не понял, зачем вылез с этим предложением. Все это было крайне обременительно и не с руки: ведь у него еще оставались дела в Мюнхене и ни в какой

Пфальц он не собирался. Но интуиция подсказывала, что нужно обязательно сослаться на занятость: дескать, у меня невпроворот других важных дел, а заирский бизнес отнюдь не самое главное.

— Жаль, — огорчился Оттер, — а я-то рассчитывал заодно провести в Мюнхене приятный вечерок. С вами и с Катрин. Ладно, отложим до другого раза. Когда вы могли бы приехать?

Договорились на послезавтра. Поэтому он вполне успел купить рождественские подарки: браслет, шейные платочки и сумку для Элизабет, духи и уже примерянное манто для Катрин, ну и всякие пустячки для секретарш. Только для Кристофа он не придумал подарка. Впрочем, об этом, как всегда, позаботится Элизабет. А он — что может он купить для сына, если тот словом не обмолвился о своих интересах. Знай сидит над книжками.

Он себя не обманывал: звонок Оттера поднял настроение, и странное дело, чем сильнее грыз его червь сомнения и неуверенности, тем жарче разгоралось любопытство. Уже в лифте франкфуртского офиса ему пришло на ум еще несколько доводов, по которым он отклонил предложение Оттера встретиться в Мюнхене. Он хотел побывать в оттеровской конторе, хотел увидеть этого человека в привычной для него обстановке. И уйти хотел по собственному усмотрению, когда сочтет нужным.

И вот перед ним табличка с надписью: «ФРЕД ОТТЕР. Инвестиции. Финансирование», которая казалась сдержаннее, проще и вместе с тем солиднее, чем он думал. Молодая конторщица с круглым невыразительным лицом впустила его и забрала в передней пальто. Через стеклянную дверь он прошел в небольшую приемную; седая, средних лет женщина встала из-за машинки, приветливо поздоровалась. А в дверях справа уже появился Оттер — с виду тщедушнее, меньше ростом и головастее, чем запомнилось Фогтману, но с улыбкой на лице, загорелый, в старом, спортивного покроя пиджаке поверх заношенного пуловера.

Я его совсем не знаю, подумал Фогтман.

Бог весть откуда взялось это ощущение, но он сразу понял, что виду показывать нельзя, поскольку главное сейчас — подхватить тот доверительный, дружеский тон, каким Оттер с ним поздоровался и пригласил в кабинет. Комната не очень большая, с двумя окнами, выходящими на такой же точно дом с такими же точно окнами. И мебель тоже безликая, казенная — стенной канцелярский шкаф от пола до потолка, письменный стол. Неожиданным был только царивший кругом беспорядок. Подоконники завалены папками, возле письменного стола прямо на полу — кипы старых газет и журналов, на стенах светлые квадраты от снятых фотографий, а сами фотографии штабелем сложены на одном из кресел в углу.

— Уборкой занимаюсь, — сказал Оттер. — Это у меня демонстрационная стена, здесь я показываю клиентам новые объекты. Вот, например, взгляните. Буровые вышки в Канаде.

— Вы что же, подались в геологи-разведчики? — спросил Фогтман.

— Просто наладил кой-какие связи, для того и ездил. В Центральной Канаде и на Юге США как будто бы обнаружены новые крупные месторождения нефти и газа. Теперь дело за финансированием. В Квебеке создан международный инвестиционный фонд, а я намереваюсь на паях с каким-нибудь компаньоном основать тут у нас коммандитное товарищество для вкладчиков-немцев. А после мы на правах партнеров с ограниченной ответственностью войдем в канадско-американскую компанию.

— Как я понимаю, предприятие чисто убыточное.

— На стадии изысканий — да. Но в перспективе колоссальные барыши.

— Never invest in a black box[1], — сказал Фогтман.

Этот лозунг, который он несколько дней назад вычитал в газете, в экономическом разделе, стал для него формулой недоверия, и против Оттера он выдвинул его сейчас как магическое заклинание от неизъяснимого, притягательного соблазна, какой источали слова этого человека. В чем же дело — в спокойных и уверенных звуках голоса или в той неуловимой смеси хитрости и серьезности, настороженности и многоопытности, которая отражалась на его лице? Урбан вызывал антипатию. Оттер был симпатичен, располагал к себе, хотя здесь, в будничном своем окружении, немного смахивал на старого, облезлого лиса. Оттер играл роль умудренного опытом, слегка побитого жизнью и прошедшего огонь и воду героя. И когда он появлялся на сцене, окружающие были просто

[1] Не вкладывай денег в черный ящик *(англ.)*.

обязаны ему подыгрывать. Он подавал реплики, а собеседник с легкостью на них отвечал. Оттер исподволь направлял диалог, небрежно, спокойно, с паузами, пока незаметно не подводил к цели. А партнеру все чудилось, будто он подмигивает, незаметно, украдкой, насмешливо, давая понять: мы, мол, просто играем. Но уж не в этом ли и была подлинная иллюзия?

— Я отлично вас понимаю, — сказал Оттер. — Но кое-кто находится в совершенно ином положении. Для этих людей black box — это государство, сосущее из них налоги... Кофе хотите? Или чая?

— Кофе, — сказал Фогтман.

Оттер подошел к двери, велел подать кофе, потом, продолжая без умолку говорить, открыл стенной шкаф, в котором был спрятан сейф с наборным замком. Оттуда он достал и положил на стол плоскую черную папку.

— Это заирские материалы. Как я уже говорил, все на мази. Общая сумма совпадает с моими расчетами, только вот предварительные издержки оказались повыше. Правда, зато и условия выгоднее, чем я думал.

Оттер открыл папку и заглянул в бумаги.

— Это бесценный клад стоимостью семь миллионов двести тысяч марок, — сказал он, — восемнадцать векселей на четыреста тысяч каждый. А самое замечательное — сроки действия: от трех до двенадцати месяцев, начиная с тридцать первого декабря. Два первых истекают тридцать первого марта, два последних — тридцать первого декабря будущего года. — Он подвинул папку Фогтману, чтобы тот рассмотрел векселя, уложенные попарно в конверты из прозрачной пленки. — Вот, взгляните.

Фогтман полистал папку, с обеих сторон осмотрел векселя, скользнул взглядом по суммам и срокам платежей, изучил подписи и штемпеля, не в силах избавиться от ощущения, что ничего толком не понимает, хотя видит все вполне отчетливо.

— Чьи это подписи? — спросил он.

Оттер чуть подался вперед и объяснил:

— Это — дирекция холдинг-банка киншасского импортера, а это — гарантия Заирского государственного банка за подписью министра экономики. В самом низу в папке договор купли-продажи и государственная импортная лицензия. А тут — разрешение на вывоз валюты. При хроническом валютном дефиците в Заире это, по сути, ключевой документ. Как видите, бумаги — первый сорт.

Не отрывая глаз от солидных, размашистых подписей, от множества штемпелей и печатей, Фогтман чуть отодвинул папку. Было в ней что-то, делавшее ее неприкосновенной. То ли крупные суммы, то ли чопорные, самоуверенно-тщеславные подписи, то ли непривычные имена — сразу и не определишь. Но сказал Фогтман совсем другое, вопреки своему впечатлению, которое не мог ни мотивировать, ни выразить словами:

— Недурно.

— Вот и я горжусь, — улыбнулся Оттер.

Что ж, его право. Он долго работал над этой сложной сделкой. Не раз и не два ездил в Киншасу, изучал обстановку и тамошние порядки, выяснял, кто стоит у руля и как до этих людей добраться. Ему, новичку, пришлось пробивать себе дорогу среди прожженных торгашей и деляг, которые съехались сюда со всего света и осаждали те же ведомства, что и он. Волей-неволей он выучился обхождению с падкими до взяток заирскими чиновниками, от благосклонности которых зависело буквально все, а притом они очень пеклись о своей выгоде и своем достоинстве. Сам он, Фогтман, так бы не сумел. Ему было бы противно, он бы не выдержал. А Оттер сумел. Итог лежал между ними на столе в этой папке, несколько спесивый, но бесспорный.

— Вы первый, к кому я обращаюсь, — сказал Оттер, — потому что знаю: вам сейчас позарез нужна краткосрочная сделка. И эта была бы для вас просто находкой. Хотя вы, конечно, можете сразу отказаться. Меня это, как вы понимаете, в затруднительное положение не поставит.

Он улыбнулся. Принесли кофе. Оттер захлопнул папку и спрятал ее обратно в сейф.

— Я рассматриваю эту сделку как часть большого целого, — сказал он, вернувшись к столу, — для меня это основа продолжительных деловых связей. Вы доверили мне несколько векселей, и я вполне удовлетворен нашим сотрудничеством. Теперь мой черед кое-что вам подкинуть.

— Это не очень убедительно,— сказал Фогтман.— Назовите-ка сперва ваши цифры.

— Если вы берете обязательство на миллион четыреста тысяч, я даю вам шесть векселей со средними сроками платежа, каждый на четыреста тысяч марок.

— У меня нет таких денег.

Он ответил, еще не успев подумать, словно машинально отбивая какую-то непостижимую атаку, и лишь после, задним числом, мелькнула мысль, что это ерунда, деньги-то в любой момент можно достать, когда имеешь на руках ценные бумаги на два миллиона четыреста тысяч, если, конечно, эти бумаги будут сочтены правомочными. Но почему Оттер сам не идет на это?

— Вы же не выслушали меня до конца,— проговорил Оттер, поднес к губам чашку и снова поставил ее на стол.— Разумеется, я не жду всего сразу. Пока возьмите на себя часть предварительных расходов, ну, скажем, двести тысяч марок. Они понадобятся, чтобы получить разрешение на отправку товара морем. А что до оставшихся миллиона двухсот тысяч, то мне пока достаточно поручительства на три первых моих векселя. Само собой, на ваши векселя я тоже дам вам гарантию.

— Зачем? — спросил Фогтман. — У нас же есть гарантия Заирского государственного банка.

— Вы еще не имели деловых контактов с третьим миром, — сказал Оттер с мягкой, дружелюбной снисходительностью, которая пушистым туманом заволокла сознание Фогтмана и вызвала у него легкое головокружение. Он словно стоял в лифте, ехавшем не то вверх, не то вниз, а перед глазами каждую секунду вспыхивало: быть может, около миллиона марок возможной прибыли за полгода. Даже за вычетом банковских издержек это превышает сумму, которой недостает его мюнхенской фирме. Таким образом он решит все свои проблемы. Более того, приблизится к желанной цели, к независимости и...

Спокойный голос Оттера по-прежнему неторопливо журчал, что-то объясняя, а он, Фогтман, лишь с каким-то тягостным запозданием уразумел, о чем идет речь: векселя из третьего мира банки принципиально учитывали только при обеспечении со стороны какого-либо европейского партнера. Таков был обычный порядок, ускорявший перепроверку. Однако для первоклассных бумаг с государственной гарантией, какими располагали они, процедура упрощалась, достаточно было частичного поручительства некоторой солидной суммой. Просто чтоб документально подтвердить свое доверие. Уверенность в себе внушает доверие, такова первейшая заповедь в денежных делах.

— Как видите, — продолжал Оттер, — у меня есть причина искать солидного компаньона. Ибо я не Дед Мороз, чтобы попросту взять и подарить вам состояние. Мне нужно миллион двести тысяч обеспечения, потому что этот ключик отворит двери моим первым векселям. Но, как я уже говорил, вы получите от меня поручительство на ту же сумму под ваши бумаги, чтоб не создавалось впечатления, будто вас раздели чуть не догола.

Видимо, теперь Оттер высказался до конца. Все самое важное, вплоть до сроков действия предлагаемых векселей и точных сроков платежа, было как будто оговорено. Тем не менее Фогтману чудилось, что он что-то проглядел, некую скрытую деталь, которую, возможно, следовало искать совершенно в другом направлении, некую якобы второстепенную мелочь, которая лишь много позже проявится в истинном своем значении. Он искал, он размышлял, рассеянно поблагодарив, когда Оттер налил еще кофе. Внезапно в голове мелькнуло, что все это может на поверку оказаться громадным блефом, без каких бы то ни было реальных основ, и он жестко, недоверчиво проговорил:

— Я хотел бы увидеть складское свидетельство.

— Простите? — переспросил Оттер.

— Складское свидетельство. Документ о том, что товар где-то хранится.

Тень досады скользнула по лицу Оттера. Он молча, с таким видом, будто ему жаль понапрасну ходить туда-сюда, пошел к шкафу и вернулся назад с зеленым формуляром.

— Прошу вас.

Значит, дело не в этом. Значит, девятьсот шестьдесят тысяч ампул с ядом существуют. Лежат, объявленные как инсектицид, на складе в Рурмонде, в Голландии, у самой границы с ФРГ; Оттер решил, что так будет надежнее. Придет время, и в Роттердаме их погрузят на корабль.

— Когда? — спросил Фогтман.

— Как только получим из Заира двадцать пять процентов покупной стоимости. Так указано в договоре.

Интонация Оттера едва заметно переменилась: дескать, пора и вам высказаться более определенно. Либо проявите интерес, либо нет — одно из двух.

— Хорошо, — сказал Фогтман, — думаю, мы все решим. Но сначала я должен по-

советоваться с моим банком. И вам придется подождать до середины января. На праздники ни с кем из тех, от кого хоть что-нибудь зависит, связи не наладишь.

Оттер, не отвечая, подошел к столу и полистал календарь. Но думал он при этом, наверное, о совсем-совсем другом, потому что медленно, задумчиво перевернул довольно много страничек.

— Какие вам нужны документы? — наконец спросил он.

— Копии договора купли-продажи, сопроводительных бумаг и векселей.

Только теперь Оттер поднял голову. На лице его читались обычное спокойное дружелюбие и уверенность в себе.

— Вы их получите.

11. Верхушка айсберга

Кристоф выздоравливал медленно, точно с трудом пробуждаясь от изнурительного сна, вновь и вновь насылающего сумбурные грезы. Какая-то тяжесть внутри не отпускала его, тянула книзу, едва лишь он выныривал из тумана слабости и лихорадки и открывал больные, саднящие глаза. Тампоны в ноздрях давили на лобные пазухи и тормозили, стирали все мысли. Он старался не шевелить головой и дышал ртом. На ночном столике тикал будильник. Большей частью Кристоф его не слышал. Временами тиканье становилось неестественно громким и торопливым. А то словно исподтишка обрывалось, и он опять засыпал.

Под его ладонями одеяло преображалось, дыбилось горбом и костенело как панцирь диковинного зверя. Он цепенел от страха, но не мог стряхнуть наваждение. Мозг не сопротивлялся, тампоны душили всякую мысль. Он осторожно ощупал их, потрогал болезненно вздутый нос. Тампоны были пропитаны гноем и свернувшейся кровью. Кончиками пальцев Кристоф отколупнул присохшие хвостики и легонько дернул. Он уже раз так делал, а потом опять залепил их назад. Сейчас он их вытащил, будто два длинных влажных корня. Теплая кровь хлынула из ноздрей, и тяжесть в голове растворилась в беспредельном облегчении, благотворном, как долгий плач.

Повернув голову набок, он попытался замереть. Он в самом деле плачет или и на это уже нет сил? Все вокруг казалось липким и холодным, он отчаянно старался сглотнуть кровяные сгустки, а их было все больше. И вдруг он выгнулся от удушья дугой и в приступе кашля начал шарить по столику в поисках колокольчика, боясь свалить его на пол. Заходясь от неуемного кашля, услыхал звон. Луч света упал на него, на мокрую от крови простыню. Слова не достигли его сознания, он был слишком вял, слишком безволен.

Хотелось ли ему жить дальше? Было ли страшно? В тот вечер, после кражи, он долго-долго бродил под дождем и твердо решил умереть. Умереть — расхвораться и исчезнуть, а тем самым улизнуть от всех бед. Но вероятно, он был не вполне искренен. Ведь он себя почти не помнил. Тогда, под дождем, он думал, что ему необходимо пожертвовать собой, чтобы помирить родителей. Он был лишний, он мешал. Никто в нем не нуждался. Настала пора исчезнуть. Умереть, вымокнув под дождем. Он и правда расхворался не шутя. Видел, как они боролись с его болезнью — мать, доктора и даже отец, который появлялся реже других, говорил несколько ободряющих слов и опять уходил. Кристоф знал: все тщетно. Они не властны сделать его здоровым, если сам он этого не хочет.

С тех пор как вытащил из носа тампоны и едва не истек кровью, он уж не боролся, ушел в ватное тепло своей слабости. Парил в нем, точно в капсуле, а дни и ночи, безликие, монотонные, скользили мимо. Умирать больше не хотелось, даже на это не было сил. Затаенное напряжение отхлынуло — Кристофа словно избавили от работы, которая была ему не по плечу. Он теперь чаще бодрствовал, температура не мучила. Опухоль на суставах опадала. Лишь изредка, когда он двигался, по плечам, локтям, запястьям, вызывая у него невольный стон, прокатывалась как предупреждение волна боли. Но теперь она была много слабее и быстро проходила. После каждого такого приступа его охватывала мягкая, умиротворяющая истома. Он купался в ее теплых струях, прятался в ее пушистой, как облако, тишине. Мучительная тяжесть и ощущение скованности уступили место приятной пустоте. Я еще жив, думал он, и эта мысль вела за собой другую, еще более ясную и определенную: я не тот, за кого вы меня принимаете. Эта фра-

за угнездилась в его сознании, упокоилась в нем, точно проросшее зерно. Я не тот, за кого вы меня принимаете. Он тихонько, в тайном упоении повторял эту фразу. Вот теперь — Кристоф чувствовал,— теперь он поправится. У него есть на это время, много-много времени. Пришел январь — и вместе с ним новые снегопады.

Фогтман оторвался от книги и посмотрел на заснеженные холмы Нижней Баварии, проплывающие за окном вагона-ресторана. Он ездил на важное совещание в свой банк, в Зигбург, и теперь возвращался в Мюнхен. Недавние события словно призрачной дымкой подернули картины изображенного в книге края, мрачного и напоенного солнцем.

Заир — страна в сердце африканского континента, величиной почти равная Центральной, Западной и Южной Европе вместе взятым и потенциально одна из богатейших в Африке — виделся автору как огромная плоская чаша с приподнятыми краями, окаймленная пологими возвышенностями и горными кряжами, самый мощный из которых протянулся на востоке. Там, за цепью озер Восточно-Африканского грабена, более чем на пять тысяч метров вздымался к небу пик Рувензори, чьи снега царили над поясом влажного леса. Фогтман отчетливо представил себе, как сверкает над серо-зеленым лесным морем белая вершина, а в ушах его прозвучали странные слова: человеку всегда видна только верхушка айсберга.

Глетчер Рувензори преобразился, блеснул синеватой зеленью разлома, поплыл, иззубренный, средь бурного серого моря, средь круженья озерных птиц. Верхушка айсберга, белое свечение опасности. Безмолвное напоминание о чьих-то словах. Видно всегда только то, что над водою.

Хартвих — вот кто это сказал. Директор Хартвих, с которым он уже лет пять обсуждал все свои финансовые проблемы, но на сей раз так его и не понял. Хартвих любил такого рода образные выражения. Однако же явно удивился, когда Фогтман выложил перед ним копии заирских векселей и сопроводительных документов. «Что это? — пробурчал он.— Такого у нас еще не бывало. Вы теперь и экспортными операциями занялись?» Фогтман объяснил, что речь идет о встречной сделке с должником. Ему, дескать, очень важно побыстрее все оформить. Ведь бумаги как будто бы имеют твердое обеспечение. Хартвих возражать не стал и некоторое время, одобрительно мыча, перелистывал документы. А потом сказал, что решение по этому вопросу, к сожалению, входит в компетенцию франкфуртского руководства. У них там есть специальный отдел, занимающийся внешнеторговыми рисками. Проверка займет недели две, поскольку в подобных случаях требуется собрать самую свежую информацию. Ведь когда имеешь дело с третьим миром, видишь на поверхности только верхушку айсберга.

Почему это его напугало? В конце-то концов Хартвих просто-напросто сослался на один из деловых обычаев банка, косвенно извинившись за задержку и вместе с тем обнадежив, что, вероятно, все очень скоро уладится, в том числе и с этой новой сделкой. Хартвих был даже как-то по-особенному любезен — так он всегда реагирует на крупные суммы. Вдобавок он предложил еще раз повысить объем кредитования, а это явно добрый знак.

Причин для опасений нет. Банк, как положено, проверит векселя и прочие документы, а до тех пор надо ждать и не взвинчивать себя понапрасну. В его распоряжении ровно столько времени, сколько он сумеет водить Оттера за нос, не давая твердого ответа. Он опять устремил взгляд в книгу и попробовал было вернуться к рассказу об изнурительном восхождении на Рувензори, но не смог больше сосредоточиться. Подозвал официанта и расплатился.

В конце следующего дня позвонил Оттер. Фогтман к тому времени повидал своего адвоката и обсудил с ним иск против Хохстраата и Урбана, а через полчаса намеревался встретиться в «Байєришер хоф» с Юттой и Андреасом. Отпуск у них заканчивался, они приехали из Бад-Ишля и решили последние два дня провести в Мюнхене, подышать воздухом большого города и приобщиться к культуре. На сегодняшний вечер программа предусматривала вернисаж и ужин втроем. Фогтману оставалось только подписать почту, когда фрау Эггелинг сообщила, что у телефона Оттер, господин Оттер, звонит из Аугсбурга. Желает ли он ответить на звонок?

— Переключите разговор в мой кабинет,— сказал он.

Связь была плохая, в трубке шуршало и потрескивало — может быть, от этого голос Оттера звучал так странно? Оттер казался встревоженным и, против обыкновения, раздраженным и буквально сразу же выложил свой вопрос. Ему, мол, нужно на несколько дней уехать, и он хотел бы узнать, как обстоят дела.

— К сожалению, пока ничего не могу сказать. Мой банк переслал копии франкфуртскому руководству, на проверку.

— Напрасно они перетрусили,— сказал Оттер,— ей-богу, ведут себя как в глухой провинции.

— Мне сказали, что для операций с третьим миром это обычная процедура. Необходимо заранее проверить особые риски. Я, к сожалению, не в силах этого изменить.

— Почему вы не обратитесь в другой банк?

— Потому что здесь ко мне наверняка отнесутся наилучшим образом.

— Ладно, дело ваше. Но для меня вы партнер и должны доказать свою заинтересованность. Я, во всяком случае, не оставлю в печи готовый пирог, а то ведь сгорит.

— Я почти уверен, что все будет в порядке,— сказал Фогтман,— но придется немного потерпеть.

— В этом деле вы, господин Фогтман, допустили ошибку. Слишком вы были пугливы, слишком нерешительны. Нам следовало предъявить оригиналы документов. Копии выглядят несерьезно, неубедительно. И мы сейчас попусту теряем бесценное время.

— Но вы ведь согласились, чтобы я отдал на проверку копии.

— К сожалению, пошел у вас на поводу.

— Однако же вы несколько передергиваете наш тогдашний разговор,— заметил Фогтман.

— Да-да, возможно. Но войдите в мое положение. Как вы понимаете, есть и другие желающие. С ними все давно было бы на мази.

Фогтман молчал. Разговор словно бы обрывался, а вместе с ним все фантазии, что связывали его с Оттером. Заира не было. Кресло, в котором он сидел, и огромный письменный стол с пламенной текстурой знаменовали всего-навсего косную будничность.

— Этого я, конечно, изменить не могу,— сказал он.

— Нет, можете,— возразил Оттер,— хотя, конечно, времени в обрез.

— Я своих людей пришпорю,— посулил Фогтман.

На этом деловая беседа закончилась, и, точно два боксера, услыхавшие заключительный гонг, они вышли из клинча. Оттер поинтересовался, как он провел рождество и Новый год, просил кланяться Катрин.

Если он будет звонить на следующей неделе, пусть скажут, что меня нет, решил Фогтман.

В ярко освещенных залах галереи яблоку было негде упасть, на каждом шагу — притом спиной к картинам — стояли кучки людей с бокалами шампанского или апельсинового сока в руках. Тут и там по милости этих веселых, говорливых компаний, едва не тыкаясь носом в выставленные полотна, пробирались по одному, по двое любители живописи, как бы погруженные в немую серьезность или в отрешенное безмолвие. Временами шум голосов вскипал ликующим восторгом бурных приветствий, взрывался неудержимым хохотом. Многие, казалось, были до смерти рады невзначай собраться вместе, тогда как другие, казалось, пребывали в нарочитом одиночестве — пришли людей посмотреть и себя показать.

Ютта и Андреас пропали в сутолоке и теперь, наверное, ищут его в другом зале. Еще в дверях им встретился кто-то из знакомых, вероятно один их мюнхенских архитекторов, приятелей Андреаса. Пока они лобызались и обнимались, Фогтман счел за благо пройти дальше.

Он чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Многие из этих людей всем своим видом показывали, что никогда не работали и работать не станут, и старательно внушали друг другу, что жизнь, их жизнь, легка, весела и беспечна. Казалось, нет у них ни забот, ни хлопот, либо же они уговорились ни за что в этом не признаваться, а он, хоть и видел их насквозь, все-таки испытывал досаду и еще явственней ощущал, как тягостна его собственная жизнь. Быть может, тут сыграл свою роль привет из прошлого, который ему передали сегодня. Андреас и Ютта свели в Бад-Ишле знакомство с Хайнцем Вольвебером, его соседом по интернатской комнате и главным врагом, который, впрочем, позднее защищал его от других мальчишек. Судя по всему, Вольвебер необычайно разбогател. Где-то здесь, в Баварии, у него своя фабрика по производству досок для виндсерфинга и прочего водноспортивного инвентаря. Вот, должно быть, настоящая золотая жила. Ютта нашла Хайнца Вольвебера симпатичным и интересным. Андреас, видимо, не вполне разделял ее восторги, но не исключено, что виной тому ревность.

Фогтман огляделся, высматривая их, но тщетно. На стенах вокруг него во множестве повторений гримасничал мрачный автопортрет художника, который выставлял нынче свои картины. Портрет был анфас в натуральную величину, только до неузнаваемости изуродован — то резкими черными мазками, то беспорядочными пятнами и брызгами краски, словно автора обуревало яростное самоотрицание.

Фогтман уставился на полотно. Ненависть, с которой художник не то перечеркнул, не то замазал собственное лицо, явно была просто-напросто оборотной стороной его эгоизма. И все же портрет поразил Фогтмана и невольно пробудил в нем теплое чувство, точно он смотрел на самого себя. Да, ему тоже как-то раз зачернили лицо. Перемазали во сне черной сапожной ваксой, а потом тычками и пинками погнали в умывалку, к зеркалу, и сейчас из мрака разъятой, фрагментарной картины на Фогтмана глядел он сам, шатающийся, беспомощный, озлобленный своим же бессилием.

— А-а, вот ты где! — Андреас и Ютта наконец нашли его.— Ты разве не был на представлении? Жаль, надо было обязательно посмотреть Гилберта и Джорджа. Эти два англичанина в старинных костюмах двигаются как механические игрушки. Точь-в-точь заводные куклы на крышке музыкальной шкатулки.

Андреас повернулся к нему, ища поддержки и понимания:

— Ютте загорелось поехать в Грюнвальд. Там будет вечеринка, и ей не терпится нас туда затащить. Не знаю, как ты.

— Андреас стал такой зануда,— пожаловалась Ютта,— ты не поверишь.

— Теперь она всем про это твердит,— сказал Андреас.— Она, мол, такая темпераментная, а я такой неуклюжий, старый, только и думаю что о еде. Просто трагедия.

Ютта презрительно фыркнула. Вид у нее был весьма целеустремленный.

Крупный мужчина в меховой шубе вошел с улицы и протиснулся к ним сквозь толпу:

— Ну, пошли, пошли! Едем. Где вы застряли?

— Я готова,— улыбнулась Ютта.

Андреас хлопнул Фогтмана по плечу:

— Вперед! Будем развлекаться.

Иду, думал Фогтман, иду,— он чувствовал, что его зовут, но не понимал, где находится. Зов был совсем рядом. Иду, иду! Он лежал лицом к стене, скованный свинцовой тяжестью. Тело как чужое, голова раскалывается от боли и наполнена темным туманом. Иду... нет, не могу... иду. Трезвон телефона разбудил-таки его, заставил повернуться. Где он? У себя, в «Арабелла-хаусе»? Как он сюда попал? Поднимаясь и ощупью нашаривая телефон, он все вспомнил. Час или два назад он приехал на машине из Нюрнберга и сразу лег, так как скверно себя чувствовал. Наверное, надо было выключить телефон, тогда бы отдохнул как следует.

— Слушаю вас,— устало проговорил он в трубку.

— Добрый день, как поживаете? — сказал Оттер, не называя своего имени. Дерзкий налет — он словно незваным гостем стоял на пороге.

— Кто дал вам этот номер? — спросил Фогтман.

— Ваша жена. Я объяснил ей, что дело неотложное.

Фогтман помолчал, пытаясь собраться с мыслями. Нагнулся, чтоб кровь прилила к голове и оживила сонный мозг. Но голова от этого только закружилась.

— Ну, так из-за какого же неотложного дела вы меня разбудили?

— Ах, вы спали. Прошу прощения. Но от моей новости вы мигом проснетесь. Газеты сегодня читали?

— Нет, я был в дороге, за рулем. Времени не нашел.

— Тогда купите-ка две-три солидные газеты и загляните в политический и экономический разделы. Вы сразу увидите, что наши с вами акции идут в гору.

— Да говорите же толком, что случилось.

— Догадаться в самом деле мудрено. Ситуация просто блеск, как по заказу. Мобуту, заирский президент, вместе со всеми своими советниками прибыл в Бельгию с визитом доброй воли. Он намерен вернуть бельгийцам отобранные у них фирмы, чтобы снова наладить экономические связи с Западом. Это и есть тот самый великий поворот, о котором я все время говорил. Послушайте, что пишет «Нойе цюрхер цайтунг»: «Гене-

рал, который вот уже двенадцать лет единолично правит бывшим Бельгийским Конго, прибыл в Бельгию не с государственным, а с рабочим визитом. Он продемонстрировал неустанное стремление восстановить доверие, которое сам же подорвал три года назад радикальными мероприятиями по национализации». И так далее, тому подобное. Погодите, вот: «Хотя президент уезжает на родину без щедрого финансового благословения, его визит в Бельгию нельзя считать бесплодным, ибо он ставил своей целью контакты не столько с государственными ведомствами, сколько с частными предпринимателями. Заирский министр иностранных дел при всяком удобном случае хвастался, что их страна баснословно богата медью, марганцем, цинком, ураном и как нельзя более удобна для разведения кофе, каучуконосов, масличной пальмы, кукурузы, риса и сахарного тростника. А поэтому на первое место Заир ставит развитие сельского хозяйства и транспортных путей».

— Звучит неплохо,— сказал Фогтман.

Это была не оценка, а скорее попытка притормозить Оттера. Надо прочесть все самому, без спешки. Он должен составить собственное мнение. А первым делом надо принять таблетку или выпить крепкого кофе, чтобы снять головную боль и скованность.

— Приоритет сельского хозяйства — вот что очень для нас важно,— пояснил Оттер.— В свете этого наша сделка приобретает еще большую убедительность. Впрочем, тут есть кое-что еще, как бы резюме. — Он снова начал читать: — «Если в будущем Заир привлечет большее количество частных предпринимателей и, главное, больше частных капиталов, то в переговорах с Международным валютным фондом о валютных кредитах это зачтется африканцам как плюс. В пятницу президент Мобуту посетил также Комиссию ЕС в Брюсселе и в понедельник отбывает с визитом в ФРГ». Ну, что скажете?

— Хочу прочитать сам, — ответил Фогтман.

— Ваше право, только помните: отсчет времени начался. Наша с вами партия и так уже была отложена на целый месяц. Больше я ждать не могу. Надо использовать этот попутный ветер. И если вы серьезно заинтересованы в нашей сделке, вы должны меня понять. И последнее, для полной ясности: на отказ я не обижусь. Ведь есть и другие желающие. Но если вы согласны, то в следующий вторник нас приведут к присяге.

Отступать некуда, подумал Фогтман, вешая трубку. От этой мысли ничто в нем не дрогнуло. Он только чувствовал, что изнемогает от усталости.

В выходные дни Фогтман штудировал корреспонденции, комментарии и проблемные статьи крупных газет. Все они говорили о трудностях Заира и его огромных, но неиспользованных экономических возможностях. Страна нуждается в помощи и получит ее, ибо уже благодаря сырьевым ресурсам является для промышленно развитых стран Запада важнейшим бастионом. Однако существовали и сомнительные аспекты — горький опыт прошлого с африканской бесхозяйственностью и африканским национализмом, а главное, громадный валютный дефицит. Так что банки едва ли станут торопиться с учетом этих векселей. С другой же стороны, мобутовский визит доброй воли дает гарантию, что Киншаса погасит долги. Ведь тому, кто так упорно добивается доверия, необходимо избегать всего, что тотчас опять поставит под сомнение его посулы.

Поговорил он об этом и с Хартвихом, которому просто-напросто позвонил на квартиру. Хартвих уже читал сообщения прессы и оценивал ситуацию весьма положительно, хотя только что получил из Франкфурта депешу, что копии векселей ни на что не годятся, нужны оригиналы документов вместе с поручительствами. По этому поводу Фогтман разыграл перед Хартвихом большую обиду. Вон когда спохватились, совсем совесть потеряли! Но сам-то он присмирел. Ведь Оттер предупреждал: копии оставляют плохое впечатление, они лишь обнаруживают собственную вашу неуверенность. Твердая позиция — вот что производит впечатление на банк. Расскажи он Оттеру об этой новой сложности, тот упрекнет его, что своей робостью он бессмысленно затянул сделку. И наверное, продаст векселя другому.

Остается единственная возможность проверить солидность сделки — потребовать еще один вексель. Если Оттер пойдет на это, значит, он и сам не уверен и до смерти рад избавиться от лишнего векселя. Если начнет упираться — это добрый знак. Хорошая мысль, а? Или все совершенно иначе? А вдруг Оттер вконец измучен долгим ожиданием и только поэтому отдаст седьмой вексель? И он, скованный недоверием, в который раз упустит удачу.

Чего же все-таки ждать от Оттера и какая версия правильна? Чем больше он размышлял об этом, тем непроглядней казалась тьма, среди которой к нему могла незаметно подплыть исполинская громада айсберга, и невозможно понять, что рождает эту грозную тьму — необычность далекой страны, или непостижимость самой личности Оттера, или всего-навсего тревожная разноречивость собственных его надежд и страхов. Он все выискивал отличия, взаимосвязи и скрытые возможности, испещряя газетные статьи красными, синими и зелеными пометами, чтобы, пока выбор еще не сделан, наглядно представить себе «за», «против» и «быть может», а между тем вопреки его воле, вопреки усиленной работе мысли чутье с каждой минутой ослабевало, и противоречия от этого не разрешались, они просто сглаживались, стирались, и на их месте возникала мрачно-веселая уверенность: он хочет вступить и вступит в сделку с Оттером. Завтра же утром напишет ему, пригласит в Мюнхен или сам поедет во Франкфурт.

Освобожденный от долгих цепенящих сомнений, он отодвинул в сторону газетные вырезки и позвонил Катрин, чтоб договориться о встрече. К ней он явился в лучезарнейшем расположении духа и, дожидаясь, пока она будет готова к выходу, предложил несколько вариантов вечерних развлечений. В конце концов они очутились в каком-то кабаре, где он заказывал самое дорогое шампанское и весело смеялся остротам по адресу видных политиканов и печально знаменитых тузов из области экономики и рекламного бизнеса. Катрин смотрела на него с удивлением:

— По-моему, радоваться тут нечему.

— По-моему, тоже,— кивнул он,— но все так абсурдно.

— Что именно? — полюбопытствовала она.

Он не сумел объяснить.

12. *No future* [1]

В пасмурном небе по правую руку от автомагистрали, мигая сигнальными огнями, заходил на посадку серебристый «ДС-10»; вот он выпустил шасси и до жути низко, будто стремительное виденье, пронесся над плотным автомобильным потоком. Лишь на секунду шум мотора фогтмановской машины и грохот тяжелых грузовиков на боковой полосе слились с ревом дюз, потом громадный самолет с двигателем на хвосте как бы неслышно, невесомо и непостижимо медленно ушел влево, туда, где начинались поле аэродрома и взлетно-посадочная полоса, и Фогтман, точно эхом отзываясь на это скольжение и исчезновение, подумал: вот так же выглядит рок, неотвратимый и могущественный. А в следующий миг удивился этой внезапной мысли. Видел-то он всего-навсего отлаженную, управляемую автопилотом посадку рейсового самолета.

Скоро Франкфуртский узел; Фогтман перестроился в «кёльнский» ряд и опять попытался увеличить скорость. Машины по-прежнему двигались сплошным потоком, казалось даже, их стало больше. Грузовики мало-помалу образовали колонну, а на обгонном пути автомобили, съехавшие с правой полосы, путались под колесами быстроходных машин, которые тщетно мигали фарами в надежде расчистить себе дорогу. У Висбаденского узла вряд ли будет легче.

Правда, Хартвих ждет его в банке только в 16.30. Так что будет время заскочить в кафе, перекусить и выпить кофейку. Возможно, через несколько часов он уже отправится назад.

Элизабет ничего не знает о его кратком визите в банк, поэтому можно будет сразу уехать обратно, независимо от того, чем кончатся переговоры — удачей или неудачей. Кристоф вот уже три недели в интернате, и Элизабет совсем одна в большом коттедже. Он с тех пор еще ни разу там не бывал. Да ничего хорошего его там и не ждет: ночевать разойдутся по разным комнатам, но в пустом доме деваться им друг от друга некуда, вот и будут поминутно встречаться, как два арестанта в камере. Узы брака стали обоим в тягость, и все же пока ничего нельзя изменить. Он только управлял фабриками, владелицей же их оставалась Элизабет, это и привязывает его к ней. Именно теперь, когда все так сложно и он ступил на путь, который она явно не одобрит, ему необходимо ее доверие или, что практически одно и то же, ее беспечное равнодушие к делам, которым оборачивалось ее стремление сохранить с ним человеческую близость. По сути, эквилибристика вслепую, с закрытыми глазами.

[1] Здесь: будущего нет *(англ.)*.

Внезапно пошел снег, легкий, пушистый, замелькал перед ветровым стеклом. Мартовский снег. Зима началась поздно, не раз прерывалась и начиналась вновь — так и кажется, словно время то и дело поворачивает вспять. Вновь поля укрылись тонкой белой кисеей. Фогтман глядел на нее с отвращением. Упорство зимы как бы являло ему образ препятствий, которые всюду громоздились перед ним и порою, когда физические силы были на исходе, грозили парализовать его.

Многое было непостижимо и совершенно непредсказуемо — от одного этого впору прийти в уныние. Почему банк все тянет и тянет с векселями? Ведь Хартвих давно послал во Франкфурт подлинники документов для проверки всяческих рисков. Похоже, тамошние эксперты — мастера хитрить, знай себе строчат заковыристые экспертные заключения, чтоб выдвинуться перед начальством; а он меж тем из делового партнера стал просителем, который вынужден испытывать свое терпение и которому остается только надеяться. Дальше тянуть никак нельзя. Необъяснимая медлительность банка с каждым днем ослабляет его позиции. Он вдруг осознал это позавчера, когда Хартвих в телефонном разговоре позволил себе обращение «дорогой мой»: «Дорогой мой, не забывайте, в этой сделке множество непредсказуемых факторов». Этот менторски снисходительный тон на миг лишил его дара речи. Неужели он теперь человек без лица, для которого сойдут любые отговорки? Слава богу, у него хватило присутствия духа тотчас сделать встречный выпад и потребовать, чтобы к среде было вынесено решение. Довольно ходить вокруг да около, довольно увертюр — отныне он так и будет действовать. Если Хартвих сегодня опять начнет юлить, он даже и слушать его не станет, а просто потребует назад заирские векселя.

Пожалуй, Оттер не зря советовал предложить векселя в Швейцарии. Или в той же Бельгии, у которой масса контактов с Заиром, старых и новых. Швейцарские банки, где скапливаются миллиардные излишки нефтяных стран, как говорят, все время ищут новые возможности капиталовложений. Пожалуй, они предоставят ему более выгодные условия, если он выложит на стол весь пакет своих финансовых средств, включая реальные ценности и недвижимость. Заирские векселя были бы тогда лишь своего рода «отмычкой» или составной частью пакета. Пожалуй, стоит сегодня без комментариев потребовать векселя обратно и сразу же уехать. Пожалуй, надо пораскинуть мозгами и начать на более высоком уровне. Пожалуй, все только начинается. Или все уже слишком поздно...

Предчувствия, иногда обуревавшие его, напоминали детскую игру, к которой он в свое время питал прямо-таки болезненное пристрастие. Называлась игра «Помешали — опоздал — не успел» и сводилась вот к чему: чтобы достигнуть некой цели, он должен был выпутаться из некой трудной ситуации, изнывая от страха, что ему помешают или он не справится. Фантазия его была неистощима, он придумывал все новые и новые ситуации. Если досчитаю до тридцати, а через мост перебежать не успею, то мост рухнет. Если через десять минут не выйду из лесу, то навек заблужусь. Если дотемна не доберусь до дому, дом исчезнет. Если за полчаса не решу задачку, то умру. Он ставил условия так, что всегда успевал и в конце концов был спасен. Но частенько возникали неожиданные препятствия. Положение становилось угрожающим, приходилось бороться, а иной раз не было другого пути, кроме как выйти из игры, объявить ее недействительной.

Сейчас это исключено. Все было, как тогда, правда беспросветнее, сложнее, но вместе с тем вроде и честнее, только нельзя было прервать игру, когда она опасно обострилась. Купив у Оттера заирские векселя, он стал человеком, который либо выиграет миллион марок, либо потеряет миллион четыреста тысяч, а в нынешнем его положении эти векселя превращались как бы в оракула, и он, как тогда, вопрошал судьбу — дозволено ли, нет ли ждать дальше.

Помешали, опоздаю, не успею. Снова эта игра? Обе колонны двигались черепашьим шагом, все чаще вспыхивали стоп-сигналы, и вот машины уже буквально ползли метр за метром на первой скорости, отчего колонны еще больше уплотнились и свободное пространство между автомобилями совершенно исчезло. Всё. Гигантская пробка.

Фогтман вылез, чтоб оценить ситуацию. Что впереди, что сзади — затору конца-края не видно. Вереница машин тянулась на многие километры, исчезала далеко впе-

реди за холмом и снова появлялась на подъеме — бесконечная абсурдная автовыставка, теряющаяся в далекой снежной метели.

— Н-да, веселенькая история,— сказал Фогтману один из товарищей по несчастью; он тоже поглядел в обе стороны.— Наверняка крупная авария. Вы по радио ничего не слыхали?

— Я не включал.

— А я уловил только что-то насчет густых транспортных потоков.

По обочине подкатил и промчался мимо полицейский автомобиль с мигалкой и включенной сиреной. Один из двух давешних вертолетов — или это был третий? — на небольшой высоте протарахтел в обратную сторону. Подошли еще двое водителей. Они были тепло одеты, как для долгой зимней прогулки, и вовсю дымили.

— Положение, видать, пиковое. Стали бы они иначе так суетиться!

— По радио не было ни слова о катастрофе.

— Тогда, наверное, облава на террористов.

— Не думаю. Здесь, на магистрали?

— А зачем же тогда столько полиции?

Фогтман опять сел в машину, включил радио. Музыка, что-то классическое, вероятно Моцарт. Скорей всего в 17.00 Хартвих сбежит в теннисный клуб. Тогда хочешь не хочешь ночуй дома и лови его утром. Да еще изволь оправдываться, а Хартвих — черт бы его побрал! — конечно же, со свойственным ему теннисистским шармом любезно примет извинения, и жесткий тон, каким он, Фогтман, сообщил по телефону о своем визите, пропадет даром.

15.00. Последние известия. В Бонне ждут официального визита с Ближнего Востока. В Брюсселе заседают натовские генералы. В Дортмунде проходит конгресс по вопросам охраны окружающей среды, ученые вновь предупреждают об опасности загрязнения воздуха, водоемов и почвы. На юг Заира вторглись интервенты.

Он вздрогнул и лишь теперь, задним числом, осознал, что говорит спокойный голос радиодиктора:

— Так называемый Национальный фронт освобождения Конго оценивает эти события совершенно иначе, именуя их восстанием конголезского народа против режима президента Мобуту. Как полагают наблюдатели, возможно, вторжение осуществили бывшие солдаты Катанги, сторонники свергнутого в 1965 году премьер-министра Моиза Чомбе. Относительно военных контрмер заирского правительства информации до сих пор не поступало.

Конец, подумал Фогтман. Коротко и ясно: конец! Ни один европейский банк не учтет теперь заирские векселя, да и Хартвих наверняка уже слышал последние известия и ничуть не удивляется, что он, Фогтман, не едет. Конец мечтам! Конец! Вот и подплыла незримая громада айсберга, и грохот удара оказался перестрелкой и воинственными кличами черных солдат. Он прямо воочию видел, как они наступают — в полевой форме, на джипах и грузовиках или в пешем строю, за танками, а все вокруг спасается бегством, — и сам он застрял в этой бесконечной веренице автомобилей и не может двинуться ни вперед, ни назад.

Неприступная, погруженная в свои мысли, как с нею всегда бывало здесь, на кладбище, Элизабет с букетом цветов в руках прошла через главный вход. Старухи, навещавшие расположенные по соседству могилы близких, робели перед ее каменной суровостью и не осмеливались поздороваться. Чтобы невзначай не встретиться с нею глазами, они старательно прибирались у могил, временами поглядывая на участок Патбергов, где Элизабет подолгу неподвижно смотрела на черную полированную плиту с именами и датами жизни отца и брата.

Элизабет наклонилась, вдавила вазу со свежими цветами в зеленый могильный мох и выпрямилась: пора идти. Нельзя все время думать о смерти, говорила Альмут, не стоит ходить каждый день на могилу. Однако здесь ею овладевает покой, а когда она смотрит на выбитые в камне родные имена, то порою испытывает странную умиротворенность, словно разъяснилось наконец давнишнее недоразумение и ее простили.

Выйдя из кладбищенских ворот, она тотчас увидела Лотара. В темном пальто и берете он чем-то напоминал пастора или учителя. Похоже, нервничает, вон как раскраснелся. Элизабет знала, что он поджидает ее, и раздумывала, не стоит ли вернуться и выйти через другую калитку, но Лотар уже заметил ее, приветственно махнул рукой и зашагал навстречу.

— Извини, Элизабет, я решил прийти сюда. Мне надо с тобой поговорить. Дело и правда срочное.

— Кто тебе сказал, что я здесь? — спросила она.

— Твоя соседка. Я видел тебя у могилы, но не стал мешать. Пожалуйста, прости за внезапность. Но выслушай меня.

— Я не хочу говорить с тобой о фирме за спиной Ульриха,— сказала она.— Ульрих — управляющий и пользуется моим доверием.

— А ты хозяйка фирмы и наследница отца. Открой же наконец глаза!

Она, не ответив, пошла дальше. Лотар упорно не отставал. Уже три дня он названивал ей по телефону и просил о встрече с глазу на глаз. Во время ежегодной ревизии бухгалтерских книг он обнаружил чудовищные, катастрофические злоупотребления, и ответственность за них ложится на Ульриха. У него даже папка была при себе, вероятно с материалом против Ульриха. Элизабет не хотела ни заглядывать в папку, ни вообще касаться ее.

— Бетти,— опять начал Лотар, и ее испугал просительно-заискивающий тон, каким он произнес давно забытое уменьшительное. — Ну пожалуйста! У меня тут машина. Давай поедем куда-нибудь, выпьем кофе. Выслушай меня — это займет всего пять минут. Больше я не стану тебе надоедать.

— Не за спиной Ульриха. Так я не могу.

— Я понимаю тебя, Бетти. И уважаю твои принципы. Но ты обязана предпринять решительные шаги, при том что Ульрих постарается этому воспрепятствовать. Будет давить на тебя, всеми средствами.

Она горько рассмеялась:

— Вот уж не подумает. Ты плохо его знаешь.

— Без тебя он — круглый нуль, потому и станет тебя обрабатывать.

— Ах, да он делает что хочет, никого не спрашивая.

— В том-то и дело. А ты ему потворствуешь. И становишься соучастницей.

— В чем?

— Господи, неужели не видишь? Этот человек транжирит твое наследство и наследство твоего сына! Разоряет фирму! Ради своих афер и бредовых фантазий.

— Ты его ненавидишь? — спросила она.

— Да, но это к делу не относится.

Они замолчали, Элизабет шла, неотрывно глядя прямо перед собой, Лотар со своей папкой пыхтел рядом. Наконец он проговорил:

— Ты знаешь некоего Оттера, финансового маклера из Франкфурта?

— Да,— коротко бросила она, стараясь скрыть испуг.

— Недавно ему было перечислено двести тысяч за какие-то сомнительные махинации. И это лишь один пример, Бетти.

— Я не могу, верю тебе, но не могу.

— Что скажут на фабриках, когда узнают, что ты позволила пустить все на ветер и фирма обанкротилась?

— Дела так плохи?

— День ото дня хуже.

Она все шла, словно ничего не слышала или могла вот так просто взять и уйти прочь — дальше, дальше, дальше. Потом вдруг остановилась, круто повернулась к нему.

— Я всегда думала: ты Ульриху друг. Как ты только можешь чернить его за глаза?

— Я не могу допустить того, что он делает с тобой и с фирмой.

— Ах, перестань! Ну что вы все за люди?!

— Бетти,— сказал он,— мне очень жаль. Прости. Я позвоню завтра. Сегодня ты слишком разволновалась.

Она кивнула и ушла.

На дорожке стояла машина Ульриха. Прямо как обвинительный приговор. Она едва не предала его, и он приехал, словно предчувствуя это.

Элизабет нашла его в гостиной. Он сидел с телефонной трубкой в руке, ждал ответа, а ответа не было. Со злостью бросил трубку на рычаг и, кажется, только теперь увидел ее. Замедленная реакция измученного усталостью человека, но все-таки он сумел слабо улыбнуться.

— Не пугайся. Это всего лишь я. Ну здравствуй.— Он бегло поцеловал ее.

— Откуда ты взялся? Что-нибудь случилось?

— Нет-нет. Просто дела в банке. А предупредить тебя заранее не успел.

Что же такое в нем вызывало у Элизабет доверие? Или причина в ней самой? Голова кругом идет, когда он вдруг появляется, будто здесь вправду его дом. Она уже и мечтать об этом перестала. А он взял и приехал, как ни в чем не бывало. Нежданно-негаданно приехал и, похоже, никуда вечером не собирается. Прямо как нечаянный подарок. Можно будет поужинать вместе, и она непременно расскажет ему о Кристофе, об интернате с уютными спальнями и классами и множеством возможностей провести свободное время. Ей действительно там понравилось. Кристоф попал в прекрасные условия. Мальчик среди сверстников, а как раз этого ему не хватало. Теперь-то она поняла, почему Ульрих настаивал отдать Кристофа в интернат. Таким образом решались все его проблемы, а она со страху ничего не понимала. Остаток общественно полезных работ, назначенных по суду, Кристоф мог выполнить в каникулы. Этот инцидент тоже пошел ему на пользу. Да, кое-что стало лучше. Так разве не может быть, разве немыслимо, что это коснется и их обоих? Она чувствовала, что нужна Ульриху, и это было самое главное, что бы там ни говорил Лотар, который его ненавидит и всегда ему завидовал. До чего ж это мелко, до чего по-интригански! Пожалуй, благодаря этому она лишь ясней ощутила, насколько естественна ее привязанность к Ульриху, именно в тяжелые дни. Такой человек, как он, почти два десятка лет руководивший предприятием, мог ведь раз в жизни допустить ошибку. В глубине души ей всегда хотелось, чтобы однажды он попал в беду и искал ее помощи или по крайней мере близости,— так неужели теперь она отступит? Честное слово, смешно, смехотворное искушение, но она устояла.

Ее внимательный, устремленный на него взгляд был полон нежной ласки. Она читала в его глазах напряжение, и безысходность, и затаенное разочарование, и в ней шевельнулась нежность и стремление помочь.

— Хочешь чая? У тебя усталый вид.

— Да, с удовольствием.

— Тогда я заварю. А ты пока приляг.

Когда Элизабет вернулась с чайником, он только что положил трубку. По наитию она спросила, поддерживает ли он, собственно говоря, контакты с этим господином Оттером из Франкфурта. И отметила, как он тотчас насторожился. Потом сказал:

— Почти нет.

Она взглянула на него, будто желая запечатлеть в памяти его облик, а мгновение спустя уже отвела глаза, как если б увидела то, что лучше было бы запрятать подальше. Теперь она знала, знала отныне и навек, что он ее обманывает.

Под подушкой у Кристофа тихонько затрещал будильник. И сон, в котором он взбирался по грухлявой лестнице на чердак какого-то дома без окон, чтобы отыскать там люк, мгновенно сменился «стоп-кадром» темной комнаты. Он в интернате. Прямо под ухом еще слышится тихое тарахтенье, а у стены напротив ворочается на своей кровати Удо, но, похоже, еще не проснулся. При желании можно спать дальше, а завтра утром сказать, что ничего, мол, не слыхал. Миг — и он опять едва не провалился в дремотную истому. Но потом сообразил, что будильник еще тарахтит, нет, вот уже умолк. Он рывком сел. Два часа ночи, как уговорились. Два часа ночи. Он выскользнул из постели, подошел к Удо, тряхнул его за плечо.

— Эй, вставай! Пора!

Еще в полусне, лежа, Удо кивнул, потом откинул одеяло, встал и выглянул в окно.

— Тошниловка, а не погода. Одевайся теплей, парень.

Впотьмах они натянули спортивные костюмы, штормовки, не забыли шарфы и толстые шерстяные носки. Кроссовки, подметки у которых наверняка были не слишком чистыми и могли оставить следы, оба несли в руках.

— Краску взял? — прошептал Удо.

— Само собой.— Кристоф поднял пластиковый пакет.

Они беззвучно открыли дверь. В коридоре тихо, сумрачно. Тускло поблескивает темный пол из шлифованного камня. На цыпочках они прошмыгнули мимо спален и умывальных к черной лестнице. Внизу повернули и пошли назад.

В читальне они обулись, отперли оконные задвижки и вылезли наружу. Таяло. По снежной слякоти тянулись цепочки бесформенных черных следов, в которых стояла

талая вода. В мокрых носках назад в спальню не проберешься. Надо бы захватить еще по паре на брата, но возвращаться не хотелось.

— Давай вперед!

Пригнувшись, они пробежали вдоль здания, потом на спортплощадку и через мокрый луг — на окраину поселка, окутанную густым туманом.

Пять минут спустя они двинулись обратно. С лестницей на плечах, которую стащили во дворе строительной конторы. Спотыкаясь и кряхтя, по колено мокрые, они брели по брызгучей снежной каше через луг к интернату. Лестница покачивалась в такт шагам, тяжело давила на плечо и ключицу, терла лопатку. Удо, энергичный, кряжистый, шел впереди, размахивая свободной рукой. Кристоф пытался шагать в ногу — только бы не поскользнуться и не упасть. От напряжения на глазах у него выступили слезы. Если Удо не остановится, чтобы переложить лестницу на другое плечо, он слова не скажет, выдержит до конца. Пусть ноги подкашиваются, пусть глаза ничего толком не видят — он все равно выдержит. Удо — его друг, первый настоящий друг. А друга нельзя разочаровывать, нужно доказать ему, что на него, Кристофа, можно положиться.

Они опять миновали спортплощадку, пронесли лестницу под баскетбольными вышками и остановились позади гимнастического зала.

— Ставь! — скомандовал Удо.

Пришлось смотреть в оба, чтобы лестница не выскользнула из окоченевших рук и не упала.

— Дай-ка мне фукалку,— сказал Удо и, вооружившись банкой с аэрозолем, написал на стене: «Лови кайф» и «Спортбардак». Синие буквы были едва различимы в темноте. Кристоф взял баллончик с красной краской и украсил стену надписью: «Костоломка». Подхватив пакет с красками, они побежали дальше — украсили кухню надписью: «Свинячья жратва», накатали под окном директорского кабинета: «Супермен», а у входа в спальный корпус — «Тюряга», по бокам две синие звезды. Обоих то и дело сотрясали приступы беззвучного хохота, они подталкивали друг друга, махали руками, скакали от радости, как дурачки.

Теперь самое сложное — фасад главного корпуса. Они подтащили лестницу к подъезду. Тут их было видно издалека: ведь перед домом всю ночь горят два фонаря, а в поселке через дорогу живут учителя. Если кто-нибудь из них сейчас не спит, то, бросив взгляд в окно, сразу увидит две тени, которые подняли узкую длинную лестницу и прислонили ее к зданию. Лестница не доставала до верхнего края окон четвертого этажа. Чтобы сделать надпись на светлой штукатурке над ними, нужно было взобраться как можно выше да еще выпрямиться там, наверху, в полный рост. Крупные буквы на фронтоне будут видны и с дороги, и из учительского поселка, и из многих домов городка. Они бросили жребий, кому браться за дело,— выпало Кристофу. Теперь он уже не мог признаться, что ему страшно и у него кружится голова.

Удо стал внизу и подпер лестницу ногами, чтобы не отъехала назад, но она и без того стояла почти вертикально. Кристоф ступил на нижние перекладины и полез вверх, в кармане штормовки у него лежал баллончик с красной краской. Добравшись до окон четвертого этажа, он остановился и поднял голову. Над ним был пятый этаж, выступающая кромка крыши, а над всем этим — ночное небо, бездонное и пугающее, с клочьями летящих облаков, которое показалось ему волшебным отображением глубины. Где верх, где низ? Где он висит, за что держится? Внезапно, как мрачный порыв ветра, накатила дурнота, придавила его грудью и лбом к лестнице.

Не могу, подумал он, я упаду и сломаю себе шею.

Кристоф медленно полез выше — поставит ногу на перекладину, затем подтянет другую, точно хромой, и вот ведь в самом деле добрался. На пробу отнял правую руку, нащупал в боковом кармане краску и заодно попытался хоть немного выпрямиться. Все здание тотчас наклонилось вперед, а позади загудела глубина. Он мигом опять вцепился в лестницу, прижался лбом к оштукатуренной стене, которая словно бы все еще «падала». Издалека, снизу, окликнул Удо: что, мол, копаешься? Он едва расслышал. Уши заложило. Все отодвинулось куда-то далеко-далеко: и его перепуганное цепляние, и тайные мольбы о помощи. Он почувствовал себя слабым, как младенец, который в слезах ждет спасения. Но кругом ни души. Он один. Никто ему не поможет.

— Эй, Крис, слезай лучше!

Он через силу оторвал от лестницы правую руку, достал баллончик и потянулся к стене, которая снова грозила «упасть». И снова вцепился в лестницу, и от испуга

покорно зажмурил глаза. Падаю, подумал он. Видите — падаю. Вы этого хотели! Так вот же вам.

Однако он все еще висел в темноте у стены и мало-помалу сообразил, что в руке, которая обнимала стояк, до сих пор зажат аэрозольный баллончик. Невероятным напряжением воли он высвободил эту руку и «прицелился». Ну вот, теперь он заколдовал стену широкой полосой краски. Она больше не «падала». И Кристоф начал писать. Вытянув руку как можно дальше, он написал заглавное «*N*» и строчное «о», а немного отступя — строчное «f» и прочая, и прочая, все больше отклоняясь вбок, пока на стене не возникло: «No future». Громадные красные буквы. Днем надпись будет заметна издалека. Это его работа. Он справился. Сегодня утром, когда учителя и приходящие ученики явятся на занятия, все они прочтут его послание.

Спустя полчаса они лежали в постелях, и Кристоф дрожал от холода и счастья. Лестницу они быстрым шагом отволокли обратно, в дом влезли опять через открытое окно читальни, скинули там мокрые кроссовки и носки, вытерли ноги найденной в кухне половой тряпкой и лишь после этого крадучись поднялись на жилую половину и юркнули к себе в спальню. Потом им пришло на ум, что надо сходить в умывалку и привести в порядок грязные и вымокшие спортивные брюки и кроссовки — на случай завтрашнего контроля; теперь вещи сохли над матрацами.

Никто не поверит, что эту надпись наверху сделал он, никто, кроме Удо, который все видел. А Удо, конечно, не проболтается. Дайте срок, он и кое-чем другим займется, совсем другим.

Я не тот, за кого вы меня принимаете,— эта фраза, придуманная во время болезни, выросла в целое стихотворение, которое он никому еще не показывал, даже Удо, тот ведь наверняка ничего в этом не смыслит. Сам Кристоф знал стихотворение наизусть и порой, когда на душе было скверно, мысленно декламировал его. И хотя в нем не было ничего утешительного, он после всегда чувствовал себя лучше. Вот и сейчас беззвучно шевелил губами, точно пробуя стихи на вкус, и строчки отчетливо, словно та надпись на фасаде, вставали перед глазами. Странное стихотворение. Как бы укрытие. Он укрывался в своем стихотворении:

Я не тот, за кого вы меня принимаете,
И ношу свое имя лишь только для виду.
По правде говоря, зовут меня Никто,
Не с вами вместе я и не с собой наедине.
И адрес мой ко мне не приведет —
Ведь там в ничтожестве Никто живет.

— Что это ты бормочешь? — спросил Удо.

— Да так. А что?

— Вроде как молишься.

— Вот еще, ерунда какая.

Удо, кажется, опять задремал. Хотя нет, должно быть, просто задумался, потому что немного погодя сказал:

— Кой-кого нынче удар хватит.

— Наверняка.

— «No future» на главном корпусе — это бомба. Ведь им после этого впору закрывать лавочку.

— По мне, так и пусть закрывают.

— По мне, так давно пора.

Удо зевнул и повернулся на бок, очень скоро Кристоф услышал его ровное дыхание. Вот и хорошо, что Удо спит и разговаривать ни с кем не надо. Он хотел побыть наедине с мыслями, которые мельтешили в голове, и насладиться переполнявшим его счастьем. Нет, пока не уснуть: он слишком разгорячен, слишком взбудоражен. Счастье — это душевный подъем, это внутренняя ясность, какой он никогда прежде не ощущал. А верно ли то, что он написал на фасаде, верно ли его стихотворение? Сейчас его ощущения были иными, и он не мог описать их, ну разве только в трех словах — «он ощущает себя». Да, так и есть: он ощущает себя. По-другому не скажешь, эти три слова напрашивались сами, а вообще все было как чудо.

Он сел и обхватил себя руками в новом приливе блаженства. Я, думал он, это — я! Я — это я! Вот это тело — я. В нем я живу, я здесь. Выходит, он человек, один из многих, со своей собственной жизнью, которая принадлежит только ему, это его исконное право, которого никому не отнять. Как все просто, как естественно — а он и не

знал. Может, в своих стихах он пытался сказать именно об этом, правда туманно, но будто бы уже зная? Пока что он не сумел выразить это по-настоящему. Ничего, дайте срок, он обязательно сочинит стихотворение получше. Может быть, даже не одно. И расскажет о том, что значит — ощутить себя. Ведь большинство-то людей этого не знают. У них в семье, пожалуй, не знает никто. Ощутить себя и благодаря этому увидеть все вокруг, всю жизнь — вот о чем он попробует написать. Прямо завтра же и начнет. Купит толстую тетрадь и будет заносить туда все, что с ним произойдет. На первых порах просто для тренировки, а со временем замахнется и на большее. Перед ним долгая дорога. Только ничего плохого в этом нет, наоборот. Он смотрел вперед без страха.

Нежданно-негаданно Фогтман обнаружил, что его жизнь переплелась с войной, которая шла совсем в другом полушарии и, по сути, была ему глубоко безразлична. Цели воюющих сторон, их заявления и оправдания его не интересовали; для него это была война, в которой решалось, сохранит ли он зыбкую перспективу получить миллионный барыш или же у него на шее повиснут новые долги — ни много ни мало еще миллион четыреста тысяч,— и этот непосильный груз утянет его в бездну. Попытка отказаться от заирской сделки разбилась о хладнокровное сообщение Оттера, что он уже поместил свои векселя в банки и не может трубить отбой. А когда Фогтман в этом усомнился и занервничал, Оттер, как и следовало ожидать, объявил, что он сам своим промедлением довел себя до жизни такой. И подходящее утешение Оттер тоже держал наготове: эта война будет непременно выиграна — ведь Запад не допустит, чтоб ее проиграли. А после сразу же начнется экономическая санация Заира, и тогда их сделка, конечно же, состоится, иначе и быть не может.

С военной точки зрения положение день ото дня ухудшалось. Силы вторжения оперировали вблизи мобутовских базовых лагерей, и правительственные войска испытывали серьезнейшие трудности с материальным обеспечением: приходилось снабжать их по воздуху или добывать продовольствие непосредственно у местного населения. Оснастка и вооружение у них были неудовлетворительны. Не хватало запасных частей и горючего, топографических карт. Целая эскадра французских истребителей типа «Мираж», которая раньше на военных парадах демонстрировала военную мощь Заира, оказалась не готова к боевым вылетам. Правда, правительственные войска имели покуда над противником численное превосходство, но среди необозримых просторов саванны с ее более чем двухметровыми травами неповоротливые мобутовские части не могли тягаться с мелкими, зато стремительными отрядами противника. Потери были велики, боевой дух у солдат равен нулю. Многих офицеры приковывали к машинам — в самом прямом смысле — цепью с висячим замком, иначе при первом же соприкосновении с противником они разбегались кто куда. В Киншасе поговаривали, что на одном из аэродромов южнее столицы Мобуту держал наготове четырехмоторный реактивный лайнер для себя, своих родичей и приспешников. «Пятая колонна» все чаще заявляла о себе ночными террористическими актами. Но внезапная гибель может нагрянуть и совсем с другой стороны. Возможностей для этого сколько угодно — новые повстанцы, бунт мятежного племени баконго, неминуемый крах владычества мобутовской клики, которого даже белые коммерсанты в Киншасе ждали не без злорадства. Наверняка их слишком часто унижали, шантажировали, выпроваживали за дверь. Заставляли подолгу сидеть в приемных чиновничьей бюрократии. А три года назад экспроприировали и теперь вновь заманили в страну возвратом разоренных фирм.

Ни одна из газет даже не подозревала о частном интересе Фогтмана, а война-то шла за его деньги. И похоже, он терпел поражение. Тщетно названивал Оттеру, тот снова был в отъезде, словно к нему все это не имело касательства. А вдруг он продал векселя еще какому-нибудь банку? Но ведь и тогда надо было принимать в расчет, что Заир не заплатит, не сможет заплатить, а значит, они вернутся, в том числе и те три, за которые Фогтман поручился своей подписью. Он догадывался, что счета Оттера окажутся пусты и векселя в конечном итоге придут к нему. Он был последним звеном цепи. И за него будут цепляться. А вот подпись Оттера на его векселях банки, как видно, ни в грош не ставят.

Иногда, оставаясь один, он громко чертыхался. Но хватало его ненадолго, брань быстро сменялась унылым, сконфуженным молчанием, потому что, сколько бы он ни пытался свалить вину на других, виноват в конце концов был он один. Да что же я, собственно, за человек, думал он, как я позволил дважды обмануть себя?

Самого Фогтмана политика никогда не интересовала. Не имела к нему касательства. Но теперь, угодив в ее гущу, он понял, что это за игра. Знакомая и все равно жуткая, как вилка его одноклассника Хайнца Вольвебера, которая целилась ему в тарелку и утаскивала оттуда мясо, как вольвеберовский удовлетворенно жующий рот, в котором это мясо исчезало. Так оно и есть, так и есть. Господи, неужели они не видят?

Потом, совершенно неожиданно, все-таки случилось кое-что, вновь подавшее ему надежду. Его мольбы, кажется, были услышаны. Пошатнувшийся Заир получил военную помощь.

Узнал он об этом однажды воскресным утром на квартире Катрин и Дорис, где после долгого перерыва впервые опять заночевал. Дорис куда-то уехала с Отлем, и он провел у Катрин несколько вымученный и тоскливый вечер. Между ними давно уже не было прежней пылкости, хотя оба очень старались заглушить растущую скуку и охлаждение.

С радостью он уехал бы к себе, но ведь она обидится, а перспектива одинокого воскресного завтрака в неприбранной комнате его не привлекала. У Катрин тоже испортилось настроение. Она пожаловалась на головную боль и — после недолгих рассеянных ласк в дверях ванной — принялась намазывать лицо ночным кремом, хотя знала, что он этого не терпит. Он смолчал и постелил себе на пустующей кровати Дорис.

Погасив свет, они еще немного поговорили.

— Ты какой-то пришибленный,— сказала Катрин. — Что случилось?

— Неприятности в фирме. Ты тут ни при чем.

— Очень даже при чем. Я ведь вижу...

Фогтман запротестовал, извинился за свое дурное настроение. Она как будто бы успокоилась, ласково пожелала ему доброй ночи. А через несколько часов он проснулся, накинув купальный халат, прошел в тесную гостиную и сел в кресло. Что, собственно, изменилось? Отчего ему больше не было удачи? Уже которую неделю все, за что бы он ни брался, валилось из рук; видно, лучше вообще отказаться от борьбы, ничего больше не предпринимать. Закрыть глаза и будь что будет — может, вот так и надо? Прекратить борьбу и просто жить, но как раз этого он никогда не умел. Жить. Было одно только ожидание, вечные попытки наконец-то очутиться там, где истинная жизнь. И вот он сидит здесь, и это — жизнь. Снова ляжет в постель, уснет — и это тоже жизнь. Приятно впасть в такое уныние.

Утром — Катрин плескалась в ванне — он включил кофеварку и под бульканье кипятка слушал радио. Последние известия. Террористы, которые три дня назад прямо на улице застрелили федерального прокурора Бубака и его шофера и смертельно ранили сопровождающего полицейского, до сих пор не схвачены. Награда за поимку — двести тысяч марок, ровно столько он выплатил Оттеру в качестве задатка под векселя. Убийцы на тяжелом мотоцикле остановились у светофора рядом с автомобилем Бубака и, когда вспыхнул зеленый сигнал, скосили всех пассажиров из автомата. Что ж, раз такое возможно, виноваго само государство, и, значит, скоро все развалится.

Не моя забота, подумал он, не моя забота. Террористы по крайней мере профессионалы, свое дело знают. Ничем не хуже мафии. Теперь на очереди всегдашние зануды из области политики, экономики и культуры. Не моя забота, не моя забота. Но кофе был готов, а в холодильнике нашлись кефир, ветчина и даже грейпфрут. И вдруг он просто не поверил своим ушам, случилось чудо: по просьбе короля Марокко Хассана президент Франции Жискар д'Эстен перебросил на самолетах французских ВВС в Заир, в район военных действий, полторы тысячи марокканских парашютистов. Еще тысяча пятьсот десантников находились в Марокко, готовые в любую минуту вылететь в Заир. Через постоянный воздушный мост было налажено материально-техническое снабжение районов боевых действий. Французские и бельгийские военные советники помогали заирским правительственным войскам организовать службу тыла. Сенегал и Египет также предложили Заиру свою поддержку. Контрнаступление, начатое мощными воздушными налетами и ракетными ударами по позициям противника, как будто бы всюду успешно развивается.

— Ты что так кричишь? — спросила Катрин. Закутанная, точно бедуин, в огромное оранжевое полотенце, она выросла на пороге.

— Я выигрываю войну! — ответил он.

На другой день как из-под земли вынырнул Оттер, позвонил ему в контору:

— Ну, что вы теперь скажете? Месяца не пройдет, и этой катавасии конец. Тогда ваш банк сможет предъявить ваши векселя в Киншасе. А я, как только возобновятся морские перевозки, немедленно отправлю эти треклятые ящики.

— Куда вы запропали? — спросил Фогтман.

— Я? В Канаде был. Дела-то идут.

Как неправдоподобно все это теперь звучит. В ушах у него стоял крик: все эти международные операции либо несбыточные прожекты, либо откровенное надувательство! Теперь он знал, что банки не питают к Оттеру доверия. Но то же самое можно сказать о многих финансовых маклерах, которые обделывают свои делишки на «сером» полуофициальном рынке ссудного капитала, и так или иначе он должен располагать кой-какими банковскими связями. Ему, Фогтману, Оттер их открыть не пожелал. Наверное, это где-нибудь в Швейцарии. Ключом же к личности Оттера была, видимо, жена. Фогтман осторожно навел справки и выяснил, что она будто бы старше его лет на пятнадцать и очень богата, но имущество у супругов раздельное. Ни один из тех, кому необходимо получить с Оттера деньги, к состоянию его жены подступиться не может. И самому Оттеру на его аферы денег она явно не дает, зато вилла ее в Кёнигштайне, в Таунусе, служит ему убежищем.

У Фогтманов в семье было не так. Элизабет всегда отличалась безразличием к деньгам и имуществу, лишь к вилле и парку она питала сентиментальную привязанность. И отступать ему нельзя прежде всего ради Элизабет. Она слепо доверяла ему как управляющему. А значит, недопустимо, чтобы по его вине она потеряла свое состояние.

Его вдруг обуяло великодушие. Речь шла не о том, что ждет его самого,— бороться надо за ее будущее. Собственное будущее уже не столь и важно. За наследством он не охотился никогда, и если Элизабет даже разочаровалась в своей семейной жизни, то хотя бы в этом надо оправдать ее надежды. Да, за это стоит побороться, еще как стоит! Не исключено, что новые сообщения можно принять на веру. В Заире все как будто бы утряслось.

Странная это была война. Она затянулась на долгие недели, рассыпалась на мелкие стычки, в которых почти не было ни убитых, ни раненых, будто обе стороны при виде противника палили в воздух, чтоб под треск автоматов отступить. Мало-помалу правительственные войска, ударную силу которых составляли марокканские десантники, продвигались все дальше вперед, не выиграв ни единого крупного боя, ни тем паче сражения. Враг лишь рассредоточивался, отходил по всей линии фронта за пределы страны. До сих пор его присутствие вроде как отвлекало от всего прочего, а теперь внезапно обнажилась чудовищная разруха. Хотя последний солдат противника был изгнан из провинции Шаба в конце мая, во всех банках, каким Фогтман предлагал свои заирские векселя, он встречал лишь отказ и недоверие.

Вернувшись из такой рекогносцировочной поездки в Швейцарию, он нашел в папке с почтой заказное письмо из Цюриха. Один из тамошних банков уведомлял его, что киншасский банк-трассант вернул вексель на четыреста тысяч марок, гарантированный его передаточной надписью. Поскольку предъявитель, господин Оттер из Франкфурта, неплатежеспособен, то ему, жиранту, предлагается в двухнедельный срок внести указанную сумму. Попутно банк сообщил, что ждет возврата из Киншасы еще двух аналогичных векселей с его индоссаментом, на четыреста тысяч каждый.

Удивило Фогтмана только одно — как спокойно он отнесся к письму: вот, мол, и хорошо, что оно пришло и ни ждать, ни надеяться больше не нужно.

13. Изгой

Большой вишневый «опель» въехал на стоянку у патберговской фабрики и затормозил чуть в стороне от административного здания, где еще было свободное место. Водитель — мужчина грузный, неповоротливый — высунул ногу, нащупал асфальт. Одной рукой он вцепился в дверцу, оперся на нее и неуклюже вывалился наружу. Видимо, его донимала боль в пояснице. Это было заметно и по тому, с каким трудом

он нагнулся и взял с заднего сиденья черный «дипломат». Все здесь его знали. Он издавна консультировал фирму по налоговым вопросам и дружил с шефом. В последнее время его видели в фирме чуть ли не каждый день. Неестественно прямой, будто затянутый в корсет, он зашагал к входу. Человек он был явно нездоровый, из тех, кто, поднявшись на несколько ступенек, уже мучится одышкой. Оплывшее, полнокровное лицо гипертоника блестело от недавнего бритья. Тонкогубый рот выдавал натуру чувствительную и злопамятную. Этого человека следовало остерегаться, хотя он неизменно старался поддерживать со всеми добрые отношения.

Усаживаясь и кладя на стол свой черный «дипломат», Лотар как будто бы прочел на лице Ульриха, что тот догадывается о предстоящем. У них всегда было что обсудить — удивительно ли, что он воспользовался кратким наездом Ульриха и приехал на фабрику повидать его? В подсознании, однако же, свои системы сигнализации, незримые трепещущие нити, которые прочно связывают людей, если они давно знакомы и поневоле доверяют друг другу больше, чем надо. Ульрих, вероятно, заметил некоторую обстоятельность, что-то медлительное, робкое, какие-то внутренние приготовления и прямо-таки физический ужас перед роковой фразой, которую он, Лотар, сейчас произнесет и которая существует пока в различных вариантах: по поручению Элизабет сообщаю, что ты уволен. От имени Элизабет вручаю тебе извещение об увольнении. Мне поручено уведомить тебя, что с этой минуты ты освобожден от обязанностей управляющего.

Он так до сих пор и не решил, что именно скажет, только спина опять заныла, а ведь буквально час назад принял сеанс массажа, чтобы во всеоружии встретить «очную ставку». Он отнюдь не торжествовал победу, как может кое-кто подумать. Ситуация была безысходная, похоже, издавна предопределенная для них обоих, и они крепко в ней завязли — он, Лотар, заранее зная, чем кончится дело (хотя преимущество это более чем сомнительно), а Ульрих в ожидании, с дежурной улыбкой, которая была лишь маской. И вот теперь он должен что-нибудь сказать, чтобы выпутаться из этого положения. Теперь его черед, ему слово.

Испугавшись собственного сиплого голоса, который говорил, вернее уже сказал: «Я к тебе по серьезному вопросу», он теребил замок «дипломата», чтоб для успокоения совести достать документы, а в душе весь скорчился под взглядом Ульриха, сник от его короткого «ага», знаменовавшего то ли понимание, то ли презрение, словом, какую-то старую, извечную неприязнь, против которой ему нечего возразить, потому что теперь — Лотар чувствовал — неприязнь эта вполне оправданна.

— У меня поручение от Элизабет,— вновь начал он. — Она уполномочила меня сообщить, что, по моему совету, отстраняет тебя от обязанностей управляющего фабриками, ибо твое безответственное, хищническое руководство поставило фирму на грань разорения. Вот нотариально заверенный приказ об увольнении за подписью Элизабет. А это выданная мне доверенность на временное руководство фирмой впредь до назначения нового управляющего.

Только теперь, когда он подвинул Ульриху через стол бумаги, их взгляды скрестились. В них не было ненависти, лишь явственно читалось, что теперь они враги, причем в глазах Ульриха эта новая убежденность еще не вполне отделилась от изумления. Все уже прояснилось и отмене не подлежит, но осознание еще не пришло.

— Поздравляю,— сказал Ульрих,— ты, по-моему, долго этого добивался.

— Я счел своим долгом проинформировать Элизабет о результатах финансовой ревизии.

— Замечательно! А вот со мной ты не говорил. Или я запамятовал? — Фогтман встал и отошел к окну, потом со злой усмешкой вернулся к столу. — Ты дал моей жене дурной совет. Если вы теперь разорвете фирму на куски, все развалится. Как, по-вашему, отреагируют банки? А клиентура? Кстати, ты от этого ничего не выиграешь. — Он щелкнул пальцами у Лотара перед глазами. — Ни вот столько!

Он опять отошел к окну, посмотрел во двор. И опять его лицо изменилось, когда он обернулся и шагнул обратно к столу. В нем была какая-то судорожная принужденность, точно он едва сдерживает хохот. А может, и крик.

— Ишь чего захотел, мерзавец паршивый! Голова вскружилась, что ли? — Он весь подался вперед и заорал: — Еще в Мюнхене ты обманул меня своей ревизией! Это тебе я всем обязан! Это ты заманил меня в ловушку!

— Неправда! — возмутился Лотар. И тихо, вполголоса, добавил: — Честное слово, это плод твоего воображения.

Он умолк, глядя Ульриху в глаза, которые пристально смотрели на него, будто он — загадочное чудовище, урод, выставленный на всеобщее обозрение, что-то мерзкое, к чему и прикоснуться-то противно, и тотчас им овладело гадливое ощущение — да, он безобразен, кривобок, и лицо у него красное, одутловатое, — но это ощущение постепенно (он чувствовал) оборачивалось силой, перед которой не устоит никто. Ладно, по-твоему, я свинья, думал Лотар. Так ударь меня! Ударь! Мне безразлично! Я тут ничего не выиграю. Ни вот столько. Я вообще никогда ничего не выигрываю. Ну, ударь! Мне это нужно. А-а, вот видишь, тебе этого не понять. Ты тоже конченый человек.

Ульрих отвернулся, выдвинул ящик стола, разыскивая что-то, чего там, похоже, не было, и снова задвинул его. Усталый, растерянный, он тяжело опустился в кресло.

— Не понимаю, как же так? Вы договариваетесь у меня за спиной! После стольких лет! Почему я объясняюсь с тобой, а не с Элизабет?

— Потому что она просила меня сказать тебе обо всем. — Лотар выпрямился.

— Тогда я сам поеду и поговорю с ней, прямо сейчас.

— Ее нет, — сказал Лотар.

— Как нет? Где же она?

— Уехала. Она не хочет больше с тобой видеться. И тебя просит уехать. Вещи твои собраны, чемоданы в передней. Все прочее будет улажено через юристов. Я уполномочен известить тебя и об этом.

— Ловко. Ловко закручено. Быть не может, чтоб Элизабет сама додумалась.

— В ее нынешнем состоянии, Ульрих, разговоры бессмысленны. И ты ее не переубедишь, поверь. Вы только измучите друг друга.

— Прекрати ты, лицемер! Выкладывай, где она!

Лотар не ответил, только положил локоть на ручку кресла. Он ждал. Его лицо в толстых очках, с тонкогубым, капризным ртом было неподвижно.

— Она уехала к Кристофу? — спросил Ульрих уверенно, будто заранее зная ответ.

— Нет, не к Кристофу.

Ульрих кивнул и задумчиво посмотрел в окно. Наконец тихо сказал:

— Сделай одолжение, оставь меня одного.

— Ты, кажется, недопонял, — сказал Лотар. — Ты должен передать мне ключи.

И снова их взгляды встретились, и он увидел, как в глазах Ульриха, спокойных, задумчивых, усталость изгладила последнюю тень изумления. Легонько, как треплют по холке большую собаку, Ульрих похлопал ладонью по столу и поднялся.

— Ключи заберешь через час у швейцара, — сказал он и вышел из кабинета.

Еще не до конца стемнело. Пока можно было смутно различить зелень листвы и еловых лап на опушке леса и разноцветные багажники автомобилей на стоянке. Но за кустами, которые отделяли стоянку от автострады, все машины давным-давно зажгли фары и пролетали мимо как серые тени.

Прислонясь к своей машине, Фогтман курил и раздумывал, ехать ли дальше или сперва заглянуть в ресторан — вон он на пригорке, чуть в стороне от дороги, — выпить кофе и перекусить. Наверное, не стоит бросать без присмотра на темной стоянке машину, где на заднем сиденье кучей свалены чемоданы, схваченная второпях одежда и документы.

Он затоптал окурок и вытащил из пачки новую сигарету. Зажигалка работает исправно, маленький услужливый огонек,— по крайней мере с ней все было в порядке. Темнота густела. Сумерки вдруг заспешили — и мир вокруг был уже черно-серый, полный огней и шороха протекторов. Люди, направлявшиеся из освещенного ресторана к своим автомобилям, косились на него: наверное, считают чудаком, а то и вовсе подозрительным типом. Он стоял, с виду точь-в-точь шпион или гангстер, будто дожидался кого-то. А он всего-навсего одинокий человек, который курит, поскольку понятия не имеет, что делать дальше.

Где сейчас Элизабет? Почему спряталась от него? Вот единственное, чего он не понял, хотя она и попыталась объяснить это в прощальном письме, которое он нашел на своих чемоданах. Мол, разговор теперь не имеет смысла, все равно она больше ему не доверяет. Оправданий она тоже слушать не хочет, а факты ей и без того известны. Решение ее бесповоротно, по крайней мере таков ее долг перед Кристофом. Сама же она срочно нуждается в отдыхе. Все эти события привели ее на грань нервного и физи-

ческого истощения. В конце она приписала: «Быть может, когда-нибудь потом я все пойму и тогда, наверное, сумею тебя простить. Ненавидеть тебя я не в силах. Элизабет».

Как это на нее похоже — такой финал. Взобралась на пьедестал, произнесла заключительную фразу и исчезла. Неистребимая склонность к патетике. Но живется ей, без сомнения, несладко, и едва ли это письмо ее утешило. А еще была записка, сложенный вчетверо листок бумаги: «Она лежала у тебя в столе. Возможно, ты ею дорожишь». Из записки выпала маленькая фотография Йованки, о которой он начисто забыл. С ума сойти — вдруг именно этот снимок и толкнул Элизабет на такой шаг. Впрочем, теперь уже ничего не выяснишь. Да и зачем? Может, ее ревность вполне обоснованна.

Он отшвырнул сигарету; рассыпая искры, она догорела на асфальте. В ближайшие дни надо обязательно написать Кристофу, подумал он, только вот о чем? Твоя мать меня уволила? Невелика радость для парня. А может, все произошло с его ведома и согласия?

Фогтман пошел в ресторан, взял бутерброд с ветчиной и еще два с сыром, пару яблок; автомат выдал ему несколько банок колы и пива. Ехать еще часа полтора, а кола бодрит. Пиво он выпьет в постели и наверняка сразу же крепко заснет. Ведь если разобраться, кое от чего он избавился, избавился от тяжести, которая в последнее время все сильней давила на плечи, избавился от вины, от ответственности. Сбросил с себя все это. Ведь если теперь все полетит в тартарары — а остановить это, вероятно, уже невозможно,— Лотар и Элизабет тоже приложили к этому руку. И с завтрашнего дня он будет драться за крохи, которые ему остались.

Под дремотный плеск большого фонтана они прогуливались вокруг мелкого бассейна, на беспокойной поверхности которого мерцали солнечные блики. Со стороны музыкального павильона послышались жидкие аплодисменты. У курортного оркестра кончился перерыв, и один из музыкантов объявлял в микрофон очередные произведения, голос его гулко несся из развешанных по деревьям динамиков и здесь, у фонтана, был уже совершенно неразборчив. Как обычно, Фрица Вагнера они оставили на белом складном стуле возле музыкального павильона, где он слушал всякий раз чуть по-иному составленные из знакомых пьес программы или просто думал о своем, ожидая, когда за ним придут.

Медленно идти вперед, шаг за шагом, чувствуя локтем крепкую, решительную руку Альмут, которая не давала ей пошатнуться, вела ее по залитым солнцем дорожкам. Лекарство не разжало стискивающий голову обруч, но туманом обволокло сознание, и боль внутри, скрытая, полузадушенная боль едва теплилась, точно масляная коптилка в закрытой, непроветренной комнате.

Сколько же дней прошло с тех пор, как она сбежала сюда? Сколько раз жалела, что так и не поговорила с Ульрихом? Вновь и вновь эти мысли, этот внутренний протест волной накатывали на нее, но она вновь и вновь выдерживала их напор, без ощутимого повода, без всякого почти понимания или убежденности, из одной только закоснелой гордыни, которая — она знала, она чувствовала,— была остатком ее «я», и этим остатком она не вправе поступиться, ведь она хочет выжить, уцелеть. Сегодня вечером должен заехать Лотар, он подробно расскажет, как обстоят дела, и возьмет у нее письменное разрешение на закрытие двух небольших фабрик, а также на временную частичную остановку главного предприятия и увольнение сорока процентов персонала. Заказов не было. Фирма работала главным образом на Мюнхен, а старые рынки меж тем захватили конкуренты.

Быть может, все уже поздно. Ей это глубоко безразлично, но она понимала, что о таких вещах нужно молчать, себе и то лучше не признаваться. Молчать, закопать подальше, как и все остальное: обиды, стыд, раскаяние — и медленно идти вперед об руку с Альмут, которая не дает ей упасть. Мимо пламенеющих красками цветочных клумб, мимо усыпанных бутонами розовых кустов, в цветочном сумраке крытой аллеи, мимо высоких густых рододендронов с белыми, красными, тускло-лиловыми цветами в темно-зеленой листве.

Что же у нее осталось? На что опереться? На это расставание, на этот конец?

Надо попробовать вернуться к работе — не так-то легко после стольких лет. Но сперва надо либо предотвратить крах фирмы, либо довести его до логического конца, потому Лотар и приедет сюда на выходные поговорить с ней. Лотар, который делает все, чтобы ей помочь, и которого она должна благодарить, не испытывая благодарности.

Не торопясь они дошли до конца аллеи, оставив все это за спиной, и опять повернули.

Далеко в лиственной раме аллеи вновь показалась белопенная струя фонтана. Элизабет неотрывно смотрела на нее и не сразу заметила, что навстречу идет Лотар в непривычно светлом костюме. Он бережно обнял ее, расцеловал в обе щеки, пожал руку Альмут. На минуту-другую все трое остановились посреди дорожки. Лотар рассказал, как доехал, похвалил комнату в гостинице, которую они ему забронировали.

— Хорошо, что вы приехали пораньше,— сказала Альмут,— еще успеете немножко отдохнуть нынче вечером.

С этими словами она ушла проведать брата.

— Как ты, Беттн? — спросил Лотар, беря ее под руку и возобновляя медленную прогулку.

— Спасибо, вполне сносно.

— А руки у тебя как лед и лицо бледное. Слишком уж много на тебя свалилось.

В его голосе сквозили нотки смирённого пыла, который заставил ее внутренне отпрянуть, и все же они продолжали идти рука об руку, как давние друзья.

— Что нового? — полюбопытствовала она.

— Я говорил с Хартвихом, он нам поможет в меру своих сил. А что он рассказал о спекуляциях этого Оттера — ужас! Наша фирма погрязла в долгах и почти вытеснена с рынка. Но у меня есть идея.

— Какая же? Что можно сделать?

— С твоего позволения я вложу свой капитал. Тогда мы, вероятно, выведем фабрику из кризиса.

— Нет, этого ты не сделаешь, — с жаром сказала она. — Я не хочу.

— Почему, Бетти? Куда мне их девать, деньги-то? Поверь, я ими не дорожу, и мне хочется, чтоб ты сохранила фирму. Я буду только рад сделать это для тебя.

— Ты очень добр и настоящий друг, но я не хочу.

— Бетти, — твердил он с жаром, — не отказывайся, ты исполнишь мое самое большое желание.

Она вздрогнула. Он почувствовал это и успокаивающе сжал ее руку.

— Не волнуйся, милая. Не будем сейчас об этом говорить.

Почему это единственный человек, который меня любит? — подумала Элизабет. Как нарочно он! Почему он?

Точно в дурмане, она оторвала взгляд от пестрого узора цветочных клумб, перевела его на белые здания и лесистые склоны гор и вновь устремила под ноги, на дорогу.

Недели, прошедшие со дня увольнения и ухода от Элизабет, Фогтман провел в пути. Почти с утра до вечера он сидел за рулем, мчался вдогонку за призрачным избавлением, которое грезилось ему как сложная, непрерывно меняющаяся система цифр — показатели объема продаж, сроки, даты — и мало-помалу обрело вид абстрактного наброска, созданного из перекрестных линий, в целом похожих на отчетливый, но незавершенный сетевой график, в котором он уже толком не мог разобраться. Опорой системы были несколько узловых точек, а точки эти, как яркие сигналы тревоги, нет-нет да и начинали мигать, указывая ему, куда надо повернуть, чтоб не допустить распада совокупности; иногда в его снах система вращалась, сливаясь в одно световое пятно, все быстрее кружила вокруг черного центра и в конце концов исчезала в нем, будто в собственных глубинах. От этого он испуганно просыпался и на первых порах, бывало, не понимал, где находится. В пустом свете этого страха он вдруг умудрялся поверить, что его жизнь прожита вовсе не им или что он отъединился от этого кошмара и попал в другую, более подлинную жизнь, которой пока не знает. Все это происходило за секунду до пробуждения, во сне, который он стремился продлить, зажмуривая веки. Белые руки отводили прочь что-то мешавшее ему, маячившее возле лица, а однажды он услыхал под окном торопливые шаги, топ-топ, топ-топ, кто-то словно спасался бегством, удалялся, да как рьяно! Я бы теперь не смог бежать так быстро, невольно подумал Фогтман, открыл глаза и сразу же вспомнил и название гостиницы, и городок, и даже дату, а заодно и все прочее — векселя, для которых наступил срок оплаты и которые необходимо пролонгировать; проценты по кредиту; перерасход по текущим счетам; филиалы, где упорно падал оборот, потому что у него нет больше денег на рекламу, а поставщики один за другим прекращали поставки и с каждой неделей все труднее было доставать

новый товар; а недавно к этому перечню добавились два банка, отказавшие ему в дальнейшем кредите, и частный заимодавец с «серых» окраин денежного рынка, потребовавший себе двадцать пять процентов; сроки явки в суд, временные распоряжения, угрозы по телефону, вежливые отказы и стереотипные сожаления в приемных и каждодневная надежда, которую он вновь и вновь оживлял в себе, непрерывно перестраивая в уме свою систему.

Если — то, прикидывал он в уме. Если сделал это, можно предотвратить то, а в случае удачи начать заново и отодвинуть конец, нередко выраставший перед ним, точно сплошная серая стена. Все мелкие частичные победы, какие Фогтман еще одерживал, он использовал как оружие против нехватки времени, ведь время — он верил в это — еще таит в себе возможность крутого поворота, надо только улучить благоприятный момент.

Теперь он нередко ночевал в задних комнатах своих филиалов, а иногда в маленьких гостиницах или на постоялых дворах; прежде он к ним и близко не подходил — брезговал, сейчас же чувствовал себя там уютно, уверенный, что не встретит никого из знакомых. Как правило, он до утра уже не выходил, заказывал прямо в номер парочку бутербродов, или яичницу-глазунью, или бутылку пива либо съедал в гостиничном ресторанчике какое-нибудь блюдо попроще, из верхней трети меню. Потом некоторое время задумчиво сидел над рюмкой вина, наблюдая за суетой возле стойки и у других столиков.

Он вставал с ломотой во всем теле и, пока одевался и убирал в сумку туалетные принадлежности, приводил в порядок свои мысли, а затем, читая газету и нехотя жуя завтрак, сидел за столом либо перелистывал свои бумаги. Едва он снова влезал в свой большой серебристо-серый «мерседес» — последний остаток былой роскоши — и ехал навстречу очередному деловому свиданию или в один из своих филиалов, самочувствие улучшалось. Он опять что-то делал, он двигался вперед. Гнетущая тяжесть немного ослабевала. Пусть ненадолго, но он чувствовал себя вне опасности в мягком, закрытом мирке автомобиля, полном спокойного, ровного рокота мотора. Все шло по его желанию, машина подчинялась нажиму стопы, каждому легкому повороту руля и без труда несла его мимо длинных верениц грузовиков, мимо других автомобилей, будто все на свете достижимо и никаких серьезных преград не существует. Голубые указатели вдоль шоссе манили новыми и новыми возможностями. Почему бы и нет? — часто думал он. Иногда с бензоколонки, где пил из бумажного стаканчика жидкий автоматный кофе, он звонил своей секретарше или шефу отдела закупок Кирхмайру, а не то в бухгалтерию либо управляющему каким-нибудь филиалом, расспрашивал о текущих делах, давал новые указания, слушал то растерянные, то энергичные голоса.

Прижимая к уху телефонную трубку, он невольно поворачивался так, чтобы сквозь грязные стекла кабины видеть свой «мерседес» на стоянке. Это неизменно успокаивало его, словно машина была последним надежным приютом, возможностью бегства.

Ехать. Появляться. Исчезать. Иногда он вдруг менял маршрут, потому что возникала новая идея. Неожиданно наведывался к клиентам или поставщикам или появлялся в одном из филиалов и подстегивал своей беспокойной деловитостью поредевший персонал. Он во все вмешивался, критиковал расстановку товаров на полках, заново оформлял витрины, одни цены повышал, другие снижал, осматривал и переустраивал склады, организовывал распродажи, названивал по телефону, а после закрытия магазина еще раз в одиночку обходил полупустые склады, точно мог при этом составить себе иное, более выгодное мнение.

Приехав в Мюнхен, он сразу порвал с Катрин. Встретился с нею в маленьком кафе в центре и коротко объяснил, что дела его обстоят более чем скверно и содержать ее теперь ему не по средствам. Он думал, что кончить все таким образом будет честно и справедливо, и был изумлен тем, как отнеслась к этому Катрин. Она побледнела (даже сквозь грим было заметно) и, с трудом подавляя дрожь, воскликнула:

— И ты можешь вот так меня бросить?!

— Извини, я же не по своей воле, — смущенно сказал он.

— Удираешь тайком, ни секунды не задумываясь, каково будет мне и что я должна теперь делать! Опять идти на поклон к Дорис и Отлю. Представляешь, чего это мне стоит? О, я всех вас ненавижу!

Фогтман с изумлением уставился на Катрин. Он считал жертвой одного себя, а поэтому и волнение Катрин, и ее испуг привели его в замешательство. Разве женщине

такого склада — легкомысленной, элегантной, ироничной — пристало жаловаться на судьбу?

— Мне очень жаль, — сказал он, — но у меня на шее четыре миллиона долгу. Я понятия не имею, как выпутаться из этой истории.

— Господи боже мой, да как же это вышло?

Он рассказал об Урбане и Оттере, о своем увольнении, которое еще обострило ситуацию, и ему почудилось, будто Катрин прямо на глазах начинает в нем сомневаться.

— Мне хочется рюмочку коньяку, — попросила она.

Выпив коньяк, она немного успокоилась. И вдруг из глубины собственной прострации Фогтман услыхал, что говорит она уже о том, как все будет после их разлуки.

— Давай о себе знать, — сказала она. — И хоть изредка вспоминай меня, ладно?

Он пообещал, намекнув, что, вероятно, сумеет выйти из прорыва, только она, похоже, не поверила. Затем он предложил отвезти ее домой, но у нее были иные планы, уже не имевшие касательства к нему, вероятно, он бы даже помешал. Они торопливо обнялись — и Катрин пошла прочь. Он провожал ее взглядом и не мог представить себе ее лицо, даже походка у нее была совсем чужая.

Вот, думал он, такие, брат, дела. Повернулся и зашагал в противоположную сторону, сам не зная куда. Он никуда не спешит. Нигде его не ждут. Завтра будет видно, что предпринять дальше. Пора наконец решиться на закрытие пяти-шести филиалов: ведь товара не хватает. Временное выравнивание линии фронта — вот как это называется. А вовсе не обязательно катастрофа.

Если и было еще спасение, то искать его следовало в упорной и гибкой обороне: где можешь, держись мертвой хваткой, где не можешь, отступи, да побыстрее. Для этого Фогтману надо было разобраться, что не терпит отлагательства, что терпит, а что можно и позабыть. Банковские долги нужно покрыть любой ценой. Поставщиков же он еще помурыжит, откупаясь мелкими авансами, но лишь до тех пор, пока они шлют товар. А что до остальных кредиторов — их вопли он пропустит мимо ушей, в том числе и все более решительные требования Лотара оплатить в конце концов поставки патберговских фабрик. Раньше он считал, что это долг чести, который необходимо погасить в первую очередь. Но щепетильность давным-давно отброшена. Не все ли равно, что о нем думают Элизабет и Лотар, главное теперь в другом — он должен уцелеть как предприниматель, а в этой игре действуют совсем иные правила. Оттер показал какие, когда отмел от себя банковские требования по лопнувшим заирским векселям и повесил их на него — с нищего много ли возьмешь. И банк, который в конечном итоге пощипал последнего жиранта векселя, то есть его, Фогтмана, и таким образом дал в руки Лотару решающий козырь против него, банк просто не мог не последовать оттеровской логике. Но теперь он тоже нищий. Пускай приходят, пускай попробуют его обобрать.

Лотар меж тем грозился взыскать все долги по суду — не только стоимость неоплаченных поставок, но и сумму, истраченную на приобретение мюнхенской фирмы и заирских векселей. Поскольку же он до сих пор состоит в браке с Элизабет, дело это окажется еще канительнее и сложнее, чем его процесс против Хохстраата, который лишь через три недели пойдет в первую инстанцию.

Поживем — увидим, думал он. Грядущие трудности его не заботили. И если удавалось хоть что-нибудь отсрочить, он уже поздравлял себя с успехом. На следующей неделе придется закрыть шесть, а то и все восемь филиалов, которые он не способен обеспечить товаром. Распродажа остатков и инвентаря наверняка принесет кой-какие деньги. Но хватит их очень-очень ненадолго. Как закрытие отразится на его кредитоспособности, сказать пока невозможно. Ведь не только ему ясно, что от этого снизятся как издержки, так и оборот, ибо одно тянет за собой другое, — банки и кредиторы тоже отлично это понимают. И все же, видимо, сохранит он в итоге лишь два мюнхенских магазина. А раз так, нужно иметь в запасе совершенно новый план, убедительный для поставщиков и заимодавцев, замысел, который откроет ему кредиты и совершит переворот в его судьбе, — выпустить на рынок новый образец, внедрить новую форму обслуживания, предложить покупателям сенсационный ассортимент. Бывают такие счастливые находки, он знал. Но ему ли надеяться, что вдруг повезет?

А не стоит ли замыслить что-нибудь посмелее, пооригинальнее и дать сражение на другом фронте? Что, если сменить профиль и всюду, где можно, превратить магазины

в дискотеки или в залы игральных автоматов? Электронные игры пользуются спросом, их владельцы ищут помещения на бойких местах. Тут есть о чем подумать, верно?

Как-то в разговоре с Кирхмайром — тот пытался отговорить его от намеченного закрытия филиалов, но быстро умолк, поняв всю серьезность ситуации, — Фогтман вскользь обронил:

— А что бы вы сказали насчет смены профиля?

— Прошу прощения, но это не по моей части.

Наутро Кирхмайр вновь попросил Фогтмана принять его для беседы и в церемонно-учтивой манере, которую Фогтман еще раньше подметил у Лотара и которая не сулила ничего хорошего, сообщил, что хочет уволиться.

— Почему же? — спросил Фогтман.

— Я больше не вижу здесь перспектив.

— Но в свое время именно вы просили меня купить фирму.

— Помню, — сказал Кирхмайр. — Я полагал, что фирма пойдет в гору.

— Вы же отлично знаете, как я попался. Как меня обманули.

Кирхмайр угрюмо молчал, всем своим видом показывая, что дискутировать не желает. Очевидно, это означало, что вины он за собой не чувствует и думает лишь о собственной выгоде.

— Как раз сейчас вы мне очень нужны. Стратегия закупок крайне усложнилась. А вы ведь повсюду вхожи. У вас отличнейшие связи.

— Да, но впредь я не хочу порочить свое доброе имя.

— О чем это вы?

— Я делаю заказы, поставщики их выполняют, а платежеспособность фирмы все падает и падает. Такое не способствует хорошей репутации.

— Понимаю. Вы правы... Есть уже что-нибудь на примете?

— Да, очень выгодное предложение от одной крупной фирмы. Могу приступить хоть сегодня.

Фогтман кивнул, стараясь подавить горечь — ощущение, что Кирхмайр предал его. Ведь на самом деле никакого предательства не было. Ведь каждый как был, так и остался одиночкой, и связывала их обоих только лишь общность интересов, а едва интересы разошлись и вступили в противоречие — все, конец. Он поднял глаза и уже хотел было закончить разговор, но тут ему пришла в голову новая идея:

— Я напугал вас, упомянув о смене профиля?

— Нет, — отозвался Кирхмайр, — этого я всерьез не принял.

— Так, может быть, дело во мне, в моей персоне? Я неправильно себя вел?

— Нет. Напротив.

В душе проклиная себя за то, что задал этот вопрос, Фогтман сказал:

— Что же, пожалуйста, в конце месяца я готов вас отпустить.

— Благодарю, — сказал Кирхмайр. — Но у меня не использовано четыре недели отпуска.

— Ладно. В таком случае расстанемся немедленно.

Вот, значит, как оно все катится под гору. Только успеешь мало-мальски выправить положение, только прикинешь свои скудные возможности, а тут на тебе — огромная брешь совсем в другом месте, и все прочее тоже разваливается, прямо как в зачарованных снах, когда все твои силы растрачиваются в нелепом кружении каких-то бесформенных пузырей и голос застревает в горле, хотя он у тебя, кажется, еще есть, но ты просто его не слышишь, ведь, может статься, ты оглох, а вовсе не онемел, как знать?

Почему он всегда должен все знать? Почему ни от кого нет помощи? Почему все и вся ополчилось против него, зато разным там идиотам, которых на белом свете полным-полно, сопутствует удача и они без труда достигают куда большего, чем желают? В мире, где царит случай, жить не стоит. Руки опускаются, глаза не глядят, и слов нет — настоящее издевательство над рассудком. Но и в обратном тезисе радости мало: счастье и беда суть воздаяние по заслугам, а стало быть, и в удачах и в неудачах ты виноват сам. Бессмысленный мир случая и беспощадный мир справедливости — оба невыносимы. А что между ними? Что? Куда ему податься? Где его место?

Он в смятении расхаживал по кабинету, потом сел за стол, на котором лежали еще не читанные сегодняшние газеты. Он еще раньше вскользь отметил, что террористы предприняли новое покушение, но приход Кирхмайра его отвлек. И вот теперь он прочел на первой, третьей и последней полосах: «В Кёльне группа террористов похитила шефа Союза предпринимателей Шляйера. Остановив на улице автомобиль Шляйера, они в

упор расстреляли из автоматов четверых его спутников». Фогтман смотрел на фотографии — улица, изрешеченная пулями машина, пятна крови, трупы — и вдруг услышал голос, чужой, как бы со стороны: ну-ну, так-то вот, куда ни кинь, всюду клин. И, пристально глядя на снимки, почувствовал, как беспокойство унимается, утихает буря в душе. Ладно, сказал голос, итак, бой продолжается.

Фогтман подошел к письменному столу, нажал на клавишу селектора и вызвал фрау Эггелинг. С испуганным видом она появилась на пороге:

— Я только что узнала, что господин Кирхмайр нас покидает.

— Верно,— усмехнулся Фогтман.— Но вы со мной, и это главное.

— На меня вы можете рассчитывать.

— Вот и отлично. Тогда сварите-ка, пожалуйста, крепкого кофе и приготовьтесь часок-другой поработать. На той неделе нам придется закрыть восемь филиалов.

Распродажи в Швебиш-Гмюнде, Хайденхайме, Вюрцбурге, Регенсбурге, Штраубинге, Ландсхуте, Пассау и Линце. Витрины перечеркнуты ярко-красной полосой, кругом зеленые и желтые ярлыки со сниженными ценами. Холодильные камеры и полки уже наполовину пусты, а из подсобок везут на тележках и поспешно вскрывают все новые картонки. Штабеля ящиков с пивом. Батареи пустых бутылок. Управляющий филиалом, что-то подсчитывая, снует туда-сюда по магазину; ученики специальной машинкой наклеивают на товары уже третьи ценники; покупатели волокут к автомобилям ящики, картонки и туго набитые сумки; длинные очереди к кассам; кассирши, мрачные, измученные, безостановочно стучат по клавишам.

Толчея, беспокойство, усталость в торговом зале, ругань и крики в подсобках, возле конторы — жиденькие группы «мятежных» сотрудников с сигаретами во рту; надоедливые покупатели, спрашивающие давно распроданный товар; магазинные воришки, которых устало гонят прочь, а порой и не трогают; пьяницы с сумками, полными бутылок; пенсионеры и пенсионерки из дома престарелых, приобретающие по дешевке лакомства, вредные для зубов и желудка.

А управляющий между тем объяснял давнему клиенту, что хорошие вина и дорогие спиртные напитки из распродажи изъяты, их отправили в центральный магазин, в Мюнхен. Нет-нет, здесь ничего не осталось. Груз ушел еще утром. За этим проследил лично шеф. Шеф, хозяин, банкрот или как его там — он появлялся везде и всюду, стараясь внести хоть какой-то порядок в хаос распада, что-то записывал, отвечал на вопросы, отдавал распоряжения, кидал две-три фразы возмущенным сотрудникам и, как правило, вскоре спешил на другое пожарище, однако при всей горячке производил впечатление человека спокойного, уравновешенного и словно бы близкого к цели; а ведь он, несомненно, до последней секунды всеми правдами и неправдами пытался предотвратить то, что сейчас происходило. Он был деловит и вежлив, внимателен и в меру терпелив, и будь у него сейчас такая возможность — он бы любую из банковских шишек на свою сторону перетянул. Даже теперь, когда он был конченый человек и все знали об этом — и банки, и важнейшие поставщики, которые прекратили отгрузку товара, и, вероятно, еще кто-то третий, исподтишка затягивавший петлю, которая удавит его, пусть не сразу, но через неделю, через месяц, два, три, то есть в скором времени.

Ведь уже который день Фогтмана терзала налоговая инспекция. Ревизоры часами допрашивали его, и он, сидя среди ужасающего беспорядка в окружении выдвинутых картотечных ящиков и раскрытых папок с корреспонденцией, вдруг сообразил, кто навел финансовое управление на мысль, что последние два года с бухгалтерией у него не все благополучно: скорей всего, Урбан. Этим последним ходом Урбан окончательно ставил ему мат. Урбан взорвал сейчас мины, которые сам же в свое время заложил. Он явно был в курсе дел фирмы, потому что имел осведомителей, платных, подкупленных информаторов, может, среди них был и Кирхмайр, который теперь тоже удрал в кусты, занял новый, надежный пост, чтобы оттуда полюбоваться, как все тут пойдет прахом. И действовал Урбан заодно с Хохстраатом или по его заданию. Ведь на следующей неделе должен был начаться процесс против Хохстраата; если же фирма обанкротится — до начала или в ходе судебного разбирательства, — он не сможет продолжить процесс, так как истцом выступала фирма, а не он лично, да и все следы безвозвратно канут в пучину банкротства. Хохстраат, Урбан, Кирхмайр — мошенники высшего класса. А кто он? Шут? Сумасброд?

Ладно, остается разыграть эту карту. Сумасбродство — его джокер, ухмыляющийся, выряженный в шутовское платье. Вылитый Оттер в благодушном настроении.

Он позвонил Оттеру и долго с ним говорил, приветливо, непринужденно, наивным тоном, словно показывая открытые, безоружные ладони, и мало-помалу заметил, что недоверие Оттера и опасливая нерешительность пошли на убыль. Нет-нет, ничего определенного он не требовал, хотел только возобновить контакт и немножко поболтать. Лучше побеседовать друг с другом и поискать свежих мыслей, чем упрямо отмалчиваться. Ведь надо полагать, все было корректно, только сложилось не в его пользу, вот он и вынужден нести ответственность за три векселя, у самого-то Оттера денег не оказалось. К его большой неожиданности, как он признал.

— Как ни жаль, но у меня и сейчас их нет, — сказал Оттер. — Они накрепко завязли в том инвестиционном фонде, поскольку бурения в Канаде пока безуспешны.

— Тут мне бы следовало вас предостеречь, — сказал Фогтман дружелюбным тоном, причем нимало себя к этому не принуждая.

И Оттер расхохотался, сердечно, с облегчением:

— От этого все равно не было бы проку.

— Не надо мне было вас слушать. А вот вам меня надо бы Мы оба только бы выиграли, — рискнул ввернуть Фогтман. Он сказал об этом так, будто вспомнил глупость, которую они совершили вместе, и опять услыхал смех Оттера.

Я его убью, подумал он, но не сейчас. Сейчас надо идти дальше по следу, на который я вышел. И он сказал:

— Два мошенника вроде нас вечно сами себя оставляют в дураках.

— Да вы же выкарабкаетесь, — сказал Оттер, который, похоже, искренне забавлялся, и он какой-то частью своего существа — не рассудком — подхватил шутку:

— Конечно, сорняк не вянет. И инсектициды пока при нас.

— Да. При нас. К сожалению и слава богу. Я, конечно, не отчаиваюсь. И о вас помню. Хочу кое-что провернуть. Если дело выгорит, вы тоже свое возьмете.

— Обсудим, а?

— Обсудить можно. Но вы знаете, никаких претензий.

— Разумеется. Просто вы в свое время говорили о партнерстве и будущих проектах. Вот это я, собственно, и имел в виду.

— Ну что ж,— сказал Оттер.— Только я послезавтра уезжаю. Марокко, Сенегал, Центрально-Африканская Республика, Судан. Ознакомительная поездка по заданию моих американских и бельгийских компаньонов. Само собой, проведу переговоры и по нашему делу. Через два месяца вернусь.

Фогтман закрыл глаза, тщетно стараясь что-нибудь придумать. Два месяца — это яма, которую ему не перепрыгнуть. Да Оттер и после опять улизнет. Надо прищучить его сейчас. Прищучить!

— Жаль,— протянул он.— Кстати, вам кланялась Катрин. Спрашивала о вас. Нам бы давно пора снова встретиться втроем. Провести вечерок.

— Непременно,— заверил Оттер,— непременно.

— Где же вы еще побываете?

— В Марракеше, Дакаре, Банги, Хартуме и, может, отдохну недельку в Египте. Хочу глянуть на пирамиды и могилы царей в Луксоре.

— Сказка, позавидовать можно. Прямо хоть не рассказывай Катрин, а то ведь сбежит от меня.

Оттер рассмеялся. Сыто и самодовольно.

— Ладно, скажусь ей вашим партнером, тогда толика вашего блеска падет и на меня.

— Извольте,— хохотнул Оттер,— и кланяйтесь ей от меня.

— Серьезно, я непременно должен поговорить с вами до вашего отъезда. Дело вот в чем. Я сейчас коренным образом перестраиваю свое предприятие. И тут возникают кой-какие сложности с финансированием. Мне действительно необходим ваш совет. Два месяца — чересчур долгий срок, волей-неволей придется искать иной путь, а я в общем-то не хочу.

— А о чем речь? — спросил Оттер.

— Я полностью отсекаю мюнхенскую фирму от фабрик. И кроме того, в перспективе намерен освоить новый профиль.

— У вас трудности?

— И да и нет. Кризис. Правда, с интересными перспективами. Охотно все вам расскажу. Может, выкроите часика два?

Вместо ответа донесся неразборчивый сердитый звук. Потом все умолкло, и сердце Фогтмана бешено заколотилось в предчувствии, что все его чаяния вот-вот рухнут.

— Слушайте,— сказал Оттер,— если завтра в одиннадцать утра вы приедете ко мне в Кёнигштайн, я выкрою полтора часа.

Он еще посидел немного, потом тяжело встал и вышел в приемную, где фрау Эггелинг занималась уборкой. Ревизоры ушли час назад и, судя по их намекам, отзыв представят весьма неблагоприятный, а значит, его ждет высокая доплата. Но это случится не сегодня и не завтра, ну а все, что произойдет позднее, для него сейчас почти нереально.

Когда лифт поехал вниз, он почувствовал себя плохо, и даже когда вышел на улицу и глубоко вздохнул, лучше не стало. Его шатало от слабости, сердце отчаянно колотилось, а сил не прибывало, и он брел по стенке, чтоб прислониться, если будет вовсе невмоготу. Надо идти, дышать поглубже. Не ложиться же прямо тут, на дороге, надо идти, медленно, шаг за шагом.

Споткнувшись о выбоинку, он свободной рукой уцепился за край стены. Надо постоять. Вздох! Взгляд на витрину! Там что-то есть. Вертится. В самом деле, вертится. Гигантский перочинный нож в красной с серебром оправе, на вращающейся тумбе. Нож медленно выщелкивал из себя большое и малое лезвия, открывалки для банок и бутылок, ногтечистку и раскрытые ножницы, потом снова вбирал этот арсенал в свое серебряно-красное нутро. Я все могу, как бы говорили движения шестирукого механизма, я все могу. Против меня не устоит ничто. Фогтман ждал. За спиной шумела улица, мимо, не замечая его, шагали прохожие, будто он находился в каком-то ином мире. С тупым и грозным упорством нож, точно краб клешни, вновь и вновь растопыривал свои инструменты. Фогтман опасливо отвернулся и пошел прочь.

Опоздал! И как нарочно, сегодня! Он готов был отхлестать себя по щекам. До сих пор ни разу не опаздывал на важные деловые свидания, а сегодня, как нарочно, заставил Оттера ждать, Оттера, у которого еле-еле вырвал согласие на эту встречу, ведь перед дальней дорогой у того хлопот по горло.

Как нарочно! Как нарочно!

Но сегодня ночью, когда это тесиение в груди, эта неотступная ноющая боль не давали ему сомкнуть глаз, он вообще думал, что не сможет поехать. Заснул только под утро и проснулся, холодея от страха, что не услыхал будильник, и действительно проспал, на целый час. Лишь ожесточенным усилием воли он принудил себя сесть и спустить ноги с кровати. Встать удалось не сразу — слабость, настроение хуже некуда. Надо сходить к врачу, подумал он, что-то насос барахлит. Но ведь к Оттеру врача не пошлешь. От этого его никто не освободит, никто ему не поможет.

Да он уже и свыкся с такими приступами. Случались они от волнений и тревог, от переутомления и через некоторое время проходили. И на этот раз, будем надеяться, все само пройдет. После теплого душа он и правда немного взбодрился.

Дорога успокоила его, музыка по радио, безмятежные, бодрые голоса дикторов, приятное, мягкое контральто женщины, ведущей музыкальную программу. Все это пока есть, и он тоже пока есть. Что же потеряно?

Он, что ли, грезит наяву? Спит за рулем? Один раз машинально заехал на соседнюю полосу — позади тотчас взвыли возмущенные гудки. В другой раз замешкался и опоздал нажать на тормоз, хотя на него стремительно надвигались красные стоп-сигналы передней машины. В сером небе кружили две хищные птицы, а когда он вновь глянул на шоссе, белая разделительная линия осевой придвинулась опасно близко. Он в самом деле устал, и до предела вымотался, и порой ехал как в полусне. Движение в густом потоке автомобилей убаюкивало. Он ни минуты не думал о том, как поведет себя с Оттером, а сейчас вот прозевал нужный поворот, придется сделать крюк через Оберурзель. Теперь он уж точно опоздает. И Оттер не преминет уколоть его за это. Сколько труда положил, чтоб возобновить добрые отношения, но — увы! — все насмарку. Быстрее! Быстрее вперед! Мимо этих зануд, которые не желают осво-

бодить обгонную полосу. Даже на автостраде каждый упорно цепляется за то, что имеет. Как он ни сигналит светом, они и не думают посторониться. Мерзавцы, сволочи! Он еще сократил дистанцию. Опять посигналил — клаксоном и светом. Яростное гудение обрушилось на него, когда они наконец-то сдвинулись вправо и его машина пулей рванулась вперед. Что-то неладное со зрением. Перед глазами так и мельтешат черные точки, словно назойливая мошкара толчется за ветровым стеклом.

Опоздал на четверть часа! Поставив машину в переулке, он быстро зашагал вверх по улице, в гору, отыскивая нужный номер дома. Кругом старинные виллы и пышная зелень садов, примыкающих к буковому лесу. Кёнигштайн — тот самый город Федеративной Республики, где процент миллионеров среди населения особенно велик. Именно здесь излюбленное место жительства банковских президентов и состоятельных акционеров, потомственных богачей и нуворишей. Ничего удивительного — свежий лесной воздух, и лежит город на холме, и до Франкфурта рукой подать. А жена у Оттера, говорят, весьма обеспеченная дама, из потомственных богачей, наследница солидного, помещенного в солидные бумаги капитала. В этих домах жили люди, владевшие крупными фабричными паями, целыми улицами и процветающими магазинами — имуществом, которым управляли и которое приумножали специалисты.

Вот и нужный дом, увитый плющом, трехэтажный, с белыми переплетами окон и изогнутой черной крышей. Входная дверь, темно-зеленая, с глазком, окантованная латунью. Он нажал кнопку — дом огласился мелодичным перезвоном. И больше ничего. Неужели ошибся адресом? Да нет, номер тот самый. Он позвонил еще раз и вскоре услыхал шаги. Дверь нерешительно отворилась. Женщина лет пятидесяти, с грубым, неприветливым лицом вопросительно взглянула на него. Кто это — фрау Оттер? Он назвался, в ответ прозвучало короткое «прошу», и через тамбур и переднюю его провели в большую сумрачную гостиную. За подобранными с боков портьерами виднелась еще одна комната, окна которой почти целиком закрывала темная зелень сада.

— Прошу вас, садитесь.

Она опять ушла, неприветливая и молчаливая, затворила за собою дверь. Фогтман, не зная, куда сесть, огляделся по сторонам. Темные кожаные кресла, жесткие стулья с потускневшей парчовой обивкой, низкий резной буфет, диван с гнутой спинкой, рядом — пальма в керамической кадке, темная пятирожковая люстра с бронзовыми украшениями, лепной потолок, ковры и дорожки, персидские, афганские, с мрачным геометрическим узором. В соседней комнате мебель поновее, но опять-таки под старину, все в том же дедовском вкусе. Здесь он сейчас будет говорить с Оттером? Нет, не верится. Он не иначе как ошибся адресом.

По-прежнему стоя, он нервно кашлянул. Оттер не торопится. Вот тебе и безмолвный ответ на опоздание. А что, соседняя комната переходит за углом в следующую? Дом выглядел более просторным, чем он думал, и совершенно мертвым, как оцепенелая память о былой жизни.

Он уже хотел было сесть, как вдруг за дверью раздались шаги. В комнату вошла маленькая женщина в кремовом костюме с розовой блузкой, протянула ему руку. Волосы у нее были крашеные, черные как смоль, а сильно напудренное лицо казалось от этого увядшим и старым. Судя по всему, ей лет семьдесят пять или около того. Надушена дорогими, тяжелыми духами. На глухой блузке сверкает богатая старинная брошь.

— Я — фрау Оттер,— сказала она скрипучим, но приветливым голосом.— Садитесь же, прошу вас, господин Фогтман.

Она предложила ему стоявшее поблизости кресло, а сама с кукольной грацией села на диван и улыбнулась.

— К сожалению, мужа пока нет. Утром ему пришлось срочно выехать в Оффенбах к американским партнерам. Надеюсь, он скоро вернется.

— Если позволите, я подожду.

— Конечно-конечно. Выпьете чего-нибудь? Хересу? Коньяку? Или чая?

— Пожалуйста, чая,— наугад сказал он.

К его изумлению, она потянулась к низенькому столику, взяла колокольчик и позвонила. Неприветливая молчунья с суровыми глазами вошла в гостиную, выслушала распоряжение и скрылась.

— Это моя племянница,— пояснила фрау Оттер.— В прошлом году она оставила место медицинской сестры и с тех пор живет у нас — ведь я так часто остаюсь одна. Муж вечно скитается по свету. С первым-то мужем и я много путешествовала. Мы с ним весь юг объездили. Но это было давным-давно.

Она улыбнулась, будто говоря: вы же сами видите, я стара. Но возможно, ее улыбка вовсе ничего не означала, а была просто светской привычкой.

— Фред в самом деле искатель приключений,— продолжала она.— Не знаю, хороший ли он коммерсант, но приключения он просто обожает. Мотается повсюду и занят сразу тысячью разных дел. Надеюсь, он про вас не забыл.

— Он сказал, что вернется?

— Да-да, обещал непременно. Но, как видите, полагаться на его обещания нельзя. Уж я-то знаю.

— А позвонить ему никак нельзя? Я бы и в Оффенбах мог подскочить, если что.

— Нет, к сожалению,— сказала она.— Он редко оставляет мне телефоны. Я привыкла ждать. У вас срочное дело?

— К несчастью, да. Очень срочное.

Что же это? Перед ним разыгрывают спектакль? Оттер решил осмеять его и унизить, выставив этаким жалким попрошайкой, которого можно мариновать хоть до второго пришествия? Или задержка вправду непредвиденная, и Оттер с минуты на минуту, рассыпаясь в извинениях, войдет в дверь, более любезный и сговорчивый,— потому что опоздал не Фогтман, а он сам?

— А во франкфуртскую контору нельзя позвонить? — сказал он.— Может быть, там знают, где его искать.

— Нет-нет, он уехал сегодня утром внезапно, прямо отсюда. Думаю, он еще вернется. Не будем пока отчаиваться, ладно?

Молчаливая женщина внесла чай, составила чашки и чайник на маленький столик, руки у нее были грубые, костистые.

Им опять овладело гнетущее ощущение, что все это — унизительный спектакль, и, лишь внушая себе, что хочет разобраться, до конца все выяснить, он заставлял себя сидеть, кое-как поддерживая светскую беседу с фрау Оттер, и пить ее бледный жасминовый чай.

Фогтман спросил разрешения закурить.

— Пожалуйста, пожалуйста,— сказала она.— И меня угостите.

Глядя, как ее подкрашенные бледной помадой, окруженные мягкими морщинами губы взяли сигарету, втянули и опять выпустили дым, он вдруг понял, что эта женщина хладнокровно наблюдает за ним; и словно его мысль послужила ей репликой, она сказала хрипловатым, ломким старушечьим голосом, который иногда, когда она пыталась пококетничать, срывался и дребезжал:

— По-моему, вам сегодня не везет, господин Фогтман. Я сразу увидела, как только вошла.

— Что увидели?

— Ауру невезения. Сегодня она окутывает вас с ног до головы. Но вы, должно быть, в это не верите?

— Нет, не верю. Просто вымотался. Но на это есть свои причины.

— Все причины в нас самих, господин Фогтман. Вы разве ие знаете?

— Возможно,— сухо бросил он, глянул на часы и встал: — Поеду. Ждать дольше бессмысленно.

— Нет-нет, погодите минутку. Я должна вам кое-что передать. Муж просил вручить вам чек, если сам к двенадцати не вернется.

— Чек? — недоуменно протянул Фогтман, и новая надежда всколыхнулась в его душе.

— Да, открытый чек.— Она прошла в соседнюю комнату, выдвинула ящичек секретера и возвратилась к нему: — Прошу вас.

Он кинул взгляд на листочек в своей руке. Это был чек на пятьсот марок с размашистой подписью Оттера и сегодняшней датой.

— Из-за вашего мужа я потерял миллион четыреста тысяч. На что мне эта бумажонка?

— Муж полагал, что у вас трудности. И насколько мне известно, он ничего вам не должен.

— Можно, видимо, считать и так.

Он покачал головой, глядя на чек, и почувствовал, как его «я» растаяло, исчезло. Все безразлично. Безразлично — что бы он сейчас ни сделал. До двери недалеко, и возвращаться сюда ему незачем. Он сунул чек в карман пиджака.

— Спасибо за чай.

В передней зазвонил телефон.

— Подойди ты,— сказал молодой жене Вольвебер,— вдруг это опять он.

— А потом что?

— Сперва подойди.

Телефон все звонил, неприятно громко, и она подумала: нет смысла дольше ждать. Он не перестанет. Знает ведь, что мы дома. Она пошла в переднюю, сняла трубку и с чувством внутреннего протеста услыхала низкий, гортанный, чуть рокочущий голос Ульриха Фогтмана, в котором не было ни тени любезности. Час назад Фогтман уже звонил и спрашивал ее мужа. Вчера он звонил мужу в контору и говорил с секретаршей. Ее муж и он были однокашниками, во всяком случае знали друг друга по школе, и на это Фогтман ссылался как на некую исконную привилегию. У нее создалось впечатление, что он попал в изрядный переплет. Это словно бы звучало и в голосе, требовательном и вымученном. Голос назойливо лез в уши, точно желая не только быть услышанным, но вызвать чувство вины и страха. В суеверном ужасе, который велит избранникам богатства и удачи избегать встреч с несчастливцами, держаться от них подальше, она бы с удовольствием ответила, что мужа нет дома. Но Вольвебер вышел следом за ней в переднюю, и поэтому она лишь на миг прикрыла трубку ладонью, прошептала «это он» и передала трубку мужу.

— Алло, Ульрих, ты где?

И конечно, все вышло именно так, как она ожидала: Фогтман находился поблизости, и муж пригласил его зайти и переночевать.

Спустя полчаса в дверь позвонили, и, поскольку муж до сих пор хромал из-за полученной неделю назад спортивной травмы, открывать пошла она. По школьной фотографии она запомнила Фогтмана светловолосым, сощурившимся от солнца мальчуганом, сейчас же перед нею стоял высокий, худой мужчина с затравленным взглядом, настороженный и измученный. Туго набитый саквояж в руках придавал ему деловой вид. А сдержанные, суховатые манеры еще усиливали это впечатление. Казалось, он чувствовал себя весьма неловко и знал, что причиняет беспокойство, но решил не обращать на это внимания. Она пригласила его в комнаты. Он извинился, что пришел без цветов. Ведь специально ездил к вокзалу, только киоск был уже закрыт. Он, безусловно, не преминет загладить свой промах. А пока благодарит и приносит извинения.

Между тем в переднюю вышел и ее муж, нарочито бодро воскликнул «привет!» и стиснул Фогтмана в дружеском объятии. Потом, на секунду отстранившись друг от друга, оба заулыбались. Похоже, обрадовались встрече, и, быть может, вполне искренне. Фогтман принес в подарок бутылку коньяку, и ее муж притворно обрадовался, хотя не любит коньяк. Провожая гостя в глубь дома, в просторную, окнами в сад, гостиную, она заметила, что Фогтман внимательно оглядывает комнаты и мебель, правда, старается делать это украдкой. И вот, наконец, до изнеможения усталый, он сидит в кресле и пытается включиться в оживленную болтовню, разделить с ее мужем воспоминания прошлого. Денег будет просить, подумала она и немножко устыдилась, что так хладнокровно судит о нем. Но ведь ясно, иначе быть не может. Она этому не помешает, да и мужу, разумеется, известно, как обстоят дела, и он давным-давно решил, сколько не жаль, истратить на эту дружбу. Значит, можно сейчас оставить мужчин одних.

Ее муж пришел в спальню уже глубокой ночью. Она проснулась оттого, что он наткнулся впотьмах на стул и тихонько охнул.

— Что такое? — спросила она.— Ты ушибся?

— Ничего-ничего. Это я здоровой ногой.— Он лег рядом и нащупал ее руку.— Извини, я тебя разбудил.

— Пустяки. Это вы до сих пор проговорили?

— Да. Кошмар. Он дошел до точки, во всем — и в делах и в браке. Всю жизнь ставит под сомнение.

— Ты дал ему денег?

— Он отказался. Прямо рассвирепел, когда я заикнулся о деньгах. Пришлось успокаивать.

— Что он так цепляется за тебя?

— Не знаю. В школе я его здорово доводил. Заставлял ботинки себе чистить, за деньги.

— Но он говорит, вы дружили.

— Верно. Позднее.

— А теперь? Ты в состоянии ему помочь?

— Не знаю. Он рассчитывает, что я найду ему место. А мне это не улыбается. Его фирма идет с молотка, и он тут, кажется, не без вины. Думаю, дал втянуть себя в какие-то махинации.

— Но в таком случае ты не можешь рекомендовать его.

— В общем, нет. К тому же он в этой отрасли полный профан. Впору самому брать его на работу. Только для однокашников это не очень удобно, ведь мне, как начальнику, придется им командовать. Надо будет что-нибудь придумать. Я сказал ему, чтоб он на той неделе приехал на водноспортивную ярмарку во Фридрихсхафен, может, удастся кое-что для него сделать. Хотя это «коньячная» идея, в самом прямом смысле. Мы ее даже обмыли.

— Жаль мне тебя,— сказала она.— Ну и его, конечно, тоже.

Она думала об истерзанном человеке, который спал сейчас в комнате для гостей, чужак, смутивший безмятежно-счастливую атмосферу их дома. Что такое беда — заразная болезнь? Можно ли от нее защититься? Можно ли оттолкнуть несчастного, или тем самым обременишь себя виной, за которую в конце концов будешь наказан?

Она вздрогнула от этой мысли и теснее прильнула к мужу.

— Хорошо бы он поскорей уехал,— сказала она.— И как замечательно, что ты здесь!

Утром она сияющей улыбкой встретила мужа и Фогтмана, когда они друг за другом вышли к завтраку. Она встала пораньше, как можно красивее накрыла стол и за этими делами мало-помалу обрела чувство уверенности. Скатерть, салфетки, старинный берлинский фарфор, серебряный чайник, посредине плоская ваза с фруктами — все подобрано с таким вкусом, так естественно и красиво, что ей подумалось: вот зримый образ неуязвимости ее бытия. Повредить ей Фогтман не сможет.

И вот он разом перестал отвечать на звонки, правда, на первых порах еще некоторое время отзывался женский голос, который сообщал всем, что с ним связаться нельзя и когда он будет, неизвестно. Этот голос как бы черпал холодность в растущем возбуждении бесчисленных телефонных собеседников или в своих же чисто формальных полномочиях, в своей упрямо подчеркиваемой неосведомленности, которой потчевал звонящих. Нет, она ничего не знает и сказать ничего не может — не уполномочена, контора закрыта. Часа через два-три, однако, манера изменилась. Голос стал громче, нетерпеливее, говорила она быстрее, и во фразах, по-прежнему кратких и стереотипных, сквозило теперь что-то иное, что она уже едва могла скрыть и чему в конце концов невольно поддалась: это была не то смесь растерянности и страха, не то смутная пока догадка, что она, хозяйка голоса, тоже предана и покинута и в безнадежнейшем положении стремится противостоять нажиму, который безудержно растет и будет усиливаться до тех пор, покуда не сломит и ее, вынудив совершить некий поступок, а поступок этот распахнет ее душу, и она захлебнется в омуте катастрофы.

Некоторое время телефон вообще не отзывался. Потом она опять заговорила, нежданно-негаданно вновь обретя деловитый тон. Но теперь в трубке звучало всего лишь бесстрастное, механическое эхо ее голоса, который монотонно, с неестественной отчетливостью повторял:

— Автоответчик фирмы «Южные деликатесы» к вашим услугам. Контора закрыта впредь до особого распоряжения. После гудка прочтите свое сообщение, а затем укажите фамилию и адрес. Прошу вас, говорите.

Короткий гудок — и наступала тишина; неудержимым потоком черноты она скользила мимо, точно магнитофонная лента, на которую сейчас можно было наговорить жалобу, проклятие, просьбу, хотя и без всякой надежды на ответ.

Лампы погасли — сначала в конторе, потом в приемной, потом на лестнице, и секретарша, наспех забрав из шкафа и из письменного стола свои пожитки, быстрыми

шагами направилась через улицу в гараж, к машине. Там она села за руль и, прежде чем повернуть ключ зажигания и включить мотор, с глубоким вздохом откинулась на спинку сиденья и чуть обмякла, будто с этим вздохом из нее ушла вся фальшь, в том числе и наигранные манеры, притворная бодрость, с какою она часами давала половинчатые или вовсе пустые справки, пока не почувствовала, что больше не выдержит, и не сбежала.

Ведь это было настоящее бегство, не только от орды телефонных преследователей, скорее от самого преследуемого, чьих указаний и расспросов она ждала там, в конторе, пытаясь сдержать натиск погони и тем, как она думала, прикрывая его временный отход. Вдруг он, пока суд да дело, нашел выход и на командном пункте — так он иногда называл контору — ему требуется кто-нибудь, заслуживающий доверия, с кем без долгих предисловий можно договориться, если он вновь, как уж бывало, нападет на спасительную идею и решит из своего укрытия пробиться к людям, которые в состоянии ему помочь и, пожалуй, имеют на то свои причины, к людям вроде Хартвиха, Оттера или крупнейших поставщиков (она частенько беседовала с ними за последние месяцы).

Она ждала, что вот снимет еще раз трубку и вдруг снова услышит его голос, спокойный, уверенный, знакомый по многим месяцам совместной работы, когда сам его тон, сама манера выражения всегда убеждали ее, что он, шеф, одолеет любые трудности.

Она ждала этого не как чуда, совсем наоборот, как знака возвращения былой реальности, а эта реальность непременно в скором времени вернется, сию минуту или немного погодя — во всяком случае тем вероятней, чем дольше она ждет. Но каждый телефонный звонок, вырывая ее из полузабытья и опять вынуждая терпеть натиск злых или отчаянных голосов, крошил ее твердость, и понемногу, хоть она и не отдавала себе в этом отчета, ею все больше овладевало чувство заброшенности и безысходности — так занятой человек часами зябнет и, лишь вконец окоченев, осознает, что с ним произошло.

В скучном конторском освещении она скользнула взглядом по корешкам папок-регистраторов, по вертящемуся стулу со съехавшей зеленой подушкой, отметила тусклый блеск прибранного письменного стола и подумала: что я здесь делаю? И комната, и вся мебель выглядели так, будто жить им осталось уже недолго. Один лишь миг, странное, неприятное видение,— а вернуться в привычный мир уже нельзя. Без долгих размышлений она принялась вытаскивать из ящиков стола свои вещи: два десертных ножа, фруктовый нож, фарфоровую чайницу, слоновой кости ножичек для разрезания бумаги, очечник, серебряную сахарницу,— запихнула все в пластиковую сумку. Потом подошла к шкафу, вынула оттуда плащ, шарф, забытую на плечиках старую вязаную кофту и только теперь, взяв в руки эти вещи — стоит надевать их или нет? — призналась себе, что утратила веру в Фогтмана и собирается бежать. Но это уже не потрясло ее. В сущности, она уже переступила этот порог... Она наговорила текст на пленку автоответчика и переключила телефон. Сам виноват, подумала она, не имея в виду ничего конкретного. Что ни говори, а содержимое пластиковой сумки — ее личная собственность.

Она вдруг невольно представила себе, что он подсматривает, как она спускается по лестнице. Перегнулся через перила двумя этажами выше и кричит вдогонку: «А кофе не будет? Не будет?» Голос сорвался на собачий визг, который напугал ее,— она ведь всегда догадывалась, что именно такой визг и кроется в рокочущих глубинах его голоса, и вот теперь она извлекла его наружу.

Хорошо, что все кончилось, подумала она и по спирали пандуса вывела машину из гаража в полный огней город.

На высоких мачтах перед территорией ярмарки реяли национальные флаги множества стран-участниц, и по фасаду над главным входом тянулась огромная белая надпись: ИНТЕРВОД, 17 — 25 сентября. С озера веяло альпийской прохладой. Фогтман ежился на скамейке. Он был здесь со вчерашнего полудня, а сегодня, в воскресенье, ярмарка закрывается, и посетители просто валом валят. Сидя на скамейке, он съел сосиску с горчицей и булочку, выпил банку пива и вот уже полчаса раздумывал, не заглянуть ли последний раз в павильон: вдруг удастся разыскать Вольвебера, который неделю назад обещал здесь, на выставке-ярмарке, познакомить его с промышленника-

ми и коммерсантами своей отрасли. Сегодняшний вечер — это последняя возможность, а он еще не сумел поговорить с Вольвебером. Вчера видел его издалека, в компании людей, которая скрылась в телестудии. Он добрых полчаса ждал поблизости, но, видно, упустил-таки минуту, когда Вольвебер вышел из студии. И в отеле он его не поймал, только оставил свою карточку и гостиничный адрес. Ответа до сих пор не было. Что он потеряет, если еще разок прогуляется по обширному павильону и поищет Вольвебера у стенда или, может, столкнется с ним нос к носу в проходе и прижмет: давай, мол, держи слово! Ведь по своей воле тот пальцем не шевельнет. Надо его заставить. Силой вырвать свою удачу. Как раз когда все считают, что ему, Фогтману, конец. Любой конец есть новое начало. На следующей неделе он объявит о своем банкротстве, а до тех пор надо пройти этот поворот. Точнее говоря, нащупать почву под ногами. Или увидеть берег. Ему нужна перспектива. Иметь перспективу — вот что главное в жизни. Для каждого человека. Может, он и дрался-то всегда лишь ради перспективы.

Сколько раз уже он обошел павильон? И тем не менее краски, огни, висящий в воздухе многоголосый гул и людские толпы в проходах между стендами по-прежнему слегка пьянили его. Огромные и яркие панорамные фотографии заполонили перегородки выставочных ниш, свободные стены павильона и информационные стенды, а кое-где на экранах мониторов мелькали схожие картинки, поменьше, зато в движении: байдарочники единоборствовали с пенно-кипящим горным потоком, воднолыжники на крутых виражах вздымали сверкающие веера брызг. Белокурая красотка загорала на широком оранжевом борту надувной лодки, мечтательно уронив руку в кристально-прозрачную воду. Рыболов, сидя на корме своего ялика, курил трубку. Три спортсмена на виндсерферах под яркими, как бабочки, парусами взлетали на пенных гребнях прибоя. Аквалангисты, вооруженные гарпуном и кинокамерой для подводных съемок, как бы висели в зеленоватом глубинном сумраке кораллового рифа. Гонщики-яхтсмены, упершись ногами в кромку борта, почти горизонтально перевешивались наружу, чтобы надутый парус не потерял ветра. Веселые компании купальщиков на изящных моторных яхтах направлялись в отдаленные бухты и к уединенным прибрежным островам. Приходите! Выбирайте! Мы дадим совет!

На спорте и досуге, похоже, делали деньги одни толстосумы. Это было заметно по рекламе, по богатству оформления стендов, по вышколенности персонала, по спортивной элегантности публики, которая с заинтересованным видом знатоков дефилировала мимо стендов. А он-то рассчитывал сколотить капитал на скучных товарах повседневного спроса. Его клиентуру составляли прижимистые домашние хозяйки и мелкие обыватели. Здесь же были совсем другие покупатели, эти люди не боялись тратить деньги, ценили размах, горели честолюбием, потомственные богачи и выскочки-нувориши, люди, искавшие успеха и наслаждавшиеся жизнью. Вот где надо было начинать — на этом рынке. Эта волна подняла бы и его. Здесь ему самое место.

Возле серферов вечно толпился народ, и стенды там были умопомрачительные. У Вольвебера все продавцы и продавщицы были одеты в белое и синее. Белые юбки, белые брюки, синие полотняные жакеты и пиджаки, загорелые лица, будто все они только что из отпуска или из солярия. Он тут, вероятно, уже примелькался, так как подойти к нему они не спешили. Знали, что покупать он ничего не собирается. Просто ждет их шефа. Шеф обедает с клиентами. Ушел на пресс-конференцию. Час назад ненадолго заходил. Теперь, наверное, в другом павильоне. А может быть, в одном из кафетериев. Оставьте нам вашу карточку.

Он взял из стопки проспект, полистал: новые стандарты в стандартной серии.

— Я могу вам помочь? — спросил продавец.

— Мне бы повидать господина Вольвебера.

— К сожалению, не знаю, где он.

— Я специально приехал из Мюнхена, он сказал, что я всегда найду его на стенде.

— О нет,— сказал продавец,— здесь господин доктор бывает крайне редко. У него непрерывные встречи в отеле и в городе.

— Он намеревался оставить для меня записку.

— Минуточку. Я спрошу у моей коллеги.

Смысла нет, он знал, видел это по нетерпеливому взгляду, брошенному на него продавщицей, прежде чем она рассталась с коллегой и подошла к нему.

— Сожалею. Доктор Вольвебер на заседании ярмарочного комитета. Оставьте, пожалуйста, вашу карточку и адрес.

— Уже оставил. Я был здесь два часа назад. И вчера вечером тоже.

— Я помню,— сухо проговорила она. По лицу девушки было заметно, как низко он пал в ее глазах. Назойливый проситель, которого надо спровадить.— Зайдите еще раз перед самым закрытием. Возможно, доктор Вольвебер будет здесь.

Она с улыбкой отошла к новому клиенту. Фогтман побрел дальше как ни в чем не бывало, будто он тоже клиент, бизнесмен, желавший получить информацию, потенциальный покупатель.

В темноте над озером вспыхивали огни большого фейерверка, на миг озаряя темную гладь воды. Отсюда, из номера, они казались Фогтману тусклыми зарницами, которые прозрачно скользили в воздухе вслед за далекими глухими раскатами. Лишь раз одна ракета сбилась с курса и рассыпалась за темными деревьями гостиничного сквера дождем алых искр.

Фогтман подошел к окну глотнуть свежего воздуха и унять накатывающую дурноту. Он чересчур уж плотно и обильно поел — в нем вдруг проснулась неутолимая алчность, словно требовавшая во что бы то ни стало заполнить ненасытный вакуум, беспросветный мрак внутри, который грозил поглотить его, когда в многолюдном гостиничном ресторане, одиноко сидя за боковым столиком, он смотрел, как коммерсанты за другими столиками празднуют завершение ярмарки — сплошь оживленные, довольные лица, склоняются друг к другу, кивают, смеются, в большинстве мужчины его возраста, но и хорошенькие, привыкшие к успеху женщины из тех, кого он видел у ярмарочных стендов. Теперь, вечером, они принарядились, некоторые пришли в длинных платьях, изящно причесанные, увешанные драгоценностями, в сопровождении элегантных, спортивных мужчин, про которых невозможно сказать, кто они — коммерсанты или победоносные гонщики-яхтсмены. Куда девались усталость и переутомление, которые он замечал после обеда на многих лицах! Они сияли улыбками, двигались непринужденно и уверенно, вновь вошедших встречали радостными возгласами и объятиями, и те вливались в шумные компании пирующих, усаживались за банкетные столы, вокруг которых сновали полчища официантов, всюду поднимали бокалы, пили за ярмарку, за новые сделки или еще какие-нибудь поводы всеобщего веселья. Вот тут-то на него и напала эта жуткая алчность, по милости которой он слопал чересчур дорогой и чересчур обильный обед из пяти блюд и теперь не мог отделаться от ощущения, что его вот-вот вырвет, а сердце билось учащенно и с натугой.

Но потом все-таки случилось и кое-что хорошее, подарившее ему новую надежду. Вместе с ключом портье передал ему записку и сообщил, что звонил некий господин Вольвебер: он зайдет завтра утром, к завтраку, в гостиницу. Может статься, это — его спасение. Во всяком случае, он не предан и не обманут. Хайнц Вольвебер по вполне понятным причинам не сумел выкроить для него времени, а теперь решил загладить неловкость и определенно сделает ему выгодное предложение. Наверняка, наверняка придет не с пустыми руками. Фогтману по-прежнему было плохо. Может, если лечь, дурнота отпустит? Ну что за глупость — так наедаться! Теперь впереди прескверная ночь, а утром, за завтраком, сидя напротив Хайнца Вольвебера, он будет выглядеть больным и, как в прошлый раз, произведет жалкое впечатление.

— Завтра надо быть в форме,— прошептал он, точно уговаривая давящую тьму. Лучше пока не стало. Ничего, скоро пройдет, должно пройти! Он чувствовал, как сердце борется с удушьем и как в нем растет страх. До чего же стыдно и унизительно лежать здесь, хватать ртом воздух и бояться ночи, удручающе долгой ночи, ведь каждая ее минута тянулась без конца, а он не знает, чем помочь своему сердцу. Желудок вспучило, рука и плечи онемели. Но боли в сердце не было, оно только саднило, как от прикосновения...

Поделом мне, дураку, думал он, но если меня сейчас вырвет, сразу станет легче. Сейчас. Уже сама эта мысль вызвала дурноту. Обливаясь потом, он выбрался из постели — с ночного столика упала лампа. Где он? Ничего не видно. Это что, дверной косяк? Надо успеть, в отчаянии думал он, нельзя тут все облевать. Небывалая, пронзительная боль сдавила сердце. Будто рывком затянули тиски, оборвав дыханье и

биенье сердца, швырнув его на колени. Его стошнило, и он забился среди блевотины. Я не хочу умирать, думал он, нужно позвать на помощь. Он лежал лицом вниз. Я не хочу умирать! Мне страшно! Боль, скрючившая тело, как будто бы отпускала, позволила отвернуть в сторону измазанное лицо, поднять его над полом. И, тотчас вернувшись, показала ему, на что способна. Тиски затягивались все туже, он со стоном припал щекой к полу, еще поворот винта — пальцы судорожно сжались в кулаки, еще поворот — и тиски задавили в нем жизнь. И он, словно ухватив спасительную соломинку, перестал сопротивляться.

— Ты слышал? — сказала в соседнем номере молодая женщина.— Кажется, там кто-то упал.

— Пьяный, наверное,— отозвался ее муж.

В баре танцевали. На озерной набережной частый дождик размачивал горелые остатки ракет. В ярмарочных павильонах ночной сторож ходил среди причудливого ландшафта частично разобранных стендов. Пришвартованные в гавани лодки и небольшие катера качались на легкой зыби. Большинство участников и гостей ярмарки утром намеревались отбыть восвояси. А кто очень спешил, те дремали и грезили в спальных вагонах ночных поездов или катили по ночным автострадам. На вагонных полках, в багажниках и на задних сиденьях машин лежали папки с новыми заказами, которые уже через несколько часов поступят на обработку. Ярмарка оказалась весьма плодотворной. Индустрия досуга процветала, тогда как прочие отрасли экономики были охвачены застоем.

Вольвебер тоже был доволен заключенными сделками. Единственная неприятность предстояла утром. Что он скажет Фогтману? Вольвебер не мог ничего ему предложить. И когда портье вполголоса сообщил, что Фогтман ночью скончался, к испугу примешалось облегчение. Поскольку же Вольвебер был единственным, кто мог хоть что-то сказать о покойном, портье провел его во двор, где как раз укладывали тело в санитарную машину. Из-под серого одеяла, точно давний упрек, выглядывали ступни с искривленными пальцами.

14. Конец чего-то и как его распознать

Звуки фортепьяно стали невыносимо громкими — раскатистый гул и грохот, давно преступивший все пределы разумного и повергнувший слушателя в ту беспомощную оторопь, с какой следишь за нескончаемыми метаморфозами иных сновидений. Мой собеседник придвинулся ближе, не оставляя попыток рассказать мне о смерти Ульриха Фогтмана. Он был тогда врачом городской больницы, в которую доставили труп, и бог весть отчего ему не терпелось поведать мне, как выглядело сердце покойного, когда они вскрыли грудную клетку.

Фогтман... Я знал его по школе и вновь встретился с ним, когда все для него было кончено. А в последний раз, примерно год назад, он лежал на носилках в гостиничном дворе, и рядом стоял этот самый врач с пухлой физиономией (сколько на нее ни смотри, все равно забудешь), который теперь так назойливо-фамильярно придвинулся ко мне. Очевидно, у него не было знакомых в этой компании, вот он и прилепился ко мне, когда канадка-художница давала пояснения к своим картинам — безумным, скрученным фигурам из порванных и перегнутых или измятых холстов, которые она обливала красками, а затем частично вновь обесцвечивала. Мы с ним сидели рядом, пока художница показывала слайды, потом вместе оказались у стола с холодными закусками, и он завел со мной разговор, сославшись на тот вопрос, который я задал художнице во время дискуссии: каким образом она распознает, что картина готова. Она ответила: it is only a matter of feeling[1]. Я попросил ее более подробно описать ощущения завершенности, а она сказала, что все это очень сложно, она, мол, понемногу успокаивается, может дольше смотреть на свое творение, ничего в нем не меняя, и склонна покориться усталости. Вот об этом он и завел со мной разговор, с жаром и слегка ворчливо. Мол, все здесь здорово непривычно и здорово его взбудоражило. Он-то сам простой ремесленник, трудяга. А потом мысли его совершили странный скачок, и он сказал:

[1] Все дело тут только лишь в ощущении *(англ.)*.

— Мы-то, врачи, точно знаем, когда наступает конец.

Я был оглушен музыкой, которая неслась из двух открытых роялей. Кровавый, разорванный моллюск Фогтманова сердца плавал в темном, как чернила, море, края его ран отсвечивали кораллово-алым, по ним неясной, причудливой волной пробегал трепет. Консерваторские преподаватели, производившие этот оглушительный грохот, привстали со своих табуретов, и между головами облепивших рояли людей я видел вздернутые, прыгающие плечи, которые ритмичными толчками бросали вниз руки музыкантов, и на миг мне почудилось, будто они силились высвободиться из каких-то пут, державших в плену их ноги. Дыхание собеседника коснулось моего лица: спертый воздух этих комнат, разбавленный и увлажненный у него в легких. Не знаю, зачем ему понадобилось сообщать мне, что, когда Фогтмана нашли и на носилках вынесли из гостиницы, сердце его было изорвано в клочья. Он изложил мне эти сведения, видимо, в знак доверия, стараясь подольститься и отдавая дань обстановке, где все теряет свою форму. Не знаю, зачем я его слушал. Ведь этот рассказ был тайной, которая давно потеряла всякое значение. Он говорил громко, стараясь перекрыть шум, улыбался. Я с улыбкой зажимал уши и тряс головой: дескать, тут не побеседуешь! — а потом протолкался ближе к роялям. Пианисты не то молотили по клавишам забинтованными руками, не то натянули на кисти рукава рубашек и играли искусственными культяшками. Прекрасная, громовая паника, которой я и предался.

Врач куда-то ушел. В этот вечер я видел его еще раз, он что-то втолковывал молодой женщине в длинном платье. Та слушала серьезно, иногда кивала. Мне показалось, что ей скучно, и я подумал: ничего он не добьется.

Позже выступили две танцовщицы в исторических костюмах, а пианисты импровизировали под их размеренную поступь. Когда стемнело, в саду разожгли гриль. Стоя рядом с канадкой-художницей, я видел, что она мерзнет, но не заговорил с нею. Настроение у меня было не то чтобы скверным — просто недоставало подъема. Быть может, возраст сказывается и в том, что без сожалений упускаешь из рук верный шанс.

Когда почти все уже разошлись, художница уселась напротив меня и вспомнила о нашем споре; конец какого-то дела, сказала она, можно увидеть всегда. Я заспорил. Вероятно, создательница драных холстов и согласилась бы с мной, если б я открыл ей, что будущее видится мне мрачным. Мрачным, однако же непредсказуемым (чтоб не противоречить себе). Происходящее сейчас — это лишь прелюдия.

■

РУДНИЦКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ (род. в 1945 г.)

Советский критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук, автор ряда статей по проблемам зарубежной литературы. В его переводе опубликованы стихотворения Райнера Марии Рильке (1974), повести Петера Хандке «Короткое письмо к долгому прощанью» (1978), Кристы Вольф «Нет места. Нигде» (1983), Адольфа Мушга «И больше нечего желать» (1984), пьеса Бертольта Брехта «Человек как человек» (1985) и др. В романе Д. Веллерсхофа «Победителю достанется все» М. Рудницким переведены 1 — 7 главы.

ФЕДОРОВА НИНА НИКОЛАЕВНА

Советский переводчик с немецкого и шведского языков. В ее переводе издавались произведения писателей ГДР, ФРГ, Австрии, Швеции, в том числе повести Анны Зегерс «Каменный век» и «И снова встреча» («ИЛ», 1975, № 12 и 1978, № 11), романы Ангелики Мехтель «Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой» («ИЛ», 1983, № 3), К. Арно Блома «Кто-то дает сдачи», Х. Мартинсона «Дорога в Царство Колоколов», рассказы З. Ленца. Ф. Фюмана, Р. Вернер и др. В романе «Победителю достанется все» Н. Федоровой переведены 8 — 14 главы.

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

Из книги «Сад песней»

■

Перевод с бенгали Н. ГОРСКОЙ

■

О безбрежности брег, о недвижности ход,
о бездомных очаг, о падших оплот,
о солнце очей, о свежий нектар,
о светоч души, о радости дар!
О магия слов, о блеск темноты,
о дух без оков, о горечь мечты,
о нищего клад, о зренье слепца,
о жизни конец, о жизнь без конца!

■

Радость потоком течет во вселенной,
чаша небесная плещется амритой пенной.
Солнце дневное, светило ночное
пьют неустанно нектар животворный,
жизнь наполняя ликующей силой блаженной.
Что ж ты в себе пребываешь как пленный —
занят своей повседневностью бренной?
Взор обрати к необъятному миру
и, не страшась преходящей печали,
душу наполни любовью нетленной.

■

Моя свобода в небесах — вдали, вдали,
моя свобода на камнях — в пыли, в пыли.
Души и плоти зыбкий круг я размыкаю вдруг —
мою свободу на крылах качают журавли.
Моя свобода — стук сердец, ритмичный стук,
моей свободе жить в труде рабочих рук.
Взойду на жертвенный костер, моей свободе дам простор,
а плоть моя лишь прах, лишь горсточка земли.

1986 год в Индии объявлен Годом Тагора. Статью В. Ивбулиса о творчестве Рабиндраната Тагора см. в «ИЛ», 1986, № 5.

■

Я ко сну отошел, но нежданно, не в срок
меня кликнули вдруг, тихо имя шепча.
Звездный мир был далек и высок,
а в ночи на земле — ни луча.
Надо мной зарыдала родня:
«Как дорогу найдешь в темноте без огня?»
Я сказал: «Светоч есть у меня —
поглядите, в руке загорелась свеча».
Разгорался огонь, но не таяла мгла,
и глазам становилось невмочь,
средь шатучих теней эта майя [1] плыла,
и меня плохо видела ночь.
Но мой свет над землею я нес,
и клубился туман, поднимаясь до звезд,
и огонь на ветру брызгал искрами слез,
и глазам стало вовсе невмочь.
А потом мне лицо исхлестали кусты,
и сейчас же погасла свеча.
Не отыщешь пути средь лесной темноты,
на земле — ни огня, ни луча.
Задрожал я, заплакал в тот миг
и бессильно, безвольно поник.
Но ко мне подошел вечный мой проводник
и тихонько коснулся плеча.

■

Мать, утоляющая печали,
да святится твоя безграничная нежность,
да святится твое состраданье.
Ты убогого взглядом ласкаешь,
привечаешь того, кто темней непогоды,
наделяешь амритой щедро
обнищавших, гонимых невзгодой.
Ты сегодня меня осенила улыбкой,
я к твоим стопам припадаю,
исцеленный от жгучей душевной боли.
Ничего мне не надо боле.

■

Под вечер в низких облаках исчезли звездные стада,
и слово на моих губах угасло, как звезда.
Быть может, что-то я шепнул, но ветра гул твой слух замкнул,
и шепот под дождем растаял без следа...
Ты прочь пошла, не обернулась, уходя,
и скрыли боль мою потоки темного дождя.
Смогу ли я когда-нибудь тебя вернуть?..
Но вечер тот — увы! — потерян навсегда.

---

[1] Майя *(санскр.)*— видимость, иллюзия; одно из универсальных понятий древнеиндийской философии. Может толковаться как завеса, закрывающая от человеческого взора высшую сущность бытия. *(Здесь и далее прим. М. Салганик.)*

■

Я у дверей, открой, открой скорей,
замки скорее отомкни.
Я долго ждал, я ждать устал,
скорей мне руки протяни.
Завершены дела, звезда вечерняя взошла,
и день уже откочевал за темный перевал
и погасил свои огни.
Свежа ль вода, скажи? Плоды ль свежи?
Надела ль ты заветные шелка?
Уединившись в тишине, сплела ль гирлянду мне,
вплела ли в косу жар цветка?
В хлеву уснул телок, и птичий сон глубок,
и перепутанный клубок земных дорог
неразличим в ночной тени.

■

Сегодня ты наедине со мной,
сегодня хлещет дождик проливной,
сегодня мгла стоит стеной.
Под гром, под шум дождя сказать отважусь я
слова, понятные тебе одной.

Все опустело, вымерло кругом,
остались только дождь и гром.
Две одинокие души в грохочущей тиши,
в безлюдье скорбном грозовом,
друг друга мы поймем.

Все затянуло мраком сплошь.
И жизнь сама, быть может, ложь.
Зато не лгут глаза, глядящие в глаза,
не лжет сердец таинственная дрожь.
Все остальное канет в дождь.

Нет ничего дурного в том,
что приютил двоих пустынный дом.
Нет дела никому, что нам в пустом дому —
пока шрабон[1] шумит дождем —
отрадно быть вдвоем.

Сегодня ветер пляшет как шальной,
и мгла прошита молнией сквозной.
И слову моему — не знаю почему —
легко пробиться к сердцу твоему
сегодня, в дождик проливной.

■

Если буря в крови, якоря оборви — подними, подними паруса.
В океане любви без оглядки плыви — разверни, разверни паруса.
Ветер режет глаза, набегает слеза — это в сердце гроза,
это в сердце гроза.
Мчись во мрак, о моряк! Позабудь про маяк — разверни,
разверни паруса.

[1] Месяц в сезоне дождей.

■

С небесами вместе ты гори от зари и до зари,
с небесами песней от зари и до зари говори.
И как в чаще вековой ветер грозовой плачет с плачущей листвой,
так и ты всем сердцем плачь и печаль другим дари.

■

Чадящим душным днем под солнечным огнем
в пыли я плелся, как больной.
И вдруг увидел храм и подошел к дверям —
откройте, сжальтесь надо мной!
Мне утром голос был, он в путь меня манил;
в пути испепелил мою гирлянду зной,
и кажется — вот-вот душа во мне умрет.
Кто двери отопрет? Иль пусто за стеной?
Я песнею томлюсь, но к людям песни груз
не донести боюсь, раздавлен тишиной.

■

Ветер отшумел в лесах — по воду иди!
Солнце зреет в небесах — кончились дожди.
Ты иди, иди на гхат [1] — шепчут камыши,
зачерпнуть воды в кувшин поспеши.
По дороге слушай птиц — душу услади.
Ленты ласковых лучей навевают лень,
трясогузки, поиграв, затрусили в тень.
А когда блеснет вода впереди,
ты с кувшином у груди в реку звонкую войди.
В золотой голубизне — как во сне — побродн.
Утром кончились дожди, так не жди — по воду иди!
Дикий ветер отплясал и устал — по воду иди!
Ветер передышке рад,
нежно гладит сонный гхат,
в речку с берега сбежал стройный тал — по воду иди!

■

Из ночи я шагнул в осеннюю зарю.
Кому свирель перед уходом подарю?
Свирель, где звонкое твое наречье?
Как пела ты разлуки, встречи,
как тонко вторила календарю!
Из сердца моего ты чувства воровала
и в музыку свою переливала.
Те дни давным-давно минули.
Увяну поутру цветком шиули,
звездой на блеклом небе догорю.

---

[1] Площадка, как правило, на берегу реки, где в Индии принято сжигать мертвых.

■

Щедрости ветер повеял с утра.
Люди, под стать дароносному югу,
всем пожелайте сегодня добра.
Тяжко от красок цветущему лугу,
буйство бамбука подобно недугу,
рощи полаша алее костра.
Бабочки подняли пеструю вьюгу,
пчелы наполнили звоном округу.
Доэл заходится трелью в саду,
красный ашок полыхает в бреду.
Кличут ветра: — Пробудиться пора!

■

Когда уйду от вас в неведомые дали
и к этим берегам челнок мой не причалю,
когда, закрыв торги, отдам и получу долги
и кончу беготню на жизненном базаре,
тогда едва ли вспомнит кто-нибудь
меня, мою ладью, мой долгий путь.

Когда замрет в пыли возлюбленная ви́на [1]
и к дому поползет густых лиан лавина,
когда ворвется в сад колючих сорняков отряд
и в озере моем зазеленеет тина,
тогда едва ли вспомнит кто-нибудь
меня, мою ладью, мой долгий путь.

На землю в эти дни не ляжет тень печали,
и флейта будет петь на этом карнавале,
и к берегу реки опять причалят челноки,
и песню пастухи сыграют на привале...
Тогда едва ли вспомнит кто-нибудь
меня, мою ладью, мой долгий путь.

Кто в эти дни поймет, что я исчез куда-то?
В игру войду опять, пройдя черту заката,
и буду вновь любим под именем другим,
и стану кочевать частицей вечности крылатой.
Но прежнего меня, мою ладью, мой путь
едва ли вспомнит кто-нибудь.

■

О река, ты живешь в сумасшедшем движенье,
я ж, как чампа [2], познал ароматной земли притяженье,
и глубинный мой ток — это листьев поток,
и движенье мое — это новых цветов пробужденье.

---

[1] Струнный музыкальный инструмент.
[2] Кустарник с ароматными золотистыми цветами.

О река, ты живешь в сумасшедшем движенье,
наводненьем порой изливая свое возбужденье.
Неподвижен я сам, но душой восхожу к небесам,
и безмолвная ночь понимает мое восхожденье.

■

О светлячок, летучий огонек ночного карнавала!
Во мгле ветвей от искорки твоей светлее стало.
Не солнце ты и не луна, но разве радость не полна,
когда душа горит не в полнакала?
Сиянья ты не крал, взаймы не брал, ты сам светильник зажигал,
пускай ты мал, но сил в тебе немало.
Светясь, мерцая на лету, ты отрицаешь темноту,
твой свет — крылатого добра начало.

■

Я готов, мой час настал.
Медлить больше невозможно, обрублю причал.
Волны блещут, плещут, хлещут,
и все резче голос моря вещий.
Флаг ладьи моей трепещет, ветер мачту раскачал.
Медлить больше невозможно — обрублю причал.

Сердце я одену стужей, тверже камня стану.
Тучи кружат, бьют снаружи барабаны урагана.
Ты проснешься на рассвете,
и разлуки темный ветер
поцелует руки эти, что я прежде целовал.
Медлить больше невозможно — обрублю причал.

Алых губ твоих кораллы, глаз печальные озера,
смех певучий, шаг летучий позабуду я не скоро.
Птицы рано или поздно
мчатся вдаль, покинув гнезда.
И меня сегодня космос звездным голосом позвал.
Медлить больше невозможно — обрублю причал.

Если бог вошел в меня искрой вечного огня,
если нужен я вселенной — кто теперь моя родня?
Есть ли счастье в жизни бренной?
Жизнь мгновенна, смерть нетленна.
Миг боренья, миг творенья — налетает красный шквал.
Медлить больше невозможно — обрублю причал.

■

Когда я разучусь любить, тогда и жить я не смогу.
Покроет кожу сеть морщин, утонут волосы в снегу.
Утратят пальцы прыть и пересохнет рот,
и вина, онемев, у ног моих замрет.
Наперсница моя, расстаться нам пора!
В меня нектаром не войдет твоя волшебная игра...
Но все ж еще хоть раз — в последний час —
коснусь твоей струны
и воскрешу на краткий миг утраченные сны.
Потом, когда умру, меня оплачут дерева
и песню смерти мне споют лесные божества.

ГОРСКАЯ НАТЭЛЛА ВСЕВОЛОДОВНА

Советский поэт-переводчик испанской, латиноамериканской, венгерской поэзии. В ее переводе публиковались стихи А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Р. Альберти и др. В «Иностранной литературе» напечатаны ее переводы стихов Х. Л. Пачеко, Х. А. Гойтисоло, Р. Богранда, И. Шимона, Л. Беньямина, А. Гидаша, Маргит Сечи. Переводила также поэтов Индии: Премендро Митро, Шанкара Курупа и др.

СУБХАШ МУКЕРДЖИ

Несколько слов о Тагоре

Для нас, бенгальцев, Тагор не только великий поэт, не только пример замечательного образа жизни, но и неотторжимая часть нашей собственной жизни. Мы росли с языком Тагора на устах, и лучшим нашим чувствам мы нередко даем выход его словами. Иностранцу это может показаться идолопоклонством. Одна американка, например, подруга моей жены Гиты, не без колкости заметила: «И что бы вы, бенгальцы, делали, не будь у вас Тагора!»

Я хотел бы в связи с этим рассказать случай из жизни. Еще подростком я набрался смелости и отправил Тагору письмо в стихах, где обращался к нему не «гуру-дев»— божественный учитель, а просто «уважаемый Раби». Конечно, такую наглость мог позволить себе только зеленый юнец. Я это стихотворение потерял, но потом его напечатали в одном еженедельнике. Я помню, о чем там шла речь, и, может быть, это представит для вас интерес. Начинал я с выражения своих восторгов от поэзии Тагора, представляя себя в ней очарованным странником. Но стоит мне, писал я, очутиться вне волшебной страны его поэзии, как меня прибивает к хаосу повседневности, разрушающей все мечты. После его поэзии жить — самое трудное. И вот я молю его: избавь землю от своих стихов либо измени мир, чтобы он пришел с ними в согласие. И так далее и тому подобное. Там была еще такая поэтическая жалоба: «Идут дни, и город, колесами автомобилей, крошит мои мечты в прах». В общем, тогда я не понял всего значения гуманистической мечты Тагора.

Начав писать стихи, я быстро сообразил, что попытки подражать Тагору ни к чему не приведут. Я должен был обрести собственный язык, а не выступать дублером. Ребенок делает первые шаги, опираясь о стену, так и для меня в моем писательстве Тагор стал опорой. Те, кто пришли после меня, также не смогли избежать его влияния. Но это не значит, что мы слепо за ним следовали. Вернее будет сказать: от его творчества исходил свет, помогавший нам найти себя и принять вызов мира.

Сегодня, когда над планетой нависла тень войны, вынашиваемой злейшим врагом человечества — американским империализмом, невозможно не вспомнить, какое влияние оказала в свое время публикация в Европе тагоровского сборника стихов «Гитанджали» [1] на умы тех, кто воевал в первую мировую. Тагор никогда не уединялся в башне из слоновой кости. Его призывный глас всегда звучал там и тогда, где и когда зрела нужда в избавлении рода человеческого от заблуждений и пороков. В древней Индии на поэта смотрели как на «риши» — пророка, водительствующего меж людей. Тагор считал личность высшей ценностью и сам был воплощением цельного «Универсального человека». Слово для него было не единицей информации или описания, но зовом и вестью. Он верил: мир можно не только объяснить, но и изменить. Вот почему Тагор столь любим там, где сражаются за новый жизнепорядок, за мир, безопасность, справедливость для каждого. Знаменательно, что на Западе, как только начинается подъем прогрессивного движения, многие снова берутся перечитывать его книги. Ну а для нас он в строю всегда — вчера, сегодня, завтра...

В свое время колониализм, отсталость, неразвитость производительных сил, архаика социальных отношений стали причиной того, что произведения Тагора, по его же словам, «хотя и шли многими дорогами, не смогли достичь всех». Ныне в независимой Индии демократизация жизни позволяет все большему числу людей находить к Тагору свой собственный путь. Для современной бенгальской литературы Тагор по-прежнему маяк, по которому ориентируются. У него есть стихотворение, обращенное к людям 1400 года по бенгальскому календарю (1993 год христианского летосчисления). «Кто,— спрашивает он,— возьмет мои стихи в руки столетие спустя?» Столетие почти минуло, и мы видим, как нестареющая поэзия Тагора становится популярнее день ото дня.

Патриотизм и гуманизм творчества Тагора вдохновляли как его народ, так и другие угнетенные народы на борьбу за лучшую, более справедливую жизнь. Тагор писал на родном бенгальском языке, представители же других индийских литератур под его влиянием обретали уверенность в себе, обогащали собственное языковое наследие. Подобно тому, как Махатму Ганди величают отцом индийской нации, Тагор по праву может быть назван отцом индийской литературы.

---

[1] За этот сборник стихов Тагору в 1913 г. была присуждена Нобелевская премия.

Записала и перевела с английского ИРИНА МАКСИМЕНКО

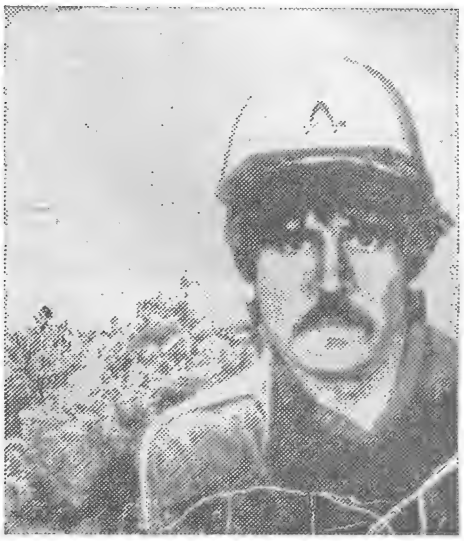
■

Публицистика

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ

НА САМОМ ДНЕ

Главы из книги



Перевод с немецкого и вступление Э. ВЕНГЕРОВОЙ

От переводчика

Гюнтер Вальраф работает в журналистике примерно с такой же степенью риска, с какой движется над пропастью гениально одаренный чувством равновесия канатоходец. Его метод извлечения информации каждую минуту грозит срывом. Он «подставляется»: помещает себя в экстремальные условия, в критические ситуации, в опасные зоны социальных конфликтов. Его сенсационные репортажи созданы целенаправленными усилиями неустрашимо ясного интеллекта, фантастической реактивности и памяти, незаурядного актерского дарования. И написаны кровью сердца.

В немецком заглавии книги Гюнтера Вальрафа «Ganz unten» нет значения «дна». Как нет предела несправедливости, угнетению и унижению людей, которых защищает его страстная книга. На этот раз он не прошел над бездной, а спустился в нее и последовательно описал все круги социального ада, уготованного в его стране чернорабочим иностранного происхождения.

Выдав себя за одного из них — турка Али, он проник за невидимый психологический барьер, о который ежечасно, ежеминутно разбивается стремление иммигрантов к достойному человека существованию.

Только оказавшись «по ту сторону» этого барьера, Гюнтер Вальраф получил возможность испытать на себе и проанализировать действие механизма национальных и социальных предрассудков и предубеждений, культивируемых капиталистической системой производства, католической церковью, государственным аппаратом. Основную функцию этого механизма он видит в уничтожении ценности человеческой личности, лишаемой права дышать чистым воздухом и получать сколько-нибудь адекватную плату за свой труд — в интересах все той же капиталистической прибыли.

Результаты его наблюдений имеют огромную важность не только для полутора миллионов турок, чье трагическое положение платных рабов стало наконец предметом широкого обсуждения в прессе ФРГ; не только для других, беспощадно

© 1985, by Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — GÜNTER WALLRAFF (род. в 1942 г.) Немецкий журналист и писатель (ФРГ); работает в документальном жанре. Первая его книга очерков «Ты нам нужен. О фабриках и заводах Западной Германии» («Wir brauchen dich») вышла в 1966 г. С тех пор Г. Вальраф опубликовал несколько книг репортажей и ряд пьес.

В «Иностранной литературе» печатались репортажи «Во власти Молоха» (1972, № 11), «Гюнтер Вальраф contra Шпрингер и Крупп» (1973, № 5), «Португалия: как был раскрыт заговор» с вступительной статьей Константина Симонова (1976, № 10—11), фрагменты книги «Рождение сенсации. Человек, который в «Бильд» был Гансом Эссером» (1981, № 6), главы из книги «Бильд»: в своем репертуаре» (1984, № 10).

Книга «На самом дне» вышла в Кёльне в 1985 г. («Ganz unten». Köln, Kiepenheuer & Witsch).

эксплуатируемых иммигрантов; не только для западногерманской общественности, потрясенной приводимыми в книге данными и фактами. Самое главное в книге Вальрафа — ее универсальный, общечеловеческий адрес.

Вальраф демонстрирует симптомы шовинизма — страшной социальной болезни, угрожающей геноцидом. Достаточно ему было изменить цвет глаз и волос, чтобы на работе, в кафе, на стадионе подвергнуться грубым оскорблениям со стороны своих соотечественников, зараженных бациллой национализма.

Достаточно, оказывается, лишь чуть-чуть исказить произношение — и самая светлая, самая святая идея будет пропущена мимо ушей, холодно отвергнута, отторгнута, высмеяна. Разве это не предостережение, не призыв ко всем прислушаться, услышать друг друга, преодолеть инерцию культурного шока?

История помнит имена Пастера, Коха, Мечникова и многих других отважных исследователей и экспериментаторов, рисковавших здоровьем и жизнью, чтобы спасти мир от черной оспы, чумы, туберкулеза, холеры...

Гюнтер Вальраф, в сущности, делает то же самое. Он проводит эксперименты в области социальной психологии — той области знаний, которая должна помочь людям сохранить себя как вид homo sapiens в сложнейших условиях технического прогресса. Он ставит эксперимент на себе, рискуя здоровьем в опасных для жизни средах. Для этого нужна смелость. Не просто присутствие — величие духа.

Я говорила с ним один раз в жизни, в Москве. Вальраф торопился на самолет, у меня была возможность задать только один вопрос. Я спросила: «Гюнтер, вам бывает страшно?» Он сказал: «Да». И мы попрощались. Я навсегда запомнила горячее рукопожатие этого удивительного человека.

Большая часть гонорара от продажи этой книги передается в распоряжение недавно созданного фонда «Солидарность с иностранцами». Имеющиеся средства предназначаются для организации бесплатных консультаций юридической помощи просветительских кампаний и программы жилищного строительства, в которой будут участвовать немцы совместно с иностранцами.

В предлагаемой книге изложены далеко не все факты и использованы далеко не все материалы. Несколько наших друзей и сотрудников в настоящее время продолжают работать над той же темой.

Тех, кто хотел бы поделиться с нами собственным опытом или информацией, мы просим обращаться по адресу:

Фонд помощи «Солидарность с иностранцами»
Почтовое отделение 301443
5000 Кёльн 30
или:
Гюнтер Вальраф
«Издательство «Кипенхойер унд Вич»
Рондорферштрассе 5
5000 Кёльн 51

В связи с вероятными судебными процессами из большого объема еще неопубликованных материалов к печати готовятся новые главы. Публикацию этой книги предполагается продолжить.

Кёльн, 7 октября 1985

Вам,
Джемаль Кемаль Алтун,
Семра Эртам,
Сельджик Севинч,
и всем другим посвящается.

Я хотел бы поблагодарить всех друзей и сотрудников, которые помогли мне создать эту книгу. Их имена: Левент (Али) Зигирлиоглу, он позволил мне воспользоваться его именем; Танер Алдай, Матиас Альтенбург, Франк Бергер, Анна Бёденер, Левент Диреноглу, Эмине Эрдем, Хюсейн Эрдем, Шюкрю Эрен, Пауль Эссер, Йорг Гфрёрер, Уве Херцог, Бекир Карадениз, Рёза Круг, Гезине Лассен, Клаус Либе-Харкорт, Клаудиа Маркардт, Ханс-Петер Мартин, Вернер Мерц, Генрих Пахль, Франц Пельстер, Франк Реглин, Ильза Рильке, Харри Розина, Айтель Зайин, Клаус Шмидт, Гюнтер Цинт.

Особую признательность хочу выразить также г-ну проф., д-ру Армину Клюмперу из Фрайбурга. Благодаря его искусству и помощи я смог выдержать на самых тяжелых работах, несмотря на травму межпозвонкового диска.

Превращение

Десять лет я отодвигал от себя эту роль. Наверное, я предчувствовал, что мне предстояло. Я просто-напросто боялся.

По рассказам друзей, по многочисленным публикациям я мог составить себе представление о жизни иностранцев в ФРГ. Я знал, что почти половина молодых иностранцев страдает психическими заболеваниями. Они больше не в состоянии п е р е в а р и в а т ь бесчисленные подозрения. У них нет почти никаких шансов на рынке труда. Для них, выросших здесь, нет пути назад, на родину отцов. У них нет родины.

Ужесточение законов об иммигрантах, ненависть к чужим, все большая степень изоляции — «геттоизация»,— я знал об этом, но никогда не испытывал этого на собственном опыте.

В марте 1983 года я поместил в разных газетах следующее объявление:

> **ИНОСТРАНЕЦ, физически сильный, ищет работу, все равно какую, даже тяжелую и грязную, даже за небольшую плату. Звонить по телефону 358 458.**

Не много понадобилось для того, чтобы сойти с круга, присоединиться к отвергнутому меньшинству, оказаться на с а м о м д н е. Я заказал у одного специалиста две тонкие, очень темные кон-

тактные линзы, которые можно было носить днем и ночью. «Теперь у вас такой колючий взгляд, как у южанина»,— удивился оптик. Обычно его клиенты заказывают только голубые глаза.

В мои уже поредевшие волосы я искусно вплел черную прядь. Это сделало меня на несколько лет моложе. Теперь мне давали 26—30 лет. Мне поручали работу, о которой я не мог бы и заикнуться, назови я свой действительный возраст — сорок три года. Таким образом, войдя в роль, я хотя и стал казаться моложе, здоровей и физически сильней, но одновременно превратился в аутсайдера, в последнее дерьмо. «Немецкий для иностранцев», которым я пользовался во время моей метаморфозы, был таким неуклюжим и беспомощным, что каждый, кто дал бы себе труд хоть однажды прислушаться к живущим у нас туркам или грекам, заметил бы, что со мной что-то не так. Не долго думая, я отбрасывал окончания, менял порядок слов или просто пользовался слегка искаженным кёльнским диалектом. Тем поразительней был результат: никто ничего не заподозрил. Этих маленьких ухищрений оказалось вполне достаточно. Благодаря такому превращению мне прямо и честно давали понять, что обо мне думают. Роль наивного тугодума защитила меня, позволила мне проникнуть в образ мыслей предубежденного и бездушного общества, мнящего себя таким умудренным, суверенным и всегда правым. Я был дурак, которому, не стесняясь, говорят правду в глаза.

Конечно, я не был настоящим турком. Но чтобы разоблачить это общество, нужно перерядиться; чтобы обнаружить истину, нужно хитрить и лицедействовать.

Я до сих пор не понимаю, *как* перерабатывает иностранец ежедневные унижения, проявления враждебности и ненависти. Но я теперь знаю, *что* ему приходится выносить и как далеко может зайти презрение к человеку в этой стране. Один из вариантов апартеида имеет место у нас — в нашей *демократии*.

Впечатления превзошли все мои ожидания. Негативные впечатления. В наше время среди белого дня в ФРГ я наблюдал и пережил вещи, о которых, собственно говоря, написано только в учебниках по истории XIX века.

Однако какой бы грязной, изматывающей и невыносимой ни была работа, каким бы обидам и унижениям я ни подвергался, это не только не сломило, но и психически закалило меня. На фабриках и на стройке я понял, что такое солидарность, приобрел друзей — друзей, которым по причинам безопасности не имел права сказать, кто я. Все было иначе, чем во время работы в редакции газеты «Бильд». Все вообще было иначе. Незадолго до выхода книги в свет я доверился кое-кому из них. И никто не поставил мне в упрек мою маскировку. Напротив. Они меня поняли и извинили мне даже провокации, которых потребовала взятая на себя роль. Все же, оберегая моих товарищей, я должен был изменить большую часть имен в этой книге.

Гюнтер Вальраф
Кёльн, 7 октября 1985 года

Генеральная репетиция

Чтобы проверить, выдерживает ли мой маскарад критические взгляды и удачно ли я нашел свою внешность, я посетил несколько кафе, куда обычно захожу поговорить со знакомыми. Никто не узнал меня.

И все-таки, чтобы начать работу, мне нужна была полная уверенность. Я все время боялся, что в решающий момент меня разоблачат.

6 марта 1983 года в Бонне проходили выборы в бундестаг. Вечером того же дня в «Доме Конрада Аденауэра» была назначена встреча верхушки ХДС с депутатами, победившими на этих выборах.

Я решил воспользоваться случаем и устроить себе генеральную репетицию. Чтобы не возбуждать подозрений уже при входе, я запасся ручным фонарем чугунного литья, присоединился к какой-то телевизионной бригаде и таким образом проник в здание. Зал был переполнен и до самого дальнего угла залит ослепительным светом прожекторов. А в центре стоял я, в моем единственном темном костюме, купленном пятнадцать лет назад, и попеременно освещал то одну, то другую знаменитость своей жалкой лампочкой. Некоторым чиновникам это показалось странным: они справились о моей национальности, очевидно, чтобы увериться, что я не имею ничего общего с покушением, которое обещали устроить иранцы. Какая-то дама в элегантном вечернем туалете, бросив на меня косой, пренебрежительный взгляд, спросила: «А этому что здесь надо?» И пожилой субъект, похожий на чиновника, ответил ей: «Да ведь тут полный интернационал. Даже Кавказ ликует».

Со знаменитостями я легко нашел общий язык. Курту Биденкопфу я представился как эмиссар Тюркеша, одного из лидеров турецких фашистов. Мы увлеченно беседовали о победе ХДС на выборах. Министр труда Норберт Блюм поднял тост за понимание между народами, подцепил меня под руку и, раскачиваясь в такт, вместе с другими запел во все горло: «Что за день сегодня, какой чудесный день».

Когда Коль произносил свою победную речь, я подошел совсем близко к сцене. После того как он и его свита вдоволь напраздновались и собирались спуститься со сцены, я лез вон из кожи, чтобы подставить ему плечо и как триумфатора пронести через зал. Однако мысль о том, что я могу не выдержать и сломиться под тяжким бременем этого канцлера, заставила меня все же отказаться от моего намерения.

Многочисленные чиновники службы безопасности, прошедшие спецподготовку по разоблачению переодетых агентов, не заметили моего маскарада. Теперь,

когда я выдержал это испытание, мой страх перед предстоящими трудностями несколько ослаб. Я почувствовал себя уверенней и независимей и перестал опасаться, что кто-нибудь из множества людей, с которыми я столкнусь, узнает во мне немца.

Ищу работу

Мое объявление возымело действие: я получил несколько предложений из разных «мест». Почти во всех случаях имелась в виду грязная работа с почасовой оплатой от пяти до девяти марок. Предлагался только временный заработок. Кое-чем я попробовал заниматься, и заодно и подрепетировал свою роль. Например, нанялся ремонтировать скаковую конюшню в одном кёльнском пригороде. За семь марок в час я (Али) должен был, балансируя на лесах, красить потолки. Работа считалась выгодной. Кроме меня на вилле работали поляки, все нелегальные иммигранты. То ли с ними невозможно было объясниться, то ли они просто не желали говорить со мной. Я оказался в изоляции, меня игнорировали. Хозяйка виллы, которая помимо конюшни владеет еще и антикварной лавкой, избегала всякого контакта со мной (Али). Она только отдавала краткие приказания: «Сделай это, сделай то, быстро-быстро, раз-два». Разумеется, есть я тоже должен был один, отдельно от остальных. Там, в конюшне, появлялась иногда коза — с ней у меня установился более тесный контакт, чем с рабочими: она жевала мой пластиковый пакет, а я угощал ее бутербродами.

Разумеется, когда однажды отказала сигнализация, виноватым оказался турок. Уголовная полиция, которую после долгих домашних расследований, все-таки подключили к поискам виновного, заподозрила меня (Али). Пренебрежение перешло в открытую враждебность. Через несколько недель я взял расчет.

Следующим моим пристанищем был крестьянский двор в Нижней Саксонии, недалеко от атомной электростанции «Гронде». Крестьянка и ее дочь, беженки с востока, сами вели хозяйство. Один раз они уже нанимали батрака-турка. Теперь им снова понадобилась мужская сила. Обращаться с турками они умели: «Нам все равно, что ты натворил. Может, убил кого-нибудь, нас не касается. Главное, делай свою работу. За это можешь у нас есть и жить, еще и карманные деньги получишь».

Карманных денег я не дождался. А за жилье и еду мне приходилось по десять часов подряд полоть крапиву и чистить канавы, полные жидкой грязи. Что же касается жилья, то мне даже был предоставлен выбор. Хозяйка предложила мне поселиться либо в старом ржавом автомобиле, стоявшем перед домом, либо в покосившемся вонючем хлеву, который пришлось бы делить с кошкой. Я предпочел третий вариант: помещение на заброшенной стройке, где пол был засыпан мусором и где не было ни единой закрывающейся двери. Между тем в доме крестьянки пустовало несколько теплых чистых комнат. От соседей меня (Али) прятали. Чтобы никто не вздумал обзывать усадьбу «турецким двором». Деревня была для меня (Али) табу, мне нельзя было показываться ни в лавке, ни в пивной. Меня содержали как рабочую скотину, но крестьянка была уверена, что проявляет христианскую любовь к ближнему. В своем сочувствии «магометанскому меньшинству» она зашла так далеко, что обещала дать мне пару цыплят. Я должен был их вырастить, поскольку свинину-то мне есть не разрешалось... Такое добросердечие довольно скоро вынудило меня бежать.

Примерно год я пытался держаться на поверхности, хватаясь за самые разные заработки. Если бы я был действительно только Али, я вряд ли выжил бы. При этом я был готов выполнять буквально любую работу: я менял стулья в кинозале «нон-стоп», принадлежавшем владельцу большого гастронома в Вуппертале, ремонтировал бары для него же, я перелопачивал рыбную муку на рыбном комбинате в Хузуме, в баварском Штраубинге я пытался зарабатывать игрой на шарманке. Целыми часами я даром вертел ручку моей шарманки. Меня это не удивило. Ненависть к иностранцам стала настолько будничной, что не удивляет никого. Удивляет скорее отсутствие проявлений враждебности. Дети, например, очень хорошо относились к странному дяде — шарманщику с вывеской: «Турок без работа, 11 лет Германия, хочет оставаться здесь. Спасибо». Однако взрослые немедленно тянули детей прочь. А еще мне встретилась парочка фокусников, расположившихся на рыночной площади Штраубинга как раз напротив меня. У них тоже была шарманка. Они пригласили меня (Али), своего конкурента, к себе в цирковой вагончик. Очень хороший мы провели вместе вечер. Но часто ситуация складывалась куда менее благоприятно. Например, в тот день, когда я оказался во время карнавала в Регенсбурге. Ни одна немецкая пивная не нуждается в том, чтобы вывешивать объявление: «Иностранцы нежелательны». Если я, Али, заходил в кафе, меня обычно игнорировали. Я просто не мог ничего заказать. Поэтому я был изумлен, когда в этой регенсбургской пивной, битком набитой набожными дураками христианского вероисповедания, меня громко окликнули. «Привет! Поставь нам по кружке!» — закричал один из гостей. «Нет,— ответил я (Али).— Дайте один кружка мне. Я без работа. Я тоже работал вместе для вас, тоже платил для вас взнос на пенсия». Мой визави покраснел и надулся, как майский жук (такое часто случается и со Штраусом), и в бешеной ярости накинулся на меня. Хозяин, спасавший свою мебель, спас заодно и меня (Али). Во всяком случае несколько гостей вытащили из пивной не владевшего собой баварца. Один из посетителей, занимавший, как потом выяснилось, крупный пост в муниципа-

литете, все это время сидел спокойно за столом и, казалось, вполне владел собой. Но едва лишь обстановка разрядилась, он вытащил нож и с размаху вонзил его в стойку. «Пусть эта грязная турецкая свинья наконец уберется отсюда»,— вырвалось у него.

Правда, такую ярость я встречал редко. Однако холодное презрение, которое ежедневно обрушивалось на меня, было еще хуже.

Если в переполненном вагоне место рядом с тобой остается пустым — это больно. Интеграция иностранцев, о которой твердят со всех сторон, не срабатывает даже в общественном транспорте.

Вместе с одним из турецких друзей мы попытались организовать хотя бы постоянный турецкий столик в немецком кафе — так называемый «тюрк масасы». Смастерили флажок с двуязычным приветствием «Шерефе! Ваше здоровье!» и попытались регулярно встречаться в какой-нибудь забегаловке в определенное время. Всем хозяевам мы обещали, что будем много заказывать. Мы опросили больше десятка владельцев кафе, но ни у одного не нашлось свободного столика.

Мой двадцатисемилетний коллега Ортган Ёзтюрк вот уже пятнадцать лет сталкивается с таким отношением. Он приехал в ФРГ двенадцатилетним подростком. С тех пор он научился почти без акцента говорить по-немецки. Он хорошо выглядит; чтобы скрыть свое происхождение, он даже осветлил волосы. Но за все это время ему не удалось познакомиться ни с одной немецкой девушкой. Как только он называет свое имя, все кончается.

Как правило, иностранцев не ругают. Во всяком случае не так, чтобы они слышали. За их спиной любят пожаловаться на якобы невыносимый чесночный запах. При этом немецкие гурманы в наши дни едят значительно больше чеснока, чем турки, которые разве что в выходной позволяют себе съесть зубчик для здоровья. Они отказывают себе в привычной еде, чтобы их приняли в немецкую среду. Однако барьер, пресекающий контакты, остается.

Бывает, правда, что в немецких кафе иностранцев встречают гостеприимно. Если обслуживающий персонал — иностранцы. Однажды в Кёльне, в парке Гюрцених, я забрел в кафе, где устраивали традиционный банкет по случаю карнавала. Было поразительно уже то, что меня, турка, туда впустили. И то, что югославские кельнеры отнеслись ко мне с особенной приветливостью. Я (Али) чуть было не почувствовал себя привольно. Но тут начались хоровые песни. Я сидел среди взявшихся под руки, раскачивающихся в такт горлопанов неподвижный, как утес в волнах прибоя. Никто не желал подцепить меня под руку.

Но время от времени ненависть к иностранцам прорывается наружу. Почти регулярно — во время международных футбольных матчей. Уже за несколько недель до матча ФРГ — Турция, который должен был состояться летом 1983 года на стадионе «Олимпия» в Западном Берлине, возникли самые худшие опасения. Рихард фон Вайцзеккер выступил по телевидению с прямо-таки увещевательным обращением к населению: «Мы хотим, чтобы этот немецко-турецкий футбольный матч стал проявлением добрых и мирных отношений между немцами и турками в нашем городе. Мы хотим, чтобы он стал доказательством взаимопонимания между народами».

На стадион были направлены полицейские отряды такой численности, какая прежде не имела места.

Я (тогда еще Али) тоже хочу посмотреть игру и покупаю билет в немецкий сектор. Правда, я не собираюсь скрывать, что я турок, даже надеваю феску с полумесяцем и беру с собой флажок. И то и другое приходится быстро убрать. Я угодил прямиком в компанию молодых немецких неонацистов. Что значит неонацисты? Каждый из них по отдельности может быть неплохим парнем, у большинства открытые, симпатичные лица. Но в этой толпе меня окружали искаженные злобой маски. В этот день в первый и последний раз я дрогнул: не рискнул выдавать себя за турка и даже отказался от своего хромающего диалекта, перейдя на самый высокий литературный стиль. Но эти возбужденные до фанатизма болельщики, продолжая видеть во мне иностранца, швыряли в меня сигаретами, выплескивали мне на голову пиво. Никогда прежде приближение полицейских не оказывало на меня такого успокоительного действия. Я и мечтать не мог, что когда-нибудь в самом деле увижу в них стражей порядка. Вокруг меня орали: «Зиг хайль!», «Долой ротфронт!»— и беспрестанно скандировали: «Турки, вон из нашей страны!» и «Германия — для немцев!» К счастью, обошлось без убийств, раненых было не больше, чем во время «нормального» международного матча. Страшно представить, что произошло бы, если бы немецкая команда проиграла. Я отнюдь не причисляю себя к фанатикам футбола, но тогда, на стадионе «Олимпия», я всей душой болел за немецкую команду. Со страху.

«Наше сырье — духовность»

Али в качестве одного из 7000 зрителей присутствует на великолепном представлении, которое дает шеф ХСС Штраус. Ощущение примерно такое, какое испытал бы цыган, попавший в мюнхенский пивной подвал на сборище нацистов. Али остается отщепенцем, от которого все шарахаются прочь.

Пассау, 9.00 утра. Мне не приходилось спрашивать дорогу к «Залу Нибелунгов»: по всем улицам к зданию «Зала» устремляются поклонники Штрауса, в том числе много небаварцев. В 11.00 Штраус откроет «Политическую великопостную среду», но уже за два часа до начала скамьи перед длинными столами почти все заняты. В огромном помещении накурено, каждый уже выпил по две-три кружки пива.

Рыбу и сыр заказывают в огромных количествах. Сегодня начинается великий пост.

Я (Али) направляюсь к одному из немногих свободных мест. Пока я примериваюсь, как бы примоститься на краешке скамьи, мой сосед по столу демонстративно рассаживается на ней, стараясь занять как можно больше места. И адресуется ко мне с таким приветствием: «А ты откуда взялся? Нигде нет покоя от этих мусорщиков. Ты что, не знаешь своего места?»

На меня со всех сторон устремлены негодующие взгляды. Слева восседает политически ангажированный гражданин, настолько наполненный пивом, что оно пенится у него на губах. Я (Али) пытаюсь создать хорошее настроение: «Я большой друг для ваш Штраус. Сильный личность». В ответ раздается громовой хохот «Нет, вы слыхали? Я, говорит, друг Штрауса. Умора!» Только появление ядреной кельнерши отвлекает их внимание от моей особы. Глубокий вырез ее баварского платья и прежде всего жидкое топливо, которое она подкатывает к столу, куда интересней.

Я бы тоже не прочь глотнуть сейчас пива. Но я ничего не получаю. Меня обслуга игнорирует. Тогда я сам направляюсь к стойке. Но и там у меня заказ не принимают. После третьего захода разливальщик шипит на меня: «Мотай отсюда, пока цел». Между тем под клики приветствий и бодрые звуки баварского торжественного марша в зал вступает Штраус. Распорядители, раздвигая восторженную публику, расчищают ему узкую дорожку к сцене, где уже ждет его жена Марианна. Небаварцы прежде прочих растягивают транспарант: «Мы, сочувствующие, приходим сюда в 7-й раз» — и горланят приветствия.

Первые слова вождя ХСС еще тонут в общем шуме. Речь длится три часа. Следить за ней в этой обливающейся потом толпе довольно тяжело. Да и логика обнаруживается, похоже, только после третьей кружки пива: «Мы — партия интеллигентных людей, мы представляем интеллигентные слои избирателей, и потому за нами большинство населения. Если бы наши избиратели не были такими интеллигентными, мы бы не имели большинства». Бурные овации, восторженные крики, топот ног. Зал клокочет. Туалеты не выдерживают натиска, публика все напирает. В коридорах образуются стоки мочи, да и в зале кое-кто облегчается прямо через брюки.

Человек на возвышении говорит о духовности: «Мы должны лучше использовать наше сырье — духовность, которого у нас, слава богу, достаточно, несмотря на происки некоторых поборников перераспределения».

Сначала, однако, приходится перераспределить пьяных. Санитары и помощники Красного Креста с трудом вытаскивают их из помещения. На столах разложены информационные листки: «Мы и наша партия». Некоторые приверженцы ХСС поместили свои фотографии, а также высказали свои взгляды. Например, один довольно толстый лавочник заявляет: «У меня еще никогда не было комплексов, потому что я правый. Я не знаю ни одной партии, которая подходила бы мне больше, чем ХСС. Она мне просто нравится, потому что Штраус мне тоже нравится. И фигура у него подходящая. Мы с ним похожи. Если что меня и выводит из равновесия, кроме, может, футбола,— так это налоги».

А еще, наверное, турок, которому в бело-голубом «Зале Нибелунгов» вдруг захотелось пить. Почти крадучись я (Али) подбираюсь к вожделенной кружке пива. Когда разливальщик на момент отворачивается, я беру кружку и кладу на стойку пять марок.

Штраус продолжает бубнить: «Нам следует помнить о нормальных гражданах, о нормальных мужчинах, о нормальных женщинах, а не о каких-то аутсайдерах». Дальше он разглагольствует о «сумятице анонимных человеческих масс» и о «национальной идентичности», которую он желает «уберечь». И я понимаю, что, когда он ратует за «свободу и достоинство всех людей в Германии», ко мне, Али, это не относится.

Я снова хочу сесть, нахожу еще два свободных места. Место рядом со мной остается незанятым, даже когда толкотня становится невыносимой. «От него несет чесноком» — «Ты турок, да?»

Наконец «счастливый баварец» (так Штраус аттестует Штрауса) заканчивает свою великопостную речь. Его почитатели выдержали пять-шесть часов. Во время сошествия со сцены свита ограждает его от напора поклонников. Даже автограф нельзя получить. Во всяком случае здесь и сейчас. Желающие заиметь автограф могут опустить соответствующую записку в одну из корзинок, которые разносят по залу.

Тем не менее я (Али) нахожу доступ к вождю баварцев. Очень просто. Я (Али) выдаю себя за эмиссара главы турецкой фашистской группировки «Серые волки» Тюркеша, присланного на это собрание в качестве наблюдателя. Этот Тюркеш, горячий почитатель Гитлера, несколько лет назад тайно встречался со Штраусом в Мюнхене. Тогда, по словам Тюркеша, председатель ХСС уверял его, что в будущем для «Серых волков» в ФРГ будет создан благоприятный климат и развернута соответствующая пропаганда. Боевой клич Тюркеша: «Смерть всем вонючим евреям, сукиным детям-коммунистам и греческим собакам!»

Как уполномоченный такого лица я (Али) был пропущен к Штраусу. Он сердечно приветствует меня, хлопает по плечу, как влиятельный опекун — бедного родственника из провинции. На подарочном издании «Франц-Йозеф Штраус. Иллюстрированная биография» он собственноручно делает дарственную надпись: «Для Али с сердечным приветом.— Ф.-Й. Штраус». Фотографы, со-

бравшиеся вокруг нас, не замедлили увековечить эту сцену.

В предисловии к этому роскошному тому сказано, что Штраус «стал политиком во исполнение своего инстинктивно понятого долга» (перст судьбы?). Для меня это была встреча лицом к лицу с одним из самых одержимых, самых враждебных демократии политиков послевоенного времени, который уже несколько раз привлекал меня к суду. Лет десять назад я впервые столкнулся с ним во время дискуссии в Мюнхенской католической академии (тема: «Журналист или агитатор»). Я сидел тогда между ним и деятелем СДПГ Вишневским. Штраус был в отличном настроении и, желая блеснуть перед довольно либеральной публикой академии, явно пытался произвести на меня хорошее впечатление. «Наконец-то я получил возможность спросить вас: вы не родственник патеру Йозефу Вальрафу из ордена иезуитов?» Мне не хотелось, чтобы этот доверительный тон позволил ему скрыть от слушателей его враждебность к людям вроде меня. «Да,— ответил я,— прихожусь ему незаконным сыном. Но пожалуйста, никому не говорите». После чего до конца дискуссии Штраус оставался самим собой.

«Приятного аппетита!», или Жратва хуже некуда

Многие из наших критиков — большие мастера играть в жмурки. Они даже не дают себе труда выяснить истинное положение дел, не говоря уж о том, чтобы заглянуть за кулисы фирмы «Макдональд». А тот, кто не заглядывает туда, тот не желает видеть правду.

Текст из помещенной в еженедельнике «Цайт» рекламы фирмы «Макдональд»: реклама занимает целую страницу в номере от 10.5.1985 года.

В последнее время «Макдональд» начала крупное наступление на критиков из объединений потребителей и профсоюзов. «Нападки с их стороны не помешают нам в будущем стремиться к расширению и тем самым предложить большому числу людей, пока еще безработных, постоянное место службы и всяческие возможности продвижения».

Значит, есть шанс для иностранцев и политических иммигрантов? Непременно пойду к ним, думаю я (Али) про себя. У нас уже есть 207 закусочных «Макдональд». Скоро их станет вдвое больше. Я (Али) хочу попытать счастья в Гамбурге. Прихожу на площадь Генземаркт, где расположен один из крупнейших немецких филиалов этой американской фирмы, и меня берут.

Теперь я (Али) буду жить в свое удовольствие, ведь наш девиз гласит: «Приятного аппетита!» Во всяком случае так напечатано в рекламном проспекте. Что это означает?

«Макдональд» — это семейный ресторан, в котором можно хорошо и недорого позавтракать, пообедать и поужинать. Посетив блещущий чистотой ресторан «Макдональд», вы получите большое удовольствие. Мы рады приветствовать вас у себя в гостях и желаем вам успеха и приятного аппетита!»

В ресторане, где работает столь жизнерадостный персонал, я предпочитаю сказать, что мне двадцать шесть. Назови я здесь свой настоящий возраст (43), мне, наверное, не слишком обрадовались бы.

Как и котлетки этой фирмы, и я (Али) получаю упаковку «Макдональда»: бумажный колпак, тонкую рубашку и брюки. На всех предметах написано: «Макдональд». Похоже, они готовы и самих нас насадить на вертел. На моих брюках нет карманов. Если я (Али) получаю чаевые, рука напрасно шарит по боковому шву, пока наконец я (Али) не отдаю гроши туда, куда и положено — в кассу. Во всяком случае этот шедевр портновского искусства не дает возможности иметь носовой платок. Если у тебя из носу течет, то течет на котлетку или с шипением капает на гриль.

Управляющий доволен мной (Али) и хвалит мое умение бросать на гриль котлетки. «Это у вас хорошо выходит. Быстро. Обычно новенькие страшно неуклюжи».— «Наверное, потому,— отвечаю я (Али),— что я занимаюсь спортом».— «Каким же?» — «Настольным теннисом».

Гамбургер — коричневатая застуженная котлетка диаметром 98 миллиметров и весом примерно в 125 граммов — подскакивает, как жетон из пластика, когда ее бросаешь на гриль. В замороженном состоянии она звенит, как монета, ударяющаяся о стекло. В готовом, то есть поджаренном, виде ее положено выдерживать 10 минут, но обычно она исчезает значительно раньше. Пролежав некоторое время в размороженном виде, она начинает вонять. Поэтому ее жарят не размораживая, после чего, обработав специями, заворачивают в разрезанную

пополам мягкую, как пена, пшеничную булку и погребают в коробке из пластика. «Булочка с гамбургской котлетой... Сколько изящества в ее мягко изогнутом силуэте! Чтобы оценить его по достоинству, нужно обладать совершенно особым состоянием души»,— всерьез считает основатель фирмы Рэй Крок.

Рабочее место за стойкой узкое, пол скользкий и гладкий, температура раскаленной решетки гриля — 180° С. Никакой техники безопасности. Собственно, работать следовало бы в перчатках, это во всяком случае предписано правилами техбезопасности. Но никаких перчаток нет, и они очень замедлили бы работу Поэтому у многих, кто там давно работает или работал, ожоги или шрамы от ожогов. Один из служащих незадолго до моего появления угодил в больницу, так как второпях схватился рукой за гриль. Я (Али) в первый же вечер ошпарился брызгами жира.

По своей наивности я (Али) считаю, что моя первая смена заканчивается, как договорено, в три часа ночи. Но замечаю, что на меня (Али) все начинают коситься. Управляющий выговаривает мне (Али) за то, что я ухожу раньше времени. «Я только согласно инструкция». Он предупреждает меня, что я должен отпрашиваться лично у него, и угрожающим тоном интересуется, убрал ли я уже на улице. Меня только что посылали в моей тонкой рубашке на улицу, в холод декабрьской ночи. Поэтому я отвечаю, что все совершенно чисто. Но одна особенно внимательная служащая замечает неубранные бумажки.

Время — около трех ночи Управляющий говорит, что меня (Али) вряд ли зачислят на постоянную работу, я недостаточно старателен. И выражение лица у меня кислое. За мной целый день наблюдали. Сегодня, например, я пять минут стоял на одном месте. «Не может быть,— возражаю я (Али),— я летать сюда-туда, потому что этот работа для меня как спорт».

Я узнаю, что ночные и сверхурочные, следуя негласной инструкции, засчитывают только округленно. Это значит, что сверхурочная работа до получаса не оплачивается, а более получаса оплачивается как час. Но в большинстве случаев не оплачивается. Время учитывается не с того момента, когда приходишь на работу, а с того, когда, уже переодевшись, появляешься на рабочем месте. А когда уходишь — наоборот: сначала отметься, потом переоденься. Так что тебя облапошивают дважды.

Скоро рождество. Огромный наплыв посетителей. В часы пик — рекордные обороты. Я (Али) получаю 7,55 марки: брутто почасовой платы за работу, которая ничем не отличается от работы на любом конвейере. Кроме того, за час работы присчитывают еще одну марку на еду. Через восемь часов управляющий говорит мне, что я (Али) могу теперь спокойно выбрать себе что-нибудь из меню «Макдональда». Когда я (Али) спрашиваю, где взять нож и вилку, всем становится весело. Искать столовый прибор у «Макдональда» — да это анекдот про сумасшедшего. Все хохочут до упаду

Я работаю на виду у клиентов. Я (Али) вижу их, а они — меня. Я (Али) не могу хотя бы на короткое время отойти, чтобы в этой жаре выпить глоток пива: знай жарь, готовь гарнир, клади побольше горчицы — от этого ужасно хочется пить.

Один гамбургер — один огурец, двойная порция — два огурца плюс приправы: шприц рыбной пасты, шприц куриной пасты, шприц соуса «Большой Мэк». Приходится напрягаться из последних сил, со всех сторон идут заказы: нужно добавить слойку с яблочным повидлом или рыбной пасты. Не успев отмыть руки от рыбы, кидаешься снова к очередной котлетке. В перерыве я (Али) организую дегустацию здешних блюд. Пробую цыпленка, а он подозрительно отдает рыбой. И слойка, господи, неужели и она припахивает рыбой?

Только через некоторое время я соображаю, в чем дело. Мы храним растопленный жир в огромных чанах. Вечером жир из каждой ванны через один и тот же фильтр выливается для дальнейшего употребления. Иными словами, жир, в котором жарились яблочные слойки, рыба, цыплята, пропускается через один и тот же фильтр. Одна и та же фильтровальная бумага используется для десяти ванн.

Когда в часы пик у стоек выстраиваются очереди, мы совершенно сбиваемся с ног. Из зала нас то и дело поторапливают окриками «быстрей!». Поэтому я (Али) думаю, что хорошо бы вынимать котлетки чуть раньше. Но управляющий (он не носит бумажного колпака) ставит меня (Али) на место: «Думать вообще не ваше дело. думают машины. Вынимайте, когда машина запищит, и не учите ученого». Я (Али) так и делаю. Но через пять минут снова появляется управляющий. «Почему так медленно?» — «Вы сказал, машина думать, и я теперь ждать».— «А какого черта должны ждать клиенты?» — «Я не знал, кто здесь приказывать: вы или машина, который пищит? Как надо быть? Вы сказал, я слушал».— «Извольте ждать, пока машина просигналит, понятно?» — «Все ясный».

Магическое заклинание, волшебные слова здесь: «скорость обслуживания». Считается, что «цель сервиса в том, чтобы никто никогда не стоял в очереди». Управляющим филиалами фирмы рекомендуются разного рода уловки. Лозунг такой: «Минута ожидания у стойки — это слишком долго. Это предельный максимум для человека в очереди. Поставь себе цель: свести время ожидания к 30 секундам. Чем быстрей обслуживают в твоем ресторане, тем прочнее ты занимаешь место управляющего. В течение ближайшего месяца сконцентрируй свое внимание на скорости обслуживания. Вычеркни из словаря слово «медленно». Два процента оборота зави-

сят от быстроты твоей реакции. Да здравствует скорость!»

«Fast-food» — здесь действительно минутное дело, хотя некоторые из нас, кто не слишком хорошо понимает английский, искренне считают, что «fast-food» значит — «почти еда»[1].

Наш филиал известен рекордными оборотами. Я (Али) был удостоен чести присутствовать на церемонии вручения нашему управляющему кубка с надписью: «За выдающиеся достижения в деле получения прибыли». Кубок вручал заведующий окружным отделением фирмы «Макдональд».

Особое внимание фирма «Макдональд» уделяет детям. В инструкции для служебного пользования, которую составил и разослал отдел маркетинга главного управления в Мюнхене, сказано: «Fast-food — это не только молодой рынок. В Германии это прежде всего рынок для молодежи... И пусть никто не говорит, что у молодежи нет денег!»

Все оборудование рассчитано на детскую клиентуру: высота столов, стульев, высота расположения дверных ручек. Специальная инструкция для закусочных, купивших лицензии «Макдональда», гласит: «Дети во много раз увеличивают ваш оборот!»

Рассылаются готовые программы, чтобы заманить в кафе «Макдональда» малышей, а с ними, разумеется, и целые семейства. Прежде всего, программа «Детский день рождения у «Макдональда». Развлечения расписаны до минуты.

День рождения проходит в 7 этапов:

1. Приготовления. Время ок. 15 мин.
2. Поздравления. Время ок. 10 мин.
3. Прием заказа. Время ок. 5 мин.
4. Получение заказа. Время ок. 10 мин.
5. «Приятного аппетита!» Время ок. 15 мин.
6. Игры или вручение подарков. Время ок. 10 мин.
7. Прощание...

Прейскурант прилагается («Макдональд», для служебного пользования).

После работы у гриля и за стойкой меня (Али) на третий день переводят в бригаду «ленча». Это повышение. Бригада работает хорошо. Мы убираем разорванные упаковки и остатки еды и протираем столы. Здесь работают двумя тряпками: одна для столов, другая — для пепельниц. Но в спешке тряпки немудрено и перепутать. Однако это никого не волнует; бывает, что той же тряпкой вытирают и клозеты. Тем самым замыкая кругооборот еды. Меня тошнит. Когда я прошу выдать мне следующую тряпку, меня (Али) жестко обрывают: хватит и тех, что я получил. Как-то управляющий посылает одного из служащих, работающего у большого гриля, чинить засорившийся унитаз. Тот берет ерш для чистки решетки гриля, чтобы как можно быстрей и добросовестней выполнить задание, но он хоть получает выволочку от управляющего. Чистота у входа соблюдается самым тщательным образом. На расстоянии 50 метров слева и справа от входной двери должно быть всегда прибрано, так как именно там выбрасывают ненужные упаковки. Поэтому меня (Али) в моей тонкой рубашке то и дело посылают из жары на холод.

В перерывах мы рассказываем анекдоты про тараканов, от которых, кажется, уже невозможно избавиться. Сначала они водились только в подвале, а теперь их обнаруживают уже и в кухне. Один недавно угодил прямо на гриль. Как-то хорошо развитый экземпляр был обнаружен клиентом в двойной порции гамбургеров со сложным гарниром.

Некоторые посетители, прежде всего слегка подвыпившие юнцы, бросают мне (Али) под ноги пакетики с остатками жареной картошки. Жирные ломтики рассыпаются по полу, их раздавливают подошвами, и я сразу должен подтереть пол мокрой тряпкой.

Особенно тяжело приходится одной из наших женщин — турчанке. Ей говорят сальности, издеваются над тем, что она турчанка, а иногда с размаху швыряют под ноги переполненные до краев пепельницы. Как-то и мне швырнули под ноги пепельницу. Пока я собирал осколки, за моей спиной снова раздался звон, и еще, и еще. Я (Али) не могу угадать, кто это делает. В зале смех. Надо же повеселиться.

Во время перерыва я не имею права выходить на улицу. Пить кофе или пиво на стороне не позволяется. Имели место печальные прецеденты: как-то один служащий вышел на перерыв, а отправился в бордель.

Молодая девушка-служащая рассказывала, что часто за восемь часов работы у нее не бывает никакого перерыва. Когда она спрашивала, ответ был один: «Работу не прерывать!» Если тебе нужно к врачу, управляющий ответит: «Я сам знаю, кому когда идти к врачу».

Однажды я (Али) спрашиваю, нельзя ли мне отлучиться сейчас за счет перерыва. Ответ известен заранее: «Я сам знаю, когда вам делать перерыв».

Профсоюза нет.

Еще шесть лет назад заведующий кадрами «Макдональда» в ФРГ советовал в своем циркулярном письме: «Если вы из разговора с нанимаемым поймете, что он является членом какой-либо организации, рекомендуем задать еще несколько вопросов, разговор прервать и сказать, что о решении вы сообщите через несколько дней. Разумеется, ни в коем случае на работу не зачислять».

Основатель фирмы Рэй Крок знает, чего хочет: «Я ожидаю денег, как ожидают света, нажимая на выключатель».

Генерал Абрамс (США) считает, что фирма «Макдональд» — это настоящая школа американской нации. «Молодому человеку весьма полезно послужить у «Макдональда». «Макдональд» сделает из него ценного для общества человека. Если гамбургер выглядит неаппетитно, такой субъект вылетает с работы. Эта

[1] Fast — быстрая, food — еда *(англ.)*, fast — почти *(нем.)*.

система — безупречно действующий механизм, которому должна стараться подражать наша армия».

Стройплощадка

В шесть утра приезжаю на Франклинштрассе в Пемпельфорт, район Дюссельдорфа.

У дверей фирмы GBI уже стоят человек шесть безработных. Им тоже назначили явиться к этому времени по телефону, указанному в газетном объявлении. Служащий фирмы открывает дверь. Контора расположена здесь же, на первом этаже: два сдвинутых вместе письменных стола, один телефон. Ни папок, ни полок, даже со столов все, кажется, убрано. На черной доске объявление: «Наша фирма производит наем в соответствии с установленным порядком». Однако никто не интересуется моими документами. Я (Али) даже не должен называть своего имени.

Прежде чем отправить на места назначения, нас заставляют ждать в соседней двухкомнатной квартире, которая служит перевалочным пунктом. Отклеившиеся обои, грязные окна и отсутствие туалета по-своему сигнализируют, какой «статус» мы здесь обретаем. Некто Зигги, грузный субъект с завитыми волосами, увешанный золотыми браслетами и цепочками, подбирает четырех подсобников для работы на «шикарной высотной стройке в Кёльне». Я (Али) вызываюсь ехать, и меня присоединяют к бригаде.

По дороге, в машине, нас информируют о почасовой оплате и условиях работы. «Работать по десять часов в день,— объясняет нам Зигги,— за час я плачу вам по 9 марок, значит 90 марок в день».

«Здесь строятся комфортабельные квартиры и очаровательные коттеджи с видом на спокойный парк»,— читаю я надпись на щите, когда мы через полчаса прибываем на стройку, расположенную на кёльнском Кольце Гогенштауфенов. Десятник показывает нам, где раздевалка. Мы как раз надеваем робы, когда в раздевалку снова входит Зигги. «Мне все-таки нужны ваши фамилии — для десятника»,— говорит он. «Али»,— представляюсь я. Этого оказывается достаточно. Наша бригада подчиняется десятнику фирмы «Walter Thosti BOSWAU» (WTB), шестой по величине строительной фирмы ФРГ, как я узнаю позже. И в последующие дни мы получаем задания только от этого десятника, и инструмент — от метлы до мусорного бачка — также дает WTB. GBI поставляет лишь рабочих в «чистом виде», у нее вряд ли есть оборудование, не говоря уж о собственных стройплощадках.

Никто из нас не сдавал своих документов в GBI, мы все без исключения работаем «налево». Никакого социального обеспечения для нас нет. Я спрашиваю одного из моих товарищей по работе: «Что будет, когда несчастный случай?» — «Тогда они сделают вид, будто ты у них всего три дня,— говорит он.— Они просто сообщат в благотворительный фонд. Ведь у них здесь несколько сотен человек, из них зачислено не больше половины».

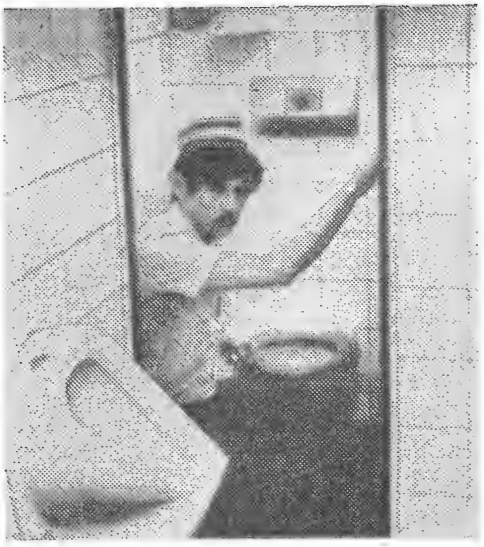
В перерывах мы набиваемся человек по пятнадцать в двенадцатиметровом передвижном вагончике. Один плотник, которого направила сюда кёльнская контора GBI, рассказывает: «Я уж лет тридцать мотаюсь по стройкам, но чтобы отпрашиваться в клозет, как требует здешний десятник,— такого еще не было!» Некоторые ежедневно по пятнадцать часов на ногах, считая дорогу туда и обратно. «Но оплачивают они только десять рабочих часов, за время проезда — ни единого пфеннига».

Десятник за что-то особенно невзлюбил одного из наших — турка лет пятидесяти — и все время измывается над ним. Хотя турок выполняет работу по крайней мере вдвое быстрей, чем его немецкие коллеги, десятник называет его «турецким недоноском»: «Если не можешь работать быстрее, в следующий раз отправлю тебя на свалку вместе с мусором!»

По пятницам, закончив работу, мы по нескольку часов дожидаемся получки. Деньги привозят откуда-то из другого места. Некоторые наемные, кажется, знают, откуда именно. «Этот Клозе только еще собирается в Лангенфельд,— просвещает нас, когда мы все вместе сидим в вагончике, нелегальный рабочий-немец, уже не впервые нанимающийся в GBI.— У них там счет в банке, оттуда он захватит башли и для нас». Он знает и то, почему деньги не снимают со счета в каком-нибудь кёльнском или дюссельдорфском банке: «Этот счет, в Лангенфельде, заведен на частное лицо, которое потом учтет чеки, выписанные WTB и другими строительными фирмами. В Дюссельдорфе им нельзя больше открывать счетов, а то сейчас же пронюхает финансовое управление и все обложит налогом».

Еще два часа после смены мы должны дожидаться наших денег, разумеется бесплатно.

Не только счета фирм сохраняются в секрете, все происходит достаточно конспиративно, чтобы утаить нашу работу на стройплощадке. Получая деньги, мы должны расписаться на квитанции, но ни ведомости, ни письменного расчета мы не видим. Даже листок, на котором десятник записывает нашу выработку, он тут же после выплаты забирает себе. На то есть причина, поскольку почасовая оплата наемного труда в строительстве запрещена законом. Чтобы обойти этот запрет, субподрядные фирмы вроде GBI заключают липовые трудовые договора. Например, фирма-субподрядчик заключает со строительной фирмой соглашение на «укладку 40 квадратных метров бетона», а платит нам за 40 часов наемного труда. Во многих случаях десятники пользуются секретными таблицами для обратного пересчета рабочего времени наемных рабочих в квадратные метры бетона или кубометры грунта. Мне необходимы доказательства, что



и на нашей стройплощадке тайно ведется почасовой учет. Пользуясь подходящим поводом, я (Али) отвлекаю внимание десятника и заглядываю в его записи. Под рубрикой «WTB» читаю: «30 рабочих часов». Далее указана дата и стоит подпись.

Как только Али приступает к работе, ему сразу же ясно дают понять, где его место. Несколько уборных для рабочих вот уже больше недели засорены. Пол залит мочой — чуть ли не до лодыжки. «Возьмешь ведро, швабру и совок и приведешь это в порядок. Только быстро». Я (Али) получаю под расписку указанный инструмент. «Можешь поставить вместо подписи три креста»,— говорит мне кладовщик-немец, который без больших хлопот распоряжается инвентарем в своем контейнере.

В моем контейнере-уборной стоит чудовищная вонь. Сток для мочи тоже напрочь засорен. Я воспринимаю эту работу как издевательство. Потому что пока сантехники не устранят причину — засоренные канализационные трубы,— унитазы и писсуары тут же снова переполнятся.

На стройке достаточно сантехников, но их рабочее время слишком драгоценно. Они оборудуют роскошные ванны и туалетные комнаты будущих владельцев.

Мастера и десятники пользуются собственными уборными в отдельном контейнере. Он закрыт на замок, рабочим вход воспрещен, и уборщицы ежедневно поддерживают там чистоту. Я (Али) говорю прорабу: в моей работе нет смысла, пока сантехники не заменят трубы. «Ты здесь не для того, чтоб задавать вопросы. Твое дело — исполнять, что скажут. Пусть лучше думают ослы, у них мозгов больше»,— поучает меня он. Что ж, ладно. Я (Али) делаю то, что вынуждены делать многие другие иностранцы, даже не пытаясь протестовать,— они должны радоваться уже тому, что вообще получили работу. Мысль эта немного помогает мне — и сейчас, и позже, в других ситуациях,— преодолеть отвращение. Вместо бессильного унижения и стыда приходит чувство солидарности и гнева.

Немцы, пользующиеся уборными в то время, пока я (Али) орудую здесь совками, губками и ведрами, иногда удостаивают меня вниманием. Какой-то парень дружески замечает: «Наконец-то у нас появилась «клозетная бабка». Двое парней, лет двадцати пяти, переговариваются через стенку кабин: «Что воняет хуже мочи и дерьма?» — «Работа»,— отвечает один. «Нет, турки»,— громко хохочет другой.

Правда, был и один немецкий рабочий, который, сидя на толчке, поинтересовался национальностью Али. Услышав в ответ: «Турок», он выразил ему свое сочувствие: «Известное дело, вас заставляют убирать за нами дерьмо. Любой немец со стройки отказался бы от такой работы».

Время от времени заходит десятник Гуго Лейне проверять мою работу. Хорошо, что он снаряжен переговорным устройством, так что о его приближении сигнализирует писк, кудахтанье и кряканье, и можно успеть изобразить крайнее усердие. «Темпо, темписсимо, амиго»,— подхлестывает он Али. Но когда я (Али) любезно сообщаю ему, что я не «итальяно», а турок, он обращается ко мне куда более резким тоном: «Тогда тебе давно пора закончить работу — ведь ты привычный. Вечно у вас унитазы забиты».

Гуго Лейне уже не раз беспощадно увольнял иностранцев за то, что они в рабочее время пользовались телефоном в кабине на стройплощадке.

На следующий день и еще несколько дней подряд мы в тридцатиградусную жару таскаем на шестой этаж бетонные плиты. Мы обходимся дешевле, чем кран, отправленный на другую стройку. Лейне следит за тем, чтобы мы не делали дополнительных перерывов. На следующей неделе меня (Али) перебрасывают на перевозку бетона. Я работаю на «японцах». Так называются полукруглые невообразимых размеров тачки. Готовый бетон для заливки фундамента следует перевезти через всю стройку. Руки просто отваливаются от напряжения, и нужно изо всех сил упереться в тачку, чтобы она не опрокинулась вперед. Мой напарник, Хейнц, нагружает тачку доверху, ему приятно поглядеть, как Али выбивается из сил, чтобы удержать тачку в равновесии. Тачка становится все тяжелее. Я (Али) приписываю это жаре и изнеможению. На дороге валяется доска, тачка слегка подпрыгивает, я не успеваю ее удержать. Тачка опрокидывается, и бетон разливается по стройплощадке.

Ко мне на помощь подбегают другие рабочие, чтобы собрать бетон и снова погрузить на тачку — иначе он застынет. Появляется десятник и набрасы-

вается на меня (Али): «Ах ты, проклятая вонючка! Мало, что до трех сосчитать не можешь. Хоть бы смотрел, куда прешь! Еще раз устроишь такое — и можешь убираться в свою Анатолию, в носу ковырять!»

Во время следующей загрузки напарник, злорадно ухмыляясь, опять, несмотря на мои протесты, наполняет тачку до краев. Черт, вот ведь мерзость какая, я никак не могу удержать ее в равновесии. На первом повороте она чуть не сбивает меня с ног, и снова весь бетон вываливается в грязь. Раздается громкий крик моих немецких коллег. Они стоят вокруг и хладнокровно наблюдают, как я (Али) надрываюсь, забрасывая в тачку бетонную жижу. Я как бешеный орудую лопатой, оглядываясь, не идет ли Гуго Лейне. К счастью, десятник куда-то исчез. Один из немецких рабочих показывает мне, что шина на колесе тачки проколота. В ней торчит гвоздь. Вот почему тачка опрокинулась. Издалека щерится в ухмылке напарник. Когда я (Али) снова прохожу мимо него со своей тачкой, он с триумфом констатирует: «Давно пора заметить, что туркам здесь нечего делать». Позже я застаю его в уборной в тот момент, когда он царапает шилом на стене: «Смерть всем тур...». Я (Али) пытаюсь его усовестить, но он плюет мне под ноги и покидает уборную, не закончив надписи.

Через несколько дней — я (Али) выметаю и выгребаю строительный мусор на шестом этаже,— я чуть не срываюсь в шахту лифта, незаметно прикрытую куском пластика. Мне везет, я только соскальзываю туда одной ногой. Отделываюсь легким растяжением и содранной на суставе кожей. А мог сломать шею, потому что глубина шахты — восемь метров. Совершенно случайно из соседнего помещения выходит Хейнц, мой напарник, и заявляет: «Тебе чертовски повезло. Представь, что ты сорвался — освободилось бы еще одно место». Когда у кого-то из немецких рабочих украли из куртки бумажник, где было сто марок, подозрение пало на меня (Али). «Слушай, ты ведь отлучался на четверть часа во время работы, где тебя носило?» Один из немцев: «Пусть откроет портмоне». Другой немец, Альфонс, которого все называют Альфи, приходит мне на помощь: «А если у него там сто марок? Ну и что из этого? Нас тут пятнадцать человек, каждый мог украсть или кто-то чужой. Почему обязательно Али?» Тот же Альфи советует мне получше выучить немецкий. Он дружески хлопает меня по плечу и подбадривает: «Ты говоришь по-немецки много лучше, чем сам думаешь. Ты попытайся! Нужно только малость повернуть слова, и получится совсем неплохо. Ты говоришь: «Турок я», а надо: «Я — турок». Это же совсем просто!»

Альфи много раз оставался без работы, а потом дюссельдорфское бюро по трудоустройству направило его к предпринимателю по фамилии Бастуба. Там ему приходилось по целым дням стоять в холодной воде — фирма производила работы по очистке вод и берегов, выполняя заказ земли Северный Рейн — Вестфалия. Только позже он заметил, что «Бастуба» не зачислила его и точно так же, нелегально, использовала его товарищей — югославских рабочих. Когда он напрямую высказал это шефу, тот вышвырнул его с работы. Некоторое время спустя один приятель дал ему адрес GBI.

Как-то в присутствии других рабочих я спросил Клозе — начальника кёльнского отделения фирмы,— что означает GBI, и он мне объяснил: «Это сокращение от «Жираф, медведь, еж»[1]. Таким вот образом он заставляет нас плясать, как медведя на цепи, и многие даже признательны ему.

Неладно что-то с этой нашей фирмой, а названия фирм меняются так часто, что люди верят и такому толкованию аббревиатуры.

У нас появился новенький — немец по имени Фриц, блондин лет двадцати. Он добровольно завербовался в армию и ждет не дождется призыва. Нелегальную работу на стройке он считает вынужденной потерей времени. Он любит сыграть в «пристенок». Мы играем в подвалах во время перерывов, ставка — один грош. Кто забросит монету ближе всех к стене, тот забирает ставки остальных. Мне (Али) везет, и я постоянно выигрываю. Фрица это бесит: «Вы, турки, вечно заритесь на наши деньги. Вы во всем ищете выгоду и обманываете нас, стоит лишь отвернуться».

В другой раз он заявляет: «Мы, немцы, умные. Зато вы плодитесь, как кролики, за наш счет.— И, обернувшись к остальным, добавляет: — До чего дремучие!»

---

[1] Giraffe, Bär, Igel.

Из-за неосторожности кровельщиков загорается люлька на крыше. Подкатывают пожарные машины, приезжает полиция. Али и других временных рабочих посылают расчищать еще дымящуюся кровлю. Резиновые подошвы кроссовок начинают плавиться, подо мной (Али) то и дело трещат обгоревшие балки. Группа полицейских и пожарников стоит рядом и наблюдает, как мы сбрасываем на стройплощадку дымящиеся предметы. Мы совершаем на их глазах чудеса акробатики. Защитной одежды нет. Все мы — нелегальные. Думаю, они это знают, во всяком случае подозревают. Но ничего не говорят. Они тоже наживаются на нас, мы выполняем за них опасную, грязную работу.

Один из немецких рабочих, Хинрих (двадцать лет, женат, имеет ребенка и долги за наем квартиры), уже несколько дней ходит с опухшим лицом. У него высокая температура. Воспаление надкостницы. Изо дня в день его не отпускают к зубному врачу. Он просит Клозе, начальника кёльнского отделения, выдать ему справку о болезни. Хинрих до сих пор даже не знал, что не оформлен на работу, что он нелегальный. Он просто вне себя: «Это запрещено, я сообщу об этом». Клозе: «Можешь убираться. Мы знать тебя не знаем. Считаешь, здесь работают налево? А мы тебе вчиним иск за злостную клевету. Ты еще возместишь нам убытки. Ты слишком поздно сдал документы, так что мы не могли тебя зачислить. Ты сам правонарушитель». После этого Хинрих не решается идти в полицию. На следующий день «скорая помощь» отвозит его в клинику. Заражение крови. Опасность для жизни.

В одну из пятниц после окончания смены — мы как раз переодеваемся — появляется десятник WTB Гуго Лейне: «Ну, теперь мы здесь более-менее справились, вы нам больше не понадобитесь». Али работал на стройке шесть недель. Нескольких нелегальных из постоянной бригады GBI отправляют на другую крупную стройку в Бонн/Бад-Годесберг. Их посылает туда та же фирма, фигурирующая под новым названием — DIMA. Федеральный министр по делам почты строит новое здание министерства. К сожалению, Али туда не берут.

Али хочет креститься,

или «Казнить без благословения»

> ...был странником, и вы приняли Меня...
>
> ...истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.
>
> *От Матфея, 25,35,40.*

Али пытался найти утешение в католической вере. Он слышал, что Иисус тоже был изгнанником, что он сострадал иноверцам и преследуемым и что за это сам подвергался тяжким обвинениям и преследованиям. Тем не менее Али приходит не как проситель (что было бы вполне понятно). Он не требует ни крова, ни материальной помощи. В его намерения не входит обременять, а тем более вводить во искушение слуг божьих. Он хочет только одного — окреститься!

а) Он хочет стать христианином — не из оппортунизма, а потому что давно уже изучил жизнь и деяния Христа и согласен с его учением.

б) Он хочет как можно скорее жениться на своей немецкой подруге, а она католичка, и ее родители требуют, чтобы он стал членом прихода.

в) Он надеется таким образом предотвратить грозящую ему вскоре высылку из страны.

(Имена священников и должностных лиц я не называю. Все приводимые ниже беседы — подлинные.)

Сразу видно, что Али — рабочий. Одет бедно. Из сумки, висящей через плечо, выглядывает термос.

Первая предварительная беседа происходит в доме пастора. Фешенебельный квартал. У дома — сад, напоминающий парк. Священник довольно высокого сана, лет шестидесяти, приоткрывает тяжелую дверь своего дома, украшенную решеткой узорного литья, и окидывает Али весьма скептическим взглядом. Пастор: «Здесь ничего не дают, иди в управление социального обеспечения». Я озадачен. Пастор замечает мое крайнее изумление, и прежде чем я успеваю изложить дело, он повторяет во избежание недоразумения: «Многие тут ходят и клянчат, а у нас, в сущности, ничего не осталось. Мы — приход, а не...» Я перебиваю его: «Я не хотел деньги, только креститься». Дверь открывается немного шире, он оглядывает меня с недоверчивым любопытством, говорит: «Ах так! Сюда приходит так много бездельников, желающих жить на чужой счет... А где вы живете? Сколько лет ребенку? И когда должны состояться крестины?»

Я называю ему «мой» адрес, и поскольку это такая благопристойная улица, на которой Али, в его теперешнем виде, вряд ли мог нанять квартиру хотя бы на неделю, я добавляю: «Я жить подвал». И: «Ребенок нет. Я турок, пока мусульман. Я себе хотел крестить. Только нужно очень скоро, потому что...» Он смотрит на меня растерянно и недоверчиво, словно я прошу его не о совершении таинства крещения, а о том, чтобы он сделал мне обрезание.

Он прикрывает дверь, оставляя только узкую щель: «Так быстро дела не делаются... Это не так просто. Сначала необходимо выполнить многие предварительные условия... — Он бросает пренебрежительный взгляд на мою потрепанную одежду: — Мы ведь не каждого принимаем в свою общину». Я упираю на то, что дело мое срочное, что мне грозит высылка, но это не производит на него ни малейшего впечатления. «К чему эта еврейская спешка? Я должен буду обсудить ваше дело в приходском совете. А прежде всего принесите мне из полиции справку о прописке — таков порядок». Когда я отваживаюсь возразить: «Но Христос тоже не имел постоянный квартира и дом!» — он, кажется,

воспринимает мои слова как богохульство, потому что без дальнейших объяснений резким движением захлопывает дверь. Тогда я начинаю настойчиво звонить, дабы показать, насколько серьезно принятое мной решение — стать полноценным членом общины верующих. И он еще раз открывает дверь, чтобы отделаться от меня раз и навсегда: «У нас тут не ночлежный дом. Если вы немедленно не оставите меня в покое, я вызову полицию!» Я в последний раз пытаюсь воззвать к его христианскому чувству и профессиональной добросовестности, я становлюсь на колени и, сложив руки, умоляю: «Ради Христа, крестить!» Вместо ответа с грохотом захлопывается дверь.

Этого Али не ожидал. Он явно попал не по адресу. В каждом стаде есть паршивая овца. Бывает. И в этом дачном пригороде, где самые богатые из богатых желают оставаться среди своих, Али явно не на месте. Али не сдается. Он отправляется к следующему пастору в соседний приход. Здесь виллы не прячутся за каменными оградами, и за домами не простираются похожие на парки сады, здесь у входа разбиты маленькие квадратные цветнички размером не больше квартиры, куда можно зайти каждому. Тут живет среднее сословие, а в некоторых многоэтажных домах даже рабочие.

Обеспокоенный первым враждебным отказом и став осторожным, Али просит своего товарища по работе турка Абдуллу сопровождать его в качестве свидетеля и для защиты.

Пять часов пополудни. В церкви ни души. Колокола автоматическим звоном напоминают верующим о начале службы. Однако ни один верующий к службе не явился. Возможно, они так замерзли, что охладели даже душой. Церковь не отапливается, здесь стоит такой пронизывающий холод, что святая вода в чаше превратилась в кусок льда. Когда мы размеренным шагом с некоторым смущением направляемся к алтарю, нас замечает пребывающий в одиночестве пастор.

Кажется, он уже настроился на свободный вечер, потому что пытается скрыться от нас в ризницу. Но я его опережаю. «Извините,— загораживаю я ему дорогу.— Только одна вопрос, хотел крестить себя, хотел становиться христиан, я турок». Он обескураженно воззрился на меня: «Нет, исключено. Я не могу. Ничего не выйдет!» Он говорит шепотом, глядя не на нас, а скорее мимо нас, на небеса, словно его высшее начальство могло бы оттуда отпустить ему грех нехристианского поведения.

— Почему нет? — спрашиваю я.

— Ничего не выйдет. Для этого надо учиться, готовиться несколько лет,— стонет он.

— Я книга Христа хорошо знал, всегда читал, снова читал.

— Нет, не могу, без разрешения кардинала не имею права.

— Но разве не каждая пастор может давать крещений?

— Нет, ни в коем случае.

— Не имеет право?

— Нет, нет, нет, нет. Ведь официально крещение повлекло бы за собой принятие в лоно католической церкви, нет...

— А вы не есть пастор? — задаю я провокационный вопрос.

Ему явно становится не по себе. Его тщеславие уязвлено.

— Я пастор,— отвечает он твердо и самоуверенно.

— Здесь в церковь начальник?

— Да,— подтверждает он.

— Тогда можно тоже делать крещений,— не сдаюсь я.

— Ну да, крестить детей,— признает он.— Но чтобы крестить взрослого, мне нужно получить разрешение архиепископа Кёльнского, а это предполагает изучение закона божьего в течение...— Он колеблется. Кажется, он сообразил, что я кое в чем разобрался.— Примерно... самое меньшее... в течение года.

— Так долго, один целый год?

Мой робкий, недоуменный вопрос снова вызывает у него желание отвязаться. В его голосе чувствуется некое удовлетворение:

— Это может продлиться еще дольше. Необходимо очень постепенное, поэтапное вхождение...

Показывая на купель, я демонстрирую ему свое знание дела.

— А потом вон там крестить. Нужно весь входить или один лицо?

Я, очевидно, кажусь ему последним дикарем. Он не удостаивает ответом мое кощунственное замечание, отделываясь лаконичным «нет».

— Но, может, начальник, этот архи, будет согласный?

Он не собирается внушать мне иллюзий:

— Не думаю! Не думаю!

Я все еще не понимаю. Я хочу найти объяснение его отказу:

— Так много люди хотел теперь приходить церковь?

Нет, что-то непохоже. «Не в этом дело, но...» Его «но» повисает в ледяном холоде церкви, дальнейшего объяснения не последовало.

Поскольку он совершенно не в состоянии подыскать аргументы в трансцендентных сферах, я прихожу ему на помощь с практической стороны. Я показываю на плотную ледяную корку в чаше со святой водой и советую: «Туда сыпать немного порошок от мороз, и можно опять крестить с эта вода». Но и это конструктивное предложение его не трогает. Он покидает церковь. Мы идем за ним. Я опережаю его на подходе к пасторскому дому, расположенному рядом с церковью, и звоню в дверь. Открывается узкая откидная ставня, как в дежурной аптеке, из окошка выглядывает пожилая помощница пастора. Пастор, оказавшийся у нас за спиной, понимает, что так просто ему от нас не отделаться: я не скрываю своей отчаянной решимости удостоиться святого таинства крещения. Он приглашает нас в свой кабинет. «Чтобы вы больше меня не бес-

покоили, я сейчас дам вам один адрес. Можете туда обратиться. Но повторяю: не питайте никаких иллюзий, на это потребуется время».

Он окапывается за внушительным письменным столом и обстоятельно листает церковную адресную книгу. Ему лет 55, он производит впечатление человека здорового и уравновешенного: не сноб и не грубиян, как его коллега из соседнего прихода, довольно добродушен, но сибарит, так и сияет сытостью и довольством. Он напоминает почтового чиновника на пожизненной службе, который еще отсиживает свое время за окошком, еще здоровается с посетителями, хотя все марки давно распроданы; никто не спрашивает его, можно ли поставить специальный штемпель, а вывеска «Временно закрыто» безопасности ради призывает к порядку последнего, заглянувшего по ошибке клиента.

Я не хочу, чтобы он так легко увильнул от ответственности, раз уж он реагирует на мое намерение как на некое, с его точки зрения, безнравственное посягательство.

— Если я был теперь ребенок, пойдет скорей? — снова пристаю я к нему.

— Да, будь вы дитя на руках у матери, тогда конечно. Но тоже не слишком быстро! Нужно сначала гарантировать католическое воспитание.

Я (Али). Хотя теперь много люди крестят, а родители совсем неправильный католик!

Пастор (хмуря брови, строго). Да, но не у нас. У нас этого нет.

Я (Али). Мой коллеги на работа, они крещеный, но совсем неправильный католик, они смеяться, что я верю Христос и говорю про книга, который писал Христос. Ведь все мы имеем один бог.

Пастор (не позволяет сбить себя с толку, совершенно формально). Чтобы крестить взрослых, мне необходимо позволение архиепископа Кёльнского, кардинала Хёффнера.

Я (Али). И он есть хороший?

Пастор. Нет. То есть он дает разрешение, если, если... изучение закона божьего... поэтапное... будет продолжаться минимум год.

Я (Али) (радостно). И потом он сделает крещений?

Пастор (категорически). Нет.

Я (Али). Я слышать, каждый может стать христиан.

Пастор (безуспешно продолжая листать адресную книгу). Да, конечно, однако...

Я (Али). Я тоже иметь проблема: я хотел жениться, но родители не пускал девушка с мусульман... А если я мог жениться, мог здесь оставаться, или надо ехать, высылка в Турция.

Мой товарищ Абдулла приходит мне на помощь, он настойчиво разъясняет пастору, в чем состоит проблема: «Если он уедет назад, в Турцию, его посадят в тюрьму».

Господин пастор пропускает неприятную информацию мимо ушей, он с невозмутимым благодушием продолжает копаться в адресной книге. «Да где же эта «Фелиситас»? — вырывается у него.

Абдулла. Поэтому его нужно крестить. Как можно скорей.

Я (Али). Лучше всего сразу, или я приходил завтра после выходной.

Пастор. Исключено, ничего не выйдет.

Я (Али). Могу тоже что-нибудь платить.

Пастор. Нет. Это все равно бесплатно. Крещение ничего не стоит. За совершение таинств денег не платят.

Я (Али). Но если делать взнос для дети язычников, может, тогда будет скоро?

Пастор. Нет, нет, тут ничего не сделаешь, даже самой малости.

Абдулла. Он не хочет отбывать военную службу.

Я (Али). Я не хотел стрелять, не могу убивать человек. У нас теперь в Турция немножко так, как Германия при Гитлер. Турция есть диктатур...

Пастор. Крещение здесь ни при чем. Это внешние причины, а не внутреннее убеждение.

Я (Али). Когда крестить, делают большой праздник с большой община и тому подобный?

Пастор (отрезвляя Али). Нет.

Я (Али). Я думал, будет большой праздник, танцы и тому подобный.

Пастор. Нет, нет. У нас этого нет...

Я (Али). Я все знаю, вот Библия, могу читать, вперед, назад, назад, вперед, все.

Пастор. Каждый думает, что знает закон божий.

Я (Али). Тогда спрашивай меня. Что хочешь!

Пастор. Но зачем?

Я (Али). Только посмотреть, как знаю!

Пастор. Нет, ведь речь идет о предписаниях, согласно которым взрослых принимают в лоно церкви. Что же тут спрашивать?

Я (Али). Что-нибудь, про Христос...

Пастор (таким тоном, словно я заговорил о чем-то совершенно не относящемся к делу). Про Христа?

Я (Али). Про его жизнь и все такой.

Пастор (таким тоном, словно Христос никогда не жил). Ах, про жизнь? Ну... гм, гм... погодите-ка, да... (И вдруг выстреливает, как из пистолета.) Как он основал церковь?

Я (Али) (не долго думая). Христос просто сказал Петру: «Ты теперь будешь делать для меня церковь».

Пастор. Гм, да, можно и так сказать, да.

Я (Али). И еще вопрос, много трудный!

Пастор. Нет, это нам не поможет, я только внушу вам напрасные надежды.

Я (Али). Пожалуйста! Еще одна вопрос!

Пастор (с трудом превозмогая себя). Еще?.. Ну, хорошо: почему же в наши дни есть несколько церквей, проповедующих веру в Христа?

Я (Али). Да, потому был другой церковь. Лютер. сделал революция, больше не верил папа в Рим. И потом стало много церковь, они хороший

Хотел Христос жить, но слишком мало знал. Хотел делать собственный церковь, их неправильно руководил, потерял пастухи...

Пастор (изумлен). Ну, ладно, хватит.

Я (Али). Я все читать. И объяснительный книга тоже. Катеш... как называть?

Пастор. Катехизис. Ладно, хватит. Я и так вам верю. Но нам это здесь не поможет, потому что позволение на крещение взрослых выдает архиепископ.

Я (Али). А если теперь я... Сердце не бьет, я говорю: пожалуйста, теперь меня будем крестить?

Пастор. В смертельном случае, ну да. То есть когда существует прямая смертельная опасность...

Я (Али). И если вдруг я болеть, то тогда можно... Мой сердце нехороший.

Пастор. С сердцем нехорошо, да?

Я (Али). Всегда так прыгать. Когда тяжелый работа, совсем черный в глаза. И уже был иногда больница. Как называет: отдел интенсивный...

Пастор (поправляет). Отделение интенсивной терапии. Но это отнюдь не причина, чтобы сокращать курс обучения закону божьему. Только в ходе обучения выяснится, насколько вы утвердились в христианской вере и действительно прониклись ею.

Я (Али). Но зачем, если я раньше уезжал. Если я не мог жениться на моя девушка, меня посылать назад Турция. И тогда должен, наверно, помирать без крещений и не буду на небо, где Христос.

Пастор (стонет). Я этого не говорил. Бывают исключения.

Я (Али) (обрадован). Значит, быстро крестить?

Пастор (в некотором отчаянии от моей тупости). Боже мой, нет. Даже если вы умрете некрещеным, это отнюдь не означает, что вы обречены на вечное проклятие. В некоторых обстоятельствах имеет значение бессознательная приверженность вере. Христос в своей неизреченной милости оставил надежду и язычникам, и иноверцам, которые живут по его заповедям.

Я (Али). Но это мало надежный. Лучше давай сразу делаем крещений. Идем. Теперь сердце нехороший.

Пастор (довольно равнодушно). Да нет, тут есть свои сложности.

Я (Али). Но главный дело, я потом католик.

Пастор (отчаявшись). Да, так можно было бы сказать, но это не считается, поскольку не подтверждено печатью. Нет и еще раз нет! Поскольку вы меня спровоцировали.

Я (Али). Но это правда, можем доктор привести.

Пастор. Нет, исключено. В некотором смысле я даже совершаю преступление перед законом.

Я (Али). Но у Мухаммед это просто делать. Кто хочет стать мусульман, Мухаммед сначала сказал «да».

Пастор (не без пренебрежения). Мухаммед вам чертовски облегчил дело.

Я (Али). Он какой-то больше терпимый.

Пастор пропускает упрек мимо ушей, молчит.

Я (Али). Но раньше, когда миссионер приходил в чужая страна, он говорил: ты католик, ты католик, ты католик! Хотел они или не хотел! Почему теперь такой долгий дело?

Пастор. Да, но какие это были католики! Раньше эти вещи совершались, гм, как бы это сказать, весьма механически. Карл Великий заявил саксам: либо креститесь — либо голову с плеч! (Смеется с явным удовольствием).

Я (Али). Все люди раз-раз?

Пастор. Это было в 800 году от рождества Христова.

Я (Али). Индейцы тоже крестил раз-раз, индеец не знал, как все получился.

Пастор. Ну и что из этого вышло! Они потом люто возненавидели всех христиан.

Я (Али). И потом сам так (показываю жестом, как отрубают голову) делал христиан?

Пастор. Да.

Я (Али). И папа в Рим благословил такой дело?

Пастор. Благословил? Для этого благословения не нужно. Можно казнить и без благословения. (В общем-то довольно добродушное выражение его лица сменяется инфантильно-инквизиторской усмешкой.)

Я (Али). И папа сказал им свой о'кей.

Пастор. Я, право, не знаю, какую позицию занимали в то время папы, они же не знали, что делали миссионеры в Америке. (Переводит разговор на первоначальную тему). Кто хочет выслать вас из Германии?

Я (Али). Полиция для иностранцы.

Пастор (под сильным впечатлением). Ага, полиция для иностранцев.

Я (Али). Если мы жениться немецкая женщина, приходил в спальня, смотрел, лежать вместе или нет.

Пастор. Нашу приходскую школу посещают много турок. Они приходили на мои уроки закона божьего, но они вовсе не хотели... они даже не знали, что такое католицизм.

Я (Али). Но теперь они знать и желать тоже себя крестить?

Пастор (возмущенно). Нет, напротив, никто, ни один человек.

Я (Али). Я должен тоже много учить, молитва, песня и все такой?

Пастор. Вы должны выучить это в душе, не наизусть, а в душе, в душе. Я начинаю читать «Отче наш». Когда я произношу: «Избави нас от лукавого...» — он прерывает меня. Он снова не упускает случая оскорбить Али: «Вы мусульманин и привыкли бормотать длинные молитвы, как дети, без всякого понимания. Так-то. А теперь я должен запереть собор. (Он поднимается, чтобы

наконец избавиться от меня, и сует мне в руку записку.) Вот вам адрес консультации по вопросам веры — «Фелиситас». Они там решат, как вам быть дальше».

Похороны,
или Погребен заживо

Али, которому чиновники церкви (за одним исключением) указали на дверь... хочет, чтобы его где-нибудь приняли, отнеслись как к человеку.

Поскольку среди живых он наталкивается на такое неприятие, поскольку он для них «живой труп», он решает на этот раз попытать счастья уже среди мертвецов. Ему нельзя терять времени! Живой ли, мертвый, все равно с тебя сдерут, как говорится, три шкуры. Чтобы подготовить свое путешествие в царство мертвых, он (Али) надевает темный выходной костюм; чтобы подчеркнуть свою физическую немощь, берет напрокат кресло-каталку, и один из друзей привозит его в самое крупное и почтенное похоронное бюро города.

Али является без предупреждения. Его вкатывают в салон, и владелица бюро оказывает ему вежливый прием. Ей около сорока, и она производит довольно приятное впечатление. Али делится с ней своей заботой. Работая в асбестоперерабатывающей промышленности (заводы «Юрид»), он заболел. У него рак бронхов и легких. Врач не скрыл от него, что через два месяца он умрет. Он обращается в бюро, чтобы лично договориться о помещении собственного трупа в гроб и доставке его в Турцию.

Нижеследующая беседа (она несколько сокращена, но воспроизведена дословно) представляет собой документ чудовищного, бездушного и бесчеловечного культа мертвых нашего времени. Ты еще живой, а тебя оценивают на предмет устранения как мертвый объект, как уже не человека, как кучу мусора. Дама-экспедитор даже не спрашивает меня (Али), как я себя чувствую, хотя я (Али) отнюдь не похож на смертельно больного. Ни слова о том, что я, может быть, еще вылечусь. Она не желает проявлять сострадания — ни в какой форме. Зато быстро переходит к делу: «Если отправлять самолетом, то все зависит от вашего веса. Гроб помещают в ящик для транспортировки, и все вместе взвешивают. Цена устанавливается по этому весу и зависит от места назначения...»

Я (Али). Очень далекий, в Турция, Кашгар-гора, около русская граница.

Дама-экспедитор. В любом случае обойдется дорого: и самолетом, и автомобилем. Мы же должны привести вас в аэропорт, а потом, по прибытии, забрать из аэропорта. А если повезем на машине, то можем сразу доставить к месту захоронения... Как вы числитесь в кассе социального страхования?

Я (Али). Нормальный.

Дама-экспедитор. Рабочим или пенсионером?

Я (Али). Целый год больной.

Дама-экспедитор. До последнего времени вы еще работали, а потом заболели?

Я (Али). Да, на асбестовый фабрика, я не получал маска...

Она (тут же перебивает). Это к делу не относится. Вопрос в том, желаете ли вы ехать на автомобиле или желаете лететь. При доставке самолетом это вопрос веса.

Я (Али). Я не тяжелый. И доктор сказал, через два месяц, когда мертвый, совсем легкий, как ребенок. Потому что вес все меньший.

Дама-экспедитор. Да, но рост ведь не изменится, не так ли? Ребенку нужен гроб поменьше, а ваш надо еще поместить в транспортный ящик, чтобы пассажиры и люди в аэропорту не узнали, что в нем перевозится.

Я (Али). А если я не ложить в гроб, а сделать огонь?

Дама-экспедитор. Кремация? Тогда вас кремируют здесь, а урну с пеплом отошлют по почте.

Я (Али). Это не так много деньги?

Дама-экспедитор. Это значительно дешевле, потому что тогда транспорт отпадает. Если мы вас кремируем здесь, то все вместе, включая пересылку по почте и оплату почтового сбора, составит примерно две-полторы тысячи марок.

Я (Али). А брат не может забирать меня в пластиковый мешок?[1]

Дама-экспедитор. Нет, ни в коем случае, мы не вручаем прах на месте кремации, мы переправляем его на место захоронения, но предварительно запрашиваем город, где должна быть погребена урна. Только по получении разрешения здешний крематорий пересылает урну.

Я (Али). И ничего нельзя делать? Может, тихонько давать немного денег?[1]

Дама-экспедитор. Нет, исключено. Здесь не вручают прах частным лицам.

Энергичная дама берет это дело в свои руки. Она подвозит меня (Али) на каталке к гробам. Когда я (Али) осведомляюсь у нее: «Что есть красивей, большой огонь в печь или большой гроб?» — она делает вид, что не поняла вопроса и с поразительной быстротой привлекает мой интерес к дорогим гробам, предназначенным для транспортировки: «Вы имеете в виду урну или гроб? Ну, если вы хотите знать мое мнение, гроб — это все же много лучше. Это же совсем другое дело».

«Позвольте»,— говорит она моему спутнику и наклоняется надо мной, сидящим в каталке, чтобы снять мерку.

Раздается скрип тяжелой раздвижной

[1] Этот вопрос совсем не надуман, не взят с потолка, он имеет вполне реалистическую основу, хотя и не в среде турок. Напротив: один кёльнский промышленник, владелец фирмы с филиалами в США, мультимиллионер, и, судя по внешним проявлениям, строго верующий католик, недавно пронес через таможню в пластиковом мешке прах своего брата, скоропостижно скончавшегося на заграничном курорте. То есть он пронес его прах в дешевой урне, запакованной в пластиковый пакет универсама "Stuyvesant".

двери, ведущей на склад, и из соседнего помещения доносится звук работающей пилы. «Лучше всего, если вы сами подберете себе товар. Ведь у каждого свой вкус». Она говорит это так, словно предлагает: «Ложитесь, примерьте, в котором вам приятнее».

Она постукивает по стенке простого дубового гроба. «Вот это стандартная модель. Но если вы предпочитаете что-то более изысканное и стабильное... как вам нравится вот этот?» В ее голосе звучат такие мягкие, вкрадчивые ноты, словно она хочет продать мне к свадьбе супружеское ложе с гарантией на всю жизнь. «Настоящий немецкий дуб, тяжелый, массивный. Самый тяжелый из всех, какие есть сейчас на складе. Сплошь массивный дуб,— еще раз подчеркивает она.— И сплошь обит шелком».

«Можно внутрь глядеть?» — говорю я. Она реагирует как-то смущенно, словно я в мебельном магазине пытаюсь улечься в двуспальную кровать. «Вилли, иди же, помоги», — зовет она своего компаньона и (или) супруга. Из соседнего помещения быстро выходит Вилли. Он держится с достоинством, но как-то настороженно. «Речь идет о его доставке в Турцию. Ему осталось жить два месяца, и он желает заглянуть в гроб»,— представляет она меня (Али). Вдвоем они поднимают тяжелую крышку.

Внутри я вижу голое дерево. «Но нет красивый материя,— выдаю я свою рекламацию.— А ты сказал, там будет мягко лежал». Они переглядываются, как два обманщика, уличенные во лжи. «Материя будет в любом случае, можете на нас положиться,— авторитетно утверждает Вилли,— мы даем полную гарантию».

— Сколько стоил?

— 4 795 марок,— отвечает Вилли, заглянув в прейскурант. Я (Али) ощупываю дерево и стучу костяшкой пальца по дубу, прислушиваясь к звуку.

— И он долго держаться? — интересуется Али.

— Да, это первоклассная столярная работа, продержится пять-шесть лет, прежде чем развалится,— успокаивает он меня.

Но Али еще не нашел то, что ему подход. В жизни ему никогда не представлялось выбора. И он хочет воспользоваться правом выбора хотя бы теперь, на пороге смерти.

— А нет ли такой гроб, чтобы не был так выглядеть как гроб? Такой совсем яркий и немного приятный? Понимаешь, вся жизнь жил совсем темный сырой квартира, теперь хотел по крайней мере такой красивый гроб, понимаешь?

Они обмениваются короткими взглядами, но, однако, скрывают свое недоумение за профессиональной деловитостью.

— Совсем яркий подобрать трудно, он слишком уж бросался бы в глаза, но что вы скажете насчет вот этого? — говорит Вилли. Женщина подкатывает меня к блестящим лакированным спесивым гробам из красного дерева. Один кошмарней и претенциозней другого.

— Это пластик? — спрашивает он.

— Настоящее красное дерево, даем гарантию,— спешит уверить Вилли.— Один из самых изысканных и ценных образцов нашего ассортимента.

— Немного больше узор,— требует Али.

— Мм... ах, вы имеете в виду резьбу? А как вам нравится вот эта наша модель, французская? Мы получили ее по спецзаказу. Стоит всего только 3600 марок. Раньше это стоило 4000.

Я (Али). Из Франция?

Вилли. Да, прислан из Франции.

Я (Али). Что ты считал красивей?

Вилли. Вопрос вкуса. Этот совсем в ином роде.

Я (Али). А люди, который иметь деньги... немцы какой гроб купил?

Гробовщик Вилли. Ну, немецкие гробы в большинстве из дуба или в этом роде.

Я (Али). А кто купил такой?

Гробовщик Вилли. Такие берут для перевозок. За границу. Французы, а также итальянцы

Я (Али). А он долго держать?

Гробовщик Вилли. Ну, для Турции придется заказывать еще и цинковый гроб, с цинковой обшивкой.

Я (Али). Ах, так, жестянка...

Гробовщик Вилли. Зато вы будете полностью запаяны внутри гроба, иначе нам не перевезти вас через границу. Потом практически запаивается снаружи, вот здесь, и только потом заколачивается деревянная крышка.

Я (Али). Сколько стоит?

Гробовщик Вилли. Ну, с цинковой обшивкой и запайкой примерно 6000 марок.

Я (Али). Кредит нельзя?

Гробовщик Вилли. Насчет цены мы можем поговорить, если вы заранее сделаете заказ и заплатите вперед. Мы можем уступить пять процентов, и тогда это обойдется вам всего в 5700 марок. Но только если вы заплатите вперед наличными.

Я (Али). А если потом совсем не умер, я получал деньги назад?

Гробовщик Вилли. Нет, деньги не подлежат возврату, в качестве возмещения мы можем предложить цену со скидкой. Но если я правильно понял (утешает он меня), в вашем случае дело верное... только два месяца до... (Он запинается. Ему неприятно произносить слово «смерть» в моем присутствии.) Да, нам еще нужно знать, куда доставить гроб в Турции, и кое-что мы накинем за вашу доставку.

Я (Али). Мы живем совсем высоко, в горы около Россия, там красивый земля, можешь делать отпуск у моя семья, ничего не платил.

Он остается бесстрастным и не принимает приглашения: «Я все равно туда не поеду. Мы нанимаем для этой цели шофера, и придется (он умолкает и считает в уме)... да придется накинуть еще

за перевозку: 1 марка 30 пфеннигов за километр. Туда и обратно».

Он интересуется, где расположен Кашгар, и насчитывает примерно 10 000 марок за автотранспорт. «Если я теперь, пока еще живой, уже туда ехал, будет дешевле? А потом делал кремация или гроб?» — мой вопрос приводит его в смущение. «Это не наша забота,— стонет он.— Мы имеем право принять вас только при наличии официального свидетельства о смерти, выданного врачом, а до кремации вас должен обследовать еще один, специально присланный, врач».

— Кто мертвый, тот мертвый,— говорю я.— Все равно.

Я (Али) указываю на выставленную в витрине изящную урну,— она имеет функциональную форму и не такой уродливый вид, как прочие сосуды для праха, напоминающие горшки:

— Вот если я сделаю огонь, нельзя меня туда?

— Боже упаси! Это невозможно. Это керамика. Это только для витрины. Не продается. Это старинная вещь. Антиквариат.

Я (Али) понял. Пока мой спутник выкатывает меня на улицу, меня уверяют, что фирма имеет «свои ходы» в кассу социального обеспечения и что «можно по секрету узнать, какую сумму касса выплачивает на похороны. А тогда посмотрим».

Дело дрянь

> Я не верю, что можно добиться серьезных изменений, не испытав крайней нужды. Ужасно не доверяю всяким «внешним» акциям, которые опасны тем, что оборачиваются пустой болтовней.
>
> *Из «Дневника фабричной работницы» Одиль Симон*

Я (Али) пытаюсь получить место на заводах «Юрид» в Глинде под Гамбургом — переработка асбеста, тормозящие покрытия. Турецкие друзья сообщают мне, что на самых вредных для здоровья работах преимущественно заняты турки. Строгие инструкции по технике безопасности для предприятий, перерабатывающих асбест, здесь не имеют силы. Воздух загрязнен смертоносной пылью. Противопылевые маски используются не всегда. Я знакомлюсь с некоторыми бывшими рабочими, которые после полугодовой-двухлетней работы в Глинде приобрели тяжелые болезни бронхов и легких, а теперь — пока безрезультатно — борются за признание этих заболеваний профессиональными.

Проблема в том, что прием временно приостановлен. Правда, кое-кому все равно удалось устроиться: помогли взятки мастерам, «подарки» — настоящие турецкие ковры из Турции или ценные золотые монеты. Я уже раздобыл (купил в антикварном магазине) соответствующую «семейную реликвию» в виде старинной золотой монеты Османской империи, когда подвернулся более удобный случай.

Я узнал, что на металлургическом заводе Августа Тиссена (ATH) в Дуйсбурге уже давно отменен постоянный штат и что через фирмы-субподрядчики туда нанимают более дешевых, более безропотных поденщиков: их легче перебросить с места на место и легче вышвырнуть. С 1974 года было уволено примерно 17 000 постоянных рабочих; многие виды работ, которые прежде выполняли штатные кадры, теперь поручаются людям, поставляемым субподрядчиками. У Тиссена только в Дуйсбурге имеются соглашения с 400 такими фирмами. Я знакомлюсь с одним 27-летним рабочим-турком, которого биржа труда связала с субподрядной фирмой Адлера. Я узнаю, что Адлер продает рабочих фирме Реммерта, а Реммерт в свою очередь — металлургическому заводу Тиссена. Мой новый знакомый рассказывает о таких условиях труда и таких методах эксплуатации, которые — если только услышать о них, но не пережить и не получить доказательств — кажутся просто неправдоподобными, во всяком случае, мы читали о них, изучая самую мрачную эпоху раннего капитализма.

Так зачем стремиться вдаль, если близко так печаль?

Надо встать в 3 часа ночи, чтобы в 5 утра прибыть на сборный пункт фирмы Реммерта: автовокзал Оберхаузен-Бушхаузен. «Реммерт» — расширяющееся предприятие. На зеленой, отвечающей духу времени, фирменной вывеске написано: «Услуги».

«Реммерт» устраняет грязь в любой форме.

Он принимает заказы на ликвидацию грубой и мелкой пыли, ядовитых отходов, зловонных и гнющих масел и жиров и очистку фильтров. У Тиссена, Маннесмана, у фирмы «MAN» и бог весть где еще. Только автомобильный парк фирмы Реммерта стоит 7 миллионов марок. В фирму Реммерта входит фирма Адлера: принцип куклы-матрешки. Адлер продает нас Реммерту, а Реммерт сдает нас внаем дальше — Тиссену. Львиную долю того, что платит Тиссен — в зависимости от объема грязи и пыли или от опасности выполнения задания,— делят между собой предприниматели. Они получают от 35 до 80 марок в час за человека. Милостыню в размере 5—10 марок Адлер выплачивает работягам ..

Нужда

Некоторые из моих товарищей работают месяцами без выходных. Их содержат как рабочий скот. У них больше нет личной жизни. Их отпускают домой, потому что фирме они обходятся дешевле, если сами оплачивают места ночлега. Им-то было бы выгоднее ночевать тут же, на заводе, или у Реммерта. Как правило, это те, что помоложе. Самое большее через два года у Тиссена они становятся изможденными и замкнутыми, выжатыми и больными — часто на всю жизнь. Для предпринимателей это человеческие отбросы, обменный фонд, их ведь много, они выстаивают очередь,

чтобы получить работу, благодарны за любую, буквально за любую.

Эта розничная торговля людьми объясняет их крайнюю изношенность — редко кто выдерживает такую работу один-два года. Нередко через месяц-два они получают травму, делающую их инвалидами на всю жизнь. Особенно если их назначают на две-три смены подряд.

Один из моих товарищей, двадцатилетний парень, работает обычно 300—350 часов в месяц. Мастерам у Тиссена это известно, завод на этом наживается, доказательства отштемпелеваны часами в проходной Тиссена и сохраняются в памяти автомата.

Очень часто заказы Тиссена на аккордную смену поступают к Реммерту неожиданно. Бывает, что после напряженной работы люди успевают вернуться из Дуйсбурга в Оберхаузен и принять душ, а «шериф» перехватывает их в душевой и снова посылает назад, в грязь, отрабатывать дополнительную смену. Или поднимает их телефонным звонком с постели и отправляет на работу как раз в тот момент, когда они, совершенно измотанные, только что заснули после смены. Большинство, даже молодые и довольно сильные, говорят, что больше 15—16 смен в неделю выдержать невозможно. После такой недели люди спят как мертвые, в течение всего выходного. Молодой рабочий Ф., например, почти каждую субботу и каждое воскресенье работает по две смены кряду. Он на все согласен и никогда не жалуется. Он безропотно залезает в самые грязные ямы, соскребает мокрые, вонючие и горячие слои машинного масла и плесени с машин и сам потом бывает покрыт с головы до ног скользким жиром. Он всегда словно не в себе: на старообразном лице застыла блаженная улыбка, речь часто бессвязная. Он старший сын в семье, где двенадцать человек детей, четверо живут вне дома. Он и семь его младших братьев и сестер живут у родителей в 100-метровой квартире. Он всегда голоден: если кто-то оставляет кусок хлеба, Ф. немедленно доедает его. Весь свой месячный заработок — 100 марок — Ф. отдает в семью, чтобы близкие могли как-то существовать.

Если кто-нибудь жалуется на работу, Ф. всегда возражает: «Надо радоваться, что вообще есть работа». И: «Я делаю все». Однажды, когда во время перекура нас накрыл контролер Тиссена, он был единственным, кто продолжал вкалывать. И за это надсмотрщик похвалил его.

Он рассказывает, что его рекорд — 40 часов работы с 5-часовым перерывом. Всего несколько недель назад он проработал подряд 24 часа. Он постоянно заглядывает в картонные коробки и мусорные баки и собирает грязные рабочие рукавицы, выброшенные рабочими Тиссена. Он подбирает даже непарные рукавицы. Когда-нибудь найдется другая, ей под пару. Он собирает и собирает, у него их уже целая куча, штук 20. Я (Али) спрашиваю его: «Зачем они тебе? Ты же не наденешь их все сразу?» Он: «Кто знает. Ведь нам не дают рукавиц. Хорошо, что они тут валяются. Тебе какое собачье дело? Всегда лучше надеть сразу несколько касок — вдруг что-нибудь упадет на голову». Мне его жалко. Он всегда глупо улыбается. Через несколько недель я узнаю, что его снова вызвали в выходной на двойную смену и что он умолял «шерифа»: «Я больше не могу. Я не могу, я не справлюсь».— «Но ты же всегда справлялся».—«Пожалуйста, не надо сегодня. Пожалуйста, пожалуйста». Шериф: «Я возьму это на заметку. До сих пор на тебя всегда можно было положиться». Я (Али) потом поздравил его: «Считаю, ты правильно сделал, что сегодня сказал «нет», ведь ты еле жив».

Он просто больше не мог. Он едва держался на ногах. Лицо посерело, как пепел, руки дрожали.

Один из рабочих рассказывает, что в прошлом году во время пасхальных праздников они проработали без сна 36 часов. Тогда Реммерт получил заказ на чистку покрасочного конвейера у Оппеля в Бохуме. Работу нужно было непременно успеть закончить ко вторнику к 6 часам утра — потому что в 6 часов заступала новая смена. Но этот марафон на автомобильном заводе — еще не самое «высшее достижение». Два года назад мы работали на строительстве спортивного отеля под Франкфуртом. Там пришлось вкалывать до обморока — почти 50 часов кряду!

Немецкий рабочий Герман Т. (ему около 35 лет) — один из самых рьяных «почасовиков» у Реммерта. По нему это видно: худой как щепка, изможденный, лицо бледное, землистое. Он некоторое время был безработным, и он — один из немногих, кто благодарен за то, что имеет право работать до обморока. Его

приняли в феврале 85-го, и с тех пор он вкалывает как одержимый; в апреле 85-го он уже выработал, по его подсчетам, 350 часов. В июне он снова «взял все часы» — уже 25 июня у него было почти 300 часов, «а месяц еще не кончился».

Герман Т.: «На последней неделе я отработал с пятницы до субботы четыре смены подряд. В 6 утра в пятницу вместе с вами начал у Тиссена и в 14.15 в субботу пробил табель в проходной». Такие смены-марафоны для Германа — дело обычное, а чтобы не бросались в глаза вопиющие нарушения техники безопасности, его перебрасывают от смены к смене с одного места на другое на огромной территории тиссеновских владений. «В пятницу утром я был на своей стройке в Руре, маленький такой цех, мы там пылесосили. После обеда я работал на «Окси-1», ночную смену — на электростанции «Фёрде», а в субботу утром — снова на стройке в Руре». Совершенно обессиленный, на полусогнутых, он добрался наконец домой. «Я еще что-то съел, есть уже не хотелось, и повалился. Успел только сказать жене, чтобы разбудила вечером — думал, посмотрю фильм в 20.15. Какое там — проспал до воскресенья, до полудня, ни разу не проснулся».

Он рассказывает, как они работали у Тиссена: «Каждый день 16 часов, 12 часов, 13 часов, каждую субботу и каждое воскресенье, каждый праздник — без продыху. На пасху и на троицу тоже, видно, у них там всегда так. Весь завод останавливают и наводят чистоту, ты не представляешь, сколько мы там ишачили, хоть тебе ветер, хоть снег, хоть дождь, хоть мороз. Шмотки вечно промокают. От Реммерта обычно 10—15 человек, да еще от Адлера. Мы там в общей сложности работали месяцев пять».

Турецкий рабочий Зецер О. (44 года) считает, что установил рекорд продолжительности работ. Во время строительства метро в Мюнхене им пришлось 72 часа работать в шахте под землей с короткими перерывами — только чтобы свалиться, как сноп, и отключиться на полчаса. Он рассказывает, что во время таких марафонских смен многие попадали в аварии, сплошь иностранцы.

Когда шериф прямо-таки заставляет нас — юридически он совершает акт принуждения — отработать двойную смену, я (Али) оказываюсь в числе назначенных. Прямо тем же автобусом, в котором мы возвращались с работы, нас доставляют на сборный пункт. Мы на пределе, совсем выдохлись. Некоторые уже заснули на своих сиденьях, когда десятник останавливает автобус и как бы между прочим замечает: «Работаем дальше! Двойная смена!» Некоторые протестуют, им нужно, необходимо домой, они совершенно без сил. Им объясняют: раз Тиссен требует, значит работа будет продолжена.

Рабочий-алжирец К. непременно должен вернуться — его тут же, на месте, увольняют. Высаживают из автобуса и оставляют на улице. В прямом и переносном смысле. Состоявшийся диалог привожу дословно:

Ш е р и ф. Сегодня работаете дольше, до 22 часов.

А л ж и р е ц. Черта с два. Работай без меня. Я не робот.

Ш е р и ф. Все должны работать дольше.

А л ж и р е ц. Мне надо домой. Срочно.

Ш е р и ф. Можешь больше не приходить. Сейчас острая нужда в людях.

А л ж и р е ц. Но мне нужно домой.

Ш е р и ф. Завтра тоже можешь не являться. Выметайся. Раз и навсегда. Здесь тебе не место. (Обращаясь к остальным, которые боязливо молчат.) Мне сегодня нужно сорок человек и завтра тоже! Так требует Тиссен. Мне тоже охота отдохнуть, мне тоже нужно домой, меня тоже никто не спрашивает. Сегодня после обеда у меня истекает срок важного кредита. А уехать нельзя. И точка. Что вы вообще хотите? На войне, там еще хуже!

«Лучше ничего не понимать»

Мы работаем в одном из длинных мрачных пустынных проходов агломерационной установки III у Тиссена. В перерыве к нам подходит мастер в сопровождении десятника. Проверяют, сколько мы убрали грязи и спекшегося угля, потому что именно от нас зависит, когда снова будет введена в действие установка. Довольно молодой мастер при виде восточной внешности Юсуфа пускается в воспоминания об отпуске: «Ты из Туниса?» Юсуф отвечает утвердительно. «Шикарная страна. Мы опять поедем туда в этом году, я и моя жена — в отпуск. Там можно роскошно отдохнуть. И все много дешевле, чем здесь».

Юсуф улыбается ему — дружески и благодарно. Не часто случается, чтобы немецкий начальник снизошел до внеслужебных разговоров с иностранцем, а уж то, что он положительно отзывается о его родине,— просто редкость. Юсуф объясняет, что его родители живут недалеко от моря, дает адрес и приглашает мастера, когда он в следующий раз будет в Тунисе, «заезжать в гости». Мастер охотно принимает приглашение: «Заеду, можешь быть уверен. Только ты мне раздобудь парочку адресов. Сам знаешь, что я имею в виду. У вас же шикарные женщины для разового употребления. С ума сойти, какие женщины. Сколько сейчас это у вас стоит?» Юсуф отвечает: «Я не знаю».— «Ведь у вас за 20 марок можно достать все». Юсуф явно оскорблен. «Понятия не имею»,— отвечает он. Но мастер все еще в своей стихии и не оставляет его в покое. «Послушай,— он пробует объясняться с Юсуфом, прибегнув к непристойному жесту,— у вас же там женщины с перчиком. Настоящие дикие кошки. Если только сдернуть с них чадру, они же прямо стервенеют от похоти. А сестры у тебя нет? Или она еще слишком молодая? Ах, ведь у вас там всегда сразу надо жениться». Юсуф пытается

скрыть за шуткой от нас — товарищей по работе — унизительность своего положения: «Но ведь вы едете туда с женой!» Мастер: «А это неважно. Она же целый день лежит на пляже и ничего не узнает. Отель шикарный. В точности как наш здешний «Интерконти». Две недели обойдутся примерно в 2000. За все про все. Мы как-то раз смотались на денек в другую страну, как там она называется?» Юсуф (вежливо): «Марокко». Мастер: «Ах да, Марокко, чуть не забыл. Там тоже роскошные женщины. Послушай, как вы вообще разговариваете? По-испански?» Юсуф больше не выдерживает. Он отворачивается, но все же замечает в свое оправдание: «Нет, по-арабски. Мне нужно в туалет».

Десятник пользуется этим поводом, чтобы подсесть к нам и тоже предаться мечтам об отпуске. Он потягивается: «Лежать бы теперь на юге, чтоб никакой работы. Чтобы солнце. И женщины, женщины». Потом поворачивается ко мне (Али): «Верно я говорю? У вас в Анатолии можно купить женщину за одну козу». Я (Али) безучастно гляжу в другую сторону, но он пристает: «Верно я говорю? Ты свою старуху почем купил?» «Немцы всегда думает, все может покупать,— отвечает Али.— Но самый прекрасный вещи на свете нельзя покупать за деньги. Потому немцы такой бедный, несмотря что имеет много деньги». Десятник чувствует себя уязвленным и платит Али той же монетой. «Ваших гаремных дам мне и даром не надо. Они же грязные, они воняют. С них сначала надо хорошенько грязь соскрести. А пока их разденешь, сдернешь с них все барахло, и охота пройдет». В конце концов Юсуф отводит меня в сторону и говорит: «Нехорошо, что мы выучили немецкий и понимаем. Всегда неприятности. Лучше делать так, как будто не понимаем». Он рассказывает о молодом рабочем из Туниса, который, испытав на себе подобные унижения, совершенно сознательно перестал учить немецкий и на все, что говорил мастер, всегда отвечал: «Да, мастер». Так оно спокойней.

Стены в уборных на фабриках Тиссена загажены оскорбительными для иностранцев надписями и рисунками, фабричные заборы — тоже, никто не считает нужным их замазать. Привожу лишь несколько типичных примеров, а их сотни. Они списаны со стен завода «Оксиген-1»:

«Дерьмо на палке — турок на протезе».

Поблизости на здании столовой:

«Турки — вон. Германия останется немецкой».

Рядом какой-то друг животных наклеил плакат с фотографией медведя-панды и лозунгом: «Охраняйте вымирающие виды!»

На расстоянии 20 метров от этого лозунга большая надпись:

«Смерть всем туркам!»

В туалете на Кальтвальцштрассе надписи уже пожелтели от времени, значит, они красуются там уже давно:

«Лучше 1000 крыс в постели, чем один турок в подвале».

«Повесить всех турок и всех немецких девок, которые с ними гуляют».

Потом другим почерком:

«Турки — дерьмо, всех повесить повыше, всех ненавижу».

«Турецкие свиньи, всех вас пристрелю».

Другой почерк:

«Я рад, что я немец».

«Германия — для нас, немцев».

И дальше:

«Лучше быть эсэсовцем, чем турком».

«Самый лучший немец был Адольф Гитлер».

«Мертвый турок лежит в подвале, а немца опять не нашли, не поймали».

Перекур

Рабочие-немцы: Михаэль (34), Удо (26) и старший среди них Альфред (53) в старом бомбоубежище под Брамштрассе раздобыли деревянную доску и положили ее на два бочонка. Они сидят там во время перерыва, делятся сигаретами и выпивают. Напротив них, расстелив на полу турецкую газету «Hürriyet» («Свобода»), примостился Али — ему раз и навсегда отведена роль слушателя. Беседа все время прерывается грохотом сбрасываемых вниз каменных глыб.

Альфред. Можешь мне поверить: при Адольфе Гитлере, если ты что стащил у своего, хотя бы шнурок, тебя бы поставили к стенке. Можете мне поверить. Так и надо. Если кто обкрадывает своего — такого надо либо убивать на месте, либо расстреливать. Только так. У своего товарища ничего нельзя отбирать, так не делают!

Я (Али). А шеф может у тебя отбирает?

Альфред. Это совсем другое дело. Но если кто подложит свинью товарищу или что украдет...

Я (Али). А шеф тоже будет расстрелянный, если он воровал?

Альфред (с угрозой). Был бы ты здесь раньше, при Гитлере! Тогда еще в Европе был порядок.

Я (Али). Много расстреляны?

Альфред. Был бы ты здесь в то время...

Удо. Тогда старики еще не боялись ходить по улицам.

Альфред. Слушай, тогда старая бабка в семьдесят лет могла ночью разгуливать по улицам, имея в кармане 10 000 марок. И никто ее бы пальцем не тронул.

Я (Али). Так много деньги, зачем ходить на улица, можно ехать на машина...

Альфред. Мой папаша жил в большом городе, огромном, где ярмарка, Лейпциг называется. Я там родился. Так у него была машина, мотоцикл и велосипед. Велосипед целый год стоял во дворе, а когда проржавел, он купил себе новый и опять поставил во двор. И никто его никогда не брал...

Я (Али). Он, конечно, был сломан, капут... велосипед.

Альфред (продолжает увещевать меня с таким видом, словно считает всех иностранцев ворами). Ты слушай, что тебе говорят, баранья башка, и заруби это на своем носу.

Я (Али). Как это?

Альфред. А так, что воровать нельзя. Например, раньше того не было, чтоб у каждого — автоматическая стиральная машина. К нам ходила прачка, фрау Мюллер, поскольку у нас вообще хозяйство было поставлено. Раз в месяц — большая стирка, понял? Зимой сушили белье в подвале, а летом во дворе. И все наше белье, начиная с постельного, все на дворе висело. И ни разу ничего не пропало, не единого носового платка.

Я (Али) (обращаясь к остальным). Я не хочу его сопливый платки, я покупал бумажный — «темпо».

Альфред (невозмутимо). Ни единого носового платка.

Я (Али). Но иностранцам был не так хороший жизнь?

Альфред. Слушай, тогда в Германии еще была дисциплина и порядок.

Я (Али). Но евреи вы всех убивал.

Альфред. Плевал я на твоих евреев. Это наносное. Нужно уважать старость, вот что нам внушали. И учитель, и школа как общественное достояние, и дом.

Ты думаешь, нам, мальцам, разрешали садиться в трамвае? Нам вдалбливали намертво: вошел пожилой человек — встань и стой. Это само собою.

Я (Али). Ты думаешь, государство был лучше, чем сейчас?

Альфред. Это была тотальная диктатура, но лучше диктатура, чем та куча дерьма, в которой я сижу теперь.

Я (Али). Слушай, пожалуйста, зачем вы убил всех евреи?

Удо (подсказывает Альфреду). Потому что они были иностранцы.

Альфред. Знаешь почему? Знаешь почему?

Я (Али) (с глупым видом). Нет, нет.

Альфред. Гитлер допустил одну ошибку. Ему бы продержаться еще лет пять, чтобы ни один из них не остался в живых, ни один. Куда суются евреи, там начинается светопреставление. Евреи что бедные, что богатые — все едино. Ведь есть и богатые евреи, как Рокфеллер, Моргентау и т. д. Это такие, что устраивают в мировой истории только несчастья, несогласия и террор. У них деньги на разные исследования, у них деньги, у них власть над жизнью и смертью — вот какие это люди. Ты слушай: если б Гитлер продержался еще пять лет и вся эта штука кончилась бы в его пользу, тогда не осталось бы ни одного из людей такого сорта, ни единого, можешь мне поверить.

Я (Али). И цыган вы тоже всех убивал.

Михаэль. Кто не был чистой немецкой породы, он всех их убрал, кроме чистопородных немцев.

Удо. Да ведь убивал не только Гитлер.

Я (Али). И меня бы он тоже прикончил?

Нет ответа.

Альфред. Слушай, кто начал с концлагерями? Нет, честно? (Громко отвечает на свой вопрос.) Англичане.

Удо. Американцы, американцы это начали.

Альфред (настаивает на своем). Нет, англичане, англичане. Черчилль, да, Черчилль, он был обер-лейтенантом английской армии. Слушайте, Черчилль, он был обер-лейтенантом во время колониальной войны, сержантом, значит.

Михаэль. Гитлер не должен был этого делать.

Альфред. А знаешь, что Черчилль делал?

Михаэль (настойчиво). Нет, это было свинство.

Альфред. Черчилль тоже работал на два фронта.

Михаэль. Все равно это свинство, слушай, это...

Альфред (перебивает его). Он отобрал у нас юго-западную Африку как колониальное государство. И вот там он с бурами знаешь, что сделал? Ты вообще-то слыхал когда о бурах? Так вот, он запер их в пустыне, в палаточном лагере, женщин и детей, и заставил подыхать с голоду, женщины, дети — все погибли...

Михаэль. Это тоже неправильно. Но Гитлер был величайший убийца всех времен...

Альфред (несколько обескуражен тем, что его же товарищ Михаэль оказывает ему сопротивление. Поэтому он набрасывается на Али). Слушай, ты ведь не дурак?

Я (Али). Как когда...

Альфред. Какая разница между турками и евреями?

Я (Али). Все люди, разница нет.

Альфред (торжествуя). Есть! У евреев это уже позади!

Удо (Альфреду). Слушай, я знаю анекдот получше.

Альфред. Валяй!

Удо (обращаясь ко мне, Али). Сколько турок входит в один «фольксваген»?

Я (Али). Не знаю.

Удо. Двадцать тысяч. Не веришь?

Я (Али). Веришь, если ты говорить.

Удо. Хочешь знать почему?

Я (Али). Лучше нет.

Удо. Очень просто. Двое спереди, двое сзади, остальные в пепельнице.

Альфред (сухо). Ха-ха. Не смешно. У него вот такая борода. Я его сто раз слышал. А знаете новый? Идет мальчишка-турок, прогуливает немецкую овчарку. Навстречу ему немец. Немец спрашивает: «Куда это ты со свиньей?» Турок говорит ему: «Это не свинья, а настоящая немецкая овчарка, с родословной». А немец ему: «Заткни пасть, тебя не спрашивают».

Альфред и Удо давятся от смеха.

Михаэль. Нехорошо. Зачем рассказываете этот анекдот при Али? Он же может его неправильно понять.

Я (Али). Не смешной. И про евреев не смешной. (Альфреду). Почему немцы так мало смеяться и всегда за счет другие?

Альфред (злобно). Шутить полезно. Лучше не вмешивайтесь в наши дела, а то вам скоро будет не до смеха. (С вызовом обращается ко мне). Ты про доктора Менгеле слыхал?

Я (Али). Да, доктор-убийца, из концлагерь.

Альфред. Этот Менгеле был не такой уж идиот. Во всяком случае, для своих опытов на людях он турок не брал. А знаешь почему?

Я предпочитаю промолчать.

— Потому (он с ненавистью смотрит на меня), что вы совершенно ни на что не годны. Даже для опытов на людях не годитесь.

Михаэль. Ну, знаешь, когда я слышу и читаю про эти опыты, мне стыдно, что я немец, честно.

Альфред (с наслаждением). Он их выстраивал в чем мать родила и смотрел, сколько они проживут, если их облить водой на морозе.

Альфред (мне). Слушай, а ты какой нации? Ты ведь не настоящий турок. Твоя мать была готтентотка, а?

Я (Али). Мать греческий, отец турок.

Альфред. А ты теперь кто: турок или грек?

Я (Али). Оба. И немножко немецкий. Потому что уже здесь десять лет.

Альфред (обращаясь к остальным). Нет, вы послушайте этого идиота. Он думает, в нем всего понемногу. Вот оно как выходит, когда скрещиваются расы. Каждая свое чирикает, и ничего непонятно. У такого и родины нет. Коммунист, вот он кто. Теперь от коммунистов проходу нет, везде кишмя кишат. Их давно запретить пора. Знаешь, что у Маннесмана сделали? Всех турок выперли. Здесь, у Реммерта, еще есть несколько турок, гори они огнем, слушай, я когда их вижу, у меня прямо вся желчь разливается... Я вчера так и сказал одному (турецкому рабочему.— Г. В.), если, говорю, ты не угомонишься, получишь под зад коленом и отправишься восвояси. Ох, я его давно держу на заметке...

Михаэль. Они здесь работали, вы здесь работали... и хорошо... мы вас использовали... и конец. Вы здесь! А нам как быть?

Я (Али). Мы же не сам приехал. Нас тоже все звал. Всегда говорил: ехать, ехать! Здесь много заработать. Вы нам нужный. Мы так просто не сам приехал.

Михаэль. Да, это тоже верно. Нужно как-то притереться.

Удо. Нет, надо же, что у Маннесмана делают.

Михаэль. Сейчас столько безработных, мы сами по уши в кризисе.

Удо. Маннесман сразу сказал: каждый получит по 10—30 тысяч марок.

Я (Али). Только если теперь все уезжать, вы теперь не будет больше получать пенсия, вы не получать никакой пенсия. Если все мы уехать, мы получать сразу весь наш деньги. А вы не получать пенсия.

Альфред. Все это чепуха. Не так уж здесь много турок.

Я (Али). Много. Полтора миллионов. И вы тогда все банкрот.

Альфред. Знаешь, как сделано в Швейцарии? Если ты работаешь гастарбайтером в Швейцарии, то у тебя контракт на одиннадцать месяцев, а двенадцатый — отпуск. А пока ты сидишь дома и отдыхаешь, они присылают письменное уведомление, работать ли тебе дальше или оставаться дома. Вот как Швейцария это регулирует. Ты себе отдыхай, а они за этот месяц решат: работать тебе или бить баклуши.

(Окончание следует)

Америка глазами английских писателей

Мы предлагаем вниманию читателей несколько небольших фрагментов нового сборника под названием «Свобода угнетать. Английские писатели об Америке», выпускаемого издательством «Прогресс».

Америка, ее природа и люди, ее будущее и настоящее, судьбы «американской мечты» — постоянная тема английской литературы. К ней обращались Ч. Диккенс, Р. Л. Стивенсон, О. Уайльд, Р. Киплинг, Г. Уэллс, Дж. Голсуорси, Д. Г. Лоуренс, О. Хаксли, Дж. Б. Пристли, Г. Грин и другие. В их сочинениях живой интерес к Америке сочетается с ощущением противоречия между высокими принципами американской демократии и реальным их воплощением, между «американской мечтой» и американской действительностью.

Начало этой литературе было положено путевыми очерками. Большинство из описаний Америки английскими писателями представляют немалый культурологический интерес. Они знакомят с различными сторонами жизни в США: политическим и социальным устройством страны, религией, моралью, искусством, литературой, особенностями американского национального характера и т. д.

Во многих из этих очерков преобладает критический тон. Любопытство и скепсис, живой интерес к стране соседствуют с иронией, часто перерастающей в политическую сатиру.

Достаточно, к примеру, отметить, что на смену радужным надеждам и энтузиазму, с каким отправился в 1842 году на свидание с демократией Нового Света молодой Диккенс, пришла суровая итоговая формула: «Свобода угнетать», послужившая сейчас заглавием сборнику. «Не такую республику я надеялся увидеть,— писал он в письме знаменитому актеру Макриди.— Это не та республика, которую я хотел посетить; не та республика, которую я видел в мечтах».

Первые, благоприятные впечатления уступили место гневу и возмущению, когда Диккенс ближе познакомился с законодательной системой («презренная межпартийная борьба», «наглое мошенничество», «закулисные сделки», «лихой авантюризм»), судопроизводством, рабовладением, нравами прессы...

Книга позволит читателям под новым ракурсом вглядеться в движущийся во времени облик Америки с ее противоречиями, достоинствами и недостатками.

РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН

Из книги «Эмигрант-любитель»

Нью-Йорк

В течение многих лет Америка была для меня землей обетованной. «Империя прокладывает себе путь на запад»; в беге сейчас побеждают молодые; что было и что есть, нам известно, пусть и не все; но то, что будет,— за пределами нашего воображения. Греция, Рим и Иудея канули в вечность, оставив потомкам наследие осуществленного; Китай еще держится, старый дом в только что возведенном граде народов; Англия, потеряв Штаты, уже клонится к закату; и потому умы англичан в юную пору надежд естественно поворачиваются в сторону этих самых Штатов, еще не развившихся, но исполненных тайных возможностей, Штатов, вышедших, как новая Ева, из ребра их собственной старой родины. Американцу трудно понять это состояние духа. Но пусть он представит себе молодого человека, которому суждено вырасти в старом, строгом, замкнутом кругу, следовать отжившим привычкам, которого будут учить не доверять собственным инстинктам и который неожиданно узнаёт, что у него есть родственники, его ровесники, которые сообща, сами управляют своим домом и живут, свободные от ограничений и традиций; пусть он представит это, и тогда он хоть в какой-то степени поймет чувство, с каким пылкие английские юноши смотрят на Американскую республику. Им кажется, будто там, на Западе, битва жизни все еще ведется под открытым небом, как в доисторические времена; им кажется, будто эту битву еще не запихнули в гостиные и не свели, как в скучном и неправедном суде, к компромиссу, пустым формальностям и прискорбному, бессмысленному самоотречению. Человек, в котором осталось хоть немного юношеского пыла, сам сделает выбор между двумя этими образами жизни. Наверное, он предпочтет бездомность отказу от возможности зажить новой жизнью, голодное существование — трапезе в благочинном, респектабельном обществе, независимость — подчинению установленным правилам.

Он ничего не знает или не хочет и думать о законах штата Мэн, о пуританской угрюмости, о яростной и жадной погоне за долларом, о тусклой жизни провинциальных американских городков. Несколько приключенческих книг — отрада детства — сформировали его представления об Америке. С течением времени они обрастают множеством вдохновляющих подробностей: огромные города, растущие, словно по мановению руки; птицы улетают осенью на юг, а весной возвращаются, но болота их уже плотно заселены людьми, и фонари освещают шумные улицы; леса исчезают, как талый снег; вырубленные и освоенные долины величиной с Англию; люди снимаются с места со всем своим скарбом и, обгоняя соседей, устремляются туда, где ни медведь, ни индеец еще не подозревают об их приближении; нефть, которая бьет фонтаном, стоит только ткнуть в землю палкой; золото, которое намывают в ручьях и добывают в долинах Сьерры; весь этот порыв, мужество, действие, дух постоянных мгновенных перемен, которые уловил и запечатлел в своих мощных, жизнерадостных и переливающихся строках Уолт Уитмен.

И вот наконец я в Америке, на улицах Нью-Йорка, высматриваю все чужеземное. Город напомнил мне Ливерпуль — дело было в дожде, который лил так, что окажись я в раю, то и он не показался бы привлекательным.

Нас было четверо под двумя зонтами: Джонс, я и двое молодых шотландцев, недавних иммигрантов, готовых приветить соотечественника. Они пробыли в Нью-Йорке шесть недель, но ни один из них еще не нашел работы и не заработал ни цента, и сейчас им буквально нечем было бы заплатить за проезд в омнибусе...

Полагаю, в гостинице нам предоставили то, что они называют отдельными номерами для семейных. Это была крохотная каморка с кроватью, стулом и двумя-тремя вешалками, необходимыми для поддержания человеческого существования. Свет туда проникал из двух источников: один помещался в коридоре, другой освещал проход, который вел прямо в соседнюю комнату, где трое мужчин храпели в унисон либо вяло переговаривались друг с другом всю ночь напролет.

Чтобы попасть в туалет, надо было пересечь двор под дождем, который все еще обрушивался сплошной стеной. Там было три умывальника, несколько смятых полотенец и кусок мокрого мыла, белого и скользкого, как рыба; да, было еще и зеркало, и два сомнительной опрятности гребешка. Там я обнаружил еще одного шотландского парня, энергично растиравшего лицо. Он жил в Нью-Йорке уже три месяца и до сих пор еще не нашел работы, и не заработал ни цента, так что сейчас ему и впрямь нечем было заплатить за проезд в омнибусе. В глубине души я почувствовал боль за своих соотечественников-эмигрантов.

О своих кошмарных похождениях в Нью-Йорке рассказывать воздержусь. Мне надо было выполнить тысячу и одно поручение, и все это за день, а под вечер предстояло отправиться в путешествие по стране. Дождь продолжал лить с неиссякаемой яростью, то и дело приходилось искать укрытия, чтобы, так сказать, дать отдых плащу, ибо под этими нескончаемыми потоками воды он начал отсыревать изнутри.

Я заходил в банки, на почту, на вокзалы, в рестораны, в издательства, в книжные магазины, в меняльные конторы, и где бы я ни оказывался, повсюду оставлял лужи, и те, кто заботился о чистоте помещений, поглядывали на меня с досадой. Равным образом, куда бы я ни попадал, меня всюду поражало одно и то же: люди были на удивление грубы и на удивление добры. Служащий в меняльной конторе допрашивал меня, точно комиссар французской полиции: возраст, род занятий, средний доход, цель путешествия,— пресекая все попытки уйти от ответа и выслушивая меня в полном молчании; однако же, когда с вопросами было покончено, он только что не заключил меня в объятия и послал своего помощника-мальчишку почти за четверть мили, в дождь, принести мне книги по сниженной цене. Точно так же, в очень крупной конторе по изданию и продаже книг человек, по виду управляющий, принял меня так, как меня не принимали еще ни в одном магазине: он ясно дал понять, что не верит в мою порядочность, и отказался посмотреть названия книг, да и вообще снабдить меня хоть какой-либо самой ничтожной информацией на том основании, что это не его, управляющего, дело. В конце концов я потерял терпение, сказал, что я иностранец и еще не привык к американскому обхождению; но уверяю вас, продолжал я, что любой книготорговец в Англии окажет вам более теплый прием. Возможно, я немного прихвастнул, но, как это часто бывает, выстрел попал в цель. Управляющий сразу же кинулся из одной крайности в другую; с этого момента он, можно сказать, обрушил на меня потоки доброты; он дал мне множество хороших советов, всевозможные адреса и вышел с непокрытой головой под дождь, чтобы показать ресторан, где бы я мог пообедать; но даже этого, казалось, ему было мало. Таковы (могу сказать с достаточной долей уверенности) нравы в Америке. Именно эти резкие перепады поражали меня в американцах всех сословий, на всем моем пути с востока на запад. В тот миг, когда я буквально впадал в неистовство от столь оскорбительного обращения, собеседник на глазах преображался: он был весь внимание и радушие...

Спутники

В Огдене мы сделали пересадку — с Юнион-Пасифик на Сентрал-Пасифик.

Вагоны на Сентрал-Пасифик были почти вдвое просторнее и, соответственно, вдвое лучше проветривались; они были недавно отделаны, что создавало приятное ощущение чистоты, будто только что принял ванну...

К тому времени у меня была уже возможность присмотреться к своим спутникам. Они разительно отличались от эмигрантов, с которыми я пересекал Атланти-

ку. Это были в основном грубоватые люди, молчаливые и шумные одновременно — обычное сочетание; пожалуй, я бы сказал, немного печальные, с крайне примитивным чувством юмора, почти не выказывающие интереса к своим сотоварищам, не считая случайных, чисто внешних проявлений любопытства.

Среди пассажиров не было эмигрантов из Европы — за исключением одной немецкой семьи и небольшой кучки суровых шахтеров из Корнуэльса, которые держались особняком; один, нацепив очки в стальной оправе, читал целыми днями Евангелие, другие обсуждали меж собою тайны своей древней загадочной расы. Разделение рас, более древнее и достоверное, чем Вавилон, обособило эту тесно замкнутую народность от других англичан. Даже краснокожие индейцы мне ближе. Таков один из уроков путешествия — наиболее чуждые тебе народы живут в твоем же собственном доме за соседней дверью.

Остальные были уроженцами Америки, но прибыли сюда из самых разных уголков континента. Жители Виргинии и Пенсильвании, Нью-Йорка и штатов Дальнего Запада — Айовы и Канзаса, Мэна, граничащего с Канадой, и из самой Канады — все они, в одиночку или по двое, устремлялись на поиски лучших мест и лучших заработков. Говорили, как и на пароходе, о тяжелых временах, о скудных землях, о надеждах, которые неизменно связывают с Западом. Я с тоской подумал о своих спутниках по морскому путешествию. Они одолели три тысячи миль, и этого оказалось недостаточно. Тяжелые времена гнали их из Клайда и обещали лучшую долю в Сэнди-Хук. А дальше куда? В Пенсильванию, Мэн, Айову, Канзас? Выходило, что края эти — для эмигрантов, но не для иммигрантов. Правда, я знал человека (не из числа своих спутников), который передумал и вернулся на неблагодарную родину. И все же они стремились дальше на запад. Можно было подумать, что голод, подобно солнцу, восходит на востоке, а там, где оно заходит, золото растет, как пшеница. А между тем разве не ехали со мною в одном вагоне с полсотни эмигрантов из разных частей света? Голодная Европа и голодный Китай, покинув свои пределы, сошлись здесь лицом к лицу в поисках пропитания. Встретились две волны; восток и запад в равной мере не оправдали надежд; весь земной шар был пройден и проклят; Эльдорадо не существовало; и если только ты не мог эмигрировать на Луну, то с равным успехом мог терпеливо отсиживаться дома. Не было недостатка и в иных приметах, еще более красноречивых и одновременно еще более разочаровывающих; ибо, продолжая путь на запад, в страну золота, мы постоянно встречали поезда, направляющиеся на восток; в них было не меньше народа, чем в нашем. И что же, нашли все эти возвращающиеся свою золотую жилу? Ехали ли они в Париж, надеялись ли быть в Риме к пасхе? Похоже, что нет, ибо при каждой встрече они выбегали на платформу и кричали нам через окно, и крики их сливались в жалобный хор: «Возвращайтесь!» На равнинах Небраски, в горах Вайоминга это был все тот же глас отчаяния, отзывавшийся болью в моем сердце: «Возвращайтесь!» Его мы слышали, пересекая «благословенную страну, в которую стремились». А в тот же самый миг безработные толпились на Песчаной площади Сан-Франциско, и пустозвонные речи демагогов доносились эхом с другой стороны Маркет-стрит.

Если и впрямь эмигрируют только для того, чтобы заработать, сколько же тысяч пожалеют об этом шаге! Но конечно, заработок — только одна из причин; ибо мы представляем собою племя цыган, мы любим перемены и путешествия ради них самих.

1895

Перевод Н. АНАСТАСЬЕВА

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ

Из книги «От моря до моря»

Но хватит о душных, заплеванных салунах. Давайте обратимся к величественному зрелищу, кое представляет собой Государство во имя народа, для народа и управляемое народом, как это понимают в Сан-Франциско. Книга профессора Брайса сообщает, что каждый американский гражданин старше двадцати одного года имеет право голоса. Он может ничего не смыслить в собственных делах, не ладить с женой, не внушать уважения своим детям, быть нищим, полупомешанным от постоянного пьянства, банкротом, подонком, просто-напросто дураком от рождения, но он имеет право голоса. И если ему заблагорассудится, он может голосовать без передышки — за губернатора штата, государственных служащих, за твердые местные цены, канализационные подряды и прочие начинания и дела, в которых он столь же мало разбирается.

Один раз в четыре года он голосует за нового президента. А в промежутке выбирает судей, то есть людей, которые должны обеспечить справедливое судопроизводство. Судьба судей во многом зависит от любви населения к перевыборам, которые повторяются каждые два-три года. Такая ситуация считается наиболее подходящей для избрания независимого в своих суждениях и нелицеприятного деятеля. Вся масса голосующих разделена на две партии — республиканскую и демократическую. Каждая из них полагает, что другая ведет перл создания (то есть Америку) прямым путем в ад. Следует также отметить, что демократы пьют больше республиканцев, и когда напьются, то много толкуют о штуке, которая называется «тариф», в которой они ничего не понимают, но которую считают оплотом национальной экономики или же, наоборот, вернейшим средством ее по-

гибели. Иногда они говорят одно, иногда — другое, в зависимости от того, что думают по данному поводу республиканцы, которые вообще постоянно себе противоречат. Но то, что я вам рассказал,— правдивый и яркий отчет о лицевой стороне американской политики. С изнанки она выглядит по-иному.

Так как все здесь имеют право голоса и могут голосовать решительно по любому поводу, то в результате появились на свет некие мудрецы, понаторевшие в искусстве скупки голосов и оптовой продажи их всем, кто в них нуждается. Допустим, какой-нибудь американец занят строительством своего жилища и ему недосуг голосовать за местных бойцовых петухов, окружных присяжных и прочую живность, но у тех, кто вечно слоняется по улице и кто ничего не делает, времени предостаточно. Их кличут просто «парнями», и парни составляют своеобразный слой населения. Это все молодые люди, они не умеют ни воевать, ни работать. Нет, они не кровопийцы, они обыкновенные бездельники, которые не могут ни выращивать скот, ни копать колодцы. Это, попросту говоря, праздношатающиеся, которые готовы поддержать любое дело и начинание, лишь помани их бутылкой. Они ждут, они всегда под рукой, а ведь смысл и слава американской политики в том и состоят, чтобы всегда быть под рукой. И вот некий мудрец, владелец салуна, умело распределяя спиртное, всегда имеет в своем распоряжении целую компанию таких парней, которые за стаканчик вина проголосуют «за» или «против» всего, что есть в подлунном мире. Конечно, не каждый хозяин винного погребка обладает необходимой сноровкой. Успех зависит от тщательного изучения местной политической жизни, тут требуется такт, умение убеждать, неистощимый запас анекдотов на забаву толпе и для привлечения ее каждый вечер в салун, пока он не станет настоящим салоном забулдыг. А главное, надо иметь в виду, что рассчитывать на немедленный эффект этой питейной стратегии не приходится, хотя в конечном счете «парии», которые угощаются на даровщинку, расплатятся со своим благодетелем в тысячекратном размере... Таков обычный стратегический план действий. Рядовых граждан угощают даровым вином, им перепадает немного денег — и они голосуют. Тот, кто может обеспечить десяток голосов, получает соответствующее вознаграждение. Тот, кто имеет в своем распоряжении тысячу,— весьма уважаемый человек, и так далее, вплоть до главного салунного стратега, наиболее изощренного в искусстве накапливания голосов и умения пускать их в оборот, когда потребуется. Такой человек управляет городом как самодержец, наделенный безграничной властью. Вероятно, вы желаете знать, кому это выгодно? Все общественные должности (за исключением очень немногих, где требуются специальные технические познания) краткосрочны и распределяются в соответствии с «политическими» симпатиями. Чего же вы хотите? Большому городу требуется большое количество служащих. Каждая должность обеспечивает приличное жалованье и влияние, которое стоит двух жалований. Эти должностные лица благоволят к тем, кто обеспечивает им голоса. Председатель комиссии по канализационным подрядам, к примеру,— джентльмен, который получил свою должность благодаря республиканцам. Он мало что знает о канализации, еще меньше заботится о том, чтобы знать, но у него достаточно здравого смысла, чтобы отдать все подряды по прокладке канализационных труб и эксплуатации мусороуборочных машин тем господам, с помощью которых он получил голоса. Начальнику полиции помогли занять сей пост голоса парней, которые еженощно подвизаются в одном прекрасном салуне. Начальник полиции может быть строжайшим блюстителем нравов, но он не допустит, чтобы его помощники запретили в этом салуне ночные сборища и картежную игру. Большинство должностных лиц избираются сроком на четыре года, и дурак тот, кто не выжмет из своего положения все выгоды, какие только можно.

Единственно, кто страдает от такой прекрасной общественной системы,— сами люди, ее создавшие: от нее страдают сами американцы...

В настоящее время Сан-Франциско находится под управлением человека, зрение которого настолько ухудшилось, что ему требуется поводырь. Официально он известен как Босс Бакли, а неофициально — Слепой Дьявол. Вот передо мной, черным по белому, его послужной список. Он занимает четыре колонки убористым шрифтом и, может статься, не понравится вам. Вкратце он таков. Босс Бакли, обладая тактическим чутьем и глубоким знанием изнанки городской жизни, сплотил вокруг себя немало избирателей. Сам он почти никогда не претендовал на какую-либо должность, но по мере увеличения числа своих сторонников продавал их услуги вышестоящим группировкам, взимая проценты с каждого учреждения и должности. Он контролировал демократическую партию в Сан-Франциско. К примеру, народ выбирает судей. На самом деле их выбирают люди Босса Бакли и, естественно, судьи — его собственность. Во время официальных обедов и встреч мне приходилось слышать рассказы знающих людей, не причастных к политике, о «судопроизводстве» по гражданским и уголовным делам, когда судьи назначали цену за решение дела в пользу истца или ответчика. Причем рассказывали об этом совершенно спокойно, с бесстрастием хроникера. Все контракты по ремонту дорог, строительству общественных зданий и так далее контролирует Босс Бакли, потому что решения по этим контрактам выносят люди, которых Бакли послал в городской совет. И с каждого такого контракта Босс Бакли взимает процент для себя и своих сторонников.

У республиканцев в Сан-Франциско тоже есть хозяин. Он не столь гениален, как Босс Бакли, но я отказываюсь верить, что он хоть сколько-нибудь добропорядочнее. Просто он располагает меньшим количеством голосов.

1898

Перевод М. ТУГУШЕВОЙ

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС

Из книги «Будущее Америки»

Каста американских богачей выделилась в ходе сложной борьбы равноправных индивидов. Эта индивидуалистическая коммерческая борьба не только обособила, к их собственному и всеобщему удивлению, богатых — с той же слепою силой она калечит и убивает миллионы человеческих душ. Но факт этот не сразу бросается в глаза. Английский путешественник, попадая в большие города, видит, как люди тратят деньги, видит картину всеобщего процветания, ощущает атмосферу гордости и довольства; для того чтобы увидеть оборотную сторону этих явлений, ему придется отклониться от магистралей.

Меня заставил задуматься один небольшой эпизод. Как-то воскресным вечером я ужинал в центре города с мистером Эйбрахамом Кээном; мы говорили об «Ист-Сайде», этом необычном городе в городе со своими драмами, со своей литературой и печатью; мы говорили также о России и ее проблемах, а потом я возвращался домой на метро около двух часов ночи. Напротив меня сидел парнишка лет одиннадцати, с детским лицом, хрупкой фигуркой, в форме рассыльного. От усталости он ссутулился, затем резко распрямился, со вздохом встал с места, вышел из вагона, поднялся наверх и, едва поезд двинулся дальше, затерялся в электрическом зареве Астор-Плейс.

«Почему этот младенец,— подумал я,— не спит дома в такую поздноту?»

Меня лично этот изможденный, маленький бедняга заставил предпринять мучительное расследование. «Сколько часов в день разрешается в Нью-Йорке работать детям? — начал я задавать вопросы окружающим.— И когда им разрешается бросать школу?»

Так выяснилось, что я нащупал самую слабую точку в фасаде национального благополучия Америки. У меня открылись глаза на детей — разносчиков газет, на маленьких чистильщиков сапог, расположившихся на углах улиц. Ночная работа детей — это социальный позор. Я собирал сведения о детской преступности, о ребятишках девяти или десяти лет, страдающих от страшных болезней, о тех, кто в результате оказывался в больницах или тюрьмах. Мне стала открываться еще одна сторона великой теории священного права на собственность и подчинения государства интересам бизнеса, на чем основывается система американских институтов власти. Эта теория не принимает в расчет детей. Да, это теория, которая не принимает в расчет женщин и детей — костяк жизни. Все это частности...

Странно, как мало мы, живущие на заре нового времени, задаемся вопросами об идейной подкладке нашего общественного порядка. Мы обнаруживаем, что в нашей жизни много нерешенных проблем, много жестокости, мы выдвигаем разные предложения, направленные на всяческие исправления и улучшения, но мало кто задумывается о том, какие идеи породили все эти уродливые явления, эти законы, эти обычаи и свободы, которые, в разнообразных своих формах, опутали мир замысловато вытканным узором. Между тем жизнь человеческая основывается на воле, принимающей форму идей, и, лишь корректируя идеи, изменяя идеи и заменяя идеи, можно достичь улучшения и прогресса. Все остальное вторично.

Итак, теория свободы, на которой зиждется либерализм Великобритании, конституция Соединенных Штатов и буржуазная республика Франции, предполагает, что все люди независимы и равны. Подразумевается, что все они достигли зрелости и бессмертия, что они владеют собственностью, а также своими женами и детьми и что все устроены таким образом, дабы обеспечить им возможность пользоваться и наслаждаться своими правами. Несомненно, это лучшая теория по сравнению с теорией божественного права королей, которую она триумфально опрокинула, но в то же время, как сейчас стало ясно, она поразительно далеко разошлась с истиной, и лишь немногие фанатики логического мышления пытаются применять эту теорию вплоть до получения окончательных результатов. Например, эта теория не принимает во внимание тот факт, что более половины взрослых в любой стране — женщины и что мужчины и женщины любой страны, взятые вместе, и вполовину не столь многочисленны и важны для благополучия государства, сколь несовершеннолетние. Эта теория воспринимает жизнь просто как жизнь — тупое и омертвевшее понятие, основанное на эгоизме и самодостаточности наслаждения; она закрывает глаза на тот факт, что жизнь есть отчасти рост, отчасти познание, отчасти смерть, дающая дорогу новой жизни, и в любом случае — служение и жертвенность. Эта теория утверждает, что забота о детях, их образование, а также меры, связанные с решением вопросов занятости и благосостояния женщин и детей, есть частное дело. Поэтому она с необычайным упорством и ожесточением противится обязательному обучению детей и системе фабричного законодательства. Здравый смысл всех трех великих прогрессивных наций, о которых идет речь, сильнее их теории, однако же и поныне серьезные социальные пороки следует объяснять той поразительной ревностностью, с которой государство становится между мужем и его женой, его детьми и иными видами собственности, что являет собою характерную — и не имеющую прецедентов — особенность современного общественного устройства (с самого начала ориентированного на средний класс), подчиненного коммерческим и технократическим интересам, которые довлеют нам всем (и особенно здесь, в Америке).

Я начал с сонного паренька-рассыльного в нью-йоркской подземке. Но еще до того, как разобраться с этим вопросом, я столкнулся с массой любопытных вещей. По-

думать только! В этой богатейшей, величайшей стране из тех, что когда-либо видел земной шар, более 1,7 миллиона детей до пятнадцати лет работают на полях, фабриках, в шахтах и мастерских. А от Роберта Хантера, чье исследование «Нищета» я бы сделал, будь у меня власть, обязательным чтением для каждого преуспевающего взрослого в Соединенных Штатах, я узнал, что «в этой стране не менее восьмидесяти тысяч детей, в основном маленьких девочек, работают на текстильных фабриках. На Юге сейчас работает в шесть раз больше детей, чем двадцать лет назад. В этой части страны доля детского труда ежегодно увеличивается. Каждый год все больше детей перевозят из сельских и горных местностей в индустриальные города с их удушающей атмосферой...».

Итальянцы сознательно ввозят в Америку детей. От Уотчорна, специального представителя городских властей на Эллис-Айленде, я слышал, что процент детей — племянников и племянниц, сыновей приятелей и так далее, ввозимых итальянцами,— особенно высок, и мне довелось быть свидетелем того, как он разбирал и вынес обвинительный приговор по одному подозрительному делу. Речь шла о каком-то особенно неприятном итальянце, опекуне мальчугана с грустными глазами, родственников которого не удалось установить...

В худшие для хлопчатобумажной промышленности Англии времена условия были едва ли хуже, чем сейчас на американском Юге. Пяти-шестилетние дети, крохотные и слабенькие, встают утром и, как взрослые мужчины и женщины, отправляются на фабрику, чтобы выполнить дневное задание; а возвращаясь домой, «они с трудом добираются до кровати, слишком изможденные, чтобы раздеться». Многие дети работают всю ночь — «в оглушительном реве машин, в антисанитарных условиях, где воздух перенасыщен влагой и где клубится хлопковый пух».

«Не скоро забуду я,— продолжает мистер Хантер,— шестилетнего мальчугана с протянутыми вперед руками — он поправлял что-то в машине,— с бледным лицом и худой фигуркой, уже несущей на себе отпечаток тяжкого труда. Этот мальчик, которому шесть лет от роду, работал по двенадцать часов в сутки».

В местечке Фолл-Ривер, штат Массачусетс, преподобный Дж. Ф. Кэри рассказывал нам, как раздетые до пояса мальчишки, свободные американцы, работают на мистера Бордена, нью-йоркского миллионера, укладывая полотно в белильные чаны, и от химикалий их тельца становятся похожими на тела прокаженных...

Впрочем, у нас, англичан, нет никакого права осуждать американцев за такие вещи. История нашего собственного промышленного роста черна от крови замученных и умерщвленных детей. В Америке все еще есть фабричные крепостные. Штат Нью-Джерси посылает сегодня своих нищих детей на Юг, где они попадают в условия уже рабские, но, как пишет Коттл в своих воспоминаниях о Саути и Кольридже, точно таким же отвратительным экспортом занимался в позднегеоргианские времена Бристоль, чтобы насытить манчестерские фабрики. Мы вырвались вперед по части фабричного законодательства, но никакой заслуги государства в том нет — это была компенсация, полученная землевладельцами от промышленников, за реформы и введение свободной торговли кукурузой и продуктами питания. В Америке же промышленники решают свои проблемы сами.

Америка к тому же сталкивается с трудностями, о которых мы и понятия не имеем. В области трудового законодательства главное слово принадлежит властям штата; в каждом штате силам света и прогресса снова и снова приходится бороться за детей и будущее против прибыли, лжи, предрассудков и глупости. Каждый штат ссылается на дурной пример другого штата, и всегда существует опасность, что федеральная власть не станет заниматься разбирательством и уйдет в сторону. При существующих условиях невозможно установить во всей стране единые возрастные ограничения для работы. А когда закон все же принимают, подобное стремление властей вмешаться в дела вызывает всеобщее негодование, и нет никакой возможности применить силу. Например, власти штата Иллинойс, шокированные видом детей, которые на грязных скотобойнях, стоя по колено в крови, очищают кишки и разделывают мясо, недавно приняли закон, устанавливающий минимальный возраст для работы на скотобойнях — шестнадцать лет; но, как рассказывали мне в Чикаго, есть простой и легкий способ обойти этот закон. В Нью-Йорке могли бы продемонстрировать своды правил, согласно которым существование моего заспанного ночного рассыльного незаконно и немыслимо...

Такова низшая ступень лестницы, наверху которой сверкает витринами Пятая авеню... Равным образом эта ситуация являет собою непредвиденный результат ложной теории свободы. Неумное расточительство богатых, архитектурное убожество Ньюпорта, грязь, шум, хаотическое нагромождение доходных домов в центральном и южном Чикаго, здания компании «Стандард ойл» на Бродвее, темные улицы под вознесенными линиями железных дорог в Нью-Йорке, безобразно замусоренные берега Ниагары, а более всего ад детских страданий — все это различные взаимосвязанные аспекты и неизбежные результаты все того же беспорядочного образа жизни. Пусть каждый прокладывает себе путь сам — и вот что выходит в итоге...

Перевод И. АНАСТАСЬЕВА

1906

ДЖОН ГОЛСУОРСИ

Из речи в Колумбийском университете

Я пристально всматриваюсь в Америку, ожидая от нее многого. После войны она станет гораздо

богаче в материальном отношении — более, чем когда-либо прежде; она будет самой значительной и могущественной нацией. Мы, англичане, испытываем законный и до некоторой степени тревожный интерес, к достижению какой цели она направит свои усилия и по какому пути пойдет ее национальное развитие, так как это в очень большой степени повлияет на наш собственный путь. Однако способность нести истинный свет и умение руководить будут зависеть в Америке не столько от материальных богатств или военного могущества, сколько от отношения к самой жизни и от того, какими будут идеалы ее граждан. Американцам в известной мере свойственно стремление к знаниям, им свойственна также при всей их поглощенности успехом, способность мечтать. Они, конечно, желают добра и стремятся к нему, хотя и не всегда знают, в чем оно заключается. Эти качества в сочетании с материальной мощью открывают перед американцами большие возможности. Однако, если Америка не восстанет против бессмысленной жажды развлечений, всем нам предстоит путь по наклонной плоскости. Если она и дальше будет угрожающе кичиться своим превосходством, если станет стремиться к количеству, а не к качеству, нас всех ожидает незавидное будущее. Если она поддастся болезни гордыни, порождаемой тугим кошельком и военным могуществом, а также погоней за успехом, мы все обречены на новый мировой пожар. На наши и ваши плечи ложится тяжкое бремя — доказать, что демократия может быть действенной, и сохранять верность идеалам красоты и здоровья. Как мы распорядимся нашей духовной жизнью, к чему направим мысль человеческую? Что будем почитать, что — презирать? Собираемся ли мы возглавить шествие, руководствуясь духовными ценностями и правдой или только сообразуясь с выгодой и стремлением вооружаться? Англия — старая страна, хотя еще, надеюсь, и полная сил; Америка же стоит на пороге жизни. Выйдет ли она на мировую авансцену как великий предводитель? Над этим Америке стоит тщательно поразмыслить, и не столько в сенате и конгрессе, сколько в домах рядовых ее граждан и в школах. Теперь, когда война кончилась, от вашей страны могут зависеть судьбы цивилизации в будущем столетии. Если она оступится, если она прежде всего не разовьет способность критически относиться к самой себе — с той особенной, суховатой иронией, что была свойственна великому Линкольну,— то вскоре на ее земле расцветет провинциализм с его нетерпимостью, проклятье мира, столь часто уничтожавшее целые народы. Но главное: если Америка не разрешит проблемы жизни в городах, отношений между Трудом и Капиталом, распределения материальных благ, обеспечения народного здоровья и отдастся во власть изобретательства и машинократии,— она ввергнет себя в полосу анархии, расколов и диктаторских режимов, и все мы последуем за нею...

1919

В день столетней годовщины со дня рождения Лоуэлла

Отрывок

Чего мы ищем в тесных пределах нашей жизни, к какой цели устремляем многошумный ход цивилизации? К тому ли, чтобы разбогатеть и получить возможность удовлетворять любой материальный каприз, а такие желания, как правило, возрастают по мере их удовлетворения? К тому ли, чтобы иметь возможность напористо и расчетливо использовать один другого к наибольшей собственной выгоде? А может, для того, чтобы, не вполне понимая, что мы делаем, промчаться на самой высокой скорости по дороге жизни, вслепую растратив свой малый запас энергии? Я не могу поверить в это. Конечно, мы стремимся, хоть и не совсем осознанно, воплотить в действительность наше представление о человеческом счастье, стремимся к далеким целям — всеобщему здоровью, благожелательности, красоте, пытаемся жить так, чтобы качества, которые делают нас людьми,— чувство меры, тяга к прекрасному, милосердие, чувство юмора — всегда бы ставились нами выше свойств, сближающих нас с тигром, устрицей и обезьяной.

Поэтому я хотел бы спросить, что станется со всеми нашими усилиями по преобразованию мира, если мы будем руководствоваться только духом коммерции? Являются ли купля-продажа, материальное преуспеяние и обилие того, что способствует плотскому комфорту, гарантией нашего продвижения к истинной цели? Безусловно, всяческий материальный комфорт — вещь неплохая; сознаюсь, я немало ему обязан. Но для истинного прогресса он весьма ненадежный спутник. Я могу представить себе мир, благополучно освободившийся от всех последствий мировых катаклизмов, поле жизни, отлично вспаханное и удобренное, но все же не взрастившее того хлеба, которым питается дух и который помогает человеку оставаться человеком.

Что же в наших силах предпринять, по какому руслу мы должны направить свое влияние, дабы не утратить надежду? Могу назвать по крайней мере одно средство: надлежащее и достойное использование великого и замечательного орудия — нашего общего языка.

В этом весьма умудренном мире речь есть действие, слова равны поступкам и нет возможности устеречь крылатое слово, как бы мы ни были бдительны. Так превратим же наш язык в орудие Правды, освободим его от лжи и излишеств дурного тона, от извращенных понятий и целенаправленной пальбы междоусобиц, приучим себя к такой трезвости высказываний, устных и печатных, чтобы нам стали доверять и дома, и за границей. Сделаем наш язык

выражением такой честности мыслей и порядочности, чтобы низость, агрессивность, сентиментальность, самовосхищение стали в обеих наших странах чужаками. Велика и пагубна власть лжи, несдержанности выражений, расчетливой апелляции к низменным чувствам или побуждениям. Предадим их остракизму, изгоним их из нашей речи.

В последние годы я часто думаю о том, как иронически должно относиться Провидение к пропаганде национальной исключительности, злопыхательским словесам, километрам псевдопатриотической писанины, которую с чувством исполненного долга производят в каждой стране с целью доказать, что другие страны — низшего порядка. Ведь легчайшего сквознячка во Вселенной достаточно, чтобы эти эфемерные письмена сдуло в ее безвоздушное безмолвие. И они уже блекнут, и вскоре рассыплются в прах. Полагаю, существуют лишь два истинных вида выражения национального самосознания, два способа доказать значительность той или иной страны, которые выдерживают беспощадную проверку Временем. Первый и наиболее важный — неукоснительная прямота и великодушие всех действий страны, ее решимость не использовать к своей выгоде слабость других стран и не допускать тирании на собственной земле.

Второй вид — труд мыслителя и художника, людей, чьи вольные, раскованные сердца отданы служению Правде и Красоте, во всю меру понимания ими этих категорий. Пример именно такого служения оставили нам в наследство — к вящей славе своей страны — древние греки. Благодаря такому служению Марк Аврелий и Плутарх, Данте и Святой Франциск, Сервантес и Спиноза, Монтень и Расин, Чосер и Шекспир, Гёте и Кант, Тургенев и Толстой, Эмерсон и Лоуэлл — и еще тысяча и один великий мастер — возвеличили свои страны в глазах всех живущих и способствовали прогрессу человечества.

Вам, наверное, приходилось наблюдать в повседневной жизни, что, когда мы убеждаем других в своих совершенствах и необыкновенном благородстве наших поступков, мы производим весьма прискорбное впечатление. Если же, напротив, мы имеем случай совершить справедливый или добрый поступок и люди узнают о том стороной, или же нам удается создать прекрасное произведение искусства и люди увидят его, мы вырастаем в их глазах, нас начинают уважать безо всяких хлопот с нашей стороны. То же относится и к государствам. Они могут во всю мочь вещать о своих добродетелях — и бросят слова на ветер. Но пусть их дела будут справедливы, нравы гуманны, речи и произведения их граждан полны здравого смысла, создания их мыслителей, творчество их художников правдивы и прекрасны — и эти государства будут почитать, а мнение их ценить.

1919

Перевод М. ТУГУШЕВОЙ

◆

Культура и современность

ОРУЖИЕМ МЫСЛИ И СЛОВА

Всего каких-нибудь четверть века назад в большинстве стран латиноамериканского континента и карибского региона господствовали военные диктатуры. В начале семидесятых годов лишь в десятке этих стран насчитывались хотя бы условно демократические правительства (исключение, конечно, составляла Куба).

Время неопровержимо доказало, что хунты способны править — но не управлять — государством, способны подавлять — но не подавить — сопротивление народных масс. Стремление к свободе, к демократии изначально заложено в человеке, и оно неуничтожимо. Ценой жертв и лишений оно неизбежно пробивает себе дорогу.

Сегодня на континенте Латинской Америки из крупных диктаторов остались только два — правители Парагвая и Чили. Но здесь все мощнее идет социальное брожение масс. В борьбе за освобождение от ненавистной тирании самое активное участие принимает прогрессивная литература, деятели других областей искусства. Борьба против местных диктаторов означает одновременно и борьбу против империалистических кругов США, стремящихся подавить подлинно национальные, прогрессивные элементы культуры этих стран. В ней империализм видит опасного противника своих неоколониалистских устремлений. И не ошибается — именно демократическая культура аккумулирует идеи, питающие революционную энергию континента.

Парагвай

И низвергнется гром...

В условиях диктатуры демократическая культура становится преступлением, а литературная деятельность на ее ниве и вовсе приравнивается к государственной измене. Грустный парадокс — ведущий парагвайский писатель, один из выдающихся творцов литературы Латинской Америки Аугусто Роа Бастос уже четыре десятилетия живет и работает в изгнании. В одном из номеров издающегося в Мексике прогрессивно-демократического журнала «Куадернос американос» он выступил с большой статьей, в которой поделился своими мыслями о современном этапе общественно-политической жизни Парагвая и тех задачах, которые он ставит перед деятелями культуры.

«Результатом царящей на протяжении более тридцати лет автократии стало внутреннее разложение страны во всех областях: политической, социальной, экономической, культурной,— пишет А. Роа Бастос.— За институциональным фасадом парламента и судебной власти этот деспотический режим правит страной по собственному усмотрению. Весьма показательным представляется закон об осадном положении, действующий на протяжении

уже более тридцати лет. Статья 79 принятой диктатурой конституции санкционирует введение осадного положения в трех случаях: в условиях международной войны, иностранного вторжения или внутренних беспорядков. Ни одного из этих обстоятельств нет в Парагвае. Но страна тем не менее постоянно живет в условиях военного положения. Оно снимается лишь на день церемонии очередного возобновления президентского мандата — приевшегося ритуала стремящейся увековечить себя единоличной власти.

Нет ни войны, ни вторжения, ни беспорядков. Напротив, диктатура бахвалится тем, что ее правление обеспечило наиболее длительный период общественного спокойствия за всю историю страны. Но это — кладбищенское спокойствие...

Страх господствует в Парагвае — коллективный, размытый, безотчетный. Насажденный диктатурой страх укоренился в общественном сознании и поглотил его. Оно само стало воплощением страха. Под давлением этой черной иррациональной силы носители индивидуального и коллективного гражданского сознания на протяжении трех поколений постепенно лишались стремления к борьбе, многие предпочли пойти на сделку с равнодушием и забвением, окружив фигуру диктатора мифическим ореолом патриарха, «героя» и вождя. Известный симптом патологии в обществе, управляемом загнивающей властью».

Парагвай — страна-тюрьма. В условиях непрерывно действующего осадного положения малейшее проявление недовольства фашиствующим режимом карается смертью. Треть граждан страны живет сейчас в иммиграции. Каждый десятый парагваец познал ужас тюрем, пережил пытки и издевательства властей.

В «заповеднике диктаторов» даже на улицах столицы царят тюремные порядки. В ходе одной профилактической облавы группа ни в чем не обвиняемых людей была арестована в «воспитательных целях». Их раздели догола и поставили на колени перед белой стеной дома. На протяжении девяти часов их заставляли неотрывно глядеть на нее. Малейшая попытка пошевелиться или хоть на мгновение прикрыть слезящиеся от нестерпимой рези глаза каралась жестоким избиением...

Диктатура Стресснера растоптала парагвайское общество, превратила его интеллектуальную почву в иссушенную, выжженную равнину. Местами сквозь ее потрескавшуюся корку пробиваются смелые побеги протеста. Но они слишком разрозненны и слабы, чтобы выжить. Зерна гнева и бунта безусловно живы. Но репрессиями и страхом они втоптаны настолько глубоко, что самостоятельно взойти уже не в силах. Им нужна помощь, но откуда ее ждать?

«Решающую роль в восстановлении в Парагвае государства плюралистической демократии должна сыграть культура»,— утверждает А. Роа Бастос. Страх в принципе есть эмоциональная реакция, возникающая в условиях дефицита реакции интеллектуальной. Человек боится прежде всего того, что не в состоянии понять, осмыслить.

Вспомним Гаити. Семейная диктатура Дювалье в огромной степени держалась на невежестве широких, если не сказать широчайших, масс населения, на обусловленной им повальной склонности к религиозному мистицизму. «Папа-Док» вполне целеустремленно добивался сходства с популярным представлением об облике «барона Субботы», стоящем на вершине пирамиды вудуистских кошмаров. До поры до времени безнаказанно спекулировал на свойственном неграмотным людям безотчетном ужасе перед загробным миром и Дювалье-отпрыск.

Сущность механизма удержания власти, его центральный элемент — страх — общий и для Гаити, и для Парагвая. Более того, он типичен для любой диктатуры. Достаточно вспомнить нацистскую Германию или Кампучию Пол Пота. Но вот формы его насаждения весьма различны. Стресснер обошелся безо всякой мистики, он предпочел путь чистого фашизма, выбрав из всего богатого арсенала страха самую простую, но весьма действенную его разновидность — страх перед вероятностью физического уничтожения — походя, «в рабочем порядке», между делом.

Итак, культура как оружие против диктатуры. По сути своей этот тезис не нов. Он представляет собой интерпретацию, переосмысление, перевод в противоположное измерение известной мысли о том, что наиболее благоприятной почвой для зарождения тираничесих, авторитарных режимов служит отсталость. И лишь путем ее увековечения они способны сохранить власть. До лаконичности математической формулы эта максима была доведена уже Д. И. Писаревым в памфлете «Пчелы»: «Темнота совершенно необходима для поддержания существующего порядка».

Но в наш просвещенный век диктаторам стоит немалых усилий держать окна своих вотчин плотно зашторенными. На помощь себе они тоже призывают... культуру, но

только ту, что метко прозвана «быстрорастворимой». Ее «шедевры»—«Звездные войны» и «Рэмбо», бесконечные сериалы о бравых полицейских и слезливые мелодрамы, потрясающие убожеством и примитивностью мысли литературные поделки и глянцевый отблеск пестрых журнальных страниц, повествующих об авантюрах и амурах светских львов и львиц. Она действительно чрезвычайно легко растворяется в сознании. И вроде бы без осадка. Но это — ложное впечатление. Герои «быстрорастворимой» культуры говорят человеку, кто он есть — они дают ему личность; они говорят, кем он хочет стать, они дают ему желания, они учат его действовать; они дают ему иллюзию жизни, в то время как он лишь существует.

Наркотизирующие глотки «быстрорастворимой» культуры толкают людей к непомерно раздутому потреблению благ и услуг, индивидуализму, социальному конформизму, насилию и расизму. Вот страшный осадок, исподволь разрушающий человеческую психику.

Такая культура лишь увековечивает тиранию. Нет, не об этой культуре мечтает Роа Бастос, говоря о ней как о карающей деснице разума.

«Обреченные на внутреннюю ссылку в стране-колонии, на жизнь под дамокловым мечом преследований,— пишет он,— или разбросанные по миру в добровольной или вынужденной ссылке, парагвайские деятели культуры пусть с опозданием, но все же в конце концов осознали, что произведения искусства и в целом плоды интеллекта ценны постольку, поскольку являются зеркалом лучей, испускаемых источником социальной энергии — жизнью. Повесть, картина, музыкальное произведение, научное открытие не могут быть нейтральными. Они порождаются общественной потребностью, глубинными устремлениями масс и служат для преобразования объективной реальности нашего мира. Этого требует непрерывно меняющаяся сущность человека. Таков смысл слова «культура» и таков созидательный смысл творчества — его зачатие и рождение посвящено жизни, то есть обеспечению для человека возможности занять достойное место в свободном обществе. Культуры, прославляющей смерть, не существует. Ее чудовищный цветок раскрывается лишь в мрачные эпохи террора, эпохи безнаказанного насилия над обесцененной жизнью, и испускает смрад, рождающий страшные образы мира тюрем и концлагерей, мира смерти и мучений.

Деятели парагвайской культуры раздеряют — как и в некоторых других странах Латинской Америки — трагическую участь истерзанной родины. Их творчество отражает эту реальность. Тем, кто остался заложником внутри страны и сохранил условную свободу, и тем, кому пришлось бежать или кто был вышвырнут прочь, необходимо объединить усилия и превратить пронизывающий сквозняк тирании в жизнетворный воздух преодоления. Они должны помочь нации осознать, что люди не грызущиеся между собой хищники, а разумные существа, способные понять друг друга и жить в условиях свободы, достоинства и взаимного уважения».

Такое понимание культуры не пустая фраза и не надуманная поза. В нем — жизненная позиция А. Роа Бастоса, его литературное кредо. Его произведения являют собой яркий образец той воинствующей, сражающейся культуры, которую он так страстно проповедует, культуры, заставляющей людей задуматься над социальным устройством окружающего мира, объясняющей им его законы и указывающей путь к его изменению. Писатель не ограничивается лозунгами — он подкрепляет их своим творчеством, примером своей жизни наконец. Их бесспорная истинность выстрадана писателем, и потому слово его столь же конкретно, как и дело.

Роа Бастос работает за пределами своей родины. Но он полностью в курсе происходящих в Парагвае событий. Тысячами ручейков стекается к нему информация. Во французский город Тулузу, где последние годы живет писатель, едут его соотечественники, идут письма. По крупицам, по крохам собираемые им факты и образуют неповторимую, впечатляющую мозаику его литературных полотен.

Наиболее известные произведения А. Роа Бастоса — романы «Сын человеческий» и «Я, Верховный»— могут быть отнесены к разряду исторических. Эпоха, в которой разворачивается их действие, удалена от нас в одном случае на полвека, в другом — и вовсе на полтора столетия. И тем не менее они удивительно, непостижимо современны.

«Разлука с родиной внушила мне тему моих романов, которая мучила меня долгие годы, пока я размышлял о моей земле и ее проблемах,— говорит писатель.— Всякий раз, как я стремился восстановить в памяти и воссоздать обобщенный образ моей страны, я сталкивался с ней, с этой во-

лей к сопротивлению, к тому, чтобы выстоять наперекор судьбе и вопреки всем несчастьям и превратностям, на которые так щедра наша история».

В романе «Сын человеческий» значительное место уделено трагическим эпизодам войны между Парагваем и Боливией за нефтеносные районы Чако. А. Роа Бастос выступает с гневным разоблачением циничной политики империалистических монополий, стравивших соседние страны. События тех лет стали важным этапом в жизни писателя. Он не просто наблюдал их, но был непосредственным участником той войны. И отчасти поэтому вышедшее из-под его пера повествование столь остро, столь беспощадно правдиво.

Стремление осмыслить свое отношение к родной земле, разобраться в истинном содержании господствующей идеологии, претендующей на отождествление узкокорыстных интересов кучки политиков с интересами страны,— чрезвычайно актуальная тема в современной общественно-политической жизни Парагвая. Постепенное вовлечение в нее все более широких слоев населения — не только и не столько политиков, сколько пробуждающихся народных масс,— неумолимо толкает людей к «крамольной» мысли об ошибочности слитного восприятия понятий «родина» и «правительство диктаторов».

«Мне было всего тринадцать лет, когда я убежал из школы и добровольцем попал в Чако,— рассказывает А. Роа Бастос в интервью испанскому журналу «Камбио-16».— Дело вовсе не в том, что мне не хотелось учиться. Война поначалу мне казалась очищением. Я служил санитаром, ухаживал за боливийскими пленными и сторожил их. Именно в этот момент начало формироваться мое политическое мировоззрение. Пленные говорили, что готовы отдать жизнь за родину. Наши солдаты утверждали то же самое. И я задался вопросом: что же это такое — патриотизм? Это и определило мой интерес к изучению политической обстановки в Парагвае. И одновременно убедило в необходимости любой ценой сохранять независимость своих политических взглядов. В результате в настоящее время возвращение в Парагвай категорически запрещено трем лицам — двум политическим деятелям и мне. Меня обвиняют в пропаганде политических идей, почерпнутых во время двух поездок на Кубу. Однако в действительности я ни разу не был на Кубе, совершенно с ней незнаком. И не принадлежу и никогда не принадлежал ни к одной политической партии».

Творчество Роа Бастоса глубоко национально по своему характеру. Он принадлежит к индейцам «гуарани»— основному ядру парагвайской нации и всемерно отстаивает национальную культуру, стремится оградить ее от попыток диктатора и его приспешников задушить ее.

«Двуязычная (испанская и гуарани.— А. К.) природа парагвайской культуры требует постановки вопроса о взаимодействии обоих ее основных течений. Прежде всего необходимо сломать традицию, когда один язык представляется языком просвещения и власти, в то время как другой сохраняется лишь как средство устного общения,— подчеркивает Роа Бастос в журнале «Куадернос американос».— Необходимо сохранить и защитить индейские культуры, выжившие вопреки систематической кампании геноцида, направленной против их носителей. Жизнь, язык и обычаи индейцев должны быть сохранены и взяты под охрану. Следует отвергнуть варварские попытки любой ценой интегрировать индейские племена в общественную структуру, неизбежно превращающую их в париев общества».

В первом прозаическом сборнике А. Роа Бастоса, изданном в 1953 году под названием «Гром в листве», есть прекрасная аллегория, афористичная и одновременно очень емкая, описывающая круговорот насилия в природе и обществе: «Гром низвергается и остается среди листьев, звери пожирают листья и свирепеют, люди пожирают зверей и свирепеют, земля пожирает людей и начинает рычать словно гром».

Своим творчеством, своей жизненной позицией писатель воспламеняет души соотечественников горячей верой в будущее: настанет час, и низвергнется гром, разящий тирана и несущий людям очищение от страха и ярости.

Чили

«Венсеремос!» — «Мы победим!»

Чилийская антидиктаторская журналистика жива. Вопреки репрессиям. Вопреки цензуре. На протяжении тринадцати лет средства массовой информации Чили функционируют в условиях то осадного, то чрезвычайного положения. Подвергаются

экономическому шантажу и драконовской цензуре, жестоко карающей за малейшее проявление объективности. И все же...

О поразительном факте рассказал на страницах издающегося в Мексике журнала «Куадернос дель терсер мундо» сотрудник Латиноамериканского института транснациональных исследований Хорхе Андрес Ричардс.

«После того как по идеологическим мотивам хунта закрыла ряд газет и журналов,— пишет Ричардс,— сотрудники запрещенных изданий решили объединиться, чтобы организовать выпуск ежедневного бюллетеня «Письмо журналистов», содержащего новости, скрываемые официальной цензурой».

Прогрессивные журналисты во все времена представляли крупную проблему для диктаторских режимов. Генерал Пиночет правильно и, к сожалению, своевременно оценил потенциальную угрозу своему правлению, исходившую от их деятельности. Но посчитал, что чем журналистов расстреливать, полезнее — и, что немаловажно, «демократичнее»— их купить. Сложившаяся в Чили система средств массовой информации создавала для этого самые благоприятные условия.

«В современной Чили для выявления групп, контролирующих различные СМИ (средства массовой информации), необходимо проникнуть в структуру экономической власти, тесно связанную с международным капиталом. Монополистическая сеть СМИ скалькирована с монополистической сети в области банковского дела, торговли, сельского хозяйства, промышленности»,—

справедливо замечает исследователь коммуникационных проблем Каролина Кортес в своей работе «Стратегия массовой коммуникации в Чили». Этот доклад был подготовлен ею несколько лет назад для выступления на одной из научных конференций Международной ассоциации исследователей проблем массовой коммуникации. Около ста его экземпляров было распространено среди участников конференции, но более широкой огласки он так и не получил. Слишком острым было его содержание.

Журналы «Эрсилья», «Веа» и сеть радиостанций «Минериа» контролируются капиталом финансово-промышленной группы Крусата Ларраина. Корпорации «Радиоэмисорас унидас» и «Радиодифусора латиноамерикана», так же как мощная радиостанция «Порталес» в Вальпараисо, принадлежат группе Х. Виаля Кастильо.

Столичная газета «Терсера де ла ора», имеющая наибольший тираж среди чилийских периодических изданий, входит в финансовую группу Пико Каньяса.

Наконец, крупнейшим монополистом в области средств массовой информации является чилийский финансист Агустин Эдвардс. В докладе сенатской комиссии Черча документально зафиксировано признание бывшего президента США Дж. Форда о том, что именно этот финансист являлся основным посредником между ЦРУ и путчистскими элементами в чилийских вооруженных силах в период подготовки военного переворота 1973 года.

Группа Эдвардса включает издательство «Лорд Кокрейн», корпорацию «Эль Меркурио» (газеты «Эль Меркурио», «Эль Меркурио де Сантьяго», «Ультимас нотисиас», «Ла Сегунда»), корпорацию «Чилийское общество публикаций» (газеты «Эль Меркурио де Вальпараисо», «Эстрелья де Вальпараисо»), корпорацию «Северное журналистское общество» (газеты «Эль Меркурио де Антофагаста», «Эстрелья дель Норте», «Эль Меркурио де Калама», «Эстрелья де Икике», «Пренса де Токопилья»).

Эти органы печати тесно привязаны к поддерживаемому хунтой крупному капиталу и потому не доставляют ей особых забот.

Не следует выпускать из поля зрения и такой нюанс. Все крупные финансово-промышленные группы, о которых идет речь, самым тесным образом сотрудничают с международным, прежде всего американским, капиталом. Стратегия и тактика использования находящихся под их финансовым контролем СМИ вырабатывается при непосредственном участии американских экспертов, тщательно следящих за тем, чтобы влияние печати и радио использовалось с максимальной выгодой для интересов США.

Основные усилия в области идеологии военно-фашистская хунта направляет на разнузданную пропаганду антикоммунизма и так называемую «семантизацию» диктатуры: путем навязывания устойчивых стереотипов, искажающих модель внутриполитической ситуации, предпринимается попытка создать выгодное для правящего режима общественное мнение как внутри страны, так и за ее пределами.

«Контроль над СМИ,— говорится в изданном в начале 80-х годов манифесте Коммунистической партии Чили,— одно из главных орудий, которое прибрала к своим рукам тирания. Огнестрельное оружие,

повязка на глаза и кляп — вот средства, которые используют тираны. Группа газет, издаваемых концерном «Эль Меркурио», за эти годы превратилась в рупор фашизма. Телевидение стало средством дезинформации, оно всячески ограничивает сферу человеческих устремлений.

Во всех средствах информации господствует ложь, презрение к народу, антикоммунизм, антисоветизм, практикуются нападки на демократию и защита самых гнусных преступлений, проповедуется культ грубой силы; пропагандируется охота за людьми и милитаристское бряцание оружием; предпринимаются попытки изменить сознание и привычки людей путем раздувания потребительских настроений».

Однако наряду с «традиционными» СМИ в Чили продолжает существовать ряд относительно независимых изданий, придерживающихся демократических позиций. Их распускают, закрывают, но они появляются вновь и вновь. В других городах, под другими названиями — но с неизменной антидиктаторской направленностью. «Сигло», «Ультима ора», «Кларин», «Пренса», «Пунто финаль», «Энфоке», «Каусе», «Аналисис», «Плума и пинсель»— вот далеко не полный перечень репрессированных изданий.

Причем в каждом случае хунта наносила удар после тщательной подготовки. Предлогом для закрытия изданий редко служила их идеологическая ориентация. Стремясь сохранить «демократическое лицо», режим Пиночета, как правило, использовал им же организованные провокации, в результате которых журналистам предъявлялись стандартные обвинения в нарушении закона о национальной безопасности. Но даже потерпев тяжелое поражение, неся в борьбе с диктатурой большие потери, их сотрудники не сдаются. «Письмо журналистов»— прекрасное тому подтверждение.

Для его издания под эгидой столичного отделения Союза журналистов Чили объединились более 70 человек. Они были сторонниками различных идеологических течений. Но в одном, на данном этапе главном, они оказались единомышленниками — в стремлении продолжать борьбу с ненавистной диктатурой.

«Следует особо отметить солидарность чилийских журналистов, работающих в закрытых правительством изданиях. С самого дня введения насильственных мер началась координация усилий как в чисто творческой, так и административной областях.

Эти журналисты придерживаются различных идейных убеждений — от христианско-демократических до левых. Но в сложившихся условиях совместная борьба на практике показала возможность достижения договоренностей и выявления общих целей в защите такого основополагающего права, как свобода слова».

Сегодня уже не будет преувеличением назвать группировку, объединившуюся для издания бюллетеня «Письмо журналистов», движением протеста. Правда, теоретической программы своей деятельности она пока не выработала. Но в конце концов журналисты — прежде всего практики. В современной внутриполитической обстановке в Чили исключительно важно не только теоретически обосновывать протест, но и на деле выступать с осуждением правящего режима. Вместе с тем авторы этого издания не уходят от осмысления своей практической деятельности.

«Начав выпуск ежедневного четырехполосного бюллетеня,— пишет Ричардс,— они объявили о своих целях: разорвать информационные путы, навязанные правительством; выполнить свой этический, профессиональный и моральный долг, заключающийся в информировании чилийского народа; выступать в рамках кампании гражданского неповиновения, бросая вызов декрету об осадном положении и стремясь приблизить восстановление демократии; поддержать совместную, единую и общую борьбу журналистов, пострадавших от введения осадного положения».

Тираж «Письма журналистов» невелик — около 250 экземпляров, распространяемых в основном в иностранных посольствах, среди зарубежных журналистов, аккредитованных в Чили, в церковных и студенческих кругах и организациях.

Но многие из этих экземпляров тайно размножаются на копировальных установках и распространяются среди более широких слоев населения. Хорхе Андрес Ричардс особо подчеркивает:

«Рост популярности бюллетеня «Письмо журналистов» привел к тому, что многочисленные читатели приходят в его редакцию, чтобы рассказать о различных событиях, замалчиваемых официальной печатью. Тем самым устанавливается обратная связь между журналистами и читателями».

В связи с массами, в доверии народа заключается животворная сила, поддержи-

вающая объединение демократически настроенных журналистов. Поэтому хунте, даже с помощью самых изощренных репрессивных методов, не удается выкорчевать из профессионального сознания чилийских журналистов глубоко укоренившуюся в нем тягу к свободе и демократии.

А. КУВШИННИКОВ

ДЛЯ КОГО ОНА, ИНДОНЕЗИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА?

В июле этого года исполнилось 20 лет ежемесячнику «Хорисон»— единственному литературно-критическому журналу на индонезийском языке. Поколение, поднявшееся за это двадцатилетие в Индонезии, хорошо если понаслышке знает об «Отце индонейзийской революции» Сукарно[1] и об унесшем сотни тысяч жизней политическом катаклизме, который завершился в 1966 году установлением так называемого Нового порядка. С тех пор молчание стало уделом большинства радикальных литераторов, вернувшихся наконец домой под надзор полиции после многолетнего заключения в исправительных лагерях на острове Буру. Не сдает позиций лишь крупнейший индонезийский прозаик Прамудья Ананта Тур, выпустивший в сентябре прошлого года роман «Путь»— третью книгу тетралогии, созданной на острове Буру, и это после того, как первые два романа были запрещены, а несколько сот их экземпляров в 1984 году по распоряжению властей были преданы огню[2].

Тем более примечательно, что на страницах «Хорисона», основанного после падения Сукарно либералами-западниками, как раз накануне юбилея журнала были подняты проблемы, находившиеся в центре внимания запрещенной в 1965 году (одновременно с компартией) Лиги народной культуры (ЛЕКРА) — яростной поборницы литературы и искусства, нацеленных на служение массам.

Начало дискуссии положила статья известного критика Арифа Будимана «Лицом к действительности, или Контекстуальная литература», опубликованная в первом номере журнала за 1985 год.

Вводя понятие «контекстуальная», критик особо подчеркивает мысль о том, что литература возникает в конкретном социальном контексте. Основная же идея его статьи — показать, что индонезийские литераторы фактически забыли о том, для кого они пишут.

Предлагая ориентироваться на категорию значимости в глазах читателя как на критерий ценности литературного произведения, Ариф указывает на особенности стратификации индонезийского общества.

«В своем отношении к жизни,— пишет он,— современные яванские крестьяне[2a] обладают более или менее общей системой ценностей. Это можно сказать и о представителях прочих социальных групп».

Игнорируя существующую общественную структуру, большинство индонезийских писателей, по его мнению, исходят из того, что в принципе их произведения призваны обладать универсальной значимостью, а коль скоро им не удается обрести признание ни у себя на родине, ни на Западе, остается объяснять это либо неразвитостью читателей (здесь имеются в виду обычно индонезийцы) или же низким уровнем самих произведений, не получающих отклика у западных ценителей.

«Мегаломания в сочетании с комплексом неполноценности присуща сегодня почти всем индонезийским писателям,— пишет Ариф Будиман.— Между тем современная индонезийская литература просто потеряла почву под ногами. Нынешние писатели забыли о том, что они не более чем представители живущего в городах среднего сословия нашего народа. Их произведения находят спрос среди образованных горожан, на которых — сознательно или бессознательно — они и ориентируются в своем творчестве...

Для того чтобы привлечь к себе внимание крестьян, писателям необходимо с головой окунуться в деревенскую жизнь и поста-

[1] Сукарно (1901—1970) — первый президент Республики Индонезии, находившийся на посту с 1945 по 1966 год.

[2] В мае 1986 г. был запрещен и этот роман.

[2a] Здесь и далее следует иметь в виду, что крупнейший, приближающийся к 70 миллионам, этнос Индонезии — яванцы,— подобно другим народам страны, говорят на своем языке, государственному же индонезийскому языку учатся в школе и прибегают к нему, общаясь с представителями иных народов Индонезии.

раться понять, чем живет крестьянство. В свою очередь жителю деревни, для того чтобы оценить литературу городского среднего сословия, нужно образоваться и войти в среднее сословие».

Ариф Будиман говорит далее в своей статье об опасности «эстетической диктатуры» нынешнего среднего сословия, являющегося в настоящее время монопольным потребителем литературы:

«Если мы не будем достаточно критичны и бдительны, то невольно уверуем в то, что литературные ценности среднего сословия суть не что иное, как универсальные литературные ценности».

Ариф завершает свою статью призывом развивать «контекстуальную литературу», то есть литературу, ориентированную на совершенно конкретные в социальном отношении читательские круги. Это позволит, по его убеждению, индонезийским писателям освободиться от присущих им комплексов и ощутить как свои возможности, так и их пределы.

«Только таким образом,— пишет он,— мы сможем сделать следующий шаг в своем развитии, поскольку идти вперед можно, лишь ступая ногами по земле, а не витая в облаках».

Статья Арифа Будимана вызвала негодование некоторых индонезийских литераторов. Так, законодатель современной индонезийской поэзии Сутарджи Калзум Бахри объявил, что нынешние поэты Индонезии не только не зависят ни в чем от мировой культуры, но, напротив, призваны обогатить ее своими стихами; что же касается автора статьи, то он попросту грезит наяву и видит себя еще в 50-х годах, когда ориентация на Запад была в порядке вещей, тогда как в наше время она «контекстуальна» разве что для самого Арифа Будимана. Видный поэт Абдул Хади в свою очередь выражает уверенность, что Ариф перекладывает с больной головы на здоровую, и, торопясь доказать сугубо восточную ориентацию своего поколения, перечисляет 15 отлично известных ему арабских, персидских и индийских поэтов.

Совсем в другом духе откликнулся на статью Арифа известный прозаик Умар Каям. На его отклике стоит остановиться подробнее.

Социолог по образованию, Умар Каям, поздравив Арифа с тем оживлением, которое

«произвела его пламенная риторика в оцепеневшем царстве индонезийской литературы»,

сразу же обращается к существу проблем, поднятых критиком. И прежде всего он возражает против якобы «вкусовой однородности» яванского крестьянства, которое переживает сегодня период социальной и культурной ломки, все в большей степени втягиваясь в процесс становления индонезийской нации.

Каждый крестьянин по-своему отвечает на вызов, брошенный ему современной цивилизацией, по-своему реагирует на ее «соблазны». Переживаемая крестьянством ценностная переориентация характерна и для других социальных групп полиэтнического населения Индонезии.

Сходясь с Арифом Будиманом в том, что концепция литературы, присущая «среднему сословию», оказала сильное влияние на становление современной индонезийской литературы, его оппонент полагает, что западные и иные, непривычные для прежних индонезийцев понятия, проникая в индонезийскую действительность, а затем и в литературу,

«обеспечивают диалог между различными системами ценностей, ведущийся на индонезийском языке, который еще только формируется в качестве литературного языка».

Умар Каям готов согласиться с мыслью о неизбежности признания «литературной диктатуры» «среднего сословия»— при условии, если рассматривать ее в перспективе развития современной городской культуры как «лидера» будущей единой и индустриализованной Индонезии. Он предостерегает, однако, против абсолютизации тех норм, которые навязывает индонезийцам их «среднее сословие».

«Диктатура его, прямо скажем, довольно вялая,— пишет он,— более того, порой она не очень-то и серьезна... Когда индонезийский критик изрекает: «Наши романисты должны равняться на таких мастеров, как Кавабата!»— вы полагаете, что он говорит это серьезно? А если другой критик заявляет: «Мы должны писать так, чтобы Нобелевская премия была у нас в кармане!»— не думайте, что он страдает мегаломанией. Скорее всего он просто сотрясает воздух. Зато найдете ли вы хотя бы одного литератора-яванца, который осмелился бы сказать: «Подумаешь — мачапат[3], это всего лишь деревенское «псевдоискусство»!»

Обращаясь затем к наиболее ярким произведениям новейшей индонезийской прозы Линуса Сурьяди, Эмха Айнун Наджиба,

[3] Система яванского народного стихосложения, где каждой стихотворной форме соответствует определенная мелодия.

Й. Б. Мангунвиджойо и некоторых других писателей (яванцев и неяванцев), Умар Каям приводит примеры их многогранных связей с действительностью, равно как и разноречивых читательских откликов на эти произведения.

Если вслед за Арифом Будиманом отнести эти книги лишь к литературе среднего сословия, то придется признать, что любые другие варианты «контекстуальной литературы», ориентированной на крестьян, рабочих, рыбаков и т. д., попросту утопичны. Что же касается яванской деревни, то единственный, кто готов воспринять здесь всерьез литературу на индонезийском языке,— это сельская интеллигенция, то есть та самая социальная группа, от имени которой и выступают современные писатели-яванцы, пишущие по-индонезийски и объективно выполняющие роль посредников между городом и деревней.

«Они все еще тесно связаны с деревенской жизнью,— поясняет Умар Каям,— готовы за полночь смотреть представления ваянг кулит[4] и заслушиваться мачапатом. . И все же они оставили деревню. Ради чего? Ради городской культуры, ради индонезийской культуры. Поэтому они и описывают проблемы своего народа, исходя из запросов индонезийской и городской культуры. Их произведения, возможно, будут малопонятны их бывшим односельчанам. Но говорить об их западной ориентации?... По-моему, об этом не может быть и речи!»

Противопоставление «универсальной» и «контекстуальной» литературы Умар Каям по существу снимает в своей статье как мнимое. Однако это не столь уж противоречит взглядам самого Арифа Будимана, что он и отмечает в своем ответе Умару. Отдав должное своему оппоненту, метко охарактеризовавшему посредническую роль родившихся в деревне литераторов, Ариф упорно отказывает им в праве выступать от имени «большинства индонезийской нации», поскольку, несмотря на свое происхождение, они представляют сегодня лишь образованное и усвоившее западный взгляд на вещи городское меньшинство («что само по себе не является грехом»). В заключение он призывает, учитывая социальную обусловленность литературы, заняться ее изучением в связи с общественной жизнью.

[4] Яванский кукольно-теневой театр плоских кожаных кукол.

Целесообразность подобных исследований так же очевидна, как и некоторая узость взглядов Арифа Будимана, недооценивающего, думается, усиливающиеся общие тенденции мирового литературного процесса, равно как и возможность выхода писателя за рамки «своей» социальной среды. При всем том он, без сомнения, нащупал «болевую точку» индонезийской литературы, подобно многим афро-азиатским литературам с большим трудом обретающей читателей за пределами сравнительно узкого круга местной интеллигенции. Сложности роста индонезийской литературы, о которых резонно пишет Умар Каям, усугубляются еще и тем, что язык ее — индонезийский — неродной для большинства обитателей этой огромной страны. Участники дискуссии обращаются к традиционной проблеме взаимоотношения литературы и ее социума, которая категорично и однозначно решалась в свое время идеологами ЛЕКРА. В этой связи напомним высказывание М. Бахтина, писавшего в 1970 году:

«Литература — неотрывная часть культуры, ее нельзя понять вне целостного контекста всей культуры данной эпохи. Ее недопустимо отрывать от остальной культуры и, как это часто делается, непосредственно, так сказать, через голову культуры соотносить с социально-экономическими факторами. Эти факторы воздействуют на культуру в ее целом и только через нее и вместе с нею на литературу»[5].

Кризис индонезийской культуры первой половины 60-х годов, всполохи «культурной революции», бушевавшей в Китае, определили и характер тогдашних литературных кампаний, в ходе которых местные «западники» автоматически оказывались «пособниками «Неоколима[6]» со всеми вытекающими отсюда последствиями. И можно только порадоваться, что Арифу Будиману и Умару Каяму удалось вернуться к по-прежнему актуальным проблемам индонезийской литературы, не утратив в пылу полемики ни способности слышать друг друга, ни уважения к точке зрения оппонента.

Б. ПАРНИКЕЛЬ

[5] М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., «Искусство», 1979, с. 329.

[6] Акроним «Неоколим» (неоколониализм+империализм) — одно из тех «персонифицированных» идеологических клише, которые вырастали как грибы в эпоху Сукарно.

Антирубрика

ВИОРЕЛ КАКОВЯНУ

РАССКАЗЫ

Перевод с румынского М. ФРИДМАНА

Разрешение на танго

Эта весть довольно медленно распространялась по УДРОМАРу. Пусть читатель не подумает, что УДРОМАР — название какого-нибудь бронтозавра или другого доисторического животного. Это всего лишь сокращенное обозначение Управления дорожно-ремонтными и оползневыми мастерскими в районе. Аглая выходит замуж! Новость и впрямь никого не взволновала, и казалось, все пойдет своим чередом. Но за три дня до свадьбы бомба взорвалась. Спыну, доверенный человек директора, близко принимавший к сердцу все дела управления, узнал вдруг, кто она, эта самая Аглая. И тут же влетел в кабинет начальника, взъерошенный, даже слегка испуганный.

— Товарищ директор, Петришор выходит замуж. Слыхали?

— Нет. Кто это — Петришор?

— Да Аглая Из планового отдела.

— Ну и на здоровье.

— И это все?

— Ну, выложим каждый — я имею в виду руководство — по десять лей и купим цветы.

— Но, товарищ директор, это же наш сотрудник, надежный товарищ.

— А разве другим мы собирали больше?

— Нет, то есть вообще нет, но...

— Но что?.. Ближе к делу, Спыну.

— Пе-три-шор. Эта фамилия...

— Что в ней особенного?

— Она ничего вам не говорит?

— Ничего. А тебе?

— А товарища Петришора из уездного комитета знаете?

— Неужто родственники?

Вздрогнув, директор отрывает взгляд от бумаг, которые подписывал, и с отвращением отодвигает их.

— А почему бы и нет?

— Ты прав. Вполне возможно. Из-за этой кутерьмы с бумагами я как-то не подумал. Что же ты предлагаешь?

— Обдумать вопрос.

— Верно. Десять лей — это же смешно... Черт побери! Есть же у нас совесть.

— Надо сначала проверить, родственники они или нет.

— Непременно. К завтрашнему дню ты должен любой ценой узнать правду. Не будем торопиться, спешить, товарищ Спыну. Тут затронуты интересы управления. Ясно, мой мальчик?

Но Фэнел Спыну не успевает ответить. Раздается стук, и в дверях показывается встревоженное лицо товарища Нестора, предместкома.

— Срочное дело? — коротко спрашивает директор, нервно шагая по кабинету.

— Очень.

— Входи.

— Товарищ Аглая выходит замуж...

— Мы уже знаем. О том и говорим. Что тебе известно?

— А что мне должно быть известно?

— Она родственница...

— Да.

— Точно?

ВИОРЕЛ КАКОВЯНУ — **VIOREL CACOVEANU** (род. в 1937 г.). Румынский прозаик и драматург. Автор романов «Мертвые не лгут» ("Morții nu mint niciodată", 1975), «Наедине со смертью» ("Cu moartea între patru ochi", 1977) и др., сборника новелл «Одиночество красивой женщины» ("Singurătatea unei femei frumoase", 1979). Публикуемые рассказы взяты из сборника «Разрешение на танго» ("Aprobare pentru un tango". Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982).

— Абсолютно.

— Как бы то ни было, об этом подумать надо.

— Когда думать? Время-то не ждет... Кладем по полсотни. Все руководство. Что покупаем?

— Кофейный сервиз,— предлагает Нестор.

— Слишком банально,— возражает директор.

— Паркеровскую ручку с золотым пером,— предлагает Спыну.

— Больно дорого... Эко хватил. В конце концов, товарищ Аглая не наша родственница.

— Ручку пусть покупает ей двоюродный брат, словом, родственничек... А вы найдите китайскую вазу, она стоит с полтыщи. Самый подходящий подарок.

— Вот и хорошо,— соглашается Спыну, готовый начать сбор денег.

Директор прикуривает, нажимает кнопку. Входит секретарша.

— Товарищ Мария, случайно не знаешь... Аглая из планового отдела действительно родственница...?

— Действительно, товарищ директор.

— Откуда тебе это известно?

— Все об этом говорят.

— А какая она родственница?

— Племянница. Дочь брата...

Все трое потрясены. Секретарша, сообразив, что сообщила неприятную весть, удаляется. Директор, как человек, отвечающий за бесперебойный ход работы управления, отягощенный бременем решения трудных, глобальных вопросов, обескуражен.

— Теперь что скажете? — спрашивает он, гася папиросу.— Племянница. Разве я не должен был об этом знать?

— Даем по сотне,— говорит Нестор таким тоном, словно собирает на похороны.

— Согласен. И покупаем ручку...

— А ты пойди к ней, расспроси, что бы ей хотелось, какой подарок. Что ты уставился, Фэнел, на лбу у меня ничего не написано. Помогите же мне. Все тут сложнее, чем мы думаем...— Директор задыхается, нервничает, он никак не придумает выход из этой щекотливой истории.

— Вспомнил,— спохватывается Фэнел.— Она мечтала о калькуляторе.

— Слава богу, что не о компьютере,— глухо стонет директор.

— А сколько он стоит? — шепотом осведомляется Нестор.

Гробовое молчание нарушено приходом секретарши. Лицо у нее на этот раз спокойное, ясное.

— Что у тебя, Мария?

— Я проверила, товарищ директор. Звонила в кадры к товарищу Мэнэилэ.

— Ну и что?

— Никакая Аглая не родственница товарищу Петришору. Абсолютно точно. Просто фамилии у них одинаковые.

Нестор облегченно вздыхает, словно освободился от тяжелой ноши. Фэнел достает папиросу, а директор, усаживаясь в кресло, обессиленно говорит секретарше:

— Проверь еще раз, Мария. Мы должны знать наверняка.

— Я так и сказала Мэнэилэ. Пусть проверит и перезвонит.

— Как же быть? — торопливо спрашивает Нестор.

— Соберем по десять лей на брата, и баста,— решает начальник.— И пожелаем всяческого благополучия. Не бросать же деньги на ветер.

Директор выходит в приемную секретарши.

— Выложим-ка лучше по двадцать пять, а не по десять, на всякий случай,— говорит уже спокойнее Нестор.

— А вдруг она все же родня, тогда как, а? — таинственно тянет Фэнел.

— Никакая она не родня.

— Ты уверен?

— Готов биться об заклад.

— А почему ты так уверен?

— Слушай меня, старика, Фэнел. Будь она родственницей, так сидела бы в кресле помягче, там, где ничего и делать-то не надо. Не родственница она — вот и очутилась в плановом. И работает на совесть. А имей она поддержку, так жила бы иначе, капризничала, болела бы без конца...

Директор возвращается бледный, подбородок у него дрожит, взгляд холодный, жесткий, беспощадный. Хмуро опускается в кресло, смотрит на часы. И говорит резко и четко:

— Дело осложнилось, товарищи. Аглая— сестра товарища генерального директора Главка. Правда, двоюродная. Бракосочетание имеет место быть завтра утром. Эта сонная Мэнэилэ только сейчас удосужилась навести справки.

— Ну, это уж ни на что не похоже! — Нестор плюет на ладони и трет их, словно собирается начать земляные работы.

— Завтра свадьба,— продолжает свой патетический монолог директор,— и мы обязаны проявить чуткость, уважение, человечность, в конце концов, к нашему товарищу, нашей сотруднице. Она делает важный шаг в жизни, решающий шаг... Наш трудолюбивый коллектив, который... А, черт бы побрал эту жизнь! — вдруг орет директор.— Я должен выступать, я — решать, я — проверять. Где же ваша помощь?

— Каждый выкладывает по двести лей, покупаем холодильник, а еще лучше — телевизор,— предлагает Фэнел.

— А не лучше ли вручить ей деньги в конверте? — спрашивает Нестор.

— Нет! — кричит директор.— Ни в коем случае. Получается денежный взнос на свадьбу — это недопустимо ни в нравственном, ни в политическом отношении.

— А генеральный директор будет на свадьбе? — интересуется Нестор.

— Не знаю. А вдруг возьмет да прикатит? — голосом приговоренного произносит директор.— Об этом мы тоже не подумали.

— Я лично заявлюсь на свадьбу и выложу тысячу,— сообщает вдруг Нестор, и лысина его морщится, покрывается потом.— Делать нечего. Надо марку держать!

— Я тоже поеду,— говорит Спыну.

— Все поедем,— подтверждает директор.— Чего уж там. Всеобщая мобилизация Нестор.

— Значит, условились? Телевизор.

— Сейчас узнаем. Фэнел,— отвечает директор.

— А я хочу кое о чем спросить,— говорит Нестор.— Мы же тут все свои. Наш поступок не будет выглядеть... Ну... Достойным порицания.

— Какой поступок?

— С телевизором.

— Ничуть. Товарищ генеральный директор будет даже очень доволен.

— Хороши бы мы были со своими грошовыми цветами...

Звонит телефон. Директор поднимает трубку, слушает, потом, опустив ее, добродушно сообщает подчиненным:

— Мы прощупали почву. Товарищ Аглая предпочитает пару ковриков.

— Что ж, купим ей коврики,— вздыхает Нестор.— Кончать пора, товарищи.

— Времени осталось в обрез,— сурово заключает директор.— Каждый дает пятьсот, покупаем ей персидский ковер размером три на два. Дарить так дарить. Согласны?

Как не согласны, когда с малого возраста приучены держать нос по ветру! Спыну берет машину управления и едет в Главторг, чтобы купить на деньги, взятые в кассе взаимопомощи, ковер. Директор и Нестор, совершенно обессиленные, пьют кофе в ожидании покупки.

— Если генеральный директор приедет, надо бы завести разговор насчет пресса.

— Это же импортное оборудование, Нестор.

— Ну, в таких условиях он может проявить и больше понимания.

— Понять-то поймет, а вот пресса у него нет. Это я тебе говорю.

— А может, все же убедим. Попросим и Аглаю.

— М-да, конечно, хорошо иметь руку...

— Именно об этом я и думал, товарищ директор. У меня ведь все дяди — торговцы и заядлые пьяницы.

Входит секретарша и робко сообщает:

— Товарищ директор, вас вызывает Главк.

Директор выходит в приемную секретарши. Нестор, уютно устроившись в мягком кресле, подремывает. Мария собирает чашки из-под кофе, смахивает табачный пепел со стола, закрывает окно. Ей тоже хочется участвовать в обсуждении важного события.

— Столько шума из-за этой Аглаи, товарищ Нестор. Разве это правильно?

— Да неужели из-за нее? — Нестор поднимает палец к потолку.— Вот из-за кого.

— А мы все распространяемся о нравственности, чуткости.

— Когда дело касается нас, Мария. Что это ты разговорилась? Поди выпей кофе.

Входит директор. У него бледно-зеленое лицо, словно он кого-то похоронил.

— Мария, свяжи меня немедленно со складом Главторга.

— А с ним нельзя связаться.

— Знать ничего не хочу. Быстро!

Секретарша выбегает. Нестор вскакивает и отступает к двери.

— Что, не будем покупать?

— Нет.

— А почему?

— Видишь, как трудно принимать решения, Нестор? Ты даже понятия не имеешь. Вот уж два дня, как генерального директора Армяну перевели из Главка. Мне только что об этом сообщили.

— Ну и денек, ну и денек! Где же он теперь?

— В другом министерстве. Так что ковер тут ни к чему.

— Это точно?

— Ну, хватит! А то рехнуться можно.

— Зря мы так все усложнили.

Директор достает из шкафа бутылку цуйки. Ставит два стакана. Они отпивают. Мария никак не может дозвониться в Главторг. Директор сидит без сил в кресле, ноги у него опираются на маленький столик возле дивана. Постепенно он успокаивается. Наконец, дверь открывается, и входит весьма довольный Спыну:

— Он внизу, в машине.

— Кто?

— Ковер, товарищ директор!

— Горе ты мое...

— Я взял ковер три на четыре, потому что размеров три на два у них не оказалось. Всего на шестьсот лей дороже...

— Отвези обратно. Немедленно!

— Это невозможно!

— Почему? Почему, горе ты мое?

— Склад опечатали. Неожиданная инвентаризация. А что такое? Что случилось?

— Нестор, в профсоюзной кассе деньги есть?

— Кое-какие есть. Но немного...

— Купишь на них этот ковер. Отнесешь куда хочешь — в отдел, в механическую мастерскую, на склад... Видеть и слышать о нем больше не желаю...

— А как же с Аглаей? — осмеливается спросить Нестор.— Цветы?

— Муж преподнесет ей цветы. Если захочет.

— Все же по десять лей собрать бы надо,— настаивает Спыну.

— Ладно, соберем. Только слышать больше не хочу в этом году о чьей-либо женитьбе или замужестве. Не то, ей-богу, подам в отставку, и все!

— А знаете, я бы хотел попросить у вас совета... Точнее, разрешения. А то как бы чего не вышло, товарищ директор. Если я все-таки пойду на свадьбу, прилично мне будет пригласить на танго товарищ Аглаю?

Смешанный номер

Директор цирка сидит за столом в своем кабинете. За окном — ясное августовское утро. Впереди — свободный день. Ни репетиций, ни обычной возни в цирке и за его стенами. Хорошо, что еще выпадают такие мирные мгновения. Тут появляется стройная красивая, чем-то опечаленная секретарша. Увидев бледного, понуро сидящего директора, застывает на месте.

— Доброе утро, Джил. Что-нибудь случилось?

— Благодарение небу, ничего. Ты великолепна, Клаудия.

— А счастья никакого. Уж лучше бы наоборот.

Секретарша выходит, но тут же возвращается, надевая на ходу шелковый, цвета спелой вишни халат с белым воротничком.

— Что с тобой, Джил? Постарел, скучный какой-то...

— Что верно, то верно.

Эуджен Тару. Критика.

— Оставил бы на время цирк, отдохнул... Тебе надо забыться...

— Единственные в моей жизни спокойные и даже приятные минуты выпадают утром, когда я вхожу в цирк и убеждаюсь, что зверинец целехонек, звери здоровы, люди на своих местах — словом, все в порядке. А потом меня охватывает ужасная скука. Может, сваришь кофе?

— А обо мне ты не беспокоишься. Я, безусловно, не зверь, но и со мной может что-нибудь случиться. Как ты думаешь?

— Ну, конечно, конечно, Клаудия,— смеется директор.— Но, с моей точки зрения, у тебя огромное преимущество. Ты не импортная, за тебя не плачено валютой. Что бы с тобой ни случилось, никому за это не влетит. И заменить тебя — проще простого. А вот попробуй замени льва, тигра, слона. Влетит в копеечку..

— Смеешься надо мной?

— Ничуть. Это вы все надо мной смеетесь. Слышала, что мне вчера сказал клоун Фэнел? Спросил, какая разница между клоуном и директором. Видишь, ты тоже не знаешь. Оба заставляют народ смеяться. Только над клоуном смеются открыто, а над директором — у него за спиной.

Секретарша расхохоталась. Директор придвинул к ней ворох конвертов и просительно сказал:

— Отправь поскорее. Видеть их не могу.

— Опять пригласительные билеты?

— Опять.

— Ты какой-то бесхарактерный, Джил. Ни капли самостоятельности. Рассылаешь десятки приглашений.

— Сотни! — коротко отрезал он.— Мы живем в век услуг, и люди охотно их принимают, наивно полагая, что мир от этого становится лучше.

— Ты же клятвенно обещал сократить число приглашений, Джил?

— Без них не обойтись...

— Неубедительно. Ну да ладно...

— А ты читай.— Он протянул ей первый попавшийся конверт.

— Пэлэдеску. Бойня. Ну, не смешно ли?

— А кто снабжает мясом моих зверей? Они ведь ждать не любят. От него я получаю мясо когда и сколько нужно. Ну что, посылать ему билет?

— Ну, ему надо. А этому Драгомиру, из транспортного агентства,— читает Клаудия на другом конверте.— Ему-то зачем?

— А во время турне кто обеспечивает нас транспортом? Причем по самой низкой цене?

— А Апостолу?

— Он вместо одного раза в неделю вывозит нечистоты дважды, а то и больше. Лето же. Вонь какая...

— Абрудан из ветеринарной аптеки.

— Прикажешь не посылать?

— Нет, нет, ему надо. Пресса, радио, отдел культуры. Доносе из типографии. А этому зачем?

— Последняя премьера прошла без афиш. Бумаги не оказалось. Получит приглашение, будет бумага. Вот так!

— Дамиан с комбината тяжелого машиностроения. Ну, уж этому действительно...

— А он ремонтирует вагоны и клетки. Если б я надеялся на плановые ремонтные работы, львы давно бы рыскали по центру.

— Да, ты прав,— обескураженно заметила Клаудия, собирая конверты.— Стараешься, будто это твой собственный цирк.

— Не мой, а наш, Клаудия. Иного выхода нет.

— Я б на твоем месте никому ничего не

Ион Дору. Самокритика.

посылала. Разве что подала бы заявление об уходе.

— А я только об этом и мечтаю — хотя бы разок уйти по собственному желанию. Да где там! Что я буду делать? Куда денусь? До пенсии-то не так уж долго осталось.

— Переходи на кафедру. Ты же профессор.

— Был. Меня лишили звания.

— Ты совсем выдохся. Тоже мне мужчина...

— А вот звери тоже выдохлись. Но покоряются, дают представления...

— Так их на то и дрессировали.

— Вот видишь, Клаудия. Кое-что соображаешь...

Раздается стук в дверь. Появляется дрессировщик Мирикэ. В руках у него картонная коробка.

— Мое почтение, товарищ директор. Целую ручки, сударыня. Простите за беспокойство.

— Никакого беспокойства. Клаудия, будь добра, подай нам кофе.

Секретарша выходит. Мирикэ робко опускается на краешек стула и поясняет:

— Я насчет тех самых денег...

— Каких денег?

— В фонд помощи семье бывшего дрессировщика львов.

Директор достает из бумажника триста лей и протягивает ему:

— За меня и за Клаудию.

— Премного благодарен, — говорит Мирикэ и показывает место в списке, где положено быть подписи дарителя.

— Слушай, Мирикэ. Семья у тебя есть? Дети, жена?

— Конечно, товарищ директор. Двое детей, жена. А что?

— День-деньской торчишь тут, в цирке. Посидел бы дома, с детишками, в семье.

— Когда надо, сижу. Но цирк — это вся моя жизнь. Профессия. Куда от нее денешься?

— Что-нибудь новенькое готовишь?

— Да. Только хотелось бы, чтобы это был сюрприз. Наконец удалось отработать смешанный номер — кошки и голуби. Нигде в мире такого не увидишь. Вы же сами требовали, чтобы мы проявили инициативу, находчивость...

Маленький чернявый Мирикэ всегда полон энтузиазма, желания откликнуться. Сразу видно, что он из тех, кто всегда готов рисковать, драться за нужное дело, даже жертвовать собой. Сжимая коробку в руке, он отступает к двери, между тем как в кабинет входит секретарша с подносом, на котором дымятся две чашки кофе.

— Погоди. Мирикэ, выпей кофе,— предлагает директор.

— Нет, премного благодарен. Мне еще нужно отыскать некоторых товарищей. Спасибо...

Мирикэ выходит. Директор сдувает пену с дымящейся жидкости и говорит:

— Не люблю слишком усердных, готовых сделать все, что скажешь. Я побаиваюсь их. Мирикэ — из тех, кто не умеет говорить «нет».

— Ты такой же, как он,— отвечает Клаудия. — Точно такой же.

— Выпей кофе.

— Нет, моя чашка в той комнате.

— Тогда оставь кофе здесь. Сейчас пожалует инспектор Макарие.

— Ему-то что нужно?

— Он не сказал, но я догадываюсь, и мне уже хочется рычать от ярости.

— Еще напугаешь зверей, Джил.

— Он попросит меня кое о чем, и хотя это самое настоящее свинство, придется согласиться.

— А ты не соглашайся.

— Это невозможно.

— Почему?

— Повторяю: мы в цирке. Инспектор — тоже своего рода дрессировщик. Ступай. А то застанет нас вместе, не оберешься разговоров.

Лев рычит, да так, что стены дрожат. Клаудия идет к двери.

— Слышала? Это инспектор.

Рассмеяться, однако, он не успевает: в дверях со шляпой в руке показывается Макарие, статный, элегантно одетый, энергичный.

— Добро пожаловать. Кофе вас уже дожидается,— встречает его директор, между тем как Клаудия, улыбаясь, удаляется.

— Я уже пил, но ничего, и с этой чашечкой справлюсь. Что нового?

— Все в норме, это важнее всего. Только жарко. Очень жарко.

— М-да. Опять жарища. Но прежде чем перейти к делу, считаю нужным заострить внимание на проблеме ваших отношений с товарищем Клаудией.

— В каком смысле?

— Люди поговаривают...

— Это меня не интересует.

— Нехорошо говорят!

— А что именно? Конкретно.

— Не заставляйте меня повторять сплетни.

— Я прошу только откровенности.

— У стен есть уши.

— Знаю. Еще что?

— Люди видят.

— Что именно?

— Что директор неравнодушен к секретарше.

— Хорошо. И что же?

— Секретарша — вдова.

— Точно.

— Она красива.

— Да, она еще и красива!

— Нехорошо. Получается пятно на вашем добром имени.

— А вы не беспокойтесь. Не тот случай.

— Вы, товарищ директор, уж больно уверены, несокрушимы. Я пытаюсь подойти к делу деликатно, бережно...

— Зря волнуетесь. Есть дела поважнее.

— Это тоже важно,— рычит инспектор, теряя самообладание.

— Ну так вот, чтоб душа ваша успокоилась, скажу,— смеется директор.— Знайте же, что моя секретарша Клаудия доводится мне сводной сестрой. Так что пусть болтают сколько хотят, меня это не волнует.

— Ну, ты силен, товарищ директор,— с притворным весельем удивляется инспектор.— Да и я не промах. Думаешь, я не догадался, что люди зря болтают. А ты молодец, держался крепко...

— Приходится, товарищ инспектор...

— Хорошая сигаретка у тебя найдется?

— Найдется, но не хорошая...— Директор выкладывает на стол несколько пачек.

— Эти экзамены в институт — сущее бедствие для родителей,— озабоченно говорит инспектор, тонко меняя тему.

— Верно. Но бедствие-то придумали сами родители.

— Через два года, глядишь, и мой старшенький подаст документы. Уже теперь в пот бросает... Слышал, что произошло с сынком товарища заместителя министра Стэною?

— Нет. Небось срезался?

— Провалился. Несчастье-то какое! Замминистра чуть удар не хватил.

— Ничего, не его одного. Мальчик подготовится, поднатужится и в будущем году сдаст.

— Легко сказать. А до тех пор?

— Отец уж как-нибудь прокормит его.

— Да не о том речь. Товарищ Стэною был бы очень рад, если б мы его выручили.

— Мы? Кто это мы?

— Ну, я, ты. Наше управление.

— Не вижу, каким образом...

— А мы все обсудили с начальством. Для того я и поспешил сюда.

— Слушаю. О чем речь?

— Мы подумали, пораскинули мозгами и нашли самое подходящее решение. Возможно, оно лучше, чем мы себе представляем. Он пойдет на биологический.

— Кто?

— Кристиан, сын замминистра.

— Ну и что?

— Вот мы и решили, что пока он может поработать в цирке.

— Но у меня же нет вакантных должностей. Или вы мне для него одну дадите?

— В этом нет нужды. Должность есть.

— Где?

— Тут, у тебя.

— Но почему ему захотелось в цирк?

— Да он еще об этом и знать не знает.

— Как это?

— А вот так. Ничего, захочет, потому что мы этого хотим, да и товарищи из министерства тоже. Мы обязательно должны помочь нашему шефу. Сам подумай, у тебя тоже дети. Так что оформим парня без долгих проволочек.

— На какую должность?

— Должность дрессировщика львов ведь освободилась?

— Ну, на эту пожалуйста. Хоть сию минуту. Дрессировщика-то львы сожрали. Только что я внес деньги в помощь семье.

— Не спеши с выводами. Есть еще идея.

— Нет, почему ему захотелось именно в цирк? Вы-то зачем суете его сюда?

— У него будет много времени на подготовку. В цирк он будет приходить только за зарплатой. А там, глядишь, и заграничные турне.

— Что ж, если справится со львами, пускай работает.

— Не справится.

— Тогда не могу его принять.

— Это приказ!

— Мне нужен письменный приказ.

— Да хоть бы на ухо шепнули, и то тебе надлежит немедленно подчиниться.

— Что ж, если хочет дрессировать львов, не возражаю,— решает директор.

— Не торопись, Джил. Пошли дрессировщика голубей возиться со львами и тиграми, ну хотя бы в дисциплинарном порядке, а его должность отдай мальчику. Вот в чем суть идеи.

— Мирикэ в клетку ко львам? — директор потрясен, возмущен.

— Но это же повышение в должности. В его возрасте самая пора выдвинуться. Да он вообще никогда не отказывался от поручений.

— От этого откажется. Какой же безумец решится войти в клетку к зверям? У него жена, дети.

— Не откажется. Ты, как директор, не возражаешь?

— А это кого-нибудь интересует?

— Я должен сообщить наверх о твоей позиции, Джил.

— Нет, не возражаю. Я просто не могу согласиться.

— А если Мирикэ сам захочет? Давай его вызовем?

Директор поднимает трубку и просит вызвать Мирикэ. Потом садится за стол и сокрушенно говорит:

— Одним ударом теряю два номера — со львами и голубями.

— Ничего. Подумаешь, номером меньше...

— Неправда. За свои деньги зритель хочет дрессированных зверей, волнений, переживаний...

— Какой ты наивный, Джил. Пусть клоуны его развлекают. Народ желает смеяться. Любая глупость вызывает у него восторг.

Входит слегка напуганный Мирикэ и робко приближается к столу. Инспектор здоровается с ним, дружески хлопает его по плечу и даже берет впервые под руку. Говорит он с ним тепло, как равный с равным:

— Как дела, товарищ Мирикэ?

— Стараюсь. Всегда на посту.

— Работа продвигается?

— Конечно. Я только что доложил товарищу директору, что подготовил смешанный номер, такого еще в мире не было.

— Оставь это. У нас есть к тебе важный разговор. Человек ты молодой, талантливый, энергичный. Как бы ты отнесся, если бы получил особое задание?

— Я всегда старался... все, что в моих силах...

— Речь идет о повышении по службе.

— Премного благодарен, господин инспектор. Я ничего такого не просил, но уж коли надо, с большим удовольствием. С удовольствием,— повторяет Мирикэ, задыхаясь от волнения.

— Что я говорил? — обращается инспектор к директору.— Это же настоящий человек.

— Мирикэ, не спеши с ответом,— задумчиво произносит директор.

— С сегодняшнего дня,— продолжает инспектор,— ты назначаешься дрессировщиком львов и тигров...

— Лев...— Мирикэ начинает дрожать и мешком опускается на стул.

— Тоже смешанный номер,— улыбается инспектор.— Ты же об этом мечтал.

— Вы это серьезно? Нет, вы серьезно? — почти угрожающе цедит тот сквозь зубы.

— Ну, что скажешь?

— Не знаю, что и сказать...

— Отказываешься от повышения?

— Нет, не отказываюсь.

— Ты что, уже работал со львами и тиграми? — вмешивается директор.

— Никогда. Да я их видеть не могу.

— Ты молод, талантлив,— настаивает инспектор,— решителен, уверен в себе. У тебя шанс стать знаменитым. Мне приятно, что именно я тебя выдвинул.

— Мирикэ, настоящего дрессировщика сожрали львы и тигры,— выпаливает директор.— Помни об этом.

— Я помню. Но раз надо, я согласен.

Тут раздается львиный рык. Все застывают. Первым приходит в себя инспектор, он изображает бодрую улыбку. Мирикэ между тем в ужасе закрывает глаза и делается совсем маленьким на своем стуле.

— Львы теперь сыты, можешь работать спокойно,— говорит инспектор.

— Мне кажется, я еще не созрел,— лепечет Мирикэ.— Не созрел для такого повышения.

— Ничего, львы тоже молодые. Четырехпятигодовалые. В сущности, они еще львята.

— Трудное это дело.

— Позволь дать тебе несколько советов: смело входи к ним, требуй от них работы, дисциплины, они решат, что ты настоящий дрессировщик, и покорятся. Не забывай, Мирикэ, труд создал человека.

— Не для того же, чтоб его львы сожрали,— замечает Мирикэ.

— Мы тебе предлагаем повышение. Ты что — отказываешься?

— Нет.

— Отчего же ты не отказываешься, Мирикэ? — спрашивает опять директор.

— Не знаю.

— Стало быть, согласен,— улыбается инспектор.

— А подумать можно?

— Подумать? Это в наш-то век? Брось, Мирикэ. Где взять время на обдумывание?

Опять раздается львиный рык. На этот раз он еще более устрашающий.

— Слышишь, Мирикэ? — замечает директор.— Они тебя зовут...

— Ничего, мы будем рядом,— заверяет инспектор.

— Разумеется, только не в клетке,— уточняет Мирикэ.

— Я бы советовал тебе отказаться,— настойчиво говорит директор.

— Так я же только этого и хочу,— признается дрессировщик, вытирая пот со лба.— Но никак не найду повод.

— Как не найдешь? — негодует директор.

— Я полон сил, молод, впереди — светлое будущее, у меня здоровые, хорошие жена и дети. Как же я могу отказаться? По какой причине?

— А страх, Мирикэ? Разве это не причина?

— Так из страха-то я и соглашаюсь, товарищ директор,— просветленно отвечает тот.

Львиный рев громом прокатывается по помещениям. Мирикэ побледнел, ему не хватает воздуха.

— Мы попросим товарища инспектора сообщить в министерство, что ты не согласен. Просто не нуждаешься ни в каком повышении,— советует директор.

— Нет, так дело не пойдет,— возражает инспектор.— Меня сюда послали выполнить задание, а не толочь воду в ступе. Мне надлежит доложить о выполнении.

— А вы не расстраивайтесь, товарищ инспектор. Я согласен. Львы так львы.

— Молодец, Мирикэ. На тебя можно положиться.

— А впрочем, если дело такое срочное, может, вы спросите, не возьмется ли кто добровольно?

— А ты что же?

— Я могу делать что угодно. Прыгать на трапеции.

— Без тебя прыгунов хватает.

— Могу глотать бутылки, кнопки, сабли, лезть в огонь.

— Мирикэ, ты спятил...

— Я не умею обращаться со львами.

— Подучишься. Обретешь новую квалификацию.

— Где?

— На рабочем месте. В клетке.

— Так львы же не позволят...

— Ты прямо говори: поддерживаешь наше конструктивное предложение или нет?

— Поддерживаю, товарищ инспектор.

— Может, хочешь что-нибудь сказать руководству цирка? И нам — это мы ведь тебя выдвинули.

— Благодарю за доверие и обязуюсь выполнить до конца...

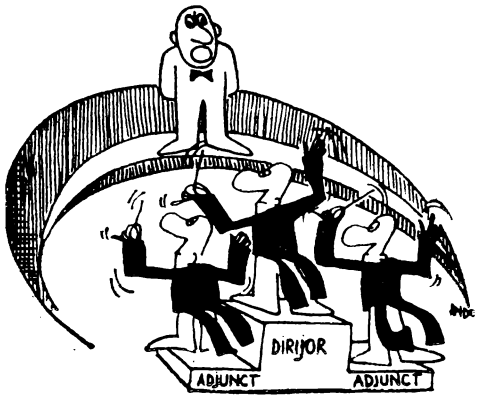
Последних слов никто не услышал — они потонули в львином рыке. Мирикэ, пожав руку инспектору, выходит. Тот берется за шляпу, довольный, что справился еще с одним заданием.

— Людей надо уметь убеждать, просвещать, товарищ директор. Это настоящее искусство.

— А мы тут в цирке называем это иначе,— заметил директор, провожая гостя до дверей.

— Как? — еле слышно прошептал инспектор.— Как?

За дирижерским пультом:
Дирижер
Заместитель Заместитель



Андо. Без слов.

Критика

Ю. КАГРАМАНОВ

КТО И ПОЧЕМУ ВОСКРЕШАЕТ ДЕ САДА?

Искушение бесчеловечностью

Цветная литография XVIII века изображает маркиза де Сада молодым человеком с мягкими, изящными чертами лица, в аллегорическом окружении: с четырех сторон дуют на него, напружив щеки, крылатые мифологические Ветры, а на переднем плане сатир обнимает плачущую нимфу. Какое значение имеют здесь Ветры? По-видимому, они должны наглядно демонстрировать, сколь неприкаянную фигуру являет собой маркиз — «без бога в сердце, без царя в голове».

В БСЭ последнего издания «садизм» фигурирует прежде всего как термин медицинский; кроме того, дается его переносное значение — «ненормальная страсть к жестокости, наслаждение чужими страданиями»,— в общем-то не выходящее из рамок психологии и психопатологии. Это один из тех случаев, когда энциклопедии не поспевают за «быстротекущей жизнью». Ибо садизм не просто некий психический вывих. Сегодня правильнее будет квалифицировать его как философию разрушения.

Тут сразу может возникнуть вопрос: почему же именно сегодня? Свои безумные книги де Сад писал около двух столетий назад. При чем здесь «быстротекущая жизнь»?

А дело в том, что книги де Сада до недавнего времени практически не находили читателей. «Послание», которое они, эти книги, в себе заключали, просто не воспринималось людьми или, во всяком случае, не затрагивало их мировоззрения. Этому смычку нужны были определенные струны. Только редкие специалисты да еще любители острых ощущений обращались к сочинениям маркиза, принимая их за то, чем они, собственно, и являлись: за бред (пусть и не в буквальном смысле, а в фигуральном). Бред хорошо продуманный, отчего он, однако, не перестает быть бредом. Что мог он значить для истории культуры? Более или менее случайный зигзаг, место которому скорее в некоем паноптикуме уродств.

Но когда бред становится внятен широкой публике и перестает восприниматься как бред, он получает новый статус: идейного учения, философской концепции. Де Сад был услышан, ему дали слово как официальному оппоненту гуманизма, оппоненту «взбесившемуся», но по-своему последовательному.

Судьба садовских сочинений едва ли не уникальна, поэтому необходимо сказать о ней несколько подробнее. Философские романы де Сада «Алина и Валькур», «Процветание порока», «Жюстина» и другие были полностью напечатаны во Франции между 1795 и 1799 годами, то есть в период Термидора и Директории. В те годы в стране царила атмосфера вседозволенности, пришедшая на смену эйфории и героической суровости революционных лет, и можно было печатать какие угодно книги, если только они не содержали прямых выпадов против Французской республики. Но даже в тех условиях садовские романы произвели настоящий шок: они поразили читателей дьявольской изощренностью и циничной откровенностью, с какой в них смакуются всевозможные формы насилия и порока. Маркиз де Сад — в ту пору «гражданин Сад» — быстро приобретает скандальную известность. «Одно имя этого отвратительного писателя источает трупный запах, умерщвляющий добродетель, и внушает ужас», — писал журнал «Серкль» в апреле 1798 года[1].

Новое правительство Франции, пришедшее к власти после переворота 18 брюмера, взяло на себя заботу об «упорядочении» нравов. Генерал Бонапарт сам бегло просмотрел 3600 страниц «Жюстины» и схватился за голову: «Я пролистал книгу самую отвратительную, какую только могло породить воображение самое испорченное»[2]. В марте 1801 года шестидесятилетний автор был объявлен умалишенным и помещен в психиатрическую лечебницу, где он и скон-

[1] Les grands procès de l'histoire de France, v. XVIII. P., 1968, p. 264.
[2] Там же, p. 268.

чался тринадцать с половиной лет спустя. Конечно, стремясь восстановить «устои морали», потрясенный событиями предыдущих лет, Первый консул руководствовался прежде всего утилитарными соображениями. Но запрет, наложенный им на садовские книги, был естественным и необходимым с точки зрения гуманности и элементарной пристойности.

В последующие полтора столетия произведения де Сада, если не считать отдельных фрагментов, нигде не переиздавались и на иностранные языки не переводились. «Мерзкий маркиз» был подвергнут почти единодушному остракизму — как нравственный монстр, как подлинный «стыд природы».

На пороге XX века на Западе интерес к де Саду пробудился в академических кругах, что в какой-то мере связано с распространением фрейдизма, акцентировавшего внимание на болезненных явлениях психики. Примерно тогда же автора «Жюстины» на свой лад пытались реабилитировать сюрреалисты. Появляются первые монографии о де Саде, предназначенные для узкого круга читателей. Собственные его сочинения по-прежнему нигде не издаются. Должно было пройти еще полвека, чтобы в Париже вышли, пока еще ограниченным тиражом, некоторые из его произведений.

Настоящий же перелом в отношении к де Саду происходит во второй половине 60-х годов. Это время было переломным для всей буржуазной культуры. Таким его во всяком случае представляют сегодня некоторые западные авторы. Издавна назревавший кризис культуры вдруг стал явным, найдя внешнее выражение в контркультурническом движении молодежи, апогеем которого стала так называемая студенческая революция в мае — июне 1968 года во Франции.

Между прочим, майско-июньские бунтари, заявившие о себе как о борцах против буржуазной культуры, начертали на своем знамени имя маркиза де Сада — в чудовищном сочетании, где рядом с Марксом и Кропоткиным были поставлены имена Фрейда, Будды и Мао Дзэдуна (ниже будет сказано, исходя из каких соображений маркиз был удостоен этой чести).

Но буржуазным обществом, буржуазной культурой де Сад уже был «освоен». Последнее чувство неловкости было преодолено, последние запреты сняты. В 1963 году парижское издательство «Серкль дю ливр пресьё» предпринимает издание полного собрания сочинений де Сада — нелегкий труд, если учесть литературную плодовитость маркиза. В конце 60-х годов его начинают бурно — другого слова не подберешь — переводить в других западных странах. Сегодня «дайджесты» некоторых его романов выходят массовыми тиражами. Та самая «Жюстина», что некогда вызвала омерзение у Бонапарта, переложена на комиксы, которыми торгуют на всех прилавках. Я уже не говорю о том, что стремительно растет объем академических исследований, посвященных жизни и литературной деятельности де Сада.

Итак, феномен очень позднего признания. Интересно, порадовался бы ему де Сад? Может быть, и не порадовался бы. Сохранилось его завещание, написанное незадолго до смерти, вероятно, в минуту просветления: никаких надгробий на его могиле, никаких надписей; хочет льстить себя надеждой, говорилось далее, что и память о нем изгладится в умах людей.

Чем бы ни были мотивированы эти строчки, можно лишь пожалеть, что надежда не сбылась. Ибо в случае с де Садом «признание» означает не то, что отдают должное не оцененным ранее достоинствам, а скорее наоборот: расписываются в собственной «потерянности», в неспособности удержаться на должном — нравственном и эстетическом — уровне. В одном отношении, правда, современники и в самом деле недооценили де Сада: они не разглядели за его безумием системы. Кстати говоря, вопрос — был или не был безумен де Сад в клиническом смысле — до сих пор дебатируется психиатрами. У читателя, не искушенного в медицинской науке, при встрече с «садическим миром» сразу складывается впечатление, что у автора не все дома. Но если де Сад и был безумен, то это как раз тот случай, когда в безумии есть своя система. Ибо за его воспаленным воображением неизменно стоит холодный ум искушенного софиста.

Современная буржуазная наука «наверстала упущенное»: де Сад поставлен ею в некотором смысле рядом с величайшими из его современников — Жан-Жаком Руссо и Иммануилом Кантом. В промежутке между этими двумя гигантами — для образованных людей конца XVIII — начала XIX века пустом — сейчас чернеет как бы передразнивающая их фигура «ужасного маркиза». Упрощая дело, можно сказать, что Руссо открыл неведомые (или смутно подозреваемые) дотоле глубины человеческого сердца, а Кант совершил «коперниковскую революцию» в философии, постулировав «суверенность» человека как субъекта познания. Де Сад взял «естественного» человека Руссо, наделил его «критической способностью суждения», всюду поменял плюсы на минусы и в результате получил свою модель эгоцентриста, сознательно открывающего дорогу своим «естественным» (витальным, как сказали бы сегодня) влечениям, понятым как чисто негативные; к тому же в отличие от философов в собственном смысле слова он очень наглядно проиллюстрировал, куда эта дорога ведет.

Но если современники и недопоняли де Сада, вряд ли стоит их за это упрекать: они глядели выше, т а к и е низины эгоцентризма просто не попадали в их поле зрения. Молодая революционная буржуазия напитана была идеалами гуманизма, «синдром де Сада» — сына вырождающейся аристократии — оставался ей чужд; речь шла о болезни, к которой она была тогда невосприимчива. Совсем иное дело теперь: буржуазное общество эпохи заката — больное общество; для него садовская концепция человека, взятого в его отношении к миру, — нечто вроде откровения; современный буржуа узнает в ней свою, если можно так сказать, любимую болячку. Он давно уже тайно или явно смакует сцены патологических проявлений жестокости, убийств и пыток, равно как и циничный секс, которыми его в изобилии потчуют «массовая литература», экран и т. п.

Утрата гуманистических ориентиров ощущается даже в подходе буржуазной науки к де Саду: тщательно обследуя все закоулки «садического мира», она все больше судит о нем с позиции объективизма, а то и откровенной апологии.

Буржуазные комментаторы дружно именуют де Сада «современным писателем». «Никогда у него не было других современников, кроме нас»,— пишет, например, некий Робер Жюэн в журнале «Эроп»[2]. Как бы в подтверждение этих слов издательство «Эдисьон университер» выпустило монографию о де Саде в серии «Классики XX века» (!): в рамках этой многотомной серии среди писателей, философов, ученых нынешнего столетия маркиз оказался единственным, так сказать, «гостем» из другого века. Никого «современнее» де Сада издатели в прошлом не нашли.

При всем том маркиз Донасьен Альфонс Франсуа де Сад был сыном своего века. В биографическом плане проблема взаимоотношений жизни и творчества представляется в данном случае весьма любопытной. У всякого читающего его романы неизбежно должен возникнуть вопрос: что за чудовище был тот, кто все это написал? Между тем де Сад не был чудовищем, во всяком случае на фоне своей среды ничем особенно резко не выделялся.

Выходец из старинного провансальского рода. Капитан королевской лейб-гвардии. Участвовал в Семилетней войне. По окончании ее вышел в отставку и стал заниматься тем, что соответствовало его общественному положению, то есть по существу ничем. Довольно типичный жуир, разве что державший себя несколько более вызывающе по отношению к церкви, к установлениям христианской религии.

Вероятно, эта «дерзостность» в конце концов и подвела де Сада. В 1773 году суд в Марселе приговорил его за мужеложство и отравление (последнего, как потом выяснилось, он не совершал) к смерти через отсечение головы. Законы французского королевства были суровы, но выше законов стояли некоторые освященные веками обычаи. Особу знатного происхождения, тем более связанную отдаленным родством с королевской фамилией (мать де Сада принадлежала по рождению к боковой ветви Бурбонов), не пристало в подобном случае отдавать на публичное посрамление, и Людовик XV — первый аристократ страны — отменил приговор марсельского суда. Но так как де Сад преступил границы дозволенного, его необходимо было наказать. И вот в апреле 1779 года другой король, Людовик XVI, подписал тайный приказ о заточении маркиза де Сада на неопределенный срок в Венсенский замок. Неизвестно, сколько бы он просидел в тюрьме, если бы через одиннадцать лет его не освободила революция.

Очутившись в заточении, темпераментный маркиз долго не мог успокоиться: стенал, грозил, проклинал, стучал кулаками в железную дверь, бился головой о толстые стены. Потом смирился и заказал себе книги и чистую бумагу. Почти все, что вышло из-под его пера, было написано в эти одиннадцать лет — деталь, которую нельзя не принять во внимание. Читая его, порою физически ощущаешь давление каменного мешка, отсутствие света и в буквальном и в фигуральном смыслах.

Довольно обычный жуир, чья линия жизни искривилась не совсем обычным образом, кладет на бумагу нечто совсем необычное, монструозное, в некотором роде уникальное для своего времени. И не только для своего.

В 1965 году известный итальянский критик Луиджи Бакколо, предчувствуя, вероятно, что скоро последние запреты на публикацию сочинений де Сада будут сняты, писал в миланском журнале «Понте»: «Глупость американского (и не только американского) кинематографа, поразительная банальность развлекательных программ телевидения, навязчивость рекламы, общие для них грубость и развязность, принижающие самую концепцию и образ человека — это повседневное и безнаказанное оскорбление, наносимое разуму, мысли, в конечном счете будет иметь менее серьезное значение для судеб человечества, чем эротизм «Жюльетты»[3].

На место «Жюльетты» Бакколо с равным основанием мог бы поставить название какого-нибудь другого из садовских романов. Пусть приведенные строки заключают в себе некоторое преувеличение (слишком много положено на одну чашу весов: кинематограф, реклама, телевидение), основная мысль бесспорна: де Сад «особо опасен» для человечества.

Что делает его таким? Книги де Сада поражают совершенным отсутствием «розового пара», если воспользоваться (употребленным по другому поводу) выражением В. В. Розанова, то есть сентиментальности, лирического настроя, «идеализма» в малых дозах, наверное, так же необходимого каждому человеку, как и кислород. Обычно даже закоренелые палачи и «садисты» без них не обходятся: лютуя где-нибудь в застенках или концлагерях, они становятся сентиментальны, например, в кругу семьи. Здесь же — некий абсолютный ноль цинизма. Любовь ли, дружба ли, сострадание или благодарность, материнские (отцовские) и сыновние (дочерние) привязанности — любые чувства, которые принято считать добрыми, в произведениях де Сада выводятся исключительно с целью их осквернения, «разоблачения», как «поповских бредней»

Маленькая, как говорят журналисты, врезка. В одно прекрасное утро 1327 года в приходской церкви города Авиньона (в ту пору папской столицы) молодой итальянский поэт впервые увидел юную незнакомку. Можно сказать, что с этого мгновения имя Лауры де Сад обрело бессмертие — вместе с именем Франческо Петрарки. Образ Лауры, созданный в его многочисленных сонетах и канцонах, историки литера-

[2] «Europe», 1972, № 522, p. 10.

[3] «Ponte», 1965, № 6, p. 833.

туры считают той вехой, от которой берет начало культ романической любви — целый мир тайн и озарений, духовных воспарений и душевных порывов, без которых европейская культура не стала бы тем, чем она стала.

Есть какая-то злая ирония в том, что прямой потомок «божественной Лауры» явился громилой (хотя бы и в напудренном парике и с языком и манерами аристократа), пожелавшим разрушить этот мир. Отношения мужчины и женщины в романах де Сада сведены (для начала) к одной лишь физиологии; малейшие намеки на целомудрие и нравственную чистоплотность оказывают на их автора такое же действие, как красная тряпка на быка. Наследник провансальских феодалов, в чьих замках некогда трубадуры создали культ прекрасной дамы, низвел женщину до положения простого инструмента для оргий; в книге «Философия в будуаре» прямо говорится, что женщина создана исключительно для удовольствий и что, когда она утрачивает способность их доставлять, с ней следовало бы поступать так же, как поступают с коровой или ослицей, когда от них уже нет никакого проку.

Но эротика у де Сада — только прелюдия к более острым, как утверждают его герои, удовольствиям. Амур превращает свои стрелы в кинжалы, сказано в одном из его романов. Не просто в кинжалы — в изощренные орудия пыток. От эротических «игр» персонажи де Сада переходят к тому, что мы теперь называем садизмом в медицинском смысле слова: выбирая из своей среды жертву, долго и со вкусом ее истязают и в конечном счете тем или иным способом приканчивают. Но и это не все: смерть жертвы не останавливает мучителей, затевающих над трупом еще более отвратительные «игры», возрождающие худшие, давно канувшие в лету пороки человеческого рода.

Даже на фоне того разгула насилия и секса, который сегодня наблюдается в мире западной «массовой культуры», подобные вещи впечатляют. Неужели этот инфернальный кошмар создавался в 80-е годы XVIII века? Не много найдется в истории временных отрезков, которые были бы так же полны оптимизма, веры в человека и в близкое торжество разума. Уже был написан «Вертер». Радость жить и бороться за свое и общее счастье пронизывает «Женитьбу Фигаро» Бомарше. Юношески светел и прозрачен нежный Моцарт (хотя его порою и одолевает смутное чувство тревоги). Философы, которым внимают так прилежно, как никогда не внимали раньше, обещают скорую и полную перестройку всего общества на началах справедливости и гармонии.

Волшебное чувство ожиданий коснулось едва ли не всех сфер жизни и всех слоев образованного общества. Розовый и голубой тона Ватто и Буше были в это десятилетие более ко времени, чем во все предыдущие. Пухлые ангелоподобные амуры не жалели своих стрел — по крайней мере в романах и на полотнах живописцев. Тон любовных приключений оставался сентиментальным, идиллическим, даже если они были весьма прозаическими по существу: искусство и литература зафиксировали почти одинаково мечтательные выражения лиц у юных влюбленных и пожилых распутников-либертенов. Даже те, кому по роду их деятельности полагалось заниматься «войной, а не любовью», заражены были общим прекраснодушием: видные стратеги (фон Бюлов, Ллойд и другие) планировали ведение войн — уникальная страничка в истории военной мысли! — без применения насилия. Кровопролитие должно было стать достоянием варварского прошлого; отныне противникам следовало ограничиваться демонстрацией всевозможных эволюций на местности, а победителя, как и на маневрах, определять условно.

Свои мрачные фантазии де Сад создавал «внутри» этой эпохи, дыша ее воздухом, о чем можно судить хотя бы по стилю его произведений, ничем не выдающемуся на общем фоне (мы и не останавливаемся здесь на нем, ибо не художественная структура садовских романов привлекает сегодня внимание, а их философия). В духе времени и некое простодушие его неутомимо резонерствующих персонажей. Но это как бы первый план садовских произведений, за которым выступает второй, вопиюще диссонирующий с духом времени.

Контраст особенно виден там, где дело касается отношений де Сада с просветительской философией. Его язык — это ее язык, в то время как откровенно пессимистические и человеконенавистнические идеи прямо противоположны идеям Просвещения. Позаимствовав у Гельвеция и Гольбаха их утилитаризм и гедонизм, де Сад оставил без внимания их идеал гармонического сочетания личного интереса с общественным, веру в неуклонное совершенствование человека; и самый гедонизм он переиначил так, что превратил его, по сути, в нечто ему противоположное. Весьма односторонне усвоил он Гоббса, чью знаменитую метафору «человек человеку волк» истолковал в самом прямом смысле. Особенно бесцеремонно де Сад обошелся с Руссо; подобно своему «учителю», он «прислушался к голосу природы», но услышал совсем другие вещи.

«Закон природы — основной из всех законов, единственный, в котором человек действительно испытывает нужду», — читаем в романе «Алина и Валькур»[4]. Под этими словами мог бы подписаться и Жан-Жак. Но, по Руссо, данный закон повелевает человеку быть добрым, дурным его делает цивилизация. Точка зрения де Сада другая: «естественный человек» — дурной, порочный человек.

Вынеся человека, по примеру Руссо, за скобки культуры, де Сад сделал его простым агентом природы. Иначе говоря, человек у него таков, какова, с его точки зрения, сама природа. В рассуждениях его резонерствующих персонажей природа неизменно выступает как «злая» — вечно алчущая, никогда не насыщающаяся, созидающая исключительно ради разрушения. Соответственно ведет себя и садический герой. Он творит зло в самом элементарном физическом и физиологическом смысле, низводя «венец творения» на уровень «гад морских» или даже ниже.

[4] D. A. F. de Sade. Aline et Valcour, ou le roman philosophique. P., 1795, t. II, p. 359.

Мефистофель, донимавший мир отдельными каверзами (к тому же, как мы знаем от него самого, безуспешно: «Мир бытия... мои нападки сносит без урона»), выглядит рядом с персонажами де Сада робким неудачником. Несмотря на свой злобно-язвительный тон, Мефистофель — часть некоей творящей силы, ее отрицательный полюс, по-своему необходимый.

У де Сада зло «необходимо» не с точки зрения функционирования социального механизма, не в интересах целого, а в интересах самовыявления природного «я». Самое «естественное» и самое мощное из всех человеческих влечений, согласно де Саду, — влечение к разрушению. Гедонистическая этика переведена им, таким образом, в план деструкции. Так что переход от эротики к пыткам и затем к убийствам вполне закономерен: сначала разрушается нравственность, дух, потом — тело.

Разумеется, удовлетворить свои деструктивные вожделения способен только сильный; удел слабого, «другого» — быть жертвой. Садическое «я», по словам одного французского исследователя, выступает как «активный агент разрушения и судьбы». То есть индивид, совершая акт насилия, является будто бы проводником силы более значительной, чем он сам: постоянно саморазрушающейся и самовозрождающейся природы. При этом садический герой остается, как и его автор, рационалистом: согласно де Саду, все поступки человека должен контролировать разум, основная функция которого состоит, парадоксальным образом, в том, чтобы способствовать высвобождению подавленных инстинктов. В садическом герое отвратительно сочетаются полная необузданность и хладнокровное самообладание.

Много воды утечет, пока в XX веке О. Шпенглер и М. Хайдеггер, возведенные на Западе в ранг первых мыслителей столетия, увидят в умонастроении современного им буржуазного общества, еще такого позитивно-деятельного на вид и такого гуманного на словах, стремление к разрушению, которое они объявят конечной целью всей западной цивилизации. (Характерный для буржуазных философов мыслительный ход: взять один момент, одну сторону и заслонить ею все остальное). Стремление к разрушению, обращающее на себя внимание как черта психологии современного буржуазного общества, — пока что только аккомпанемент к «позитивно-деятельному» лейтмотиву, но прослушивается он уже достаточно явственно. На наших глазах искажается и разрушается гуманистический образ человека (не последнюю роль играет в этом пропаганда секса и насилия), все более хладнокровно допускается (более того, муссируется) возможность апокалипсического «конца света» — уничтожения человечества в термоядерной войне.

Де Сад — далекий предтеча этой пагубной тенденции, предлагающий буржуазному обществу готовую философию разрушения. «Сад, — пишет о нем «новый философ» Андре Глюксман, — развеивает по всем ветрам пыльцу своего термоядерного духа. Его тезис № 1: я разрушаю, следовательно, существую; существую, следовательно, разрушаю»[5]. Сказано достаточно точно. В «Процветании порока» один из персонажей прямо заявляет: «Я хотел бы быть ящиком Пандоры, чтобы все злые силы вырвались из моей груди и уничтожили бы каждое из живых существ»[6]. Другой персонаж из того же романа мечтает о том, чтобы обратить нашу планету в пыль. Третий — о том, чтобы ее сжечь. Пожелания и в самом деле близкие тому, что названо «термоядерным духом».

Из того, что де Сад предвосхитил наваждения буржуазного общества XX века, его нынешние исследователи делают вывод, будто он оказался прозорливее своих современников. Ж.-Ж.Брошье, например, пишет, что де Сад «одним из первых... увидел... что человек одинок перед лицом своей свободы, перед лицом другого, воспринимаемого как помеха и как враг»[7]. А увидев это, продолжает Брошье, он поставил мысленный «педагогический эксперимент», чтобы установить, как далеко способен зайти человек, коль скоро он считает, что ему «все позволено». Результат получился чудовищный: нигде еще образ человеческий не подвергался такому осквернению и унижению, как в произведениях маркиза. Но тут уж, считает Брошье, ничего не поделаешь — такова «истина», открывшаяся «на самом дне» просветительской философии.

Однако это «истина» софиста. Ибо здесь является ложным исходный тезис: поступки садического героя определяет не свобода, а произвол. Садовская концепция предвосхитила соблазн ложной свободы («свободы от»), в полный голос давший о себе знать только в «послебуржуазные» времена. Может быть, здесь не столько предвосхищение, сколько перекличка двух декадансов. Надо было быть аристократом эпохи Великой французской революции, чтобы невольно угадать, какие мерзкие кренделя способно будет выписывать индивидуальное сознание в эпоху упадка капитализма.

Но для современных буржуазных философов де Сад непременно идет, как раньше говорили, в пандан (дополняет, составляет пару) к просветителям, а его концепция рассматривается ими как неотъемлемая часть теоретического сознания той эпохи. «Голова Сада, — пишет итальянский исследователь Дж. Дальмассо, — это другая сторона медали, другой полюс просветительской концепции освобождения, стоящей на страже революционной практики»[8]. Такое жесткое «включение» де Сада в историю философии Просвещения понадобилось ради дискредитации последнего. Просветительская традиция в наши дни подвергается на Западе ожесточенным нападкам не только справа, но и слева, со стороны размножившихся идеологов анархистского или полуанархистского толка. Для всех этих критиков де Сад — находка: он выступает как оппонент Просвещения «изнутри» самого Просвещения. Философы-просветители,

[5] A. Glucksmann. Cynisme et passion. P., 1981, p. 176.

[6] D. A. F. de Sade. Les prosperités du vice. P., 1969, p. 23.

[7] J. J. Brochier. Sade. P., 1966, p. 98.

[8] G. F. Dalmasso. La politica dell'immaginario. Rousseau-Sade. Milano, 1982, p. 21.

при известной ограниченности их учений и при всех различиях между ними, отстаивали гуманизм, завещав человечеству неуклонное восхождение к вершинам разума. Сегодняшние их буржуазные критики открывают для себя «другую сторону медали», находят там тяжелый профиль де Сада, проповедующего полную деградацию человека с отсылкой все к тому же авторитету разума.

Этого мало. Де Сада используют для подрыва гносеологической основы Просвещения (и не только Просвещения). Так как человек фигурирует в его произведениях в качестве либо мучителя, либо жертвы, буржуазные критики видят здесь отражение принципа субъектно-объектных отношений, лежащего в основе всей классической буржуазной философии. Принцип этот с некоторых пор стал бельмом в глазу у ряда буржуазных философов различных направлений и оттенков, принимающих его за первоисточник едва ли не всех бед, одолевающих капиталистическую цивилизацию. Главной бедой, из которой вытекают все остальные, упомянутые философы считают «чисто инструментальное» отношение к действительности, приписываемое ими «чрезмерному» отдалению субъекта от объекта, мыслящего от мыслимого. Де Сад будто бы иллюстрирует саму суть проблемы, представляя субъект познания в виде безжалостного мучителя, а объект — покорной жертвы. Если бы принципы отражались в зеркалах, его произведения в этом смысле можно было бы уподобить зеркалам смеха.

Но в произведениях де Сада нет места смеху, как нет места, между прочим, и ницшеанской эйфории (автор «Заратустры» сто лет спустя заново открыл формулу «все позволено», в ином контексте и на ином уровне) — одна угрюмая серьезность одержимого. И никаких ницшеанских высей и далей (хотя бы это и были лжевыси и лжедали). Читателю как будто предлагают опыты с целью продемонстрировать, сколь много зла способен доставить человек человеку, когда он перестает считать себя связанным чем бы то ни было. Следить за этим и тяжело, и — несмотря на то что тебя все время бьют по нервам — скучно.

«Нет ничего более отталкивающего и в то же время нет ничего более скучного... — писал о сочинениях де Сада один из его биографов лет шестьдесят назад. — Я не берусь утверждать, что такого рода книги следовало бы давать читать школьникам, но я думаю, зрелище изображенных в них преступных страстей внушает такое отвращение и такую чудовищную скуку, что они способны скорее направить на стезю добродетели...»[9] Насчет школьников — это, конечно, шутка. «Садический мир» — позволю себе следующее сравнение — производит примерно такое же действие на психику, как и анатомический театр. Как известно, анатомический театр существует специально для медиков, посторонних туда не пускают — не только школьников, но и взрослых (да никто туда, за очень редким исключением, и не просится).

К сожалению, оценки, подобные приведенной, редко можно встретить у сегодняшних биографов и комментаторов де Сада. Эстетское и объективистское отношение к нему, похоже, стало нормой: на таком фоне моральные оценки воспринимаются едва ли не как выходки дурного тона. «Неоконсервативная реставрация», охватившая в последние годы страны Запада, ничего в этом смысле принципиально не изменила. Попытки вернуть буржуазное общество «на стезю добродетели» свелись преимущественно к риторическим упражнениям и мало что дали (как об этом свидетельствуют западные социологи, психологи и т. д.) в практическом плане. Монструозная фигура де Сада, так сказать, вынесенная на берег современной культуры Запада на волне «левого» экстремизма и «сексуальной революции», осталась там маячить и тогда, когда эта волна пошла на убыль.

Буржуазные исследователи порою как будто забывают об элементарной духовной гигиене, о том, что де Сад — это такой материал, прикасаться к которому можно, фигурально выражаясь, только в перчатках. Между тем вниманию, каким он окружен, могли бы позавидовать многие классики. Создана громадная и непрерывно растущая «садиана» — «Карта Страны пороков и злодейств», — где всякие пути и перепутья изучаются с усердием, поистине достойным лучшего применения. А какие дифирамбы раздаются в адрес маркиза (иногда с оттенком иронии, иногда без него): «божественный маркиз», «дивный безумец», «божественный демон»... Лексика салонов времен романтизма.

Тот факт, что де Сад «освоен» буржуазной культурой, по крайней мере, выбивает последние подпорки под утверждениями о его антибуржуазности, о том, что в его лице любое общество имеет дело с «опасным революционером». Легенда о «Саде-революционере» стара и в какой-то мере связана с его игрой в якобинство.

Выйдя на свободу в 1790 году, маркиз надел демократическую блузу и записался в одну из якобинских секций, но тремя годами позднее был арестован за участие в заговоре против республики и просидел в тюрьме вплоть до контрреволюционного переворота 9-го термидора.

Был или не был «гражданин Сад» участником каких-то заговоров, он, так или иначе, оставался глубоко чуждым той среде, в которую затесался. Случайный и временный «попутчик», каких немало бывает во всякой революции, он решительно не принимал и не понимал — о чем свидетельствуют его собственные письма того времени — идеалов, выдвинутых революционным авангардом «третьего сословия». Другой вопрос — что привело де Сада в революцию; это уже забота биографов. Вероятно, не последнюю роль тут сыграла его склонность к игре и к травестии. Единственное, в чем маркиз был искренен, это в своих выступлениях, направленных против христианской религии. Но в них он вместе с водой выбрасывал и ребенка: выступая будто бы за «торжество разума», упразднял этику, перечеркивал всю ту структуру чувствительности, духовности, которая явилась достижением целой исторической эпохи.

В своих публичных выступлениях революционных лет де Сад обычно говорит на

[9] H. d'Almeras. Le marquis de Sade. P., 1922, p. 237—238.

чужом, не свойственном ему языке. Тем не менее и в них нет-нет да и прорывается нечто свое, садическое. Так, в набросках проекта конституции Французской республики де Сад хлопочет о возрождении гладиаторских боев (!) по образцу Древнего Рима. Идея эта, абсолютно несвоевременная в ту пору, не столь уж и абсурдна, если судить о ней по меркам современного Запада, где она давно уже носится в воздухе. Во всяком случае, в произведениях литературы и кино с некоторым уклоном в сторону фантастики она уже не раз находила воплощение: от нашумевшего в свое время рассказа Роберта Шекли «Седьмая жертва» (где речь идет о неких «клубах охотников на человека», члены которых поочередно выступают в ролях убийц и жертв) до демонстрировавшегося не так давно на наших экранах французского кинофильма «Цена риска». Сама действительность стимулирует подобную игру воображения: взять, к примеру, нравы буржуазного спорта — зачастую они не так уж и далеки от нравов древнеримских цирков.

Но вот в 1968 году де Сад неожиданно опять был зачислен в «революционеры» (?), на сей раз теми, кто сами заявили о себе как о революционерах. Что в нем привлекло «новых левых»? Откровенность, возведенная в достоинство даже в тех случаях (или особенно в тех случаях), когда она принимает патологический характер. Эпатаж. Бунтари, жаждавшие осуществить некое царствие анархически и гедонистски понятой «свободы», посчитали, что этого достаточно, чтоб маркиз мог быть, так сказать, принят в их благородное общество.

Наследники «новых левых» — «новые философы» — сами отказались от «революционных» претензий (только от нигилизма не отказались), но по крайней мере разглядели, что их вчерашний герой де Сад никакой не «революционер». Так, К. Жамбе и Г. Лярдро в своей книге «Ангел» пишут, что все его произведения пронизывает тезис о неравенстве, что их логика — это логика господствующих классов. Руководящая идея де Сада, по словам Жамбе и Лярдро,— «Мир дворцам, война хижинам!», то есть прямо противоположная той, которую выдвинула Великая французская революция.

Но это было ясно и без «новых философов». Классовые, аристократические предубеждения выпирают в произведениях де Сада. Все персонажи у него четко делятся на две категории: либо они мучители, либо жертвы. Каждому персонажу заранее определена роль в зависимости от занимаемого им общественного положения: богатые и знатные — всегда мучители, бедняки — всегда жертвы. Казалось бы, если уж внимать «голосу природы», в первую очередь следовало бы позабыть о всяких условностях, о социальной иерархии. Но нет: при всех обстоятельствах князь у де Сада остается князем, министр министром, а пейзанка пейзанкой. Как видим, природа здесь «ангажирована»: она всегда на стороне имущих.

Правда, иногда волею автора мучитель и жертва вдруг меняются местами. Но только на короткое время. Показательно сравнение с диалектикой отношений господина и раба из «Феноменологии духа» Гегеля (к которому прибегает уже цитировавшийся выше Дж. Дальмассо, не замечая, однако, принципиальной разницы в этом плане между де Садом и Гегелем): у де Сада нет никакой диалектики, есть только игра. Мучитель у него так и остается мучителем, а жертва жертвой. Нет никакого выхода за пределы существующего классового, иерархического строя, есть только его проекция в некую преисподнюю.

У читателя, вероятно, «сам собой» уже возник вопрос: существует ли прямая связь между де Садом и фашизмом?

Фашистские идеологи вроде бы не ссылались на де Сада и уж тем более не производили его в ранг «народного мыслителя», то есть своего предшественника. Но главный из тех, кого они сочли своими предшественниками (хотя бы они и истолковали его очень односторонне), вероятно, в определенной мере опирался и на де Сада: известно «восхищение», какое вызвал у Ницше «инфернальный маркиз»[10]. Примечательно, что на протяжении первой трети XX века нигде, в том числе и на родине маркиза, не появлялись о нем такие объемистые, гелертерски-обстоятельные и безответственно-апологетические (хотя бы и сугубо специальные) монографии, как в Германии. Случайно ли это? Как бы то ни было, уроки «профессора абсолютной свободы» наверняка были усвоены кое-кем из тех, кто позднее надел коричневые рубашки.

Станислав Лем в своей недавно вышедшей книге эссе «Провокация», посвященной ужасам гитлеровских лагерей смерти, назвал эсэсовских палачей «плагиаторами», скопировавшими образ действий персонажей де Сада. Герой садовского романа «Сто двадцать дней Содома», пишет Лем, «со стопятидесятилетним опережением обращается к осужденным им на смерть женщинам и детям тем же самым тоном, каким лагерные коменданты встречали вновь прибывших заключенных». Разница лишь в том, отмечает писатель, что садовский герой прибегает к «гораздо более изощренной риторике, чем та, на какую были способны эсэсовцы»[11].

Между прочим, изобретательные планировщики освенцимов и майданеков могли почерпнуть у де Сада или у его комментаторов даже чисто практические рекомендации по сооружению всякого рода пыточных устройств. Маркиз был большим докой по этой части: ознакомившись с соответствующими «достижениями» инквизиции, сам сконструировал (на бумаге, разумеется) орудия пыток, отличающиеся поистине дьявольской изощренностью. Хотя, конечно, практические рекомендации — далеко не главное, что можно было вычитать у де Сада. Главное — это сакраментальное «дозволено». Дозволено поступать как угодно с другим человеком, оставаясь на твердой почве «цивилизованности» и «мудрой рассудительности».

Ницше и де Сад, эти «два диоскура» (как

[10] E. Dühren. Der Marquis de Sade und seine Zeit. Berlin, 1901, S. 484.

[11] S. Lem. Provokacia. Krakov, 1984, s. 26.

их иногда иронически называют) антигуманистической мысли, могут претендовать на то, чтобы считаться духовными предтечами фашизма, хотя только первый был официально признан в этом качестве самими фашистами. Ницше воспел «красоту» силы, «романтику восхождения» сверхчеловека, «белокурой бестии», презревшей всякую мораль в отношениях с теми, кого она сочла недочеловеками; де Сад санкционировал нисхождение к самым омерзительным формам расправы с себе подобными, трезвосладострастному умерщвлению слабых и беззащитных.

Если раньше связь между садизмом и фашизмом была как будто затемнена, то теперь дело обстоит как раз наоборот. Взрыв интереса к де Саду, наблюдающийся «после 1968 года» — притом такого интереса, когда критическое и апологетическое отношение к нему зачастую оказывается сложным образом перепутано — породил одностороннее освещение истории фашизма: во многих произведениях литературы, кино и т. д. фашизм стали рассматривать как синоним садизма, то есть как оргию патологической жестокости, как вакханалию разрушения. Родился даже специальный термин — «садонацизм», что означает изображение нацизма как садизма. В той или иной мере подобный подход отражен в таких кинофильмах, как «Гибель богов» Л. Висконти (1969), «Сало́, или Сто двадцать дней Содома» П.-П. Пазолини (1975, в прокате появился, после некоторых колебаний цензуры, в 1977-м), «Ночной портье» Л. Кавани (1975), «Один день в Шонгау» В. Эберхарта (1982), «Черная стая» М. Арагона (1985) и других. Фильм Пазолини, например, представляет собой прямое перенесение садовского сюжета (романа «Сто двадцать дней Содома») в XX век, а именно—в период существования так называемой «республики Сало»[12].

Все примеры — кинематографические, так как кино — это особенно сильное средство воздействия на психику. Литература дает более сильный толчок работе ума и воображения, но экран глубже задевает сенсорный механизм. То глумление над образом человеческим, которое именуется садизмом, оно и на бумаге нетерпимо, а на экран его тем более нельзя переносить. На бумаге фантазии де Сада не столько страшны, сколько омерзительны. Чтобы быть по-настоящему страшными, они недостаточно правдоподобны (автор и не заботится о правдоподобии, не утруждает себя тем, чтобы «пугать» читателя — перед нами маньяк, ставящий мысленные «лабораторные опыты», которые он с барской небрежностью изображает в том виде, в каком они пришли ему в голову). Когда, например, читаешь у него, как один человек ж и в ь е м поедает другого человека (охвачено ли мировым «опытом» каннибализма что-нибудь подобное?), «где-то», как говорится, становится даже забавно — именно потому, что это слишком уж неправдоподобно. Экран — совсем иное дело. Переносить на экран даже малую часть садических кошмаров недопустимо — ибо на экране все выглядит слишком правдоподобно[13].

Вот что написал о фильме «Сало» крупнейший итальянский писатель Леонардо Шаша (между прочим, большой знаток французской культуры XVIII века) в журнале коммунистов «Ринашита»: «Во время демонстрации фильма я страдал ужасно... Такое впечатление он на меня произвел, что мне хотелось воскликнуть: «Боже, за что ты нас покинул?». В садических терминах, замечает Шаша, экрану здесь отведена роль мучителя, а зрителю — жертвы. И такая пытка достается на его долю, что атеист и «ученик Вольтера» (как Шаша сам себя называет) невольно повторил мысленно возглас, а вернее стон распятого Христа.

Не толкает ли подобная зрительская голгофа на путь, ведущий назад, к христианской религии? Приведя известный ему случай с девушкой, которая, прочитав де Сада, ушла в монастырь, Шаша заключает: «Именно этого мы и не хотим: чтобы девушки становились монахинями»[14]. Кстати говоря, рецензия Шаши называется «Бог позади Сада». Смысл заголовка: т а к о й «атеизм» способен завести скорее в тенета религии.

Но не являются ли фильмы, подобные «Сало», антифашистскими? Обычно их авторы именно так их и преподносят. По их, то есть авторов, мысли, натуралистический показ всевозможных злодеяний призван внушить отвращение к фашизму и ненависть к нему. Дело, однако, в том, что фашизм не может быть сведен к садизму. Розенберговские «мифы XX века» создавались для миллионов, а не только для заплечных дел мастеров из персонала гестапо или зондеркоманд, и своей целью они ставили не только разрушение, но и поддержание определенного — террористического, фашистского — порядка. Разумеется, именно бесчеловечная жестокость представляет собой наиболее одиозную сторону фашизма, но в тех фильмах, о которых идет речь (и в близких им по замыслу произведениях литературы), жестокость в значительной мере выступает как бы сама по себе, исторический «контекст» в них играет минимальную роль, а иногда сводится к чисто внешним приметам: скажем, нарукавным повязкам со свастикой, свидетельствующим, что палачи являются именно нацистами, а не кем-нибудь еще. Идея этих произведений в том, что фашизм создает условия для проявления самых отвратительных инстинктов. В принципе оно, конечно, так и есть, но здесь акцент делается именно на инстинктах, тогда как идеология, режим, по сути, выступают всего лишь как повод.

Каковы бы ни были субъективные намерения авторов подобных произведений, изображение жестокости у них оказывается весьма двусмысленным: то ли они действительно хотят показать, на какую деградацию обрекает человека фашизм, то ли всего лишь хотят довести зрителя (читателя) до изнеможения. Иногда кажется, что авторы

[12] Марионеточное государство во главе с Муссолини, существовавшее в северной части Италии, оккупированной германскими войсками с сентября 1943 года до конца второй мировой войны.

[13] Кино, впрочем, не первым стало на путь воплощения садических идей. Эта «честь», по-видимому, принадлежит парижскому театру Гран-Гиньоль, существующему с 1899 года (о нем можно прочесть в книге Г. Бояджиева «Театральный Париж сегодня», изданной четверть века назад).

[14] «Rinascita», 1975, № 49, p. 31.

и не ставят перед собой определенной задачи (это не относится к таким художникам, как Пазолини и тем более Висконти), а просто «играют в фашизм» (точнее, «садонацизм») и игра эта доставляет им определенное удовлетворение.

Судя по всему, буржуазное общество стоит перед искушением садизмом, и искушение это настолько сильно, что зачастую идеи и образы проповедника «ожесточения душ» завораживают даже тех, кто по видимости активно им противится. Это искушение «предельной бесчеловечностью» (выражение самого де Сада), тотальным разрушением и смертью. Впрочем, назвать садизм философией смерти будет, пожалуй, чересчур лестным для него. Все-таки смерть — естественное завершение жизни. Садизм же — философия чудовищного насилия над жизнью, философия антижизни.

«Настоящее чувство отчаяния,— пишет уже цитировавшийся Бакколо,— у де Сада вызывает невозможность разрушать далее определенных пределов, за которыми природа уже недосягаема». Мы знаем, что со времен де Сада разрушительные возможности неизмеримо возросли, и если еще нельзя обратить в пыль нашу планету, то уничтожить на ней все живое, наверное, уже можно. Надо надеяться, что те, кто «держит палец на кнопке», и те, кто командует теми, «кто держит палец на кнопке», все-таки не являются поклонниками «садовника смерти» (как назвал маркиза один из современных критиков) и не глухи к доводам здравого смысла. Но если ракеты, начиненные ядерной смертью, упокоятся, как оно должно быть, в глубине своих шахт и человечество уцелеет физически, под угрозой останется нечто не менее важное для него, чем физическое выживание,— человечность. Понятая в самом полном смысле этого слова, идущем из глубины родовой памяти и проясненном опытом современной эпохи.

◆

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Юмористические рассказы ВИКТОРА АРДОВА. Издательство «Христо Г. Данов».
Сборник стихов СЕРГЕЯ БОБКОВА «Судьба». Издательство «Народна младеж».
Военные мемуары ФЕДОРА БОКОВА «Весна победы». Воениздат.
Повести ЯНКИ БРЫЛЯ. Издательство «Народна култура».
Повесть НИКОЛАЯ ЛЕОНОВА. «Выстрел в спину». Издательство «Народна младеж».
Сборник статей НИКОЛАЯ МАШОВЕЦА «Осмысление». То же издательство.
Роман МИКОЛАСА СЛУЦКИСА «Чужие страсти». Партиздат.
Сборник статей КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО «Лица и маски». Издательство «Г. Бакалов».

ВЕНГРИЯ

Сборник рассказов ИСААКА БАБЕЛЯ «Конармия» (9-е издание). Издательство «Европа».

Повести РОМУАЛДАСА ЛАНКАУСКАСА. То же издательство.

Повесть ВЛАДИМИРА МАШКОВА «Как я был вундеркиндом». Издательство «Мора». Книга ЕЛЕЗАРА МЕЛЕТИНСКОГО «Поэтика мифа». Издательство «Гондолат».

ГДР

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Ранние журавли». Издательство «Киндербухферлаг».

Роман АРКАДИЯ АДАМОВА «На свободное место». Издательство «Фольк унд вельт».
«Рассказы о всякой живности» ВАСИЛИЯ БЕЛОВА. Издательство «Киндербухферлаг».

Повесть АРКАДИЯ ГАЙДАРА «Тимур и его команда». То же издательство.

Роман АЛЕКСАНДРА ГРИНА «Золотая цепь». Издательство «Ноейс лебен».

Роман ИОНА ДРУЦЭ «Белая церковь». Издательство «Фольк унд вельт».

Критика

Не утихают споры критиков, литературоведов, да и самих писателей вокруг реализма. В чем его суть? Где границы? В какой мере современная литература остается в русле реализма?

Разумеется, попытки ограничить творчество писателя-реалиста строгими стилевыми нормативами, требования, чтобы художник брал на вооружение одни приемы и отвергал другие,— бесплодны. Палитра изобразительных средств писателя практически неограниченна, меру правдоподобия и условности, интеллектуальной нагрузки и иносказания определяет сам мастер. Есть только одно незыблемое требование к художественному творчеству: постигая жизненную правду, устремляться к высокому идеалу человечности.

Публикуемая статья Арсения Гулыги знакомит с историей дискуссий по данному вопросу, которые шли среди представителей немецкой классической литературы и философии и выплеснулись в современность. История здесь обращена к теории творчества и его практике. Надеемся, знакомство со статьей поможет читателю в поисках ориентиров для оценки произведений современной зарубежной литературы.

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА

КРИТЕРИЙ — ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

О двух способах художественного обобщения

Предмет статьи — в центре современных споров. Передо мной книга известного нашего логика Д. Горского «Обобщение и познание». Внимание автора привлечено и к искусству. Горский признает наличие двух видов художественного обобщения. Один, хорошо изученный,— типизация. Другой вид вслед за В. Днепровым Горский называет идеализацией. «Под художественной идеализацией мы понимаем способы обобщения и конструирования художественных форм произведения на основе приближения их к некоторым образцам путем устранения из них того, что не соответствует идеям, устремлениям, идеалам писателя, и вместе с тем добавления к ним того, что соответствует им. В произведениях, использующих методы художественной идеализации, на первый план выдвигается общее, иногда — условное, в то время как индивидуальное схематизируется»[1].

Такой подход к делу справедлив, он согласуется с практикой искусства и историей эстетики. Возразить можно только против термина. Идеализация (в эстетике) — это построение идеала, улучшение положительного явления; писатель же, схематизируя предмет, абстрагируясь от жизненной полноты, может совершать и иную процедуру — ухудшить плохое, гиперболизировать отрицательное. Далее, идеализация как метод, применяемый в науке, означает конструирование того, что принципиально невозможно (например, точка, абсолютное тело и так далее). Наука применяет, однако, и другой метод, который весьма близок к соответствующей процедуре художественного обобщения. Состоит он в конструировании того, что реально существует, но не встречается в «чистом» виде. Называется он типологизацией, или типологией. Этот термин целесообразно использовать и в теории искусства.

Б. Лукьянов в работе «В мире эстетики» принимает и указанную выше дихотомию искусства — терминологию — «типизация» и «типологизация»[2]. А вот М. Лифшиц в

[1] Д. Горский. Обобщение и познание. М., «Мысль», 1985, с. 198. *(Здесь и далее прим. автора.)*

[2] Б. Лукьянов. В мире эстетики. М., «Просвещение», 1983, с. 73.

ГУЛЫГА АРСЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1921 г.) Советский философ и критик, доктор философских наук, профессор. Автор многих работ по эстетике, истории философии, литературе и искусству, в том числе книг: «История немецкого материализма» (1962), «Гердер» (1963, 1975), «Гегель» (1970), «Эстетика истории» (1974), «Кант» (1977, 1981), «Искусство в век науки» (1978), «Искусство истории» (1980), «Шеллинг» (1982, 1984), «Немецкая классическая философия» (1986).

книге с тем же названием резко возражает против того и другого. Концепция двух способов художественного обобщения, по утверждению Лифшица, направлена на «отмену реализма», основана на «ходячем авангардизме», связана с «эпидемией современного дикарства в искусстве». Такое утверждение, мягко говоря, противоречит фактам, хотя по форме построено верно. Но я в тупике, когда читаю у Лифшица: «Типологизация против типологии», или: «Никакая «типологизация» не может командовать «типологией» [3] — здесь противопоставлены синонимы.

Задача данной статьи показать, что проблема двух способов художественного обобщения никакого отношения к «авангардизму» не имеет, возникла еще в XVIII столетии, прошла через XIX век и пришла к нам как методологическая проблема, волновавшая писателей, прочно опиравшихся на реалистическую традицию. Томас Манн признавался, что из своих героев он больше всех любит Адриана Леверкюна («Доктор Фаустус»): «Любопытно, что при этом он почти лишен у меня внешнего вида, зримости, телесности. Моим близким всегда хотелось, чтобы я его описал... наделил его психологической индивидуальностью, наглядно его показал. Как это было легко! И как в то же время таинственно-непозволительно... Тут нельзя было нарушать некий запрет или, вернее, тут надлежало соблюдать величайшую сдержанность во внешней конкретизации, которая грозила сразу же принизить и опошлить духовный план с его символичностью и многозначительностью. Да, только так: персонажами романа, коль скоро это определение предполагает известную картинность, красочность, могли быть лишь сравнительно далекие от центра действующие лица книги...» [4]. Отказ от типизации в изображении главного героя Манн сочетал с применением этого метода в изображении побочных персонажей. Следовательно, оба способа обработки материала не исключают друг друга, встречаются у одного и того же автора, в одном и том же произведении. И это знали давным-давно. Уже в XVIII веке, проследовать в который я и приглашаю читателя.

Начну с небольшого эпизода из биографии Фридриха Шиллера. Летом 1795 года между ним и философом Иоганном Готлибом Фихте произошел трудно объяснимый инцидент. До этого их отношения были безоблачными. Начинавший входить в моду мыслитель уже напечатал в журнале Шиллера «Оры» небольшую статью, теперь он готовился к публикации новой, обширной работы «О духе и букве в философии». Он не сомневался в благожелательном отношении редактора, поэтому послал ему начало еще незавершенного трактата. Закончить текст ему так и не пришлось: Шиллер вернул начало статьи с резкой отповедью.

Это не была скоропалительная отписка. Шиллер внимательно прочитал полученный текст, скопировал его, тщательно взвешивал каждое слово своего письма Фихте. В четвертом его варианте Шиллер отмечал, что статья не подходит из-за «ее непомерной длины, которая угадывается», а также потому, что она посвящена не столько философии, как обещает заголовок, сколько искусству, и нехороша по стилю: в ней нет «взаимодействия между образом и понятием», а есть лишь «чередование их».

Фихте был удивлен и возмущен. Его ответ Шиллеру лишен обращения в начале письма и приветственной формулы в конце, полон резкостей: Шиллер берется судить философскую работу, а по какому праву? Шиллер — поэт и историк; что касается его философских произведений, их покупают, но не читают, их расхваливают, но никто не может сказать, какой в них смысл.

Теперь настала очередь Шиллера дать полную волю своему раздражению: «Через 100 или 200 лет, когда в философской мысли произойдут новые революции, ваши писания будут, правда, цитировать и по достоинству оценивать, но читать не будут — это заложено в природе вещей, точно так же, как в ней заложено и то, что мои... будут тогда читаться не больше, но во всяком случае и не меньше, чем сейчас. А почему так произойдет? Потому что... произведения, оказывающие воздействие независимо от своего логического содержания и носящие живую печать индивидуальности, бесцельными стать не могут...» [5].

Их отношения вскоре наладятся, Фихте снова назовет Шиллера «почтенный друг», свою незаконченную работу он опубликует в другом месте, следы столкновения сотрутся. Что же все-таки произошло? В комментариях к последнему нашему изданию Шиллера эпизод объясняется «отрицательным отношением Шиллера к реакционно-идеалистической философии Фихте». Но почему же он перед этим без возражений напечатал другую работу Фихте? Даются этому происшествию и чисто психологические истолкования: Шиллер был вспыльчив и так далее [6]. Почему он вспылил?

Мое внимание привлекло следующее обстоятельство: как было отмечено выше, Шиллер скопировал полученный от Фихте текст, одно место он переписал собственноручно. Прочтем его: «Существуют художники, стремящиеся понять и сохранить свое воодушевление, которые ищут материал вокруг себя, находя для выражения наиболее подходящий; они сначала схватывают дух, а затем подыскивают для него кусок глины, чтобы вдохнуть в него живую душу. Есть и другие, у которых дух рождается одновременно с телесной оболочкой, из души которых сразу вырывается вся полнота жизни. Первые создают отшлифованные, тщательным образом рассчитанные продукты, части которых сораз-

[3] М и х. Л и ф ш и ц. В мире эстетики. М., «Изобразительное искусство», 1985, с. 88, 60.

[4] Т. М а н н. Собр. соч. М., «Художественная литература», 1960, т. 9, с. 260.

[5] Ф. Ш и л л е р. Собр. соч., т. 7. М., «Художественная литература», 1957, с. 343, 674.

[6] См.: G. S c h u l z. Die erste Fassung Fichtes Abhandlung «Über Geist und Buchstab in der Philosophie». In: «Goethe. Neue Folge des Jahrbuches der Goethe-Gesellschaft». Bd. 17. Weimar, 1955, S. 114—121.

меряются тончайшим образом с целым, но внимательный глаз может увидеть в сочленении духовного и телесного руку художника. В произведениях других духовное и телесное сливаются неразличимым образом, как в мастерской природы, и полнота жизни проникает даже в самые внешние части; в них, как и в созданиях природы, можно обнаружить иногда небольшие наросты, назначение которых нельзя указать, но и устранить их нельзя, не вредя целому. У нашего народа есть мастера того и другого рода» [7].

Критикуя работу Фихте и отвечая на его возражения, Шиллер ни разу не упомянул об этом абзаце, который, видимо, занимал его больше всего. Я повторяю: Шиллер не доверил это место переписчику и скопировал его сам [8]. Судя по всему, Шиллер не хотел обсуждать с философом проблему, в решении которой он пришел к иному выводу, чем Фихте, явно отдававшему предпочтение одному методу в искусстве, иному, чем шиллеровский. Вывод Шиллера основывался и на опыте собственного многолетнего творчества, и на специальной теоретической работе, которую он создавал как раз в 1795 году и которая вскоре увидела свет.

Работа Шиллера «О наивной и сентименталической поэзии» появилась в журнале «Оры» в виде трех самостоятельных статей — «О наивном», «Сентименталические поэты», «Заключительное рассуждение о наивных и сентименталических поэтах». Задача работы состояла в том, чтобы рассмотреть «...те два вида, в которых только и может проявляться поэтический гений» [9]. Исходный пункт Шиллера — мысль Канта о том, что для эстетического наслаждения необходимо определенное несовпадение между изображаемым предметом и его художественным изображением; в противном случае переживание будет носить либо моральный, либо интеллектуальный характер.

И все же поэт может стремиться к наиболее полной передаче действительности. Поэзию такого рода Шиллер называет «наивной», придавая термину высокий смысл. Термин заимствован у Канта, который в «Критике способности суждения» (§ 54) говорил о наивности как о синониме естественности, противостоящей искусству притворяться. «Искусство быть наивным есть противоречие; но изобразить наивность в вымышленном лице вполне возможно, и это есть прекрасное, хотя и редкое искусство» [10]. Шиллер считает, что Кант узко понимает наивность, берет лишь частный случай; наивным может быть образ мыслей, если человек верен природе; наивным может быть мир человека, если он соответствует природе, наивным может быть поэт, если он живет природой.

О наивном поэте Шиллер говорит проникновенно: «Объект владеет им целиком, его сердце не лежит, подобно дешевому металлу, тут же у поверхности, но хочет, чтобы его, как золото, искали в глубине. За своим произведением он стоит как бог за мирозданием: он — произведение, ибо произведение — это он» [11]. Таков Гомер среди древних и Шекспир среди новых поэтов. Имена достаточно авторитетные.

Иного рода поэзия — «сентименталическая». Это поэзия человека, утратившего природу и мучительно ищущего ее. Поэтому сентименталический поэт непосредственно устремлен к идеалу. Наивный поэт воспроизводит предметы, сентименталический «...размышляет над впечатлением, которое производят на него предметы, и волнение, испытываемое им самим и передающееся нам, основано только на этом его размышлении» [12].

Наивный поэт превосходит сентименталического реальностью изображения, преимущество последнего состоит в том, что он способен показать нечто более высокое — идеал, который превосходит любую действительность. Наивный поэт может выполнить свою задачу до конца: перед ним всегда стоит ограниченная задача, цель сентименталического поэта уходит в бесконечность, поэтому она недостижима. Обоим видам поэзии грозит одна и та же опасность — бессодержательность. Для наивной поэзии она состоит в недостатке духа, для сентименталической — в том, что в ней не находят подчас предмета. Для искусства и неодухотворенный предмет, и беспредметная игра духа одинаково опасны.

Речь у Шиллера идет не о противопоставлении античного и нового искусства и не о различии жанров; в одном и том же произведении могут быть представлены и наивное и сентименталическое начала, ибо автор говорит только о том, как воплощаются мировоззренческие идеи — непосредственно или опосредованно. «В новые, даже в новейшие времена есть, хотя и не совсем чистые, образцы наивной поэзии всех видов, а в древнеримской и даже греческой поэзии нет недостатка в примерах поэзии сентименталической. Оба рода соединяются иногда не только в одном поэте, но даже в одном произведении — например в «Страданиях Вертера» [13]. Собственное творчество Шиллер считал сентименталическим.

Оба вида поэзии имеют равное право на существование. «Задача настоящих размышлений в том и состоит, чтобы доказать, что лишь совершенно равноправное включение обоих классов может дать удовлетворительное содержание разумному понятию человечности... С обоими может быть связана высокая мера человеческой правды» [14].

Статью Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии», содержащую *дихотомию* поэзии, можно в известном смысле рассматривать в качестве ответа на статью Гёте «Простое подражание природе. Манера. Стиль» (1789), где предлагалась *трихотомия*, троякое разделение искусства. «Простое подражание» — это рабское копирование природы, «манера» — субъектив-

[7] J. G. Fichte. Von den Pflichten der Gelehrten. B., 1972, S. 176.

[8] Об этом см.: J. G. Fichte. Gesamtausgabe. Reihe I, Bd. 6, S. 315.

[9] Ф. Шиллер. Собр. соч., т. 6, с. 396.

[10] И. Кант. Собр. соч., т. 5. М., «Мысль», 1966, с. 355.

[11] Ф. Шиллер. Собр. соч., т. 6, с. 405.

[12] Там же, с. 413.

[13] Там же, с. 410. Перевод уточнен автором статьи.

[14] Там же, с. 467.

ный язык, «в котором дух говорящего запечатлевает себя и выражает непосредственно». Наконец, «стиль», который «покоится на глубочайших твердынях познания, на самом существе вещей, поскольку нам дано его распознавать в зримых и осязаемых образах» [15]. Гёте говорит о «близком родстве» всех трех методов, уважительно относится к каждому, но предпочтение отдает «стилю». Именно этот термин служит «...для обозначения высшей степени, которой когда-либо достигало и когда-либо сможет достигнуть искусство». Гётевская трихотомия служила цели обосновать преимущество одного, единственного метода.

Шиллер выступил против Гёте, но сделал это в высшей степени осторожно и мудро. Нигде в своей статье даже намеком он не обмолвился о том, что их мнения расходятся (современники быстро разберутся, что к чему, некоторые вмешаются в спор, не нарушая заданных «правил игры», а другие будут ставить точки над «i»). Шиллер посылал Гёте части своей работы по мере их написания и до опубликования, Гёте отзывался... одобрительно: «От Вашей статьи я ожидаю многого, то, что мне известно о Ваших идеях, последнее время помогает мне на практике» (письмо Шиллеру от 25.2.1795). «Окончание трактата о наивных и сентиментальных поэтах и людях я перечитал с большим удовольствием» (письмо Шиллеру от 13.2.1796). А Шиллер с удовлетворением сообщил Вильгельму Гумбольдту: «Гёте, закоренелый реалист, следил за ходом моих рассуждений и также понял меня» (письмо от 9.1.1796). В конце концов Гёте принял предложенную Шиллером дихотомию, а в статье «О наивной и сентиментальной поэзии» увидел «первую основу для всей новой эстетики» [16].

Насколько идеи Шиллера увлекли современников, настолько его терминология оказалась неприемлемой. Особенно резало глаз прилагательное «сентиментальный» (sentimentalisch), сам Шиллер впоследствии не раз заменял его на «сентиментальный» (sentimental). Гердер, высоко оценивший статью Шиллера, предложил, однако, свои термины для дихотомии — «объективная» и «субъективная» поэзия [17] (Гомер — объективен, Клейст — субъективен и так далее).

Гегеля Шиллер не убедил. В своем курсе лекций по эстетике, который читался на протяжении ряда лет в Берлинском университете, он неизменно отстаивал преимущество одного вида художественного обобщения. Он считал, что всеобщее в искусстве «...должно смыкаться в отдельных лицах в *целостность* и *единичность*. Этим целым является человек в своей конкретной духовности и субъективности, человеческая цельная в себе индивидуальность как характер» [18]. Примером для Гегеля служил Гомер, у которого каждый герой представляет собою живой охват свойств и черт характера: «Об Ахилле можно сказать: это человек! Многосторонность благородной человеческой натуры развертывает все свое богатство в этом одном человеке. И точно так же дело обстоит с остальными гомеровскими характерами. Одиссей, Диомед, Аякс, Агамемнон, Гектор, Андромаха, каждое из этих лиц является целым самостоятельным миром, каждое из них является полным, живым человеком, а не аллегорической абстракцией какой-нибудь одной черты характера». Иное дело «Песнь о Нибелунгах», герои которой выведены бедно и бледно. У Гегеля не возникает никаких сомнений: искусство воплощает общее в единичном. Работу Шиллера о двух видах поэзии не знать он не мог, но в трех томах гегелевской «Эстетики» нет даже намека на нее. Нет, впрочем, и упоминания о «Письмах для поощрения гуманности», где Гердер употребил выражение «этот» для характеристики предельной индивидуализации в искусстве. Вряд ли Гегель не знал и работу В. Гумбольдта «Эстетические опыты» (с которой далее познакомится читатель), где содержится аналогичная характеристика гомеровских героев. В то время не было привычки ссылаться на своих предшественников.

Вильгельм Гумбольдт — активный участник спора о художественном методе, принявший «правила игры». Спор шел неявно, без открытых полемических выпадов. И Гумбольдт в своих высказываниях, содержащих четко сформулированный взгляд, не называет оппонентов. Он сравнивает двух поэтов — Гомера и Ариосто: «У Гомера на первый план выступает предмет, а сам певец исчезает. Ахилл и Агамемнон, Патрокл и Гектор стоят перед нами, мы видим, как они живут и действуют, и забываем, какая сила вызвала их из мира теней в эту живую действительность. У Ариосто действующие лица не менее реальны, но мы не теряем из виду и поэта, он присутствует все время на сцене, именно он нам их показывает, передает их речи, описывает поступки. У Гомера событие следует за событием, все прочно связано друг с другом и само проистекает из другого. Ариосто плетет свою нить гораздо свободнее, но даже если она тянется сама собой, он умышленно обрывает ее, как бы своенравно играя и показывая скорее собственный произвол, нежели прочность материала; он сам себя перебивает, перепрыгивает с одного на другое, как бы подчиняя (и в этом частично заключается его мастерство) происходящее своему капризу, но на самом деле поступая в соответствии с законами контраста и созвучия ощущений, пробуждаемых у читателя... У Гомера представлены только природа и дело, у Ариосто — мастерство и личность... Оба владеют высокой степенью объективности» [19]. Последняя фраза — почти цитата из Шиллера.

Вместе с тем у Гумбольдта возникает опасение, не будет ли означать прямое обращение к идеалу отрыва образа от реальности, не приведет ли это к дидактике. В письме к Шиллеру он так и выразился: «Сентиментальный поэт отличается от-

[15] И. В. Гёте. Об искусстве. М., «Искусство», 1975, с. 95, 97.
[16] И. В. Гёте. Избранные философские произведения. М., «Наука», 1964, с. 215.
[17] J. G. Herder. Briefe zur Beförderung der Humanität, B., 1971, Bd. 2, S. 141.
[18] Гегель. Соч., т. XII. М., Соцэкгиз, 1938, с. 240—242.
[19] W. Humboldt. Gesammelte Schriften. Bd. 2, S. 164.

рывом идеала от действительности»[20]. В другом письме к Шиллеру он настаивал: «Всякий художник идеализирует, но хороший при этом остается индивидуальным».

Что мог ответить Шиллер? Прежде всего он поблагодарил за внимание к его трактату «О наивной и сентиментальной поэзии». Он признавался: «Мне этот труд ближе многих других... На ваши сомнения я могу ответить следующим. Мне кажется, из ваших замечаний явствует, что вы в видовые понятия поэзии вкладываете содержание ее родового понятия, которое безусловно требует объединения индивидуального с идеальным. Я видовые понятия мыслю себе в качестве границ для родового понятия, вы же представляете их скорее как различные его осуществления. Однако известно, что наивная поэзия более ограниченна по содержанию, а сентиментальная менее совершенна по форме... Так как я хотел подчеркнуть именно *видовые* различия, то мне пришлось сделать ударение как раз на негативной части, пришлось абстрагировать из них все, что принадлежит роду, для того, чтобы обратить внимание на то, что роду противостоит. Наивная поэзия относится к сентиментальной, как наивное человечество к сентиментальному. Но вы, конечно, согласитесь, что наивное человечество не обладает тем духовным содержанием, какое охватывает культура сентиментального человечества... Сентиментальная поэзия представлена мной лишь как стремящаяся к идеалу... поэтому in effectu я считаю ее менее поэтичной, чем наивную. Она идет к более высокой поэтической идее, но наивная поэзия, хотя и не достигшая в действительности таких высот, тем не менее на деле оказывается более поэтичной... Наивная поэзия... представляет род более чисто, но на более низкой ступени»[21].

Шиллер схватил диалектическое противоречие: то, что он называл наивной поэзией, представляет собой только искусство, его сентиментальная поэзия — это выход за рамки художественного творчества, переход в иную сферу — философию, мудрость, саму жизнь. Стремление выйти за свои границы и перейти в смежную область всегда плодотворно, задача, однако, состоит в том, чтобы не потерять из виду исходные рубежи. Поэзия должна оставаться поэзией и не растворять себя в ином. Это понимали и Шиллер и Гумбольдт.

Один из самых интересных разделов в «Эстетических опытах» — двенадцатый — «Отличие высокого и подлинного стиля в поэзии от псевдостиля». Здесь мысль автора как бы движется между позициями, первоначально занятыми в эстетике Гёте и Шиллером. Имена не названы, цитаты отсутствуют, взят только гётевский термин «стиль». Есть две возможности, говорит Гумбольдт, утратить высокий, подлинный стиль. «Помимо большого стиля в искусстве существует еще один, который даже более льстит вкусу от природы менее чистому и избалованному, и его часто путают с подлинным. И так как оба лежат в двух различных сферах, то сама критика может колебаться между двумя художественными произведениями, из которых одно, отличаясь менее высоким стилем, достигает большего, нежели другое, идущее лучшим, но более крутым путем»[22].

Есть еще один вариант «псевдостиля», когда поэт начинает действовать при помощи чего-то, что вообще уже не есть искусство. В поэзии опасность эта сильнее, чем в других видах искусства, потому что она пользуется средствами языка, которые, по мнению Гумбольдта, первоначально сложились для рассудка и нуждаются в переработке, чтобы получить доступ к фантазии; поэзия легко может перейти в область философии, забыть о своих границах, прочерченных воображением.

Поэзия теряет свое высокое призвание, вырождается, «стремясь то нравиться живописными картинами», то удивить и потрясти «блестящими и трогательными сентенциями». В обоих случаях творение гения вырождается в продукт таланта; сила воображения здесь не свободна и не способна перенести нас из круга повседневной действительности в царство идеала, а без этого нет подлинно художественного воздействия

Весь этот раздел представляется мне осторожно сформулированной, рассчитанной на знатока попыткой определить свою точку зрения в споре Гёте — Шиллер, который, напомним, шел неявно и не содержал открытых полемических выпадов Гёте высказал свой взгляд на задачу художника (передавать общее через особенное) в статье «Простое подражание природе Манера. Стиль». Шиллер возразил ему в статье «О наивной и сентиментальной поэзии», отметив, что наряду с описанным Гёте методом возможен и другой, равноценный — непосредственное обращение к идеалу. Гумбольдт предупреждает, что оба эти метода содержат одинаковую возможность забвения главной задачи искусства — утверждения идеала художественными средствами. В одном случае («живописные картины») может пропасть идеал, в другом («блестящие и трогательные сентенции») — исчезнуть поэзия. Это только предостережение, напоминание о главной задаче художника, призыв не искать легких решений, а идти максимально «крутым путем».

Гумбольдт дает четкую дефиницию: «Идеалом мы называем изображение идеи в облике индивида»[23]. Не идеализированная абстракция, а живой, яркий образ выступает в искусстве как носитель идеала. Образ Доротеи в поэме Гёте тем и хорош, что на примере этого образа «поэт показал, как точно он может слить естественную правдивость с подлинной идеальностью».

В учении о художественном идеале Гумбольдт вполне оригинален, развертывает собственную концепцию, которая, хотя и базируется на предшествующих, но со-

[20] Der Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm von Humboldt. Berlin, 1962, S. 267, 103.

[21] Ф. Шиллер. Собр. соч., т. 7, с. 371—374. Перевод уточнен автором статьи.

[22] W. Humboldt. Gesammelte Schriften. Bd. 2, S. 143, 144.

[23] Там же, с. 261, 310.

держит новые подходы и решения. Для Канта (и для Шиллера-теоретика) идеал — всегда нечто запредельное, служащее путеводной нитью, но никогда не осуществимое. Для Гумбольдта идеал реализуется в искусстве. Именно поэтому он смог найти замечательные слова для характеристики Шиллера-художника. Он сравнил его с Шекспиром. «Шекспир, если я не ошибаюсь, обладал тем же устремлением воображения, что и вы, только он остановился на рубеже, который вы переступили, поэтому есть у него преимущества перед вами, но также и недостатки. По потрясающему изображению жизни я считаю его недостижимым. Он схватывает явление непосредственно, останавливается и прочно задерживает нас; у него есть все ужасное, все мрачное и безнадежное, что только сопровождает человека в его борьбе с судьбой и от чего нельзя отвести взор, он обладает всей чувственностью, всей величиной, всей истиной непосредственной действительности... Наблюдать борьбу такого духа, как шекспировский, с оковами и мраком своего столетия потрясает само по себе. Дать высокую ясность, чистый взгляд на человечество и его судьбу Шекспир не в состоянии»[24]. Такой взгляд дает, по мнению Гумбольдта, Шиллер.

Именно за это, за «чистый взгляд на человечество» чтили Шиллера русские классики. Достоевский признавался: «Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта... Имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний»[25]. О Шекспире такого Достоевский никогда не сказал бы (к Шекспиру взывает Фома Опискин в романе «Село Степанчиково»). А что касается Толстого, так тот просто не терпел Шекспира. И это не было чудачеством. Томас Манн прекрасно объяснил, в чем было дело: «Ненависть Толстого к Шекспиру, возникшая гораздо раньше, чем обычно принято считать, это бунт против всеобъемлющей и всеутверждающей природы, ревность морально истерзанного человека к мировой славе и иронии самодержавного творца; в ней выражено стремление уйти от природы, от наивности, моральной индифферентности к духу, то есть к нравственному признанию даже социальных ценностей»[26]

Русские классики ценили Шиллера-художника, но шли иным путем и не старались осуществить предначертания Шиллера-теоретика. Концепция сентименталической поэзии применима скорее к немецкой литературе, чем к русской. «Лучшие наши романы, — признавался Г. Гессе, — это... переодетая философия»[27] Русские классики по сути дела воплотили программу не Шиллера, а В. Гумбольдта (разумеется, не задумываясь над ней). В русской классической литературе философия была глубоко упрятана в художественную ткань. Идеал всегда воплощен в индивиде, сочетается с правдой жизни, притом это высокий, нравственный, человечный идеал.

Антитеза Шиллер — Шекспир привлекала внимание классиков марксизма. Разбирая трагедию Ф. Лассаля «Франц фон-Зиккинген», Маркс предлагал автору перенести акцент на изображение революционного плебейства. «Тебе волей-неволей пришлось бы тогда в большей степени *шекспиризировать*, между тем как теперь основным твоим недостатком я считаю то, что ты пишешь *пошиллеровски*, превращая индивидуумы в рупоры духа времени»[28]. Энгельс был согласен с Марксом: «Согласно *моему* пониманию драмы, требующему, чтобы за идеальным не забывать реалистического, за Шиллером — Шекспира, привлечение тогдашней, поразительно пестрой плебейской общественности дало бы совершенно иной материал для оживления драмы...»[29].

А. Луначарский в статье о Шиллере, приведя обе цитаты из Маркса и Энгельса, писал: «Мне хочется предупредить моих читателей от слишком поспешных выводов, которые я уже встречал в печати и которые выдаются за будто бы вытекающие из суждений Маркса и Энгельса о Шиллере... Энгельс вовсе не зовет Лассаля отбросить Шиллера и целиком перейти на почву «шекспиризирования»[30].

Предупреждение Луначарского подействовало далеко не на всех, и в середине 30-х годов венгерский литературовед Д. Лукач выступил с рядом статей, в которых отстаивал принципы, схожие с шиллеровской «наивной поэзией», заимствуя их из гегелевской эстетики и выдавая их за единственно возможные в искусстве. «Само собой разумеется: без абстракции нет искусства, как иначе может возникнуть типическое? Но абстрагирование, как и любое движение, имеет определенное направление, и все дело именно в этом. Любой значительный реалист обрабатывает, используя абстрагирование, материал своих переживаний, чтобы обнаружить закономерности объективной действительности, глубокие, скрытые, непосредственно не воспринимаемые связи общественной действительности. Так как эти связи не лежат непосредственно на поверхности, возникает для подлинного реалиста трудная, двойная художественная и мировоззренческая задача: во-первых, мыслительное раскрытие и художественное формирование этих связей, во-вторых, одновременно художественное сокрытие выработанных абстракций, снятие абстрагирования. Благодаря этой двойной работе

[24] Der Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm von Humboldt. Bd. II, S. 205.

[25] Ф. Достоевский. Об искусстве. М., «Искусство», 1973, с. 373. Ср. признание Л. Толтого: «Шиллера я люблю, это свой человек» («Литературное наследство», т. 90, М., «Наука», 1979, с. 262).

[26] Т. Манн. Собр. соч., т. 9, с. 518. Слово «наивность» здесь употреблено не в обычном, а в шиллеровском смысле — как обозначение искусства, отражающего только жизнь, а не идеал.

[27] Цит. по кн.: Н. С. Павлова. Типология немецкого романа. М., «Наука», 1982, с. 57.

[28] К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве. М., «Искусство», 1957, т. I, с. 26.

[29] Там же, с. 31.

[30] А. Луначарский. Статьи о литературе. М., «Художественная литература», 1957, с. 548—549. Аналогичным образом рассуждает и Р. Самарин: «...неверно было бы рассматривать замечание Маркса о том, что Лассаль «пишет по-шиллеровски» только как упрек» («История немецкой литературы», т. 3, М., «Наука», 1966, с. 518).

возникает новая, опосредованная непосредственность, сформированная поверхность жизни...»[31].

Художественная практика тех лет лишь частично подтверждала правоту Лукача. Драмы и романы Брехта базировались на иных принципах. Зачастую в них не было «поверхности жизни», непосредственной достоверности, многое было построено на условностях, неправдоподобных, но выражающих правду, несущих непосредственно авторскую идею. Поэтому Брехт возражал. В печати он, правда, не выступал, он делал лишь заметки для себя и своего непосредственного окружения. Его заметки опубликованы посмертно, и сейчас перед нами встает поучительная картина разных подходов к проблеме в рамках марксистского мировоззрения. Г. Штайнер (ГДР) говорит в связи с этим о двух школах в марксистском литературоведении и об «исторической смене школы Лукача школой Брехта в ГДР»[32].

Возражения Брехта Лукачу звучали следующим образом: «Принято считать, что произведение искусства тем реалистичнее, чем легче в нем узнается реальность. Такому пониманию я противопоставляю определение, согласно которому произведение искусства тем реалистичнее, чем явственнее в нем освоена реальность»[33]. Для освоения реальности нет необходимости в правдоподобной иллюзии изображаемого. Автор может показывать жизнь в необычном ракурсе, преувеличивая, заостряя, деформируя отдельные детали. Эстетическая эмоция опосредована здесь мыслью, радостью ее постижения. Писатель видит в данном случае свою задачу в том, чтобы не через жизнь героев, их характеры и психологию, а прямо и непосредственно привлечь внимание к актуальной проблеме, заставить читателя задуматься и прийти к правильному решению. Брехт это называл «очуждением», заимствуя термин, по-видимому, из вокабулярия немецких романтиков[34]. «Эффект очуждения состоит в том,— поясняет Брехт,— что вещь, которую нужно довести до сознания, на которую требуется обратить внимание, из привычной, известной, лежащей перед нашими глазами, превращается в особенную, бросающуюся в глаза, неожиданную. Само собой разумеющееся в известной мере становится непонятным, но это делается лишь для того, чтобы оно стало более понятным»[35]. При этом Брехт никогда не отказывал в праве на законное существование другому варианту обобщения в искусстве.

Школа Лукача провела полезную работу, очистив наши литературоведческие «конюшни» от вульгарной социологии, выполнив свою миссию быстро и беспощадно. Но пришел с ней (в этом убежден не только я) новый догматизм, новая нетерпимость: на смену вульгарной социологии — не менее вульгарный рационализм, сугубо «гносеологический» подход к художественному творчеству, гегельянская приверженность к одному виду художественной формы, а потому неприятие всего того, что от нее отличается, непонимание ценностной природы искусства. К счастью, послевоенная наша художественная жизнь — в теории и на практике — оказалась богаче формулировок Лукача и его ученика Лифшица, книгу которого я упомянул в начале статьи.

Споры в эстетике продолжаются, каждый ведет их в меру своих привычек, способностей, пристрастий. Но одно бесспорно: нельзя критерий художественности сводить к формальной структуре произведения. Это сужает «горизонты художественного образа» (М. Храпченко). Форма должна быть прекрасной, но и разнообразной. А главный критерий ценности искусства — человечность. Этот критерий объединяет и Шекспира, и Шиллера, Гёте и романтиков, русский и немецкий роман прошлого и нынешнего столетия, театр Станиславского и театр Брехта.

---

[31] G. Lukacs. Probleme des Realismus. Berlin, 1955, S. 221.

[32] «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 1981, № 2, S. 228.

[33] Б. Брехт. О литературе. М., «Художественная литература», 1977, с. 355.

[34] Автор этих строк ранее был убежден в том, что термин «очуждение» Брехт заимствовал у русских формалистов начала века. Но исследователи указывают на то, что в Германии была своя давняя традиция использования термина (см.: O. Best. Handbuch literarischer Fachbergriffe. Frankfurt/M., 1984, S. 551).

Новалис, например, видел задачу романтической поэзии в том, чтобы «приятным образом делать вещи странными, делать их чужими и в то же время знакомыми и притягательными» («Литературная теория немецкого романтизма». Л., «Издательство писателей», 1934, с. 126).

[35] Б. Брехт. Театр. М., «Искусство», 1965, т. 5/2, с. 113.

◆

ДЖОН Г. МУР

ЛИТЕРАТУРА КОРЕННЫХ АМЕРИКАНЦЕВ. ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ

Перевод, комментарии и послесловие А. ВАЩЕНКО

Читателю-иностранцу может показаться, что стихи и проза коренных американцев, с которыми он чаще всего знакомится в переводе с английского, полно представляют содержание и дух индейской культуры — столь же полно, сколь творчество Лэнгстона Хьюза, Ральфа Эллисона и Лероя Джонса выражает содержание и дух национальной литературы афро-американцев. Подобный взгляд, однако, означал бы коренное непонимание ситуации в современной индейской англоязычной литературе и факторов, определяющих ее развитие. Читатель, вероятно, удивится, узнав, что опубликованные стихи и проза составляют лишь малую часть существующей в США литературы коренных американцев и что очень немногие индейцы вообще знакомы с творчеством даже таких крупных писателей, как Скотт Момадэй, Саймон Ортис и Джеймс Уэлч. Другими словами, эти авторы не стали для своих народов тем, чем стали для своих, скажем, Вальтер Скотт, Омар Хайям или Чингиз Айтматов, воплотившие в художественных образах специфически национальные ценности культуры и духовной жизни. Плохо это или хорошо, современную индейскую литературу читают главным образом те же, кто вообще читает литературу в США: преимущественно образованная, зажиточная часть белых американцев.

Вопрос об этнической подлинности, однако, ни в коей мере не должен смущать иностранного читателя и умалять его интерес к литературе коренных американцев. Напротив, он должен послужить отправной точкой для анализа современной индейской художественной литературы, а также для раскрытия чрезвычайного многообразия других видов этой литературы — саг, сказок о природе, документальных повествований и образцов ораторского искусства,— которые составляют основную массу ее. Традиционные фольклорные жанры ныне широко представлены в письменной литературе на английском языке; во многих отношениях эти произведения интереснее и могут доставить большее эстетическое наслаждение, чем стихи и проза, написанные в современной манере. К тому же они позволяют нам увидеть историю развития индейской словесности, что необходимо для понимания более поздней поэзии и прозы.

На мой взгляд, ярче всего литературное мастерство коренных американцев воплотилось в ранних произведениях, созданных в форме риторики. До нас дошли сотни речей, самые давние из которых относятся к XVI веку. В общей сложности они составили бы много часов торжественного красноречия. Вчитайтесь, к примеру, в речь

ДЖОН Г. МУР — JOHN H. MOORE

Американский этнограф и журналист, возглавляет кафедру антропологии в Оклахомском университете и является директором «Этнографического и лингвистического обозрения» штата. Много лет работал в индейских общинах штатов Мичиган, Монтана и Оклахома. Автор публикаций в научных изданиях и в журналах «Нейшн», «Либерейшн» и др. Владеет несколькими индейскими языками.

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

вождя команчей по имени Десять Медведей, приведенную в книге «Я все сказал» (1971), изданной Вирджинией Армстронг. В 1867 году Десять Медведей попытался выразить свои сокровенные мысли, а также политические надежды и упования перед советом белых, собравшимся для заключения договора с индейцами. Вождь использовал символы из мира природы, которые были ему знакомы лучше всего:

«Сердце мое переполняется радостью, когда я вижу вас здесь, как полнится водой ручей, когда тает снег по весне. Я счастлив, словно конь, завидевший молодую травку в начале года. Я услыхал о вашем прибытии, еще находясь за много снов от вас, и сделал лишь несколько привалов, спеша на встречу с вами. Но в том, что вы говорили здесь, кое-что мне было слышать неприятно. Слова эти не сладки, как сахар, а горьки, как тыква. Вы сказали, что намерены поместить нас в резервацию, построив там дома и церкви. Но мне они не нужны. Я родился в прерии, где ветер дует свободно и нет ничего, что застило бы свет солнца. Я родился там, где не было изгородей и стен и где всем свободно дышалось. Там, а не в четырех стенах хочу я умереть... Если бы жители Техаса обходили стороной мои земли, нам удалось бы сохранять мир. Однако там, где, по вашим словам, мы должны теперь жить, нам слишком тесно. Техасцы захватили все земли с сочными травами, с густыми лесами. Если бы они остались за нами, мы могли бы выполнить ваши требования. Но слишком поздно. Белый человек завладел краем, который мы так любили, и мы будем бродить по прериям, пока не умрем».

Речь эта впечатляет силой и выразительностью. И это не литературное сочинение прозаика, а подлинный образец ораторского искусства, принадлежащий индейскому поэту, который был к тому же и политическим лидером. Это тенденциозная поэзия, рожденная отчаянием индейского вождя, старавшегося сохранить жизнь и благополучие своих соплеменников. К этим чувствам примешивается непонимание, которое он испытывает, знакомясь с образом действий пришельцев, наводнивших его страну. Известна и другая, близкая по смыслу речь, произнесенная значительно раньше вождем Повхаттаном, племя которого столкнулось с европейцами в штате Виргиния в 1609 году.

У американских индейцев, как и у народов всего мира, находящихся на племенной стадии развития, сферы политики и религии неразделимы; вернее, они сливаются в цельном взгляде на мир. Поэтому индейскому оратору зачастую трудно говорить о договорах и территориях без того, чтобы не высказать также отношения к земле, которую многие племена считали своей прародительницей. И, пользуясь случаем, индейские вожди пытались объяснить собственное представление о Вселенной, свою космогонию, обращаясь к представителям господствующего общества, которое было одновременно и их гонителем, и их надеждой на спасение. Одним из таких ораторов был Джозеф, вождь племени не-персé. Согласно религиозным представлениям этого племени, руки и ноги человека уподоблялись странам света, а его тело — от головы до пят — мировой оси, от зенита к надиру. Джозеф представил договорному совету следующие аргументы:

«Земля была сотворена с помощью солнца и должна оставаться такой, какой она была сотворена... Страна была сотворена без разграничительных линий, человеку не пристало разделять ее... Земля и я живем единым разумом. Измерения земли и измерения нашего тела одни и те же... Не поймите меня неверно — почувствуйте мою страсть к земле. Я никогда не говорил, что земля принадлежит мне и я могу поступать с ней по своей воле. Лишь тот, кто создал ее, вправе распоряжаться ею. Я признаю за собой право жить на своей земле, а вам оставляю привилегию жить на вашей».

Этот род символической риторики не вымер среди индейцев-традиционалистов, хотя современные речи рассчитаны скорее на публикацию в племенной газете, а не в книге или журнале. Такие речи — быть может, самые достоверные образцы современной литературы коренных американцев, но широкому читателю часто трудно воспринимать их из-за обилия отвлеченных понятий, присущих конкретному племени: о цикличности сущего, о духах животных — покровителей племен, о специфических для каждого племени моральных концепциях. А в США и Канаде в настоящее время проживает свыше ста различных племен, представляющих семь языковых семей, столь же различных между собой, сколь тибетские языки отличны от русского, и каждое имеет свою уникальную культуру.

В качестве характерного примера такой внутриплеменной литературы обратимся к пассажу из речи, широко известной индейцам-шайенам с 1972 года. Ее следует считать дидактическим текстом, ибо здесь вождь племени высказывает поучение об образе жизни. Европейцу может показаться странным, что текст этот безымянен; но настоящий вождь шайенов должен быть скромным, ему не подобает афишировать свое имя. Кроме того, шайены, которые называют себя цисциста, уважают лишь ценности и установления старины, и потому даже новейшие умонастроения следует выражать архаическим языком. Это преклонение перед анонимностью и традиционностью, между прочим, воздвигает двойной барьер на пути любого восприятия шайенами романа как литературной формы. С точки зрения традиционалиста, автор, ставящий свою подпись под романом,— бахвал, и сказанное им все равно остается без внимания, поскольку навязывается как новое и оригинальное, а не составляет часть традиционных знаний. Напротив, пассажи, подобные нижеследующему, весьма приветствуются:

«Мы по-прежнему здесь, цисциста, на этом острове, нам предназначенном. Мы вечно пребудем здесь, цисциста. Мы будем здесь потому, что сохраняем этот остров живым. Он был вверен нам много лет назад. Махео возложил на нас эту ответственность, и мы продолжаем жить по его закону. Он даровал нам наши священные

обряды и святыни, нашу систему управления и союзов, наш образ жизни. Все это исходит от него. Он дал все это нам для того, чтобы мы нашли способ сохранить остров живым. Вот почему мы совершаем свои обряды год за годом. Каждую весну наши обряды, с благословения Махео, обновляют жизнь острова. Если мы совершаем их должным образом, все вокруг процветает. Мир опять становится юным и новым. Таков наш долг».

Отдельные фразы и отсылки в этом тексте читателю нешайену не понять. В данном случае речь идет об обряде Священной Палатки, так называемой «Пляске Солнца», который сыграл столь важную роль в литературе коренных американцев, а равно и в прозе и кинокартинах (например, «Человек, прозванный лошадью»), созданных неиндейцами. Смысл обряда в том, что, если шайены не будут проводить его ежегодно, мир погибнет, погрузится в состояние вечной зимы, и последствия одинаково пагубно скажутся на судьбе индейцев и неиндейцев. Шайенов всегда озадачивала и повергала в отчаяние неблагодарность белых, которые не только не были в состоянии понять и поддержать этот обряд, но пытались даже запретить его. Другая скрытая аллюзия связана со словом «остров». На языке индейцев это же слово означает род, семью, законность и кровное родство. Все это ничего не говорит постороннему читателю, но абсолютно ясно для шайенов.

Смысловые потери при переводе еще сильнее ощутимы в том литературном пласте, который получил название поэзии коренных американцев. Наиболее известными антологиями этой поэзии являются «Взмах тыквенной погремушки» (1972) Дж. Ротенберга, «Поэзия и проза американских индейцев» (1946) М. Астров, «На тропе ветра» (1971) Дж. Биерхорста и «Мы ждем во мраке» (1964) Г. Левитас. Показательно, что в этих изданиях составители, «прочесав» архивы в поисках индейских песен и стихов отвлеченного и символического характера, сочетали их с произведениями современных индейских поэтов. Одним из ранних примеров символической поэзии может служить короткое стихотворение племени арапахо, приводимое Биерхорстом:

Отче наш, Вихрь,
Отче наш, Вихрь,
По его воле бегу я быстро,
По его воле бегу я быстро,
И явился мне отец наш,
И явился мне отец наш [1].

Обычно такие стихи приводятся в антологиях без каких-либо пояснений, предполагается, что они понятны сами по себе и что ассоциации, связанные, например, с вихрем или отцом, одинаковы и в языке арапахо, и в английском или русском. Но на языке арапахо слово «вихрь» имеет священный смысл, соединяющий в себе понятия «смерча» и «стрекозы», причем то и другое воспринимается арапахами как своего рода «птицы». Они верят, что смерчи возникают от огромных клубящихся туч летящих стрекоз. Все эти замысловатые оттенки теряются в переводе — в частности, мысль о том, что «отец» означает всех родичей-мужчин со стороны отца, а также отца всех живущих, Верховное Божество.

Некоторые современные поэты из среды коренных американцев сознательно обратились к сюрреалистическому эффекту, присущему этим традиционным текстам, и создали оригинальные стихотворения, отмеченные теми же качествами. Вероятно, лучший среди них — Джеймс Уэлч, который происходит из племен блэкфитов и гро-вантров [1]. Его стихотворение «При моей жизни» включено во многие поэтические антологии:

Сегодня Дети Грома
ошиблись жертвой: ею стал чудак,
не знавший хитростей любви, способный
лишь улыбаться, пить несущий прочих
ветер.
Его окровавленные стопы — рассказ
о беге нагишом за антилопой,
гонимой по священному пути, пока
не свалится.
В его
крови — спокойный запах гона. Кактус
подпрыгивал при нем к луне. Луна
всегда твердит огню о женщине. Всегда.

(Перевод Г. Русакова)

Возникает искушение считать, что такого рода поэзия отражает подлинно индейский опыт, и воспринимать ее исключительно в этом качестве. В США публикуется и слабая поэзия на том основании, что, хоть она и невысока по английским литературным стандартам, но воплощает подлинно индейские понятия о мире. Мое же мнение таково, что подобную поэзию следует оценивать по ее собственным достоинствам, особенно имея в виду тот факт, что некоторые знаменитые индейские поэты являются маргинальными и непризнанными членами собственного племени. Но вот стихи такого поэта, как Ричард Эйтсон — это настоящая поэзия, с какими бы мерками к ней ни подходить.

Если поэзия коренных американцев ярко демонстрирует преемственность между фольклорными и современными формами, то этого нельзя сказать о прозе коренных американцев, особенно о романе. В самом деле, романов, написанных индейцами, не существовало до 1823 года, когда была опубликована «Бедная Сара» Элайаса Будино. Впрочем, и это произведение (кстати, довольно посредственное) нельзя назвать индейским романом в полном смысле слова, хотя автор его и индеец. То же самое можно сказать и о романе «Жизнь и приключения Хоакина Мурьеты» Джона Риджа, вышедшем в 1854 году. Первое — это просто рассказ об обращении в христианство, написанный по образцу распространявшихся тогда религиозными издательствами, второе — в основном авантюрная история, также типичная для своего времени.

И только с публикацией в 1899 году «Царицы лесов» Саймона Покагона появилась книга, существенно отличная от романов других американцев и вобравшая

[1] Приводится в подстрочном переводе одна из песен «Пляски духов» — религиозного индейского движения конца XIX века.

[1] Роль сюрреализма в творчестве Уэлча, обладающего многогранным поэтическим даром, с нашей точки зрения, преувеличивается. См. подборку его стихов в сборнике «Я связан добром с землей» (М., «Радуга», 1983).

важные аспекты индейской культуры. Тогда-то развитие прозы коренных американцев и привело к концентрации на одном принципиальном вопросе — и оттого избрало, по-моему, неудачный путь. Герой Покагона, то есть он сам, живет в мире, полном сверхъестественных видений, но он стремится приспособить собственное индейское естество к участию в жизни англо-американского общества. С тех пор и до сего дня именно эта вторая тема в большей степени, нежели первая, стала доминирующей в романах коренных американцев. Другими словами, вместо того чтобы акцентировать традиционное внимание к духовному началу в природе, проза коренных американцев занялась исключительно темой «бедственного положения индейца». После Покагона уже редко бывало, чтобы герой романа действовал по велению сверхъестественных сил или же по собственной воле стремился к их умиротворению.

Но даже несмотря на то, что авторы, писавшие после Покагона, все больше подражали романам англо-американцев, у них имелось несколько собственных программных идей, и потому они эффективно противостояли стереотипам индейского характера, утвердившимся в англоязычном романе за последние триста лет. Фактически они опровергали не один, а два стереотипа: примитивно расистский и идеализированный, внешне лестный — но оба одинаково ложные и оскорбительные для индейцев.

Идеализированный стереотип восходит по крайней мере к Афре Бен, которая в романе «Оруноко» (1688) представила индейца как существо, находящееся на стадии первозданной невинности, предшествовавшей первородному греху. Еще раньше та же тема возникла в историко-документальных сочинениях, например в мастерском эссе Монтеня «О каннибалах» (1578). Но именно Бен «узаконила» ее в англоязычной прозе. После многочисленных вариаций и повторений в европейской литературе понятие вновь входит, теперь уже в политический обиход, в образе руссоистского «благородного дикаря». У Руссо, однако, благородный индеец был уже не просто литературным образом, но и политическим оружием. Думается, что эссе, подобные «Общественному договору», показывают, что ценности буржуазного общества заложены в самом «естественном человеке», и можно сделать вывод, что человечеству «естественным образом» предначертано жить в капиталистическом обществе.

Индейцы-романисты всегда старались опровергнуть мнение, что их общество будто бы не знало законов и каждый в нем жил по своим законам. Герой Мэтьюза в «Заходе солнца» (1934), Чел Уиндзер, прельщается «свободой» в мире белых людей, но затем разочаровывается и испытывает растерянность. В финале романа он приходит к пониманию традиционных ценностей семьи и индейского общества, которые так долго отвергал. Близок ему и Арчилд Леон, герой романа Дарси Макникла «Окруженные» (1936). Подобно Челу Уиндзеру, Арчилд поначалу допущен в общество белых, но вынужден заплатить за это слишком дорогой ценой. Арчилд видит: чтобы быть похожим на белых, он должен отказаться от родственников, жить лишь для себя, смириться перед христианским богом и существовать среди чужих и на чужбине. Он предпочитает бедность, надеясь обрести при этом душевный покой в родной ему индейской общине [1].

Образ «благородного дикаря» как априорный постулат об индейцах и образец для человека капиталистического общества не развеялся и после выхода на литературную арену писателей-индейцев. Более того, стереотип «капиталистической модели личности» утвердился прочнее чем прежде в нынешней атмосфере консерватизма и укрепившегося в последние десятилетия религиозного влияния. Литературную дань стереотипу «благородного дикаря» совсем недавно уплатила и белая писательница Руфь Бибе Хилл, написавшая роман «Ханта Йо» (1979); он разошелся в миллионах экземпляров, и по нему была создана серия короткометражных телефильмов, просмотренных десятками миллионов американцев. На первый взгляд это просто роман об индейцах племени сиу; но вернее было бы провести параллель, если не с реакционными писаниями Эйн Рэнд, то с эпической поэмой Лонгфелло о романтизированном индейском вожде, написанной в форме саги. Недаром роман «Ханта Йо» называли: «Эйн Рэнд приходит к Гайавате».

Другой стереотип индейца, против которого выступили авторы — коренные американцы, более откровенно расистский и открыто оскорбительный. В XVII — XVIII веках он прочно опирался на рассказы путешественников о «жизни среди индейцев», и особенно на популярные в те дни истории о «плененных индейцами». В них индейцы последовательно изображались как люди чрезвычайной жестокости; если они не мучают друг друга — значит, пытают белых пленников. Они одержимы странными и нелепыми суевериями. Белые же пленники в этих романах всегда находят способ подчинить себе своих похитителей, поражая их трюками с зеркалом, предсказаниями солнечного затмения или откровениями о любви Христовой. Этот жанр, к сожалению, не вымер, хотя несколько видоизменился в нашем столетии, сблизившись с дешевым ковбойским романом или бульварным вестерном. Героями подобных романов обычно являются либо «белые индейцы» — европейцы, усыновленные индейским племенем, либо индейцы, ведущие себя совсем как белые. Многие из нынешних бульварных романов восходят к лучшим образцам этого жанра, каковыми были «Рассказы о Кожаном Чулке» Джеймса Фенимора Купера. Секрет популярности этих романов, как мне кажется, заключается в том, что Купер противопоставил романтический стереотип индейца — благородного и находчивого Чингачгука — стереотипу индейца жестокого и суеверного, воплощенного в образах злобных мингов. Таким образом, Купер удовлетворял и тем

[1] Добавим, что в финале герой романа не находит покоя и в родной общине — напротив, неразрешимость исходных проблем белых и индейцев приводит к трагическому концу.

и другим представлениям об индейцах и угодил, следовательно, двум различным типам читателей.

Я уверен, что именно на фоне этих индейских стереотипов мы должны оценивать успех прозы коренных американцев, достигнутый в текущем столетии. Ибо американские читатели не могли не понимать, что произведения авторов-неиндейцев не исчерпывают всей истины об индейской жизни. Книги индейских авторов прошлого — начала нынешнего века, таких как Хелен Хант Джексон и Энджи Дебо, и более недавняя книга Ди Брауна «Схорони мое сердце у Вундид-Ни» развеяли многие живучие предрассудки, свойственные представлению американской публики об индейцах, и вселили надежду на то, что когда-нибудь писатели-индейцы сами скажут правду о своем народе. И вот зрелые прозаики и поэты нынешних дней — Скотт Момадэй, Саймон Ортис, Лесли Силко — наконец оправдали эти надежды и ожидания. Они в значительной мере оттеснили тех неиндейских писателей, которые в прошлом брали на себя смелость утверждать, что только они могут говорить от имени индейцев.

Парадоксальность ситуации, однако, заключается в том, что, стремясь установить лучший контакт с белым читателем, современные индейские прозаики вынуждены были отказаться от значительной доли своей национальной самобытности. Другими словами, наиболее действенным их диалог с господствующим обществом становился тогда, когда он велся не в традиционных литературных формах — саги, видения, поучения и т. д.,— а посредством романа — формы, созданной и развиваемой европейцами. Господствующее общество оказалось бы глухо к глубинному символизму индейских саг, и красноречивая мораль индейских поучений его не убедила бы. Хотя культура индейцев очень привлекала белых читателей, они не знали, как подступиться к ней. Этим они были похожи на любопытных детей, и индейские романисты взяли на себя труд научить их, заговорив с ними на знакомом им языке — языке романа, произведения, в центре которого — конкретный человек, а не зверь и не сверхъестественное существо, как принято в индейской традиции.

Парадокс заключается и в личных судьбах индейских писателей, добившихся успеха у белой аудитории. Мало кто из них (если такой вообще сыщется) является полноправным членом собственного племени, то есть чистокровным индейцем, говорящим на родном языке. Но опять же, только так все и могло произойти. Чистокровным индейцам было практически отказано в праве закончить последние классы школы, тем более поступить в колледж и обучиться писательскому ремеслу. И только дети смешанной крови, особенно из привилегированной части индейских чиновников, удостоились права посещения колледжей и получили возможность преуспеть в литературном мире белых.

Часто мы видим, что и племенная принадлежность ведущих писателей-индейцев смешанная — их родители поженились в годы учебы в пансионе или государственной службы. Джеймс Уэлч — блэкфит и гро-вантр, Джон Мэтьюз «на одну восьмую» осейдж, остальные его предки белые. Скотт Момадэй тоже считается полуиндейцем. Лесли Силко и Джеральд Визенор также обладают смешанным индейско-белым происхождением. Как метисы, они не могут занимать ведущих позиций в жизни традиционалистских общин, о которых пишут,— в лучшем случае являются лишь маргинальными их членами, если об их существовании вообще известно их сородичам. Суть, однако, заключается в том, что эта периферийность не делает их творчество менее интересным или менее достоверным с этнической точки зрения, скорее даже углубляет ее. Именно эта маргинальность, на мой взгляд, и усиливает переживания, которые эти писатели испытывают сами и вызывают у читателя.

Разрываясь между собственной индейской принадлежностью и стремлением преуспеть в литературе господствующего общества, индейские романисты создают характеры, несущие на себе печать той же драматической раздвоенности. Остаться жить в своей индейской общине или перебраться в город, поделиться деньгами с сородичами или отказать им, как реагировать на отчуждение, которое герои постоянно ощущают со стороны белых; притвориться, будто приемлешь христианство, или же объявить ему войну, броситься в объятия белым «благодетелям» или обходить их стороной как источник всех своих бед? Любопытно отметить и то, что ни один современный чистокровный индеец, едва говорящий или вовсе не говорящий по-английски, чувствующий себя уверенно в лоне семьи и рода, вдали от соблазнов общества белых, не смог бы написать столь выразительно, как эти маргинальные авторы, о том, что значит быть индейцем и что значит быть белым в современных США. Многие традиционалисты знать ничего не желают о «белом» обществе. Они хотят только одного: чтобы их оставили в покое. Индейцы же, заключенные в вакуум между двумя культурами, ломают голову над тем, чтобы понять, в чем смысл и причина этого различия. Потому-то их романы производят такое сильное впечатление.

Книги наиболее значительных индейских прозаиков уже переводились на русский язык, и потому предоставлю русскому читателю самому оценить страстность и размах их творчества. В мою задачу входит лишь поместить эти произведения в социально-исторический контекст, чтобы сделать их более понятными и, может быть, способствовать более адекватному их восприятию. Особо я коснусь творчества трех авторов, которые признаны мастерами и основоположниками тех существенных перемен в стиле и содержании, которыми отмечена новейшая проза коренных американцев. Это — Момадэй, Ортис и Силко.

Два классических произведения Момадэя — роман «Дом, из рассвета сотворенный», получивший в 1969 году Пулитцеровскую премию, и повесть «Путь к Горе Дождей», опубликованная в том же году. Первая книга представляет собой, казалось бы, случайное соединение персонажей в

духе Фолкнера, во взаимодействии которых вырисовывается проблема надежд и отчаяния индейца, «зажатого» между двумя культурами. Вторая книга — несколько романтизированный и чрезвычайно интересный вариант истории племени кайова, к которому принадлежит Момадэй. Но уже третья книга, «Имена» (1976), обнаружила значительные отступления от темы «потерянного индейца». Ибо здесь Момадэй вплотную подходит к той самой дилемме, о которой сказано выше: этнической «полноценности» таких людей, как он, имеющих смешанное происхождение и занимающих маргинальное положение в племени. До появления «Имен» существовала тенденция видеть в деревенских традиционалистах «настоящих индейцев», а людей, подобных Момадэю, воспринимать как их бледное отражение, как искушенных «городских коренных американцев». Но, описывая в «Именах» детство, испытанные тогда удовольствия и ощущение полноты жизни, Момадэй спорит с такой точкой зрения. Маргинальность не вакуум, утверждает он, и, быть может, на самом деле маргинальны и белые люди, и «настоящие индейцы»: они не способны испытать счастья принадлежности к двум мирам.

Саймон Ортис происходит из индейцев акома и в большей степени является поэтом, нежели прозаиком, хотя его поэмам свойствен эпический, повествовательный характер. Подобно другим ныне признанным индейским писателям, и он был озабочен проблемой собственной адаптации в «раздвоенном» обществе. Но в последних произведениях он отвергает эгоистические интересы во имя более глубокого осознания своей национальной принадлежности к акома [1]. Его привлекает обрядовая символика народа, но «расшифровывает» он ее в своих сложных стихотворениях с помощью абстрактных и опосредованных образов, сохраняя, однако, сакральность смысла. Очень важно, что он обращается к этим символам во имя решения политических задач, поскольку земля является не только символом племени, но и объектом эксплуатации со стороны добывающих промышленных компаний. Ставя заслон на пути бульдозера, разрывающего грудь матери-земли, человек тем самым защищает те ценности, которые надлежит сохранять на благо нации. Таковы и неотделимые друг от друга темы недавней поэтической книги Ортиса «Сразимся! Во имя народа, во имя земли» (1980).

Лесли Силко тоже не ограничивается в своем творчестве проблемами личного характера, что было свойственно старшему поколению писателей. В романе 1977 года «Церемония», как и в более поздней книге «Сказители» (1980), она обращается к старой теме религии и сверхъестественного начала, игравшей важную роль в «Царице лесов» Покагона. Без какого бы то ни было смущения Силко рассуждает о поведении ведьм и сверхъестественных перевоплощениях птиц и зверей. Ее позиция — на мой взгляд, верная — заключается в том, что читатель готов к восприятию этих более трудных и специфических примет индейского сознания и жизни.

Романы предыдущих лет подготовили почву для новых тенденций, вроде тех, что нашли отражение в последних произведениях Момадэя, Ортиса и Силко. Однако без мучительных лет самоуглубления, без остро осознанных поисков собственного «я» развитие этих тенденций было бы немыслимым. Но теперь появился более подготовленный читатель, просвещенный поколением индейских писателей, которые ныне находятся в поре творческой зрелости. Он полагается на их знание того, что значит быть индейцем. И индейские авторы могут позволить себе выбрать свежее и оригинальное направление и строить новое на этой прочной основе.

Но одна надежда, возлагавшаяся на литературу коренных американцев, еще не оправдала себя. Я имею в виду пространные, сложного содержания саги, которые хранятся в каждом индейском племени. Они передаются по-прежнему в устной форме или встречаются в переводах, нередко упрощенных и неуклюжих, в сборниках индейского фольклора, издававшихся в прошлом веке. По стилю, композиции и замыслу эти легенды напоминают эпос о Гильгамеше или «Песнь о Роланде». Но ни один индейский автор, насколько я знаю, не решился еще воплотить хоть одну из них в литературной форме, равной по художественным достоинствам этим сагам [1]. Темы и герои индейских саг достигают масштабов эпических: великие странствия, герои, сошедшиеся в мифологическом поединке, сотворение первой женщины, чудовищные острозубые бизоны, питающиеся людьми, создание человеческого языка. Когда современных индейских писателей спрашивают, почему они не касаются таких тем, они отвечают, что темы эти носят «сакральный характер» и в них нельзя посвятить белого читателя. Но ведь тексты самих саг уже опубликованы. Подозреваю, что истинная причина нежелания писать обо всем этом заключается в том, что известные индейские авторы не имеют достаточно глубокого представления о традициях своего народа или же опасаются навлечь на себя гнев традиционных общин, если те усмотрят в этом претензию на исчерпывающее знание туземных легенд.

Во всяком случае, я верю, что новое поколение индейских писателей будет более способным и подготовленным к тому, чтобы вдохнуть новую жизнь в эти эпические предания, а равно и к освоению других тем, названных выше. В прошлом десятилетии многие индейские племена основали собственные колледжи и привлекли выдающихся писателей к преподаванию в резервациях. Многие студенты-традиционалисты, которые, не случись этого, никогда не смогли бы учиться в колледже, ныне работают с такими писателями, как Момадэй и Ортис. Вот почему грядущее поко-

[1] Здесь хочется возразить автору статьи: с нашей точки зрения, поэту изначально было свойственно сочетание коллективистского пафоса, традиционализма и политической «ангажированности» (см. сборник «Я связан добром с землей»).

[1] Не ясно, что имеется в виду под «сагами»: если мифы и сказки, то обвинение в адрес прозаиков старшего поколения (Момадэй и др.) неправомерно: фольклор есть основа творчества почти всех этих писателей, обращавшихся к упоминаемым темам.

ление индейских писателей обещает быть многочисленным и творчески активным. Позволю себе назвать несколько имен, еще недостаточно представленных в печати и мало переводившихся авторов: Кэрролл Арнетт, Рэй Янгбиэр, Джой Харджо, Тони Лоун Вулф, Луиза Эрдрик, Ланс Хенсон, Шарлин Лаури и Элизабет Кук-Линн.

Завершая этот очерк, скажу несколько слов о еще трех явлениях литературы коренных американцев, о которых каждый зарубежный читатель должен иметь представление: о документалистике, эссеистике и «фальшивках»

Индейские документальные повествования были популярны во времена индейских войн в прошлом столетии: белые люди в ту пору интересовались рассказами о таких битвах индейцев с американскими войсками, как знаменитое сражение при Литтл-Бигхорне, где был убит печально известный генерал Кастер, фигура весьма экстравагантная. Затем последовали другие прозаические произведения и автобиографии, в основном собранные фольклористами и этнографами. Наибольшего внимания среди них — по стилю и содержанию — заслуживает автобиография «Говорит Черный Лось» (1932), записанная и изданная американским поэтом Джоном Нейхардтом. Книга произвела настолько сильное впечатление на Театральное общество коренных американцев, что осенью 1984 года оно осуществило в Талсе, Оклахома, замечательную постановку, основанную целиком на этой книге. В спектакле участвовал известный индейский киноактер Уилл Сэмпсон.

Индейским эссеистом «номер один» является сегодня, без сомнения, Вайн Делория. Метис, сын миссионера епископальной церкви, Делория играл ведущую роль в движении 1960-х годов, покончившем с мифом о непререкаемом авторитете белых как единственных «экспертов» по проблемам индейцев. В своей классической книге «Кастер погиб за ваши грехи» (1969) Делория безжалостно, уничтожающе высмеял англо-американские учреждения, призванные опекать, изучать и «приобщать индейцев к цивилизации». Плодотворно работающий писатель, Делория гораздо меньше преуспел в реальных попытках создать синтетическую религию, пригодную для всех индейцев («Господь краснокож», 1973).

Спекулируя на продолжающемся интересе белых к индейской религии и успехах литературы коренных американцев, авторы определенного сорта начали создавать фальсифицированные описания тайных индейских обрядов и обычаев. Как ни странно, эти книги не содержат ничего неожиданного, а обычно следуют прочно устоявшимся стереотипам. Самыми популярными в смысле коммерческом оказались произведения Карлоса Кастанеды — «Учения Дона Хуана», «Самостоятельная реальность» и другие. Большая часть этих книг претендует на достоверное описание тайных религиозных обрядов индейцев яки, о которых будто бы рассказал Кастанеде некий дон Хуан. Исследования показали, однако, что никакого дона Хуана в среде индейцев не было и что описания таинств яки на самом деле почерпнуты Кастанедой из искаженного дзэн-буддизма, тантризма, упанишад и других восточных источников.

Точно так же в 1970-е годы на книжный рынок «хиппи» были ориентированы издания компании «Нэйчургрэф», имевшие такие «индейские» на слух названия, как «Великие на горе», «Воинство Радуги» или «Бизоньи Сердца». Книги эти, однако, сплошь и рядом представляли собой мешанину из индейских историй и уличной премудрости сан-францисского пригорода. Типичным произведением этого «психоделического» жанра является книга «Семь Стрел» (1972), написанная городским индейцем по имени Чак Сторм. Книга эта, по-прежнему популярная и все еще переиздаваемая, представляет собой описание религиозных представлений шайенов, не только вымышленное, но и откровенно оскорбительное своими голословными утверждениями о том, что у индейцев был якобы в обычае инцест и будто они считали всякую нравственность всего лишь «орудием белого человека». После того как одни шайены пригрозили ему судом, а другие — физической расправой, Сторм, желая хоть как-то оправдаться, заявил, что его сочинение — это всего-навсего аллегория. Зарубежный читатель вправе счесть себя счастливым, если произведения Сторма никогда не переводились на его язык [1].

[1] Оценка автором романа Сторма отражает полемику, развернувшуюся вокруг творчества писателя много лет назад и перешагнувшую пределы США. «За» Сторма выступали в основном литературоведы, такие как Ч. Ларсон, Б. Пейер, той же точки зрения придерживается и автор этих строк (см. рецензию «Открытое послание человечеству» в «ИЛ», 1973, № 7). «Против» — индейские традиционалисты и этнографы.

Послесловие

Статья Джона Г. Мура — первая на русском языке статья американского исследователя о литературе индейцев США. Она написана специально для «Иностранной литературы». Сегодня, спустя почти двадцать лет после выхода в свет романа Скотта Момадэя, положившего начало современной литературе коренных американцев, особенно интересно оглянуться назад. А оглянувшись, обнаружить разительные перемены, произошедшие в ней, и одновременно — поразительную «неизменность» ее статуса в США. Перемены и вправду ощутимы: в 1971 году лишь один индейский поэт, Джеймс Уэлч, добился относительной известности; сейчас их уже десятки, среди которых немало «хороших и разных». Некоторые индейские прозаики и поэты приобрели мировую известность: их читают едва ли не во всем англо-

язычном мире, они переведены на многие языки стран Европы, издавались и в СССР. В самих США, вопреки внутриполитическим установкам, растет число мелких издательств, контролируемых индейцами, центров развития индейской культуры и искусства — в городах, при крупных университетах США.

Постепенно, оправившись от некоторого замешательства, вызванного неожиданностью появления нового феномена на литературной карте страны и его необычностью, развернулось и критическое изучение литературы индейцев. Сейчас это уже десятки статей и эссе, биографических штудий, общие монографии и весьма частные исследования, сборники статей и даже специализированные журналы, такие как «Америкэн индиэн куотерли» или «Америкэн индиэн калчур энд рисерч джорнэл». Много сделали для раскрытия самобытного содержания литературы коренных американцев пионеры этой области литературоведения, такие как Карл Крёбер, Чарльз Ларсон, Эндрю Уигет и другие. Сейчас об индейской литературе спорят, ее преподают в некоторых университетах, обсуждают на научных форумах; и чем дальше, тем больше сложных вопросов возникает перед исследователями, задавшимися целью понять, какова роль, в чем новаторство этнического писателя? Откуда берет начало индейская литература? Какие закономерности определяют ее путь? В чем ее неповторимость и одновременно родство с американской — и шире — мировой литературой? Вопросы эти не чисто академические, а глубоко насущные, поскольку неразрывно связаны с проблемой выживания народной культуры индейцев в США.

На фоне этих перемен контрастнее выглядит «маргинальность», которая остается уделом индейской литературы по отношению к общему потоку литературы США и индейской культуры — в господствующем обществе. Существо политики, проводимой в стране по отношению к этническим меньшинствам и этническим литературам, не меняется, независимо от частой перестановки лозунгов или смены названий внутриполитических кампаний: политика эта направлена на растворение индейского элемента в «плавильном котле», который, правда, теперь именуется «плюралистским обществом». Здесь хороши все средства — от прямого натиска на индейские резервации и урезывания ассигнований на нужды индейской бедноты до более изощренных политических приемов, объединяемых принципом «разделяй и властвуй». Ту же политику проводят правящие круги и в области культуры, пытаясь подачками привлечь одаренных индейских литераторов, навязывая народной культуре ложные эстетические концепции, систему буржуазных ценностей и замалчивая либо искажая суть крупных явлений индейского искусства... Безосновательно пускаются в ход понятия «постмодернизм», «имажизм», а то и обвинения в аморальности, старомодной традиционности, примитивизме. Потому-то любое действительно значительное явление литературы коренных американцев — это аргумент демократической культуры в ее непрекращающемся споре с культурой буржуазной.

В свете сказанного, разумеется, особенно интересно познакомиться с тем, как воспринимаются эти процессы изнутри, на взгляд американского и к тому же вполне искушенного современника.

Джон Г. Мур анализирует как этнограф проблему этнической достоверности, или подлинности, сложнейшую, в некотором роде даже коренную для индейской литературы. Предмет его исследования — в основном литература, создаваемая авторами-индейцами на английском языке, присущие ей психологические и мифологические модели. Ставя эту проблему в центр живого, острого эссе, автор в той или иной мере включает в сферу своего внимания большинство основных вопросов, связанных с индейской литературой, особенно наболевших: этнического происхождения писателей, литературных фальсификаций, анализирует конкретные произведения и разные точки зрения на важнейшие явления, составляющие понятие «литературы коренных американцев». Все это глубоко закономерно, и ряд мыслей, высказанных в статье, имеет перспективный характер. В то же время, конечно, необходимо учитывать, что краткий очерк не в состоянии исчерпать обозначенной в названии проблемы. Зато такой очерк, по справедливому замечанию автора, способен послужить «отправной точкой» для углубления заинтересованных читателей в область индейской литературы.

Возможно, из-за той же краткости автору не удалось избежать определенных спрямлений и упрощенных трактовок, иные высказывания носят, как представляется, излишне категорический характер. Очевидно, следствием традиционно недиффе-

ренцированного (история + этнография + литература) подхода, свойственного американской критике, явилась нечеткость некоторых методологических посылок. С первой же страницы становится ясно, что автор не разделяет индейскую литературу и устное творчество индейцев. Это приводит к неправомерным, с нашей точки зрения, сопоставлениям, скажем, древней риторики и современной прозы.

Несколько односторонней кажется интерпретация индейской прозы XIX—XX веков, например, попытка жестко противопоставить интерес индейцев к сверхъестественному началу появившейся в современной прозе социальной тематике, связанной с бедственным положением индейцев. Начиная с 1960-х годов (хотя тенденция эта возникла гораздо раньше) эти качества свободно сочетаются — разве что за редким исключением — в произведениях писателей-индейцев. И конечно, следует напомнить, что поиски современных индейских писателей привели к существенной модификации в их творчестве традиционно «европейской» формы романа, обогатив ее приемами, почерпнутыми из народных мифов, сказок, песен и других форм устнопоэтической традиции. Здесь направление их поисков как раз вполне сопоставимо с опытом многонациональной советской прозы — творчеством Ч. Айтматова, Ю. Рытхэу, Ю. Шесталова и других.

Много интересного — и в целом нехарактерного для американской критики — говорит автор о сложности положения индейских писателей в своей общине и в американском обществе. Но с нашей точки зрения, секрет успеха Момадэя, Силко, Сторма, Визенора, Ортиса и других крупных индейских писателей связан, очевидно, не только с конкретным этническим происхождением каждого из них, но и с глубиной их проникновения в сущность индейской культуры. Думается также, что для чрезмерного оптимизма во взгляде на будущее индейской литературы нет больших оснований. Не случайно, скажем, Момадэй не создал с 1976 года ничего нового; равно и (с 1979 года) Уэлч, а эволюция ряда других авторов не может не тревожить. На волне интереса к этнической экзотике публикуется множество произведений, имеющих к индейской литературе самое отдаленное отношение. Разрыв с народной традицией за счет индивидуалистического штукарства пагубно сказывается на книгах иных индейских поэтов и писателей, составляя серьезную угрозу их творчеству. А консерватизм индейских традиционалистов (вождей и шаманов) подчас блокируется с политическим консерватизмом академической американской науки в осуждении явлений, воплощающих в себе глубинные тенденции народной культуры. Но тем ошеломительнее, тем пленительнее и действеннее выглядит любой «прорыв» индейского художника к подлинному национальному наследию. Как это ни парадоксально, в нынешних условиях США такое возможно благодаря существованию резерваций и «традиционалистских общин», но главное — благодаря живой памяти народа. Не кто иной, как Хаймийостс (Чак) Сторм сказал об этом емкие слова:

«...Люди вышли к большой Реке... К Чуду Жизни, но характерно, что старушка по имени Традиция отказывается переплыть реку вместе с молодыми юношами. Традиция — это то, чему молодежь должна научиться, но в то же время традиция — упрямая и сварливая старуха, которая боится замочить ноги. Юноши понимают, что непременно должны взять старушку с собой за реку, но ведь она отказывается. Народная традиция отказывается перешагнуть рубеж. Юноши почитают традицию, но она же повергает их в отчаяние. И все же среди них появится один, который перенесет ее через реку. Это юноша Перевернутого Лука. Он не такой, как все остальные; он — иная сторона каждой личности. И вот благодаря ему традиция уже на другом берегу реки. Но взгляните, как она изменилась: она стала юной, прекрасной девушкой...»

Этот небольшой отрывок, думается, в образной форме концентрирует проблематику статьи Джона Г. Мура. Знакомя с ней советского читателя, заметим, что индейская литература, быть может, не всегда легкое чтение. Но не труднее, чем произведения Гарсиа Маркеса, Айи Квеи Армы или Чингиза Айтматова — чем любая большая литература. А она всегда имеет своего читателя.

Отклики, встречи, впечатления

Л. ВАСИЛЬЕВА

БОЛГАРСКИЙ ДОМ ЛАСЛО НАДЯ

Не многим венгерским поэтам в другой стране другим народом воздавались такие почести, как Ласло Надю. Эта другая страна не только высоко оценила Ласло Надя, одного из выдающихся поэтов нашего времени, но и благодарно откликнулась на его особенный дар — чутко, всем сердцем воспринимать эстетические ценности иных культур, иных народов. В течение всей своей жизни он, как Король-шмель (так называется одна из книг его переводов), собирал нектар с цветов, растущих в близких и далеких землях, и приносил его в свой дом.

Ласло Надь (1927—1978) принадлежал к поколению «светлых ветров» — так называют в Венгрии мощный отряд молодой интеллигенции, свежим потоком влившийся в общественную и духовную жизнь после Освобождения. Его поэзию отличает высокая гражданственность («Лучше — риск и опасность, опаляющая лицо, чем жизнь с запечатанным ртом», — писал поэт), глубина философских раздумий, чуткость к красоте, человеческой боли, к многоцветью реальной жизни. У его «огнетворной» любовной лирики — свои, неповторимые краски. Л. Надя — такова еще одна его отличительная черта — никогда не покидало чувство единения с природой, всепоглощающая нежность к родной земле, к цветам, деревьям, лошадям. Он писал о том, как «жара стрекозами шаманит», как «гривами вспенивая поляны, белые табуны-туманы бродят в светлой ночи», как в засуху «горит прямоствольной березы облитая листьями башня», писал о ржавых шорохах листопада, о предгрозовой тучеюбке («вся лентами обвита, жемчугами-градинами туго набита») — теперь, читая его стихи, включенные в школьные хрестоматии, венгерские дети учатся любить и понимать природу. В творчестве Л. Надя, как и в творчестве Ференца Юхаса, Иштвана Кормоша, Андраша Фодора, Маргит Сечи, отразился поиск гармонического единства фольклорной традиции и современной поэзии, поиск, ставший одной из характерных черт венгерской лирики 60—80-х годов.

Большой, самобытный поэт, лауреат премии Кошута, премии Аттилы Йожефа, Ласло Надь широко известен в Венгрии и как переводчик. Венгерская критика считает его переводчиком-классиком и ставит в один ряд с Михаем Бабичем, Дежё Костолани, Лёринцем Сабо и Дюлой Ийешем[1]. Но если венгерские предшественники Л. Надя-переводчика чаще всего обращались к западноевропейской поэзии, старались перенести на венгерскую почву ее образцы, то Ласло Надь, прекрасно переводя стихи западных поэтов — цыганские романсы Ф. Гарсиа Лорки, сумрачные оды Д. Томаса, элегии-сновидения Г. Аполлинера, поэтические эксперименты А. Рембо, — заставил своих читателей взглянуть и в сторону Восточной Европы, обратил их взор к литературам, к которым раньше в стране не проявляли интереса. Л. Надю принадлежит немало переводов современных польских, болгарских, югославских поэтов, болгарской, сербской, албанской народной поэзии. Переводил он и русскую лирику — «Светлану» В. Жуковского, «Скифов» А. Блока, стихи А. Пушкина, С. Есенина, — русские народные песни, переводил на венгерский язык народные песни удмуртов, чувашей, мансийцев, ненцев. Но все же главное в переводческом наследии Надя — это те художественные ценности, которые он открыл в литературах Балканских стран и которые сделал достоянием своей культуры, источником духовного и

[1] На страницах «Иностранной литературы» публиковались стихи Л. Надя (1962 № № 6 и 1971, № 6) и фрагменты книги «Посылаю вам ветвь золотую» — эссе о творчестве, о поэзии, о переводческом труде (1981, № 7). *(Прим. ред.)*

художественного наслаждения миллионов читателей своей страны.

«Помимо того что художественный перевод умножает отечественную культуру, — писал Л. Надь, — он дает также возможности для сравнения, помогает признать, например, что те или иные поэтические ценности существуют не только у нас, но и где-то еще — да к тому же подчас в более совершенном воплощении».

Обратившегося к болгарской народной поэзии Ласло Надя вдохновлял пример его великого соотечественника, композитора Белы Бартока — «своевольной звезды», «драконоборца», «блистательного и несчастного гения», как писал о нем поэт в одном из стихотворений. У Б. Бартока, собирателя крохотных осколков единого и огромного народного эпоса, Л. Надь учился вниманию к фольклору соседних народов, умению отделить в нем подлинную красоту от наносного, вычурного. Творчество Бартока было для него примером того, как фольклорные родники не только своей страны, но и других народов могут питать высокое искусство.

Л. Надь впервые приехал в Болгарию в 1949 году—чтобы изучать и переводить болгарскую поэзию. Он жил в Софии в доме преподавательницы болгарского языка Жаны Николовой и в течение полутора лет изучал город, его окрестности, страну, язык, людей. Он вглядывался в пестрое круженье пловдивской ярмарки, бродил по «музейным» улочкам старых городов и в романтических долинах Родопских гор, слушал вой балчикских ветров, видел красоту и величие моря.

В его переводах болгарской народной поэзии, может быть, потому столько подлинности и жизни, что эту поэзию он изучал не только по книгам, она соединялась у него со всем увиденным в этой стране, соединялась с музыкой, танцами, бытовыми сценами. Любовные, свадебные, колыбельные, гайдуцкие песни, исторические баллады, героические сказания в переводе Надя не только воссоздают дух народной культуры страны, ее своеобразный национальный колорит, но и передают родственные черты в культурном развитии народов, обусловленные сходством исторических судеб. Тональность болгарского фольклора Л. Надь сумел приблизить к тональности фольклора венгерского. Фактически он создал венгерские варианты болгарских народных песен, переосмыслив их в соответствии с законами родного языка.

Первый том болгарских народных песен и баллад «Сабли и цитры» вышел в 1953 году. Следующий сборник — «Кровь соколов» — в 1960 году. Эти книги потом неоднократно переиздавались, вошли в трехтомник избранных произведений и переводов Ласло Надя. Специалисты подсчитали, что только болгарской фольклорной эпики и лирики Л. Надь перевел более десяти тысяч строк.

Позднее Л. Надь стал переводить и классическую болгарскую поэзию. Его завораживали, признавался он, «самоубийственный огонь» стихов Пейо Яворова, «истекающая кровью красота» поэзии Димчо Дебелянова, «отроческая романтичность» Христо Смирненского. Переводил он и Х. Ботева, Г. Милева, Н. Вапцарова, Э. Багряну, Г. Джагарова, Л. Левчева.

В Болгарии была высоко оценена переводческая деятельность поэта. В 1977 году ему присуждена Международная премия имени Христо Ботева. Жители города Смоляна избрали его своим почетным гражданином и подарили дом — один из лучших старых домов в городе. Теперь в нем — музей Ласло Надя.

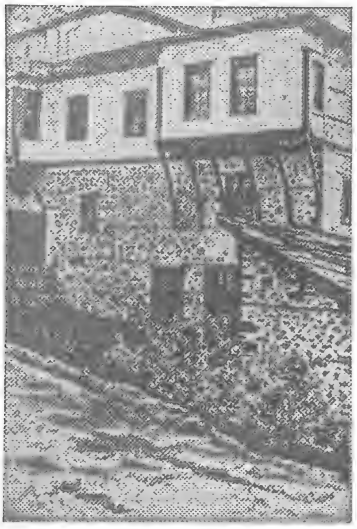
Смолян расположен в одной из самых живописных долин Родопских гор, километрах в тридцати от греческой границы. Добраться сюда можно только по шоссе, ведущему от Пловдива. Дорога петляет между гор, на склонах которых, как и тысячелетия назад, мирно пасутся стада овец, а подножия их — это уже примета сегодняшнего пейзажа — охвачены широкой металлической сеткой, предохраняющей шоссе от камнепада. Это край ласкового солнца, лесов, чистых горных ручьев, в которых водится форель.

Смолян — совершенно особенный город в Болгарии, в первую очередь благодаря своей архитектуре. Дома в два, три, четыре этажа — не выше — взбираются по склонам гор не «сами по себе», не «как им вздумается», а подчиняясь заданному ритму — плавно, постепенно набирая высоту, как бы повторяя на фоне неба мягкий контур родопских холмов. Жилые, торговые, общественные здания прекрасно гармонируют с окружающей средой — и это достижение новой, сегодняшней архитектуры. Болгары вправе гордиться смолянским экспериментом. Авторы проекта застройки Смоляна были удостоены в 1984 году высшей государственной награды — Димитровской премии.

Смолян — особенный город еще и потому, что над ним витает память о фракийском певце Орфее, чье чудесное пение очаровывало богов и людей и укрощало дикие силы природы. В центре города — скульптура «Орфей и Эвридика», напоминающая о том, что мы находимся на родине легендарного фракийца. Гостиница и ресторан в городе тоже называются «Орфей». Согласно преданию, Орфей сидел на одной из «готических» скал, возвышающихся над Смолян, и пел свои песни нимфам, купающимся в озере. Неподалеку, в Триграде, есть и «подземное царство», куда спускался Орфей за своей Эвридикой.

Ласло Надь побывал и в Триграде, там где во мраке ущелья бушует подземный поток. Увидеть его невозможно — глубина около восьмидесяти метров. Только клубы пара вылетают из расщелины, да слышится устрашающий гул. Через ущелье (царство Аида) перекинут висячий мост. «Интересно, до какого места дошел по нему Ласло Надь? Что он при этом чувствовал? — писал критик Ференц Кишш. — Для меня совершенно ясно: Ласло Надь тоже был поэтом-Орфеем. Он верил в магию поэтического слова и сам обладал этой силой, способной творить чудеса».

Родопы всегда славились красивыми голосами, высокой культурой пения, не слу-



Два дома-музея Л. Надя — в Смоляне (слева) и в Исказе.

чайно карта фольклорных экспедиций Бартока захватывала и этот край легенд. Ласло Надя впервые привез сюда его друг, болгарский писатель Станислав Сиврие в. Венгерский поэт влюбился в Родопские горы, леса, людей, песни и любовь эту сохранил до конца своей жизни. Осуществляя свои фольклорные экспедиции, Л. Надь записывал не только слова, но и мелодии народных песен, записывал звуки, возможно обронен ные некогда здесь Орфеевой кифарой. Теперь эти нотные записи, сделанные Л. Надем, бережно хранятся в местном музее.

«Благодаря Л. Надю родопская песня зажила своей естественной жизнью вне пределов Болгарии», — это первые слова, которые, входя в музей, читает посетитель, читает по-болгарски и по-венгерски.

Сам дом Л. Надя — тоже произведение искусства, замечательный образец старой болгарской архитектуры. Гармоническое сочетание камня и дерева, нарядный, затейливо расчлененный фасад с красивыми окнами, эркерами. Внутри — широкая деревянная лестница, просторные комнаты, домотканые ковры.

«Ласло Надь очень радовался этому дому, но прожил в нем, к сожалению, очень недолго», — говорит Никола Дамянов, сопровождающий нас по музею, его директор и основатель. Он близко знал Л. Надя и говорит о нем с нескрываемой нежностью.

Музей в Смоляне был открыт через три года после смерти поэта, создавать его помогали будапештский этнографический музей, родные, близкие Л. Надя, венгерские и болгарские почитатели его таланта.

В экспозиции представлены личные вещи хозяина дома — пастушеская трость, полка с тарелками из родного Исказа, любимая чашка с семью гномами, другие предметы, подаренные музею матерью поэта, его женой — Маргит Сечи, его друзьями.

В музее хранятся рукописи, автографы поэта, 180 оригинальных его рисунков, портреты. Л. Надь когда-то собирался стать профессиональным художником, он любил резьбу по дереву, умел обрабатывать и металл и очень любил рисовать, особенно лошадей. «Лошади — его геральдический знак», — говорит Н. Дамянов и обращает наше внимание на одну из бесчисленных крылатых лошадей. В мае 1969 года Л. Надь нарисовал ее на дверце книжного шкафа Любомира Левчева. Теперь эта дверца экспонируется в музее.

На стендах множество стихов-рисунков Л. Надя. «Для одних посетителей, — говорит Н. Дамянов, — важнее текст, для других — рисунок. Когда смотришь на эти листы, трудно сказать, какая муза вдохновляла Надя больше».

И конечно, в музее множество фотографий: Л. Надь с матерью, с Маргит Сечи, с Жаной Николовой, со Станиславом Сиврие вым, с другими болгарскими и венгерскими друзьями. Много фотографий-портретов. На большом снимке — Тодор Живков вручает Ласло Надю медаль Христо Ботева. На отдельном стенде — печальные фотодокументы: траурная процессия и похороны поэта на будапештском кладбище. Рядом с этими снимками крупными буквами — в переводе на болгарский — четверостишие Маргит Сечи:

Если бы затаиться
в нагрудном твоем кармане,
жить бы счастливой птицей —
без боли, без умиранья...

(Перевод Н. Горской)

В музее демонстрируется документальный 30-минутный фильм-интервью с Л. Надем, снятый незадолго до его смерти. И разумеется, здесь собирают книги Л. Надя — венгерские, болгарские, литературу о нем, его произведения на других языках. Недавно коллекция музея пополнилась вышедшей в Советском Союзе в издательстве «Художественная литература» книгой избранных стихов Л. Надя. Составил ее и написал вступительную статью известный литературовед и критик О. Россиянов.

В Исказе, на родине поэта, музей открылся 10 апреля 1984 года, через три года после смолянского. На церемонию открытия во

дворе скромного дома на краю села собралось более двух тысяч человек. Столько гостей не было в Исказе, очевидно, за всю историю села. Приехали и гости из Болгарии, ставшей второй родиной поэта. Никола Дамянов вручил в тот день хозяевам музея символический ключ от болгарской комнаты. Эта комната — дар болгарского народа исказскому дому-музею, болгарские мастера создали ее на том месте, где раньше была хозяйственная пристройка. Со скромной, даже суровой обстановкой родительского дома поэта праздничная болгарская, точнее, родопская комната резко контрастирует: замечательный резной потолок, нарядные скамьи и стол из светлого дерева, красиво оформленный очаг, домотканые ковры, ручные вышивки, любовно собранные предметы болгарского крестьянского быта, даже пастушьи колокольца есть — каждый со своим голосом. Болгарская комната и была задумана как парадная в этом доме, комната, в которой могли бы собраться друзья Л. Надя, его почитатели.

На празднике говорили о Л. Наде — гражданине и художнике, говорили о его поэтическом даре, который помог народам лучше узнать друг друга. Читали его стихи, пели народные песни — болгарские и венгерские. «Было много музыки, как на деревенской свадьбе, — вспоминал потом один из участников, — Ласло Надю понравилось бы».

Вот уже два года оба музея работают в тесном сотрудничестве, они подготовили сборник статей и воспоминаний болгарских и венгерских авторов о Л. Наде, альбом «От Исказа до Смоляна», который выйдет на двух языках — болгарском и венгерском.

Если я кану на дно, если вовсе угасну,
кто же поймет, как кузнечика скрипка прекрасна?
Кто горячо на замерзшую ветку дохнет?
Кто же на радуге сам свое тело распнет?..
Кто же любовь поднимая в зубах над волной,
перенесет на тот берег, на берег иной?

(Перевод О. Николаевой)

В этих стихах Ласло Надя слышатся не только боль и тревога, в них слышится и надежда поэта, что кто-то «оборонит его от ненасытного грифа забвенья», что кому-то нужны будут его стихи, что кто-то продолжит его дело.

Музей Ласло Надя в Смоляне продолжает его дело, способствуя дальнейшему сближению культур и народов.

Советская литература за рубежом

ПОЛЬША

«О» АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО. Издательство «Чительник».
Роман МАКСИМА ГОРЬКОГО «Мать». Издательство «КиВ».
Пьесы ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО. Издательство «Чительник».
Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Время и место». То же издательство.
Повесть ДМИТРИЯ ХОЛЕНДРО «Лопух из нижней слободки». Издательство «Искры».

США

Повесть БОРИСА ЕВГЕНЬЕВА «В поиске». Издательство «Фокус».

ФРАНЦИЯ

«Кануны. Хроника конца 20-х годов» ВАСИЛИЯ БЕЛОВА. Издательство «Галлимар».

ФРГ

Повесть ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Ночь после выпуска». Издательство «Зуркамп».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВА «Драчуны». Издательство «Правда».
Повесть ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Пядь земли». Издательство «Одеон».
Повесть КИРА БУЛЫЧЕВА «Сто лет тому вперед». Издательство «Правда».
Сказка АЛЕКСЕЯ ДУДАРЕВА «Синеглазка». Издательство «Младе лета».
Роман ВЛАДИМИРА КАШИНА «По ту сторону добра». Издательство «Смена».
Роман АЛЕКСАНДРА КРОНА «Дом и корабль». То же издательство.
Роман ГЕОРГИЯ МАРКОВА «Грядущему веку». Издательство «Обзор».
Роман МАРИ САТ «Лесная перепелка». Издательство «Смена».

Среди книг

Издано в СССР

НАЙДЕТ ЛИ СИЛЫ?

Сонала Олуменсе. Две жизни прожить не дано. Перевод с английского.— Литературный альманах «Африка». Выпуск 6. Москва, «Художественная литература». 1985.

Вскоре после обретения Нигерией политической независимости Воле Шойинка опубликовал роман «Интерпретаторы» [1]. Герои книги, молодые образованные нигерийцы, критически воспринимали сложившуюся в стране обстановку. Разочарование тогдашних «интерпретаторов» было вполне обоснованным: свобода не принесла желаемого, Нигерия попала в тиски неоколониализма.

Роман Воле Шойинки приходит на память, когда читаешь произведение молодого нигерийского писателя Сонала Олуменсе. Журналист Джимми Айзабо, центральная фигура повествования, во многом похож на Саго, героя Шойинки, только Саго повзрослевшего, пережившего и гражданскую войну конца 60-х, и нефтяной бум, с которым были связаны надежды на быстрое развитие экономики в начале 70-х, и крушение этих надежд, и ряд государственных переворотов. Бурной была история Нигерии в последнюю четверть века. Персонажи романов Шойинки и Олуменсе — люди одного поколения, чья молодость пришлась на годы становления независимого государства, на чьи плечи легла главная ответственность за судьбу новой Нигерии. Отклик на сложнейшие проблемы, с которыми сталкивается ныне эта страна, содержится в романе «Две жизни прожить не дано».

[1] Роман опубликован в «ИЛ», 1970, № 10.

Сонала Олуменсе — новичок в национальной литературе, это его первое крупное произведение, оно несет на себе следы писательской неопытности. И все же роман обращает на себя внимание. Он политически злободневен, размышления автора о причинах социального и экономического неблагополучия Нигерии далеко не банальны. Верно подмеченные детали местной жизни достаточно полно характеризуют реальность современного африканского государства. Перед нами общество, находящееся на перепутье: трудно предсказать его ближайшее будущее, слишком противоречиво, чревато катаклизмами настоящее.

Джимми Айзабо, вышедший из тюрьмы после пятилетнего заключения (мятежного журналиста упрятало за решетку одно из предыдущих правительств), с удивлением всматривается в родной город. Всюду перемены. Лагос разросся. На месте пустырей громоздятся небоскребы, во многих местах над ветхими домишками вознеслись автомобильные эстакады. Однако стоит немного пройтись, и видишь, что внешне разительные перемены не затронули сути: как и прежде, вокруг много нищих, улицы утопают в грязи и мусоре, бедность большинства горожан как бы оттеняется роскошью нуворишей, разъезжающих в дорогих лимузинах. На этих выскочек Айзабо смотрит с негодованием. Ему отвратительны кичащиеся наворованным богатством подрядчики, процентщики, охотники за легкой наживой. Продажными марионетками белых капиталистов мысленно называет он их.

И он не далек от истины: всякому здравомыслящему человеку понятно, какой вред стране приносят расхитители. Конечно, мало кто решится открыто выступать против них — за их спиной влиятельные политиканы, которых разоблачал Айзабо и поплатился за это годами тюрьмы. Однако он полон решимости и дальше бороться за справедливость, как ее понимает. Надо только осмотреться, подумать, что делать дальше.

Автор не рассказывает подробно о политических убеждениях своего героя. Судя по всему, Айзабо не является сторонником радикальных изменений существующего в

стране порядка (хотя кому-то из окружающих он кажется чуть ли не революционером), да и сам он не считает себя радикалом: «Господствующее общество умеет защитить себя от нежелательных сил, а в нашем поколении я как раз такая сила». Скорее всего он один из тех интеллигентов, которые выступают за либеральные реформы. Думающий, порядочный человек, Айзабо не может смириться с вопиющими проявлениями социальной несправедливости. Он призывает покончить с коррупцией, засилием иностранного капитала, свою главную задачу видит в том, чтобы вскрывать злоупотребления конкретных лиц.

Айзабо считает, что только высоконравственный человек имеет моральное право критиковать больное общество. Личная честность, сознание того, что в твоих призывах к искоренению пороков нет ни грана лицемерия, наделяет его большой внутренней силой. Однако этого человека по возвращении домой ждет жестокое разочарование. Он с горечью видит, что за время разлуки стал бесконечно далек близким людям. Айзабо узнает об измене жены, о недостойном поведении старших детей. Кто-то словно разрубил узы, сплачивавшие семью, теперь каждый сам по себе. Айзабо тяжело переживает отчуждение тех, кого любил и считал своей опорой.

Сонала Олуменсе изображает семейную драму своего героя на социальном фоне. То, что происходит в семье Айзабо, проецируется на отношения в обществе, где царят разобщенность, эгоизм, корыстолюбие. Писателю важно показать не только очевидные причины разрыва между мужем и женой, но проанализировать общественную ситуацию, выявить присущие ей противоречия и то, как они в свою очередь отзываются в семье. Жена Айзабо, Эно, вступила в связь с Шефом Аджалой, беспринципным наживалой и циником. Многие страницы книги посвящены описанию его темных делишек. Аджала — один из тех, по словам автора, кто оставляет грязные следы, хотя и старается замести их. Огласка, которую получили отношения внешне респектабельного бизнесмена и жены опального, но известного журналиста, испугали Аджалу. Он поспешно улетает за границу, надеясь переждать там скандал, но бегство Аджалы вовсе не означает его поражения. Грустный итог повествования заключается в том, что подобные люди в современной Нигерии неуязвимы. Аджала вернется, и все будет по-прежнему, только он станет осмотрительнее выбирать новых любовниц.

Гораздо неопределеннее будущее Айзабо. Не может он простить измены и расстается с женой. В автомобильной катастрофе погибает его младшая дочь, единственный человек в семье, с которым у него сохранилось взаимопонимание. Сонала Олуменсе выразительно передает психологическое состояние своего героя. Несчастья, обрушившиеся на Айзабо после выхода из тюрьмы, надломили его. В заключительных главах это уже не тот уверенный в себе, спокойный, рассудительный человек, каким он обрисован в начале. Сможет ли Айзабо преодолеть душевный кризис? Ведь речь идет не просто о семейных — пусть тяжелых — неурядицах. Не так-то просто переосмыслить прежний опыт и найти в себе новое мужество.

Как видим, финал далеко не оптимистичен. Вопрос «как будешь жить дальше?» Сонала Олуменсе адресует не только своему герою. Бремя проблем, которые приходится преодолевать Нигерии, да и многим другим развивающимся странам, способно повергнуть в отчаяние. И невольно возникает сомнение: найдет ли Айзабо и такие, как он, силы способствовать прогрессу своих народов? Ведь от этого в немалой мере зависит будущее Африки.

МИХАИЛ ВОЛЬПЕ

ЭТАПЫ ДУХОВНОГО РОСТА

Мария Луиза Кашниц. Мартовский ветер. Рассказы. Перевод с немецкого. Составление и предисловие Н. Литвинец. Москва, «Художественная литература», 1985.

Творческие судьбы немецкоязычных писателей старшего, среднего, а отчасти и молодого поколений в решающей степени характеризуются отношением того или иного художника слова к проблеме фашизма. Речь идет главным образом о мере и способе противостояния ужасам нацистской ночи (или о попытках так или иначе абстрагироваться от них, выйдя за круг общечеловеческих или, точнее, общегуманистических вопросов).

Мария Луиза Кашниц (1901—1974) — дворянка, жена известного австрийского археолога, представительница весьма респектабельных слоев общества, если не его элитарной верхушки — не подвергалась гонениям в годы гитлеризма и даже имела возможность заниматься литературной деятельностью, перелагая — для детей и взрослых — античные мифы. Ее стихи той поры, вошедшие позднее в сборник «Пляска смерти и стихотворения на злобу дня» (1947), ставший заметным событием в духовной жизни послевоенной Европы, долго копились в ящике письменного стола. И так же, дожидаясь своего часа, копились в душе писательницы впечатления, мысли и образы, надежды и страхи, обусловившие довольно редкий — и по масштабу, и по сопутствующим обстоятельствам — ее творческий взлет в последующие десятилетия, прерванный лишь смертью.

Нацизм стал для Кашниц не только мучительным личным переживанием, не только историческим опытом и трагической виной ее народа, но и своего рода мерилом (конечно же, отрицательным), с которым поэтесса подходила и к событиям современным, и к проблемам дня завтрашнего. Ее знаменитое стихотворение «Хиросима» вошло в бесчисленные антологии, среди которых и «Европейская хрестоматия» — беспримерная книга надежд и тревог лучших умов Европы. Ее поэмы «Возвращение во Франкфурт» и «Мое время», ее лирические шедевры из книг «Твое молчание — мой голос», «Вечный город», «На одно слово дальше» и другие — высокие образцы истинно гражданственной поэзии [1].

[1] См. «ИЛ», 1975, № 2.

Как прозаик Кашниц дебютировала еще в тридцатые годы, но ее тогдашние произведения — романы «Любовь начинается» и «Элисса» — малоудачны, манерны. Лишь став — и, по-видимому, осознав себя — известной, читаемой и почитаемой поэтессой, Кашниц сумела найти свой прозаический жанр: это — небольшая новелла, порою даже миниатюра, возникающая на основе дневниковой записи или «сердца горестной заметы», поднятой до уровня символического обобщения. Поэтическая природа ее новелл очевидна, они построены не на традиционных сюжете и фабуле, но на том, что мы, вслед за академиком Жирмунским, определили бы как «поэтический мотив». И в то же время в прозаических миниатюрах Кашниц присутствует психологическая и бытовая достоверность, точность в прорисовке деталей, а иногда едва ли не детективная напряженность действия.

Слава Кашниц-рассказчицы довольно быстро сравнялась с ее поэтической славой и, пожалуй, даже несколько затмила последнюю. И все же, на наш взгляд, можно говорить о некоем равновесии между поэзией и прозой в творчестве Кашниц — случай не столь уж частый: стихи Генриха Бёля и Гюнтера Грасса остаются стихами прозаиков, проза Готфрида Бенна или Райнера Марии Рильке (параллели с которой можно до известной меры усмотреть и в прозе Кашниц) — прозой поэтов. Упоминание этих имен в сопоставлении с именем Кашниц, разумеется, несколько комплиментарно: это первый литературный ряд, а она — одна из ведущих фигур второго, но сказанное ею тоже звучит иногда значительно и веско.

Творческую манеру Кашниц-прозаика хочется объяснить на примере ее, на наш взгляд, лучшего (или, во всяком случае, ключевого) рассказа «Толстая девочка». В дом к рассказчице — сельской библиотекарше «на общественных началах» — является некая девочка, может быть, за книгой, но то ли незнание, то ли застенчивость мешают ей сказать за какой. Впрочем, ее мучит и голод, и она с жадностью уплетает бутерброды, предложенные ей хозяйкой, и хочет добавки. «Все в ней меня отталкивало — вялые руки и ноги, пухлое смазливое лицо, манера разговаривать, какая-то сонная и в то же время надменная». А затем выясняется, что у девочки нет ни подруг, ни интересов, и сама она начинает все больше походить «на жирную гусеницу». Лишь говоря о сестре, девочка оживляется: та — ее полная противоположность: и чисто внешне (худая, темноволосая), и в повадках (ничего не боится), и в интересах («она и стихи сочиняет»). Затем толстая девочка уходит на реку кататься на коньках, там ее ждет сестра, а рассказчица спешит следом — из желания на эту сестру поглядеть. Она наблюдает неуклюжее катанье новой знакомицы, ее беспомощные попытки уподобиться идеалу — сестре, выписывающей воздушные вензеля на льду где-то поблизости. И вдруг лед под толстой девочкой проламывается, она начинает тонуть, а рассказчица не в силах помочь ей. «Но тут толстая девочка как раз добралась до сваи и... стала судорожно карабкаться наверх... То была долгая, жуткая борьба за освобождение, за переход в другое состояние, последние конвульсии куколки или личинки, которые я наблюдала, хотя теперь могла бы помочь, но я уже знала, что моя помощь не понадобится»... В смятении вернувшись домой, рассказчица видит на детской фотографии самое себя: «с прозрачными водянистыми глазами и очень толстую»...

В рассказе следует выделить два плана: биографический и символический. Несомненно, в основе первого лежат детские воспоминания, возможно, о каком-то конкретном эпизоде, что характерно для Кашниц. Несомненно, состязание «толстой девочки» с ее замечательной сестрой (скорее всего воображаемой), равно как ее «борьба за освобождение», отображают этапы духовного роста самой писательницы, но историю «толстой девочки» можно прочесть и как рассказ о немецкой нации — и тогда образ черноволосой сестры приобретает трагические черты, напоминая «Фугу смерти» австрийского поэта Целана.

Какова же альтернатива? Альтернатива традиционная: честь и мужество (трагического, экзистенциалистского толка), любовь, также окрашенная в трагические тона в предвидении и осознании неизбежной разлуки... Особое место занимают в книге новеллы, рожденные личным горем писательницы — смертью любимого мужа, с которым она прожила тридцать три года. Они, однако, при всей их субъективной значимости, слабее других: здесь у Кашниц недостало сил подняться над собственными переживаниями, ее проза утратила обычную поэтическую притягательность и осталась полудневниковой («На мысе Цирцеи» и др.). Тем не менее эти новеллы занимают слишком важное место в ее творчестве, чтобы их можно было не принимать во внимание.

Отбор рассказов, порядок их расположения, характер подачи в предисловии играют важную роль в любой книге — в книге же поэтической прозы эта роль резко возрастает. Рискнем заметить, что составитель превращается в таком случае в интерпретатора, и Н. Литвинец правомерно включила в сборник часть лирических новелл. Мы не во всем согласны с Н. Литвинец, трактующей прозу Кашниц в чеховском ключе, но избранная ею концепция проведена в книге последовательно. Удачно объяснены в предисловии и новеллы с известным налетом мистицизма («Привидения», «Черное озеро»). Н. Литвинец справедливо указывает на их связь с романтической традицией (и романтической иронией).

Лирическая проза предъявляет повышенные требования и к переводчикам, традиционные средства здесь не всегда срабатывают; ритм фразы, абзаца, а иногда и новеллы в целом оказывается порой важнее, чем точность в деталях, каждое случайно взятое слово буквально режет слух. Не слишком велик у наших переводчиков и опыт воссоздания подобной прозы, чем можно объяснить некоторые издержки в данной книге, в основном переведенной весьма удачно. Лучшими, на наш взгляд, выглядят в книге переводы Ю. Архипова

(в частности, широко цитировавшаяся выше «Толстая девочка») и Н. Федоровой.

Книга рассказов Кашниц несомненно найдет отклик в читательской среде, если не затеряется в нынешнем книжном море. Хочется думать, что не затеряется.

ВИКТОР ТОПОРОВ

ПУТИ СПАСЕНИЯ

Э. Воиску. Кошмары и мечты. Роман. Перевод с греческого Н. Подземской. Предисловие В. Соколюка. Москва, «Радуга», 1985.

Проблема преодоления страданий и поиска путей к освобождению — главная в романе известной греческой писательницы Элени Воиску «Кошмары и мечты» (Афины, 1978), и это не случайно, если учесть, что автор не раз подвергался гонениям за политические убеждения.

На первых страницах «необразованный, но умный человек» Мицос призывает всех жителей квартала броситься в море: «Это не самоубийство, а избавление от жизни — кошмарной, нищей, безнадежной». Все согласились, назначили даже точную дату «исхода», но вот на улицах появились танки и солдаты: власть захватили «черные полковники», начался фашистский террор. Казалось бы, хуже не бывает. И тут происходит невероятное: люди сплотились, а о смерти и думать забыли. В них проснулось гражданское чувство. Они стали осознавать, что подлинного освобождения можно добиться только в упорной борьбе. Дальнейший ход событий подтверждает правильность сделанного выбора.

Тема сопротивления фашистскому режиму — сквозная в книге. Даже пейзаж кажется проникнутым этим духом сопротивления, даже в эпизоде с кошкой Ирини (в переводе с греческого — «мир»), которую во время путча раздавили гусеницы танка, чувствуется символика протеста.

Писательницу глубоко волнуют современные проблемы не только Греции, но и других государств. То, что происходит в Греции, тесно связано со страданиями и бедами народов Вьетнама, Португалии, Испании, Кипра, Южной Африки, Индии, Латинской Америки.

Остро ощущаемое единство судеб народов Земли находит отражение и в сюжете: действие переносится из Афин в Кливленд, из Кливленда — в Рим, из Рима — снова в Афины. Социальные антагонизмы, борьба между силами реакции и демократии, проблемы образования, досуга молодежи, положения женщины в обществе, преследование за политические убеждения, жизнь греческой эмиграции — все волнует автора.

Основные события изображаются через непосредственное детское восприятие. Такой прием неизбежно вызывает у читателя сочувствие маленьким героям. Никос, Димитракис, близнецы Йоргос и Йоргия, Димос, Фотини, Маро вынуждены сочетать учебу с тяжелым физическим трудом. С малых лет они усвоили безотрадную истину: люди делятся на богатых и бедных, на сытых и голодных, но в суровое для страны время они помогают старшим распространять прокламации и листовки, пишут краской на стенах домов мятежные лозунги, мало заботясь при этом, сколь смертельной опасности подвергаются.

Свою позицию ищут и дети богатых — например, Поликарпос и Тота, сын и дочь крупного магната и «коммерсанта» Андреаса Андреу, который стал сотрудничать с реакционным правительством. Сначала Поликарпос восхищался речами диктаторов, водил компанию с наркоманами и проститутками, однако благодаря дружбе с подпольщиком Василисом он начинает постепенно понимать смысл происходящего в родной стране. Поликарпос находит в себе силы отречься от родителей и прежнего образа жизни, он в первых рядах восставших студентов. После кровавых событий в Политехническом институте Поликарпос живет в бедном квартале Афин и работает в переплетной мастерской.

С Тотой мы впервые встречаемся, когда она ведет двойной образ жизни: скромной девушки дома и куртизанки в сомнительных заведениях. Разум и совесть ее пробуждают гуманистические произведения К. Варналиса. Она бежит за границу и работает диктором, ведя антифашистские радиопередачи.

Сын лавочника Антимоса, Параскеваса Полидевкис, альфонс и наркоман, сочувствует хунте. Ради денег он готов убить содержащую его Лили, однако, неожиданно оказавшись у стен Политехнического, переходит в лагерь восставших студентов. Поступок этот импульсивен, но Полидевкис словно заново родился: он счастлив, что приобщился к борьбе сверстников за благородное дело, хотя счастье это недолгое: он погибает от шальной пули.

Кульминация романа — описание событий в Политехническом институте. Выступление студентов в ноябре 1973-го, потопленное в крови по приказу «черных полковников», осталось в памяти греческого народа символом самоотверженной борьбы за демократию.

Иногда действие романа Воиску напоминает остросюжетный киносценарий. Отсюда и дробная композиция, непрерывный ряд быстро сменяющихся коротких эпизодов. Поэтические «картины» часто прерываются хроникально-документальными «кадрами». Постоянно меняется и авторская интонация: это сочувствие и гнев, горечь и ненависть, боль и осуждение, пафос и ирония, переходящая иногда в сарказм. Резкий контраст стиля подчеркивает драматизм происходящего и держит читателя в напряжении.

Книга Э. Воиску относится к жанру молодежного романа, обогащенному принципами документально-репортажной прозы, и это сближает роман с повестью Зисиса Скароса «Мир надежд» (Афины, 1976) [1], посвященной проблемам греческой эмиграции. К сожалению, писательница не вполне овладела этой стилистикой. Есть в романе и другие просчеты, подмеченные в предисловии В. Соколюка, но в целом произведение написано живо и современно.

Размышляя над судьбами отдельных лю-

[1] Опубликована в сб. «Промах» и другие повести», М., «Радуга», 1983.

дей и всего многострадального греческого народа, Э. Воиску приходит к выводу, что победа над диктаторской хунтой — только начало упорной борьбы за подлинную демократию, свободу и социальный прогресс и что именно борьба за них, пусть даже длительная, единственно верный путь. Сегодня в Греции под напором выступлений трудящихся и легальной деятельности коммунистов усиливается процесс демократизации общественной жизни. Однако параллельно возрастает и роль опирающихся на крупный капитал реакционных партий и группировок, которые начинают объединяться в антидемократический блок. Вот почему актуальна книга Элени Воиску. Это не только повесть о пережитых страданиях. Это — предупреждение на будущее.

В. РЗЯНИН

Издано за рубежом

ПОРТРЕТ ПАТРИАРХА

Cowly M. The Flower and the Leaf. A Contemporary Record of American Writing Since 1941. Ed. and with an Introduction by Donald W. Faulkner. N. Y., 1985.

Малькольм Каули. Цветы и листья. Заметки о современной американской литературе после 1941 года. 1985.

Всякая новая книга Малькольма Каули [1] — старейшины американских критиков — событие. Она неизменно привлекает внимание литераторов-профессионалов и читающей публики. Не составляет исключения и последняя. Не будем, однако, обманываться: новизна книги относительна. Составитель сборника Доналд Фолкнер отобрал из огромного (более 500) числа статей, рецензий, очерков, воспоминаний, написанных Каули за последние сорок лет (1941—1983), то, что показалось ему наиболее существенным, имея в виду представить нам творческий портрет маститого критика и общую картину американской литературной жизни. Получился том, оглавление которого содержит пятьдесят одно название, а количество страниц приближается к четыремстам.

Малькольм Каули — примечательная фигура в американской литературе XX столетия. Он родился в 1898 году и отчасти принадлежит к поколению, которое Гертруда Стайн окрестила «потерянным», а сам он предпочитает именовать «удачливым». Оно и в самом деле удачливо, если учесть огромную художественную ценность наследия, оставленного С. Фицджеральдом, Э. Хемингуэем, Т. Вулфом, Ш. Андерсоном и другими.

[1] См. на русском: Малькольм Каули. Дом со многими окнами. М., «Прогресс», 1973.

«Последний из могикан» этого поколения, Каули одновременно как бы стоит вне его. Отсюда активное соучастие в жизни, трудах и делах «потерянных», но отсюда же и способность к отстраненному взгляду и объективному анализу их творчества, может быть, потому, что он — наш современник в такой же мере, как современник Фицджеральда, Хемингуэя и Вулфа.

Для Каули прогресс национальной литературы — личное дело. Его жизнь вне литературной борьбы была бы немыслима. Вместе с тем литература не существует для него отдельно от политики, социального развития и духовного бытия народа. Принадлежность к культурно-исторической школе побуждает его видеть в литературе прежде всего отражение и осмысление национальной жизни. Именно поэтому его статьи, даже если они посвящены частным проблемам, имеют, как правило, общее значение.

К сожалению, составителю не удалось целиком выполнить поставленную задачу. Сборник страдает излишней пестротой, отсутствием единства и внутренней логики. Ни один из заявленных структурных принципов (хронологический, тематический, методологический) не выдержан до конца.

Наиболее последовательно организована первая часть — «Годы военные и послевоенные». По времени написания статьи относятся к годам второй мировой войны, борьбы европейских народов против фашизма и к мрачной эпохе маккартизма послевоенной жизни США.

Европейская литература военного времени для Каули — это прежде всего литература Франции. Он долго там жил, был дружен со многими французскими литераторами. Среди статей о литературе французского Сопротивления мы найдем великолепный очерк о творчестве Арагона («Арагон победоносный», 1945) и блестящую, хоть и короткую, статью о Веркоре и Сен-Поле Ру, которому, как известно, Веркор посвятил «Молчание моря» («Убитый поэт», 1944). Эти статьи содержат не просто оценки произведений названных авторов. В них — отражение духовной истории Франции в годы оккупации, упадка, а затем возрождения национально-патриотического духа, процесса, в котором литература (особенно поэзия) сыграла, по мысли Каули, неоценимую роль.

Среди статей, посвященных американским литературным делам военного и послевоенного времени, следует выделить трезвую, лаконичную заметку, пронизанную тревогой за будущее американской словесности, которую подстерегают опасности политического, социального, экономического и общекультурного порядка, способные затормозить развитие национальной литературы. Статья так и называется — «Опасности, подстерегающие американскую литературу». Отметим также литературный портрет старинного друга Каули, редактора Максуэлла Перкинса, который, можно сказать, «привел за руку» в американскую литературу таких гигантов, как Хемингуэй, Фицджеральд и Вулф. «Портрет» написан к шестидесятилетию Перкинса с необычайной теплотой и любовью.

Есть здесь и материалы, которые ничего не прибавляют ни к облику Каули, ни к общей картине литературной жизни. Более то-

го, они искажают верную перспективу, например, рецензии на книги Лео Ланиа и Артура Кестлера.

Второй раздел сборника Д. Фолкнер озаглавил «Полезное прошлое», используя старинную дефиницию пуританских историков, полагавших существенными лишь такие явления исторического процесса, которые содержат «полезный нравственный урок». В этот раздел вошли статьи и рецензии, написанные Каули между 1944 и 1971 годами. Наиболее интересны те из них, что содержат оригинальные, нередко спорные концепции, вызвавшие в свое время смущение историков литературы и литературных критиков. Острота их сегодня уже несколько притупилась, но они не утратили значения, тем более что некоторые из идей Каули прижились и широко используются новым поколением литературоведов. К числу таких статей отнесем «Погребенный шедевр Уолта Уитмена» (1959), «Хемингуэй в полночь» (1944), «Среднеамериканский прозаический стиль» (1945) и «Пределы романа» (1956).

Так, «Погребенный шедевр» — первое издание «Листьев травы», а «могильщик», похоронивший его,— сам Уитмен. Сборник изначально состоял из 12 стихотворений, никак не озаглавленных и не разбитых на строфы. С точки зрения Каули, он обладал цельностью и единством, каких нет ни в одном из более поздних изданий. Последующие добавления и коррективы лишь затемняли смысл и ухудшали стиль первоначального текста. «Предсмертное издание», насчитывающее 383 стихотворения, не имеет почти никакого отношения к «шедевру». Примечательную черту первого издания Каули видит в том, что Уитмен создал здесь не только новый стиль, но и новый образ «пролетарского барда», от имени которого написана книга.

Из других сочинений Каули в этом разделе выделим язвительные рецензии на книги Б. Де Вото «Литературные заблуждения» и Л. Фидлера «Любовь и смерть в американском романе». В первой из них («В защиту двадцатых», 1944) Каули отстаивает литературу «потерянных» от невежественных, безответственных нападок Де Вото, справедливо полагая, что, взятые купно, писатели 1920-х годов представляют «великий период» в истории американской литературы. Во второй («Американская литература на кушетке психоаналитика», 1960) — Каули остроумно, с фактами в руках обнажает несостоятельность попыток фрейдистской интерпретации истории американского романа, как это делает Л. Фидлер.

Расплывчатость названия последней части сборника — «Оценки и ретроспекции» — вполне соответствует некоторой бессистемности включенных в него материалов. Сюда вошли рецензии на произведения Д. Митчелла, У. Х. Одена, С. Льюиса, Д. Фаррела, Д. Коззенса, Д. Марквенда, У. Фолкнера, Т. Уайлдера; очерки и воспоминания об А. Тейте, Э. Уилсоне, Р. П. Уоррене, Д. Чивере. К. Эйкене, Г. Менкене и других; полемические статьи.

Все это превосходно написано, читается с большим интересом и свидетельствует о глубокой приверженности Каули делу национальной литературы и, конечно же, о литературном мастерстве. С его оценками можно спорить (хотя в большинстве случаев он бывает прав), но анализ его всегда увлекателен, выводы нетривиальны, а непримиримость ко всякого рода критикам, искажающим художественные явления в угоду модным концепциям, безгранична.

Основное место в этом разделе, как, впрочем, и в других, занимают короткие рецензии. По словам Каули, короткая рецензия — это его жанр, его форма самовыражения в искусстве, его «белый стих, венок сонетов, послание далеким друзьям, наконец — дневник». Рецензии Каули необычайно емки. В них содержится не только оценка конкретного произведения, но и общая характеристика писателя, история его творческой жизни, определение его места в литературном процессе. В структуре и стиле рецензий легко просматриваются элементы, присущие беллетристическим жанрам. В них имеется сюжет, характеры и, наконец, всегда присутствует сам Каули, рассказывающий «историю», что обеспечивает неожиданность ракурса и неповторимость взгляда.

В заключение отметим еще одну особенность сборника, на сей раз малопривлекательную. Д. Фолкнер включил в него ряд материалов, призванных показать, что Каули не марксист, не коммунист, не радикал и вообще не «левый», что литература для него — область человеческой деятельности, стоящая в стороне от идеологии и политики. Зачем? Каули — фигура, достаточно хорошо известная в литературном мире. Он буржуазный демократ и гуманист, принадлежащий к культурно-исторической школе в литературоведении. Известно, что в тридцатые годы он, как многие другие буржуазные демократы, сблизился с коммунистическим движением и был среди его активных попутчиков. Позднее, в годы маккартизма, он жестоко поплатился за эту активность. В прессе появились разгромные рецензии на его произведения, его «дело» рассматривалось в пресловутой комиссии Дайса, ему пришлось оставить государственную службу и на долгие годы уединиться на ферме. Тогда-то он написал несколько статей и очерков, единственный смысл которых состоял в том, чтобы заявить о своей непричастности к коммунистическому движению. Они его не украшают, они имеют весьма отдаленное отношение к литературе, и сборник только проигрывает от их присутствия.

Ю. КОВАЛЕВ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Polonistyka Radziecka. Literaturoznawstwo. Wybór, wstęp i notki o autorach Bazyli Białokowicz, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

Советская полонистика. Литературоведение. Составление, предисловие и справки об авторах Базилия Бялокозовича. 1985.

У всякой книги, будь то роман или научное исследование, помимо основного, заложенного автором смысла и предназначения может выявиться дополнительный, «незапланированный» смысл. В таком случае книга как бы полу-

чает стереоскопичность. Это и ощущаешь при знакомстве с антологией «Советская полонистика» — обширным сводом трудов советских ученых о польской литературе.

Здесь дает себя знать своеобразный эффект «двойного отражения»: с одной стороны, антология позволила полякам (а она адресована прежде всего им) увидеть свою национальную литературу глазами советских ученых; с другой стороны, и советские полонисты получили редкую возможность произвести «генеральный смотр» сделанного за послевоенные годы. Антология наглядно свидетельствует о внимании поляков к советской полонистике, о признании ее достижений; вместе с тем лучшие работы советских полонистов, собранные под одной обложкой, производят немалое впечатление масштабом представшей панорамы.

Особо скажем об инициаторе издания антологии и ее составителе, видном польском литературоведе Базилии Бялокозовиче. Он — автор более двухсот научных работ, среди которых монографии «Связи Льва Толстого с Польшей» (1966), «Из истории польско-русских литературных взаимосвязей XIX века» (1971) и т. п. Советская полонистика — важная область его научных интересов.

Б. Бялокозович так определяет цель антологии: «Показать ведущие тенденции в советской литературоведческой полонистике, ее развитие в пространстве и времени, ее методологические принципы и тематические предпочтения».

В предисловии Б. Бялокозович коротко представляет историю русской полонистики, берущей начало в первой половине XIX века, и доводит ее до 1945 года. Дальнейшие этапы развития полонистики отражены в самой книге.

Из глубин истории польской литературы читатель движется к современности. Он встречается с разными и разномасштабными писателями: и с теми, кто, подобно Яну Кохановскому или Адаму Мицкевичу, определял облик польской литературы (статьи И. Голенищева-Кутузова, М. Алексеева, Б. Ростоцкого, И. Бэлзы, С. Ланды, Б. Стахеева и др.), и с теми, чья роль — при всей самобытности их произведений — оказалась в истории литературы скромнее (например, статьи Р. Кирчева о Юзефе Богдане Залесском и С. Кабелите-Аустейи о Людвике Кондратовиче). Творчество польских писателей дано в различных аспектах: мы находим здесь углубленный анализ формы, стиля (например, в статье В. Мочаловой о плебейской, так называемой совизжальской литературе); любопытное сравнение поэтического оригинала и перевода (в статье Н. Богомоловой о переводах на русский язык Болеслава Лесьмяна); теоретические проблемы — такие, как периодизация литературных эпох (статья А. Липатова), становление и развитие польского реализма (статьи Е. Цыбенко и И. Горского).

Если учесть, что в антологию включены работы полонистов разных поколений, представляющих разные города и республики, научные институты и учебные заведения наконец, разные профессии (литературоведы, историки, искусствоведы, переводчики); если принять в расчет различие исследовательских индивидуальностей и научных подходов (статьи историко-литературные, типологические, сравнительные, причем в последних анализируются связи польской литературы с традициями русской, украинской, белорусской, грузинской литератур, с традициями других народов, например якутского и азербайджанского), то понятно, сколь пестрой была «мозаика», из которой Б. Бялокозовичу предстояло создать целостную картину. И все-таки составителю удалось выстроить единый и занимательный «сюжет» книги.

Взгляд советских ученых на польскую литературу — в сущности, взгляд необычный: он нередко преодолевает «сопротивление» польской литературоведческой традиции, по-новому интерпретирует известные явления. Но, думается, особую ценность для поляков представляют факты литературы и литературной жизни, которые в силу особых исторических связей польского и русского народов открывают именно советские ученые: так, новые материалы обнаружили и прокомментировали В. Дьяков, Д. Кацнельсон, Д. Прокофьева и другие исследователи.

Не имея возможности подробно говорить о всех разделах антологии, остановимся лишь на последнем — «О польской литературе XX века». Здесь наиболее значительны статьи В. Витт «О типологическом сходстве польской и русской реалистической прозы на рубеже XIX—XX вв.» и В. Хорева «Из истории польской марксистской критики» и «Идейно-художественная эволюция в польской литературе 1945—1948 гг.». В других статьях раздела освещаются такие вопросы, как «Герой в пролетарской прозе межвоенного двадцатилетия», «Национальная романтическая драма на революционной сцене» (статьи В. Вединой, Н. Башинджагян), контакты польских и русских литераторов (статьи Я. Станюкович, Т. Агапкиной, И. Лозинского), литературные влияния (статьи Ю. Булаховской, А. Пиотровской, С. Спасс). В каждой из них есть своя новизна.

И все-таки в этом разделе недостает, как нам кажется, рассмотрения крупных художнических личностей, больших научных проблем. За пределами антологии осталось многое, созданное в период 1918—1939 гг.— время смелых поисков и ярких находок в польской поэзии, прозе, драматургии. Не зная же литературы 20—30-х годов в разнородности ее течений, в разнообразии индивидуальностей, нельзя понять процессы, происходящие в польской словесности сегодня.

Кроме упомянутой работы В. Хорева лишь две статьи, включенные в антологию, посвящены послевоенной польской литературе: С. Мусиенко (о традициях и эксперименте в творчестве Вильгельма Маха) и В. Гаповой (о деревенской теме в польской и белорусской прозе).

Неполнота этого раздела удивляет тем более, что современную польскую литературу у нас в стране знают, и, как ни парадоксально, знают благодаря советским полонистам, многие из которых представлены в антологии. Они, в частности, активно участвовали в создании «Библиотеки польской литературы», состоящей из произведений послевоенного периода (до настоящего времени вышло более 20 томов). Да и других

примеров множество. Достаточно сказать, что только в последние годы журнал «Иностранная литература» познакомил советского читателя с творчеством таких мастеров, как Ю. Кавалец, Т. Новак, С. Гроховяк, В. Билинский и других писателей. Невольно складывается впечатление, что литературоведение в этой области не поспевает за литературой[1]. Впрочем, важнее, что антология, продемонстрировав существенные достижения советской полонистики, наталкивает на размышления, ставит новые задачи и несомненно доказывает, что она может быть действенным способом интеллектуального обмена.

О. ЛАПАТУХИНА

ИГРЫ ПРАВОСУДИЯ

Friedrich Dürrenmatt. Justiz. Zürich, Diogenes Verlag, 1985.

Фридрих Дюрренматт. Правосудие. 1985.

Как только не называет Дюрренматта критика (порой весьма невежливо) — «гигантом театра» и «балаганным шутом», «глубоким мыслителем» и легковесным балагуром», моралистом-просветителем и анархиствующим циником, борцом за справедливость и «пророком заката». Одно определение отменяет другое, одно прозвище противоречит другому, рядом стоящему, но, взятые в совокупности, они все же высвечивают существенные грани творческого облика знаменитого швейцарца. Он — художник неудобный, строптивый, не поддающийся стереотипам восприятия, предпочитающий не ублажать, а дразнить.

Дюрренматт весь соткан из противоречий и парадоксов. В этом его своеобразие. Он парадоксалист и моралист в одном лице, и неизвестно, чего в нем больше — убежденности в бессмыслице всего сущего или тоски по порядку и вселенской гармонии. Сам он категорически против того, чтобы его причисляли к нигилистам и абсурдистам, и без устали напоминает о своем родстве не с Беккетом, а с Шекспиром, Свифтом и Лессингом. Он даже обижается на критиков: можно ли называть пессимистом и «пророком заката» того, кто ставит грозный, но беспощадно трезвый диагноз?

Дюрренматт настойчиво напоминает о все убыстряющемся сползании человечества к чудовищной ядерной катастрофе: «Наше обиталище — начиненная порохом бочка, в которой разрешено курить». Ему не дают покоя сакраментальные вопросы: почему насилие стало нормой в безумном мире генералов и диктаторов? Почему многочисленный и многоликий обыватель, пристроившийся в домашних тапочках у телевизора, предпочитает насилие духовности и красоте? Парадоксалистом, утверждает он, его делают вопиющие несуразности современного мира, тратящего миллиарды на вооружение и не находящего пяти центов, чтобы спасти умирающего от голода африканского ребенка: «Когда задумываешься над этими парадоксами, перестаешь вообще что-либо понимать».

Надо отдать Дюрренматту должное: в публицистических выступлениях он зовет к борьбе против «иррационализма» гонки вооружений, против звездных войн, бессмысленных по своей сути, против мании величия больших и маленьких диктаторов, против бездумной покорности домашних «минотавриков», сидящих у телеэкранов, против власти большого бизнеса, ставшего трагической судьбой западного мира.

Иное дело — художественное творчество. Дюрренматт — писатель трагикомического, гротескового склада, он рисует не благостные и желанные картины победы разума, а, предостережения ради, придает неразумным ситуациям самый мрачный оборот, домысливает их до «наихудшего конца». Это излюбленный прием его трагикомедий — от «В писании сказано» до «Ахтерлоо». Но «наихудший конец», еще недавно казавшийся чем-то гипотетическим, обретает все более явственные приметы ядерного апокалипсиса, и Дюрренматт нервничает, сожалеет — особенно в последнее время, — что предостерегал недостаточно внятно, что в своих размышлениях о судьбе планеты и человечества увлекался игрой парадоксов и опускал какие-то важные логические ходы. Он явно хочет быть серьезнее, чем был до сих пор.

Однако к мрачному шутовству писатель тяготеет только в драматургии, что же касается прозы, то тут у него серьезности хоть отбавляй. Просто он уже более четверти века выступает в основном как драматург и публицист. и за это время почти забылось, что Дюрренматт — великолепный мастер прозы, автор замечательных рассказов и не менее замечательных детективных романов, созданных в 50-е годы и поставивших его в один ряд с выдающимися мастерами этого жанра — Ж. Сименоном, Р. Чэндлером, Ф. Глаузером и др.

И вот снова детективный роман. Удивление критиков было вызвано не только тем, что романом «Обещание» (1958) Дюрренматт пропел «отходную детективному жанру». В конце концов, он не раз отрекался от им же даваемых зароков. Дело в ином: детектив действительно не вписывается в дюрренматтовскую концепцию мира. Ведь что такое детектив? Восстановление нарушенного равновесия. Преступник разоблачен и схвачен, справедливость торжествует, порядок наведен, можно спокойно жить дальше. Детектив предполагает изрядную долю онтологической уверенности, Дюрренматт же — поэт сомнения. Он сомневается в разумности миропорядка, в существовании истины и справедливости, а иногда, похоже, и в том, что истину и справедливость вообще следует отстаивать. Мир непостижим, твердит он, человек — сущая загадка, его разум бессилен что-либо понять. Когда в жертву подобной концепции приносится вся совокупность причинно-следственных связей, детектив в принципе невозможен. При такой точке отсчета преступника нельзя «вычис-

[1] Б. Бялокозович, вероятно, руководствовался определенным принципом отбора статей для антологии — проблемной, а не предметной ориентацией — и потому не включил в нее работы из интересного сборника «Писатели народной Польши», вышедшего в Москве в 1976 году.

лить», да и «вычислять», собственно, незачем: торжество правосудия в одном конкретном случае все равно не ведет к торжеству истины и справедливости в целом.

Мы знаем, что в романах «Судья и его палач» и «Подозрение» Дюрренматт еще оставался в традиции англосаксонского детектива, но уже в них завалы зла далеко превосходили силы следователя, и писатель придал своему комиссару Барлаху черты сыщика-монстра, наделенного «демонической» силой; чтобы справиться с коварным и циничным врагом, он сам не чурается коварства и цинизма. В «Обещании» же гениальный сыщик, столкнувшись с властью слепого случая, терпит сокрушительное поражение и сходит с ума.

А в «Правосудии», начатом еще в середине пятидесятых, надолго заброшенном и завершенном только теперь? Изменились ли взгляды автора «Обещания» на детектив в середине восьмидесятых? Не похоже. В романе есть элементы детектива — убийца (и не один), жертва (и не одна), расследование, правда, так и не доведенное до конца. Но в нем нет того, что порождает детективное напряжение, — тайны, логической задачи, следственной загадки. Загадка в романе — сам человек, его природа, тайна — законы правосудия, устройство общества и мироздания. Остальное лежит на поверхности и не требует расследования.

Дюрренматт завязывает не совсем обычный сюжетный узел. Один уважаемый, влиятельный и очень богатый швейцарец — кантональный советник Колер — убивает другого уважаемого швейцарца — профессора-германиста Винтера. Убивает хладнокровно, на виду у множества посетителей фешенебельного ресторана, среди которых, кстати, и комиссар уголовной полиции. Преступник не скрывается, не отпирается и как должное принимает приговор — двадцать лет заключения. Но он не объясняет мотивов своего поступка, отделывается намеками или молчанием. Процесс по самоочевидному делу оставляет впечатление недосказанности, поспешности. Через два года суд присяжных оправдывает Колера за отсутствием мотива преступления. Зато такой мотив оказывается у некого Бенно — авантюриста, баловня судьбы, экс-чемпиона Швейцарии по стрельбе из пистолета. Винтер расстроил его помолвку с очень богатой невестой (как выяснилось позже, своей дочерью) и оставил без средств к существованию, с миллионными долгами. Ловко наведенное на Бенно правосудие заинтересовано не в истине, а в соблюдении правил игры: мотив для него важнее самого преступления. Самоубийство загнанного в угол (не уликами, а подозрениями и безысходностью) Бенно лишний раз убеждает юстицию и общественное мнение в его «вине» и в мнимой невиновности Колера.

Это, так сказать, внешний сюжет. Но есть и внутренний, с философским подтекстом. Игры правосудия начинаются после того, как преступник получил по заслугам. В центре дальнейшего действия оказывается молодой адвокат Феликс Шпет, развитие событий в первых двух частях романа дается в его интерпретации. Он рассказывает о том, как кантональный советник призвал его к себе в тюремную камеру и предложил еще раз расследовать дело, но под иным углом зрения — условно предположив, что убийца не он, Колер, а кто-то другой. Тогда, обещает он, раскроются невидимые связи и станет ясна подоплека убийства. Шпет боится ловушки, но все же принимает предложение: уж очень хочется ему, начинающему юристу, проникнуть в тайну преступления, да и деньги нужны, а Колер предлагает солидный куш.

Мотивы убийства Шпет так и не выяснил, но, сам того не желая, помог убийце выйти на свободу. Его расследование не реального, а «возможного» убийства подготовило почву для кассационного суда. Когда Шпет спохватился, было уже поздно («шпет» по-немецки и значит поздно). Надломленный, опустившийся до связей с преступным миром, «адвокат проституток» одержим навязчивой мыслью: исправить свой промах и промах правосудия, застрелить оправданного судом Колера, а потом покончить с собой и таким образом привлечь внимание общественности к проказам швейцарской Фемиды. Но «фанатик справедливости» ничего не добивается, ибо нарушил правила игры. За стойкость и смелость он расплачивается распадом личности и ранней смертью.

Что ж, скажем мы, симпатичные донкихоты нередко терпят крушение в отчаянных схватках с ветряными мельницами зла. И все же они молодцы, слава им. Но Дюрренматт думает по-другому. Он симпатизирует не Шпету, а «мудрому» полицейскому комиссару, который с философским спокойствием наблюдает за вершением неправого дела, но проявляет дьявольскую проницательность и оперативность, когда надо помешать поборнику правды. Кто хочет искоренить зло, сам творит его; восстановить справедливость можно только преступлением. Эти парадоксальные «откровения» Дюрренматт не только без конца заставляет повторять своих героев, но и кладет в основу художественной структуры романа. При всем при том «Правосудие» не только неудачный детектив с сомнительной философией. Это и язвительная сатира на современную Швейцарию, ее общественный строй и социальные институты, ее правосудие, которое служит не истине и справедливости, а тем, у кого власть и деньги. Фантазия темпераментного обличителя особенно разыгрывается тогда, когда речь заходит о волчьих инстинктах собственников, о физической и нравственной деградации богачей. Впечатляющ до жути гротескный образ Моники Штайерман, единственной наследницы выродившегося клана торговцев оружием, обуреваемой плотскими желаниями и страдающей от невозможности их утолить. Она-то и есть причина уголовных преступлений, составивших детективную канву романа...

В. СЕДЕЛЬНИК

◆

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

Театр Народной армии в Софии осуществил новую постановку пьесы известного поэта и драматурга Георгия Джагарова «Прокурор», которая много лет с успехом шла на сценах болгарских и зарубежных театров. Пьеса была одним из первых произведений, отразивших обновление, которое внес в жизнь болгарского общества и в болгарское искусство Апрельский пленум БКП. Режиссер Кресимир Спасов стремился по-новому подойти к трактовке образов главных героев пьесы — Прокурора и Следователя. «Внимание к судьбе человека — наша основная задача сегодня,— сказал он в интервью газете «Литературен фронт».— Если мы научимся бороться за справедливость, за судьбу каждого человека, то мы научимся бороться за судьбу всего человечества».

На снимке: сцена из спектакля «Прокурор». В роли Прокурора — Йосиф Сырчаджиев.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ТОМАС ХАРДИ — ПОЭТ

В своем завещании великий английский писатель просил, чтобы его «Избранные поэтические произведения» всегда выпускали в недорогих, доступных широкому читателю изданиях, а не в фолиантах, которые могут приобрести лишь библиофилы. Десятилетиями, пишет Роберт Уэллс в «Таймс литерари саппл-мент», стихи Томаса Харди издавались на плохой бумаге, в дешевых переплетах, без комментариев, в разных редакциях. Известно, что впервые «Избранное», подготовленное самим поэтом, появилось одновременно с девятью «неавторизованными» поэтическими сборниками, в которых были представлены другие варианты стихотворений и поэм Харди: поэт был чрезвычайно придирчив к своим стихам, переделывал их постоянно, вплоть до момента подписания «сигнального» экземпляра. И это неудивительно. Он начинал как поэт, но в период создания романов стихов не писал. В пятьдесят пять лет Харди вновь возвращается к поэзии. «Первая и последняя любовь. Он хотел, чтобы мы помнили о нем как о поэте»,— писал Джеффри Григсон в книге «Гений Томаса Харди» (1976).

И вот теперь, пишет Роберт Уэллс, вышел в свет трехтомник, который, несомненно, доставит удовольствие как «простому» читателю, которому Харди адресовал свои стихи, так и филологу: в «Полном собрании поэтических сочинений» Томаса Харди, подготовленном Сэмюэлем Хайнсом, представлены наброски и варианты стихотворений, есть обширный комментарий, рассказана история создания и публикации сочинений, вошедших во все три тома, расшифрованы библейские цитаты и цитаты из классики.

ВЕНГРИЯ

ИТОГИ КИНОФЕСТИВАЛЯ

В Будапеште состоялся традиционный, восемнадцатый по счету фестиваль венгерских художественных фильмов. Наряду с конкурсными картинами в программу фестиваля вошли ленты экспериментальной молодежной киностудии имени Белы Балажа и работы учащихся будапештской Высшей школы театра и кино. Одновременно в кинотеатрах венгерской столицы проводились ретроспективные показы фильмов крупнейших режиссеров венгерского кино. Большую аудиторию собрало в заключительный день фестиваля открытое заседание жюри, завершив-

шееся интересной дискуссией, с которой познакомил потом своих читателей журнал «Фильм, синхаз, мюжика».

А дискутировать было о чем. В нынешнем смотре не участвовали корифеи венгерской кинорежиссуры — Золтан Фабри, Андраш Ковач, Миклош Янчо, Иштван Сабо, Карой Макк, Марта Месарош и другие. Тон на фестивале задавали среднее и самое молодое поколение режиссеров — «сорокалетние» и «тридцатилетние», как их условно назвала венгерская кинокритика. Их фильмы обнаружили стремление к обновлению стиля венгерского кино, принявшее в некоторых случаях заостренно - полемический характер. «Странным, хотя и закономерным выглядит это столкновение между поколениями и решительная стилевая ломка,— говорил на дискуссии член жюри Йожеф Керени.— Это первый фестиваль венгерского «постмодерна». Художники смело соединяют традиционные реалистические способы изображения с наисовременными стилевыми приемами, создавая некий «новый эклектизм».

«Новый» стиль — это, конечно, не только обновленный киноязык и нетрадиционные повествовательно-драматургические решения. Это и новое видение, новое мироощущение. Представленные на фестивале фильмы обращаются к таким социально - психологическим явлениям, к таким формам повседневной жизни, которые еще не исследовались или недостаточно исследовались в венгерском кино. Одним из объектов пристального наблюдения и предметом серьезного размышления стал, например, сектор частного предпринимательства и комплекс связанных с ним социально-нравственных вопросов. Этой теме посвящены фильмы «Сверлильщик» Дёрдя Сомьяша, «Ковбои» Пала Шиффера и «Обратный счет» Пала Эрдеша. «Возможно, это и не вполне еще зрелое произведение,— написал о последней картине известный критик, кинообозреватель газеты «Непсабадшаг» Йожеф Вереш,— но честность и страстность режиссера, его способность проникнуть в суть явлений достойны нашего признания».

К участию в конкурсе наряду с игровыми лентами были допущены два многочасовых документальных фильма, и один из них, «Баболна», был удостоен главного приза фестиваля. Это представленная в лицах, воспоминаниях и документах история знаменитого сельскохозяйственного комбината в Баболне, а в ее зеркале — история социалистического строительства Венгрии. Вторую по значению фестивальную премию — приз за режиссуру — поделили два игровых фильма: фильм «Время!» режиссера Петера Готара, снятый по роману Петера Эстерхази, и фильм «Ученики» — первая режиссерская работа известного венгерского писателя и драматурга Гезы Беремени.

Фестиваль дебютов, заявок, исканий, экспериментов — так охарактеризовала венгерская критика итоги киносмотра, заставшего национальную кинематографию в час смены поколений.

ГДР

НОВЫЙ РОМАН ГЮНТЕРА ДЕ БРОЙНА

Еженедельник «Зоннтаг» опубликовал рецензию известного литературоведа Вернера Лирша, дающую высокую оценку роману Гюнтера де Бройна «Новая благодать», который вышел в свет в издательстве «Мителъдойчер ферлаг». Критик сравнивает «Новую благодать» с романом Теодора Фонтане «Пути-перепутья» (1888), рассказывающем о любви барона к простой девушке, гладильщице. У Фонтане девушка говорит барону: «Ты улетишь от меня, это совершенно ясно. Тебе придется сделать это...» Во времена Фонтане слово «улетишь» понимали фигурально, поскольку еще не было самолетов. Герой же Гюнтера де Бройна, молодой дипломат Виктор Кёслинг, влюбившийся в уборщицу дома отдыха «Новая благодать», улетает от своей невесты в буквальном смысле слова на самолете. Энергичные и влиятельные родители героя считают выбор своего сына «бесперспективным» и организуют ему длительную загранкомандировку. Сам же Виктор Кёслинг чересчур инфантилен и вял, чтобы воспротивиться воле родителей и свернуть с уготованного ему «благополучного» пути. Главное для него в конечном итоге — уют и комфорт, а конфликт с родителями мог бы лишить его этого комфорта, поэтому Виктор и предпочел разрыв с Тильдой. Критик считает, что в своем романе Г. де Бройн высмеял инфантильность части современной молодежи ГДР, а именно — молодежи из обеспеченных семей. «Молодые герои романов начала 70-х годов, которые сетовали на то, что спокойная жизнь отнимает у них возможность риска, и стремились к общественной ответственности, теперь повзрослели,— отмечает В. Лирш.— Виктор Кёслинг олицетворяет тех, кому повзрослеть не удалось».

Рецензент журнала «Нойе дойче литератур» Клаус Беллин, анализируя новый роман Г. де Бройна, приходит к выводу, что в нем «горечь преобладает над иронией». Критика особенно огорчает, что автор не оставляет главному герою никакой возможности «исправиться». В итоге К. Беллин отдает предпочтение «Бранденбургским изысканиям», хотя, признается он, и в этой повести «горечь» сильнее «иронии».

Кадр из фильма режиссера Пала Эрдеша «Обратный счет».

ГРЕЦИЯ

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ

В афинском пресс-центре иностранных журналистов с большим успехом прошла выставка «Греческие писатели в переводах», организованная Государственным историко-литературным архивом. Открывая выставку, министр культуры Греции, известная актриса Мелина Меркури, отметила, что новогреческая литература переводится за рубежом с начала XIX века. «Сегодня, в конце XX века,— сказала М. Меркури,— в ряде стран мира наблюдается повышенный интерес к книгам греческих писателей». Наиболее читаемыми за рубежом греческими писателями являются Костас Варналис и Яннис Рицос, лауреаты международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Так, стихи и по-

эмы Я. Рицоса выходили за пределами Греции отдельными изданиями свыше 200 раз, в том числе 13 раз в Советском Союзе (в нашей стране произведения этого замечательного поэта-коммуниста переведены на 14 языков народов СССР).

Неизменной популярностью в странах Европы и в Америке пользуется поэзия лауреатов Нобелевской премии Йоргоса Сефериса и Одиссеаса Элитиса. Многие из зарубежных почитателей этих выдающихся поэтов XX века впервые познакомились с их философской лирикой и полюбили ее благодаря многочисленным произведениям М. Теодоракиса (песням, кантатам, ораториям), написанным на лучшие стихи и поэмы Й. Сефериса и О. Элитиса. Хорошо известно за рубежом и творчество крупнейшего греческого прозаика Н. Казандзакиса — лауреата премии Всемирного Совета Мира, поэзия К. Кавафиса, А. Сикеляноса, повести и рассказы В. Василикоса и А. Самараниса.

Творчество Антониса Самараниса популярно во многих странах. Так, его повесть «Промах», в которой писатель вскрывает механизм изощренной системы полицейского насилия, анализирует психологические истоки человеческой солидарности в условиях неравного поединка со злом, переведена на 32 языка, в том числе и на русский. В Италии, Франции, ГДР, Болгарии, Японии и других странах эта повесть экранизирована.

На выставке «Греческие писатели в переводах», где были представлены книги, изданные в Италии, Болгарии, Югославии, Румынии, США, внимание посетителей привлекали и советские издания. Среди них — сборник «Заметки на полях времени», последнее, наиболее полное из всех зарубежных изданий собрание произведений Я. Рицоса, сборник «Геракл и мы. Современная греческая поэзия» (издательство «Радуга»), сборник «Эхо Эллады», «Избранное» А. Сикеляноса (издательство «Молодая гвардия»), «Дневник Пенелопы» К. Варналиса (Библиотека журнала «Иностранная литература»), «Стихотворения и поэмы» К. Варналиса, «Лирика» К. Кавафиса (издательство «Художественная литература»), сборник рассказов «Пение дрозда» и «История из Геродота» Я. Милиадиса (издательство «Детская литература»).

ИТАЛИЯ

НАСЛЕДИЕ РОМАНТИКА

Во флорентийском издательстве «Ле Монье» вышла в свет книга под общим названием «Стихи и песни», где собрано практически в полном объеме поэтическое наследие итальянского романтика Уго Фосколо (1778—1827). По словам газеты «Унита», это одно из наиболее значительных событий в издательской практике Италии за последние месяцы. Поэма «Гробницы», оды и сонеты, хорошо знакомые итальянской читающей публике, занимают в этом объемистом томе лишь 150 страниц из 300, вторую половину книги составило скрупулезное текстологическое и литературоведческое исследование, посвященное известной, но в то же время малоизученной поэме «Грации». По мнению обозревателя «Униты» Уго Дотти, Марио Скотти, автор этой уникальной работы, тщательнейшим образом изучил все рукописи Фосколо, с трудом поддающиеся расшифровке, и, заново пройдя «путь» создания поэмы, реконструировал все предшествующие издания «Граций» и дал свой вариант текста поэмы.

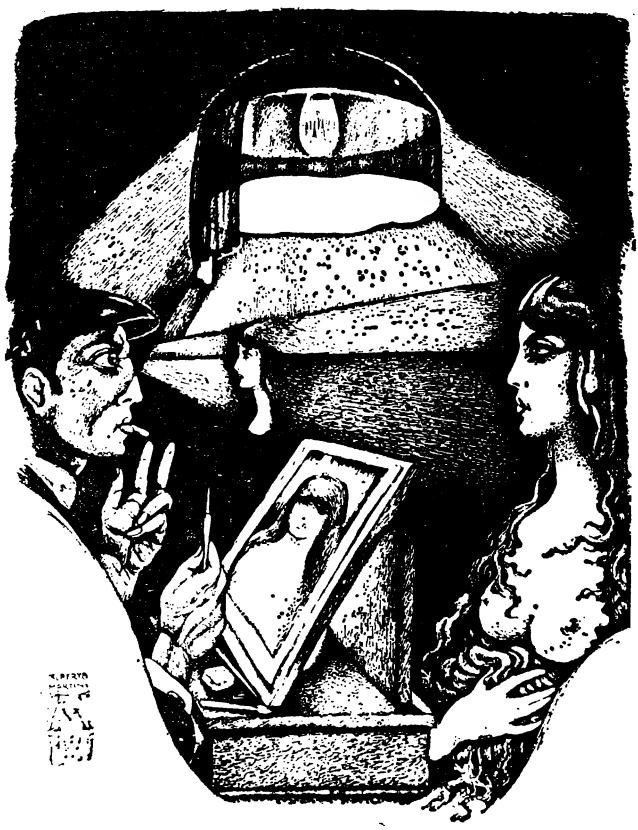
Как отмечает «Унита», Марио Скотти совершенно по-новому истолковал это произведение Фосколо. Работа М. Скотти помогает читателю увидеть «Грации» другими глазами: перед нами не просто гимн красоте, гармоничности, духовной возвышенности трех молодых итальянок, а метафорический отклик на конкретные исторические события, относящиеся к эпохе войны Наполеона с Россией. Вот лишь один пример: 17 августа 1812 года началась кровавая битва за Смоленск, и вскоре Фосколо написал знаменитый фрагмент поэмы

В залах Миланской картинной галереи открылась выставка графических работ известного итальянского художника Альберто Мартини (1876—1954) — одного из предшественников сюрреализма, тяготевшего в своем творчестве к глубокой драматичности, гротеску.

Отмечая 110-летие со дня рождения Мартини, журнал «Альфабета» публикует статью критика Антонио Порта о художнике и помещает его рисунки пером из серии «Тридцать одна странная и жестокая фантазия». «Чтобы постичь искусство рисунка пером,— а перо — «инструмент» сложный и тонкий, словно скрипка,— нужно многие годы работать день и ночь, только тогда научишься передавать игру света, напряженную пластику модели,— писал Мартини в автобиографии.— Все живое и неживое равно отмечено знаком смуты. Истинный художник всегда стремится передать эту трагичность жизни».

На снимке: «Художник» (1921) — графический лист из серии «Тридцать одна странная и жестокая фантазия».

(Журнал «Альфабета»)



«Под чистым горным небом», где он воспевает миротворческую, возвышенную Любовь, противопоставляя ее духу Войны, охватившей всю Европу. Еще одна немаловажная заслуга Скотти, по мнению «Юниты», заключается в том, что работа написана просто, ясно, а не наукообразным, «шифрованным» языком литературоведческих исследований последнего времени.

«В работе М. Скотти,— пишет Уго Дотти,— ярко выражено стремление обозначить проблему «Граций», ждущую своего решения уже более ста лет, во всех возможных аспектах — и не только филологических, но исторических и культурных».

КАНАДА

САТИРА, ПАРОДИЯ ИЛИ ПРОСТО ЗУБОСКАЛЬСТВО?

Этим вопросом задается рецензент канадского еженедельника «Маклинз», затрудняясь точно определить природу смеха в новом романе молодого англоканадского прозаика-юмориста Пола Куорринггона «Жизнь Хопа». Действие романа происходит в провинциальном городке Хопе, куда из Торонто приезжает начинающий писатель поработать над своей книгой. Он становится завсегдатаем городской таверны, где по вечерам посетители обсуждают местные новости и рассказывают всяческие небылицы. Сюда частенько захаживает и индеец, которого, как он сам уверяет, регулярно посещают духи. Есть что порассказать и хозяину заведения Большому Берни, не отстает от прочих и острая на язык барменша. Но самый удивительный обитатель Хопа — говорящая рыба, которой двести лет от роду и которая на завтрак ест птиц... А самое «древнее» из местных преданий — легенда о Джозефе Бентоне Хопе, главе секты нудистов. Он-то и возвел в этой глухомани городок, которому дал свое имя...

«Куорринггону, — пишет «Маклинз»,— нравится роль ниспровергателя литературных норм. Его выдумки и фантазии достигают своей цели: роман приносит читателю истинное удовольствие. В целом же книга представляет собой пародию на стилистику и расхожие сюжеты канадской историко-этнографической прозы прошлого».

ПОЛЬША

«ЛЕСНЫЕ ОТГОЛОСКИ» ТАДЕУША РУЖЕВИЧА

«Тихо, без шуму издательство «ПИВ» подготовило читателям нешуточный сюрприз...» — пишет в газете «Жице Варшавы» в рубрике «Книги недели» критик Беата Совиньская. Издан сборник рассказов и стихов известного польского поэта и драматурга Тадеуша Ружевича, ознаменовавший начало литературного пути писателя. Долгое время считалось, что Ружевич дебютировал в 1947 году сборником стихов «Беспокойство». Однако томик «Лесные отголоски», напечатанный на ротаторе, вышел еще в 1944 году, в подполье. Его автором был выпускник подпольного офицерского училища, боец Армии Крайовой с 1941 года, курсант Сатир. Такой псевдоним и конспиративную кличку взял себе молодой Тадеуш Ружевич.

Титульный лист первого издания «Лесных отголосков».

«Просто не верится, — говорит автор в предисловии к новому изданию, — что прошло сорок лет с того дня, как я, собрав свои вещи, отправился на место расквартирования отряда... Есть люди, живущие воспоминаниями, но мне не по нраву роль «старого служаки», рассказывающего разные истории. Может быть, поэтому я много лет воздерживался от публикации этой книжки, название которой я взял у Жеромского, содержание — из партизанских будней, а форму... Об этом пусть судят читатели».

Первая часть «Лесных отголосков» носит название «Камень для шанца» и состоит из коротких рассказов, воспоминаний о погибших товарищах. Вторая — «Странички дневника» — представляет собой хронику военных операций отряда. В третью часть — «Под сосной» — в основном вошли рассказы из отрядной юмористической газеты «Голос из-под куста», которую редактировал Сатир. В сборнике напечатано также несколько стихотворений.

В предисловии к изданию 1944 года Сатир писал: «Читатель! Эта маленькая книжка не была написана на зеленом сукне чиновником или профессиональным журналистом. Ее автор — боец партизанского отряда. Не ищи в ней красивых слов, изысканных оборотов, патетических восклицаний, ищи солдатское сердце — открытое, простое, горячее. Быть может, в ее грустных и веселых словах, в простых, часто грубоватых выражениях ты услышишь биение солдатского сердца; это сердце — сама ПОЛЬША».

Беата Совиньская не рецензирует книгу, не считает нужным давать ей какую-либо литературную оценку, ибо это — другой Ружевич, не тот, которого мы теперь знаем. Но сборник, по мнению критика, безусловно дополняет литературное наследие автора: «Эта книга — документ партизанской борьбы и од-

МОНГОЛИЯ

Молодой художник Б. Дашзэвэг успешно работает в жанре книжной графики. Особенно интересны его иллюстрации к историческим романам последних лет, таким, как книга З. Баттулги «Весна творения».

З. Баттулга — представитель старшего поколения монгольских писателей, один из зачинателей нового для монгольской литературы жанра остросюжетной прозы. Роман Баттулги «Весна творения» посвящен бурным революционным событиям 20-х годов.

На снимке: иллюстрация Б. Дашзэвэга к роману «Весна творения».

Тадеуш Ружевич. Рисунок Павла Ружевича, сына поэта.

новременно — свидетельство литературного дебюта Ружевича, являющегося одним из выдающихся современных польских писателей».

РУМЫНИЯ

ТРАДИЦИИ ПУБЛИЦИСТИКИ

Еженедельник «Ромыния литераръ» посвятил большую статью истории развития публицистической мысли в Румынии. Анализируя деятельность писателей-коммунистов на страницах легальных и полулегальных изданий в 30—40-е годы, известный ученый-литературовед Эмил Ману обращается к истокам современной румынской публицистики, прослеживает этапы ее становления и борьбы с идеологией фашизма и империализма.

В историю румынской литературы 30—40-е годы вошли как «десятилетие славы», пишет Э. Ману. Именно в этот период острых социально-политических столкновений, резкой поляризации общественного сознания в стране назрела необходимость противопоставить пропаганде реакционных теорий гитлеризма и национального мистицизма, проповеди расизма и «процветания» буржуазного общества истинно гражданственную публицистику, направить ее в русло классовой борьбы и тем самым поддержать молодую румынскую социалистическую литературу. Поэтому наиболее актуальной формой идеологической борьбы в прессе Румынии 30—40-х годов стал жанр политической статьи, памфлета, критического эссе, репортажа. В литературоведческих изданиях печатались данные общественных опросов и теоретические исследования в области социологии, направленные против разнообразных модернистских течений в культуре Румынии, сторонники которых призывали к «отрыву от действительности».

Среди лидеров прогрессивного публицистического движения Э. Ману упоминает имена Дж. Богзы, опубликовавшего «ars poetica в форме стихотворного репортажа» на страницах передового журнала «Вьяца имедиатэ», А. Сахия, возглавлявшего издания «Вяк ноу» и «Блузе албастре», Ж. Эбеляну, Г. Дину — их произведениям свойственна та особая наступательная направленность, тот воинственный пафос, который отличал румынскую социалистическую литературу в 30—40-е годы и является важнейшей традицией в современной публицистике Румынии. «Мысли, высказанные Дж. Богзой еще в 1934 году, находят отражение на страницах сегодняшних журналов», — подчеркивает в своей статье Эмил Ману.

«КОРОЛЬ КСИЛОГРАФИИ»

Газета «Ромыния литераръ» опубликовала большую статью о творчестве недавно скончавшегося выдающегося румынского художника-графика Белы Д. Сабо, 80-летие которого широко отмечалось в прошлом году. «Творчество художника столь оригинально, значительно и многопланово,— пишет автор статьи Раул Шорбан, — что ставит его в один ряд с классиками румынского искусства и крупнейшими графиками современности». «Королем ксилографии» назвала Белу Сабо одна латиноамериканская газета после выставки произведений художника в Колумбии. Работы Белы Сабо экспонировались в разных концах земного шара, с ними знакомы в Мексике и Франции, Соединенных Штатах и Советском Союзе.

Бела Сабо — верный сын своей земли, населенной людьми разных национальностей: «Он никогда не пил из отравленного источника расовой враждебности и национальных разногласий», — отмечает «Ромыния литераръ», — и свидетельство тому не только его искусство, но и вся его жизнь. Открыто и последовательно выступал Бела Сабо против любых проявлений шовинизма и насилия в годы фашизма, показывая пример неустрашимости и стойкости.

Постоянным источником вдохновения для Белы Сабо была природа. Симфония чувств, плодотворность воображения, чуткость к красоте — все это «зримо» в произведениях художника.

«Никогда и ни в чем Бела Сабо никого не копировал, не следовал моде», — подчеркивает Раул Шорбан. Он был и остается художником эпохи, художником мира, в котором постоянно открывал чудодейственную красоту, в котором «приумножал человечность».

Бела Д. Сабо. Автопортрет в тибетской шапке.

(Газета «Ромыния литераръ»)

СИРИЯ

РОМАН САЛИМА БАРАКАТА

В Никозии (Кипр) опубликован роман сирийского писателя и поэта Салима Бараката под названием «Профессора ночных дел», сообщает журнал «Аль-араби». Это первый роман С. Бараката, в котором он так же, как в своих поэмах и воспоминаниях о детстве и юности, рисует жизнь Северной Сирии — земли, где всегда происходили процессы слияния различных культур. Герои нового произведения писателя — крестьяне, рыбаки, дети, а также контрабандисты, которых сирийцы называют «профессорами ночных дел».

США

СТАДС ТЕРКЕЛ ВСПОМИНАЕТ

В издательстве «Харрап» вышла новая книга известного американского публициста Стадса Теркела (см. «ИЛ», 1985, № 5, 10) «Беседуя с самим собой. Воспоминания о моем времени». Оглядываясь на последние пятнадцать лет своей творческой жизни, писатель рассказывает о встречах с самыми разными людьми — прославленными и безвестными, — у которых ему приходилось брать интервью. Количество и разнообразие бесед, обширная география поездок Теркела свидетельствуют о широком диапазоне его интересов.

В Англии он интервьюировал Бертрана Рассела, известного специалиста по детской психологии А. С. Нейла, режиссера и директора «Тиэтр уоркшоп» Джоан Литтлвуд, официантку из забегаловки, куда наведывался когда-то Дилан Томас; в Южной Африке он беседовал с лауреатом Нобелевской премии вождем Албертом Лутхули, с Джоном — чернокожим слугой из отеля. Для Теркела, пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент» Тони Паркер, характерно уважительное и тактичное отношение к собеседнику, кем бы тот ни был. Писатель оставляет в публикуемом тексте бесед свои вопросы и ремарки, даже не слишком удачные, он всегда на равных с интервьюируемыми, не пытается ставить себя над ними, что свойственно многим его коллегам.

Книгу мемуаров отличает мастерская композиция, считает Тони Паркер: «Стадс Теркел переходит от человека к человеку и от эпизода к эпизоду с мастерством и изобретательностью кинорежиссера».

Теркел часто пишет о том страхе перед Советским Союзом и коммунизмом, который намеренно внушают американцам органы массовой информации. «Многие из нас, — горько шутит он, намекая на нервозно-взвинченное состояние ума — один из симптомов кататонии, — живут сейчас в некоем пятьдесят первом штате Америки, имя которому «Кататония». Населения в этом штате гораздо больше, чем в Калифорнии, Нью-Йорке, Пенсильвании, Огайо, Иллинойсе и Мичигане, вместе взятых. Но в сегодняшней Америке людям так одиноко...»

«Благодаря Стадсу Теркелу многие люди, живущие по обе стороны Атлантического океана, чувствуют себя менее одинокими перед лицом возможной мировой катастрофы, и это не последняя из заслуг Теркела», — заключает свою рецензию Тони Паркер.

ФИНЛЯНДИЯ

ЮБИЛЕЙ ФРИДЕБЕРТА ТУГЛАСА

Столетие со дня рождения Ф. Тугласа, замечательного эстонского писателя, критика, литературоведа и переводчика, широко отмечалось в Финляндии. Писатель жил здесь в эмиграции после революции 1905 года, здесь он создал многие свои произведения, в том числе роман «Феликс Ормуссон». В огромной библиотеке Тугласа насчитывалось свыше тысячи финских книг. Он перевел на эстонский язык роман выдающегося финского прозаика Алексиса Киви «Семеро братьев». Связи Тугласа с Финляндией не прерывались до самой его смерти.

В Хельсинки прошли дни Фридеберта Тугласа. В юбилейных торжествах приняла участие делегация эстонских писателей и исследователей творчества Тугласа. Фридеберт Туглас был основателем и первым редактором «Ломинга», и один из последних номеров издания целиком посвящен его жизни и творчеству.

Недавно в Финляндии была издана книга Тугласа «Маргиналии», в которую вошли воспоминания писателя, афоризмы и малая проза. Готовится и 15-томное собрание сочинений на финском языке, уже вышел его первый том.

В Хельсинки проводились выставки, посвященные твор-

Юмористический рисунок Хайнца Валки, опубликованный журналом «Ломинг»,— Фридеберт Туглас в Финляндии в годы эмиграции.

(Еженедельник «Тиедонантая»)

честву Тугласа; в финском Литературном обществе состоялся научный семинар. На доме, в котором жил писатель в годы изгнания, установлена мемориальная доска.

ФРАНЦИЯ

ОПЕРА ПО РОМАНУ БОРИСА ВИАНА

На сцене Национального оперного театра в Париже состоялась премьера оперы советского композитора Эдисона Денисова «Пена дней», написанной на сюжет одноименного романа Бориса Виана (см. о нем «ИЛ», 1986, № 2; книга переведена на русский язык). На это событие широко откликнулась пресса многих зарубежных стран, отметив необыкновенный успех музыкального спектакля у парижской публики.

«Денисов сам написал на французском языке либретто по книге Виана и создал по нему удивительно тонкое, мелодически выдержанное сочинение», — отмечает Жерар Маннони в газете «Котидьен де Пари». «Музыкальный язык «лирической драмы» Денисова пленяет яркостью, красочностью, — пишет Катрин Жильбер в «Юманите диманш». — Виан предстает в опере во всей многогранности своего таланта — как поэт, прозаик, владеющий великолепным, беспощадно разящим слогом, как песенник и джазист».

Главной сюжетной линией для композитора стала трагическая история любви Колена и Хлои. «Это — вечная тема, — сказал Э. Денисов в интервью журналу «Камертон». — История любви Ромео и Джульетты, Тристана и Изольды, Пеллеаса и Мелизанды...» Собственно коллажей в опере «Пена дней» нет, поясняет музыкальный критик газеты «Нойе цюрихер цайтунг», но

Афиша оперы «Пена дней».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

образность музыки Денисова близка Дебюсси, а мимолетные намеки на джаз и классику (в частности на «Хлою» Дюка Эллингтона и вагнеровского «Тристана») органично входят в партитуру.

Основные приметы виановского мира — его резкая контрастность, противоречивость. Здесь соседствуют глубочайший трагизм и головокружительное жонглирование словами, щемящая душу искренность и откровенный эпатаж. Композитору удалось передать в музыке дух романа, его напряженную атмосферу, показать столкновение вечного с тривиальным, с «пеной дней» — такова оценка Детлефа Гойови, корреспондента «Вельт».

Искусство молодых певцов — исполнителей главных ролей в опере Э. Денисова (Колен — Тьерри Дран, Хлоя — Вероника Дитши, Шик — Марсель Кийвере, Ализа — Ева Заурова) — было высоко оценено западной критикой. Композитор был удостоен почетной медали Французской Республики, присуждаемой за достижения в области искусства и литературы.

Одновременно с постановкой в зале Фавар опера по роману Виана прозвучала в отрывках по одной из программ французского радио. К премьере «Пены дней» французскими фирмами грамзаписи была выпущена пластинка с записью сюиты Э. Денисова «Колен и Хлоя» в исполнении советских певцов Н. Думцева, Н. Ли и Н. Терентьевой.

Сцена из оперы «Пена дней» в постановке Жан-Клода Фалля.

(Газета «Котидьен де Пари»)

ШВЕЦИЯ

МЕМУАРЫ ЛУ-ЮХАНССОНА

Известный шведский писатель, представитель реалистической, пролетарской литературы Ивар Лу-Юханссон (р. 1901) — автор многих романов, повестей, новелл и документальных книг. Последние годы Лу-Юханссон работает в жанре мемуарной прозы.

Недавно в свет вышла четвертая, заключительная часть мемуаров старейшего шведского прозаика. Книга эта называется «Свобода». По мнению критика еженедельной шведской газеты «Ви», такое название не случайно: Лу-Юханссон всегда был подлинным борцом за свободу — и за свободу творчества, и за гражданские свободы угнетенных классов буржуазного общества.

«В своих мемуарах я стремился ничего не приукрашивать, быть максимально правдивым»,— сказал Лу-Юханссон в интервью газете «Ви», сотрудничество с которой он начал еще в 1937 году, написав по заданию редакции очерк о шведских батраках.

Повествование о своей жизни Лу-Юханссон ведет с истоков — с самого детства. Вспоминает писатель и свои первые опыты в литературе и журналистике. Значительное место в его мемуарах отведено литературным портретам деятелей культуры — его современников.

По свидетельству газеты «Ви», мемуары Ивара Лу-Юханссона — не только рассказ о себе. Это — еще и история общества, история скандинавской литературы, история культуры.

ЮГОСЛАВИЯ

«ДЕТИ КОЗАРЫ»

Кинорежиссер Лордан Зафранович неоднократно обращался в своих фильмах к теме второй мировой войны и национально-освободительной борьбы народов Югославии (советскому зрителю, в частности, известна его лента «Оккупация в 26 эпизодах»).

Сейчас режиссер работает над двухсерийным художественным фильмом «Дети Козары» по сценарию Арсена Диклича. Этот фильм, основанный на документальном материале, расскажет об операции югославских партизан по спасению в

1942 году более десяти тысяч детей от угона в фашистские концлагеря.

Летом 1942 года, стремясь сломить сопротивление партизан, немецкие фашисты при поддержке своих пособников внутри страны бросили около 45 тысяч войск на ликвидацию небольшого и плохо вооруженного соединения партизан. Вместе с партизанами в лесах скрывалось около 80 тысяч беженцев с оккупированных врагом территорий, главным образом женщин и детей. В результате неравной, кровопролитной борьбы, длившейся около двух месяцев, партизанам вместе с частью гражданского населения удалось выйти из окружения, но те, кто попал в руки врага, были отправлены в концлагеря.

В интервью журналу «Политика» Лордан Зафранович сказал: «Я должен сделать этот фильм, фильм обо всем, что пережили дети во время войны. Сделать это никогда не поздно: ведь сейчас, спустя столько лет после окончания войны, на планете есть еще страны, где в пламени войны гибнут дети...»

«Моя картина, — продолжал Л. Зафранович, — посвящена событиям войны, она охватывает период с 1942 по 1945 год, но я не хочу делать фильм-эпопею, хотя в этих событиях участвовали огромные массы людей. В центре картины — трагическая судьба двенадцатилетней девочки, разделившей участь многих детей Козары».

Еще в процессе работы над фильмами «Оккупация в 26 эпизодах» и «Ясеновац» (название фашистского лагеря смерти на территории Югославии) Зафранович нашел ужасающие документы о зверствах захватчиков. «Об этом нужно говорить, — подчеркнул Л. Зафранович, — причем говорить так, чтобы это звучало предупреждением».

Среди жителей Югославии было немало людей, которые, несмотря на смертельную опасность, спасали детей от гибели. «Я хочу показать, как стоек и силен может быть человек в борьбе против зла», — сказал режиссер.

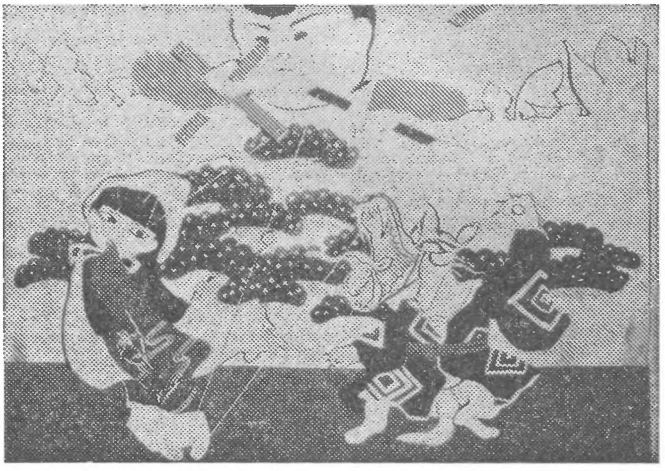
Фильм Лордана Зафрановича, отмечает «Политика», должен стать значительным вкладом в программу Года ребенка и мира, который будет проводить в 1987 году международная организация ЮНИСЕФ.

ЯПОНИЯ

Общество имени Гёте в Осака подготовило к 200-летию со дня рождения братьев Гримм выставку детских иллюстраций к их сказкам. На ней было представлено 5000 рисунков западногерманских ребят и 7000 работ японских юных художников. В восприятии японских детей сказочный мир европейского фольклора предстает в традиционных формах восточного искусства.

На снимке: персонажи сказки «Красная Шапочка» глазами юных японцев.

(Журнал «Культурхроник»)



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**.

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 22.05.86. Подписано в печать 10.07.86. А 05313. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, 22,4 усл. п. л., уч-изд. л. 2755

Тираж 477.000 экз (1 завод: 1—427000 экз.) Зак. 1898.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ДОНГ ХА ДО (КНДР)

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394